П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ



П.А. ВЯЗЕМСКИЙ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА МАКСИМОМ ГОРЬКИМ В 1931 ГОДУ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

ИЗДАНИЕ
ТРЕТЬЕ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1986

ББК 84.Р1
В 99

Вступительная статья
Л. Я. ГИНЗБУРГ

Составление, подготовка текста
и примечания
К. А. КУМПАН

В $\frac{4702010100-243}{083(02)-86}$ 425—86

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

1

Вяземский, выступивший на общественно-литературном поприще в 1810-х годах и сошедший с него в конце 1870-х, прошел долгий и сложный путь, в высшей степени характерный для его социальной группы.

Петр Андреевич Вяземский родился в 1792 году в Москве. Потомок удельных князей, он принадлежал к старинной феодальной знати, оскудевшей по мере укрепления самодержавно-бюрократического режима.

О своем отце, князе Андрее Ивановиче, Вяземский писал в 1865 году: «...20-ти лет с небольшим был он уже полковником и командовал полком. Не знаю, чему приписать такое скорое повышение, но верно уже — не искательству, чему служит доказательством, что, находясь под начальством князя Потемкина в турецкую войну, был он с ним в неблагоприятных сношениях: слыхал я, что князь находил молодого человека чересчур независимым и гордым».[1] А ведь Потемкин был жалованный князь из мелких дворян.

Выслужившиеся фавориты, «случайные люди», пришлые бюрократы из прибалтийских баронов, лишенные местных интересов и вековых претензий русского барства, — ко всему этому оплоту полицейского государства у Вяземского вражда была в крови. Ари-

---

[1] Вяземский П. А. Допотопная или допожарная Москва // Полн. собр. соч. Спб., 1882. Т. 7. С. 90. В дальнейшем ссылки на это изд. (Спб., 1878—1896. Т. 1—12) даются сокращенно — с указанием тома и страницы. Ссылками на т. 8 сопровождаются цитаты из «Старой записной книжки». Об А. И. Вяземском см.: Нечаева В. Отец и сын. Юношеские годы П. А. Вяземского: По неизданным материалам Остафьевского архива // «Голос минувшего». 1923. № 3. С. 39—56.

стократическая фронда, обессиленная сознанием дворянской зависимости от абсолютизма, — вот атмосфера, воспитавшая Вяземского.

В 1805 году А. И. Вяземский поместил сына в петербургский иезуитский пансион; некоторое время учился Петр Андреевич и в пансионе при Педагогическом институте. В 1806 году он вернулся в Москву, где пополнял свое образование, беря частные уроки у профессоров Московского университета. В 1807 году А. И. Вяземский умер, оставив пятнадцатилетнему сыну крупное состояние. После смерти отца Вяземский поступил на службу. Он числился в Межевой канцелярии, но служба эта была в значительной мере фиктивной.

Сознательно чуждаясь официальных, бюрократических кругов, юный Вяземский ведет рассеянную жизнь, азартно играет в карты, но в этот же период складываются прочные литературные связи, надолго определившие его творческий путь.

В беззаботное существование независимого аристократа и светского любителя литературы ворвались грозные события двенадцатого года. Вяземский вступил в военное ополчение и участвовал в Бородинском сражении, где под ним была убита лошадь, а другая ранена. Вместе со сверстниками он переживает победоносное окончание войны, бурный подъем национального самосознания (на первых порах совмещавшийся еще в дворянских кругах с восторженным отношением к Александру I), большие политические надежды, которым не суждено было осуществиться.

Литературные отношения Вяземского с самого начала определились его близостью к Карамзину, главе нового направления (Карамзин был женат на старшей сестре Вяземского — Екатерине Андреевне, и старый князь Вяземский, умирая, поручил сына руководству Карамзина). Уже на рубеже 1810-х годов Вяземский сближается с будущими арзамасцами — Жуковским, Батюшковым, Денисом Давыдовым, В. Л. Пушкиным, Блудовым, Александром Тургеневым.

Эта «дружеская артель» (выражение Вяземского) постоянно собиралась в его московском доме в 1810—1811 годах. К этому времени складывались уже те литературные принципы, которые через несколько лет провозгласит «Арзамас».

Устремления образованного, осваивавшего европейскую культуру дворянства встретили в 1810-х годах отпор со стороны политических и литературных консерваторов. Представителем этих кругов выступил А. С. Шишков. Он утверждал, что вместе со словами, которые Карамзин и карамзинисты заимствуют из французского языка, в русский идеологический обиход вторгаются либеральные идеи, конституционная и даже революционная терминология. Единственным безопасным источником обогащения русской речи Шиш-

ков считал старославянский язык. Шишков возражал против сглаженного, светского, европеизированного стиля Карамзина, Дмитриева и других русских сентименталистов; он отстаивал литературную традицию русского XVIII века с ее высоким одическим пафосом и с ее бытовым просторечием в «низких» жанрах (басне, сатире, комедии), приспосабливая эту традицию к своим идеологическим требованиям. Впоследствии литераторы-декабристы использовали традицию патетики и просторечия для воплощения идей русской дворянской революционности.

Свои взгляды Шишков развернул в трактате «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Вокруг «Рассуждения...» завязалась борьба. В 1811 году возникла полуофициальная «Беседа любителей русского слова», возглавляемая стариками — Шишковым, Хвостовым, Державиным.

В 1815 году организован был «Арзамас» — общество молодых последователей Карамзина.[1] «Арзамас» возник в противовес «Беседе», и напыщенная «Беседа» пародировалась, высмеивалась в самом уставе общества, в его шуточных обрядах и правилах. В «Арзамас» вошли лучшие поэты той поры — Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, начинающий Пушкин, среди них Вяземский. Арзамасцы в своих теоретических выступлениях и в своей творческой практике разрабатывали новый литературный язык, свободный от архаической книжности, от славянизмов. Разрабатывали нормы того стиля, который Пушкин потом назовет «школой гармонической точности».

Для поэтов арзамасского круга существенное значение имела традиция французской «легкой» поэзии XVIII — начала XIX века. На русской почве они также создают легкий, гармонический слог (средний стиль), искусно варьируют условные и изящные поэтические формулы. Высокого совершенства эти стилистические принципы достигают в творчестве Батюшкова. Молодой Вяземский тоже отдает дань и увлечению французскими образцами, и опытам в духе русского гармонического стиля.

Настал любви условный час,
Час упоений, час желаний;
Спи, Аргус, под крылом мечтаний!
Не открывай, ревнивец, глаз!

---

[1] Об Арзамасе и о роли в нем Вяземского см.: «Арзамас и арзамасские протоколы» / Под ред. М. С. Боровковой-Майковой. Л., 1933; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969 (гл. вторая). См. также книги М. И. Гиллельсона: Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974; От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977.

Красавицы! Звезда свиданий,
Звезда Венеры будит вас!

...Приди ко мне! Нас в рощах ждет
Под сень таинственного свода
Теперь и нега, и свобода!
Птиц ожил хор и шепот вод,
И для любви сама природа
От сна, о Дафна, восстает!

(«Весеннее утро»)

В этом стихотворении Вяземского 1815 года узнаем характерные «батюшковские» черты — мифологические образы, устойчивые формулы условного поэтического языка («час упоений», «крыло мечтаний», «звезда свиданий», «таинственный свод», «шепот вод» и т. д.).

В раннем творчестве Вяземского представлены элегии, песни, альбомные стихи и проч. Но подлинное призвание раннего Вяземского, сфера его поэтической самобытности не в альбомных мелочах и даже не в элегической лирике, в которой Жуковский и Батюшков утверждали новое понимание душевной жизни. Вяземский — присяжный сатирик «Арзамаса», бессменно стоящий в первом его боевом ряду, всегда готовый пустить эпиграммой в Шишкова, Хвостова, Кутузова, Карабанова, Шаховского и прочих столпов «Беседы». Наряду с этим Вяземский, уже в начале своего литературного поприща, выступает как мастер излюбленного арзамасского жанра — дружеских посланий.

В конце XVIII — начале XIX века просвещенное русское дворянство создавало литературу, свободную от всякой официальности и парадности. Оно стремилось выразить в этой литературе свои идеи, переживания, вкусы, свой быт. Самое интимное, «домашнее» выражение жизни осуществлялось в так называемых дружеских посланиях, с их культом независимости, изящного «безделья», с их враждой ко всему официальному и казенному. Образцы дружеских посланий в русской литературе дали Карамзин и Дмитриев, за ними последовали Жуковский, Батюшков, Вяземский, молодой Пушкин.

В 1810—1820-х годах Вяземский создает ряд посланий к Жуковскому, Батюшкову, Блудову, Денису Давыдову, А. Тургеневу. В посланиях поэтические условности, мифологические атрибуты и прочее своеобразно сочетаются с элементами конкретной, эмпирической обстановки. Элегическая лирика карамзинистов замыкалась в кругу специально поэтического языка; в дружеском же послании поэт не считает нужным сохранять однородность просеянного слога. В его речь проникают обиходные слова и шуточные, домашние словечки:

Иль, отложив балясы стихотворства
(Ты за себя сам ритор и посол),
Ступай, пирог, к Т⟨ургеневу⟩ на стол,
Достойный дар и дружбы и обжорства!

(«Послание к Т⟨ургеневу⟩ с пирогом»)

Шуточный тон дружеских посланий открывал дорогу бытовому, конкретному слову, расширяя возможности лирической поэзии.[1] При этом чрезвычайно важно, что, несмотря на бытовой и шуточный элемент, дружеские послания вовсе не попадали в разряд комических жанров. Лиризм, раздумье, грусть находили в них доступ. Дружескому посланию принципиально была присуща эмоциональная — тем самым и стилистическая — пестрота; впоследствии мы находим ее в лирических отступлениях «Евгения Онегина», поднятую на новый поэтический уровень.

2

Молодой Вяземский принадлежал к той общественной прослойке, которая считала себя солью русской земли и с гордой уверенностью смотрела в будущее. Он знатен, и в то же время он просвещенный дворянин, носитель передовых настроений и мыслей. Традиции русского вольтерьянства, религиозного вольнодумства, просветительской философии сочетаются в его сознании с патриотическим воодушевлением периода наполеоновских войн, с политическими требованиями и чаяниями, которые это воодушевление вызвало к жизни. Занятия литературой, при всем их принципиальном дилетантизме, осознаются в своей важной общественной функции — построения новой русской культуры, борьбы за нее против староверов и рутинеров. На сегодняшний день — независимость, литературное «аматёрство», светские успехи; в будущем — обеспечено гражданское поприще большого масштаба, государственная деятельность ждет князя Вяземского.[2]

Из этих ожиданий, казалось бы столь несомненных, ничто не осуществилось.

Либеральные иллюзии и чаяния скоро разбились о реакционную политику Александра I: на международном поприще — Священный

[1] Этой конкретности не следует, впрочем, придавать чрезмерное значение. Предметный мир дружеского послания — это наборы условных и устойчивых атрибутов бытия его героя — мудреца, эпикурейца и «ленивца».

[2] Таково социальное самосознание молодого деятеля; оно не исключало личной склонности Вяземского к меланхолическим настроениям.

союз трех деспотов — русского и австрийского императоров и прусского короля; внутри страны — аракчеевщина. Перелом в жизни Вяземского совпал с периодом, когда складывались декабристские организации (1817—1818). В 1818 году распался «Арзамас». Перед самым концом была предпринята неудавшаяся попытка придать этому литературному обществу новое направление. Вместе с декабристом М. Ф. Орловым Вяземский принадлежал к числу сторонников включения общественно-политических вопросов в сферу деятельности «Арзамаса»; в 1817 году он составил проект издания арзамасского литературно-политического журнала.[1]

В 1817 году Вяземский принял решение поступить на службу (о чем он подумывал еще в 1815 году). Этого требовали прежде всего материальные обстоятельства, так как двадцатипятилетний Вяземский успел, по собственному его выражению, «прокипятить» на картах полмиллиона. К тому же на Петра Андреевича оказывали давление старые друзья его отца, считавшие, что наследнику имени Вяземских пора занять в обществе место, принадлежащее ему по праву рождения.

Когда нужда в деньгах и родовая честь вынудили Вяземского избрать себе служебное поприще, он вступил на него не как исполнительный чиновник, заранее готовый угождать начальству, но как человек с определенными политическими идеями и пожеланиями.

Осенью 1817 года Вяземский ушел из Межевой канцелярии, где все еще числился, и был определен в Варшаву (выехал туда в феврале 1818 года), в канцелярию Н. Н. Новосильцева, который с 1815 года носил звание полномочного делегата при Правительствующем совете Царства Польского. Новосильцев поручил Вяземскому иностранную переписку, а также переводы и редактуру бумаг государственного значения. В 1818 году Вяземский, в частности, переводил речь, произнесенную Александром I на открытии польского сейма. Речь эта, выдержанная в либерально-конституционном духе, возбудила надежды на преобразование русского государственного строя. В том же году Вяземский был привлечен к участию в подготовке проекта конституции для России (Государственная уставная грамота Российской империи). Этот втайне разрабатывавшийся проект был положен под сукно. Такая же участь постигла записку по вопросу об освобождении крестьян, поданную Александру за подписью Вяземского и еще нескольких лиц (1820 год).

Карьера, на которую Вяземский мог рассчитывать по своему происхождению и положению в обществе, пресеклась в самом начале. В 1821 году Вяземский был отстранен от службы и удален из Варшавы. В литературе о Вяземском преобладает мнение, что за-

---

[1] См.: «Арзамас и арзамасские протоколы». С. 239—242.

прещение вернуться из отпуска к месту службы было вызвано «польскими симпатиями» Вяземского и полицейской перлюстрацией его писем, содержавших крайне резкую критику действий правительства. Ю. М. Лотман в качестве главной причины удаления Вяземского из Варшавы выдвигает его тесные связи с антиправительственно настроенными молодыми представителями русского общества Варшавы, в частности с кружком вольнодумцев офицеров лейб-гвардии Литовского полка. Наиболее активные из них были преданы суду и разжалованы в солдаты.[1]

Ю. М. Лотману возражает С. С. Ланда, настаивая на версии «польских симпатий» и перлюстрации писем.[2] «Что же касается, — утверждает С. Ланда, — событий в Литовском полку (разгром в 1822 году кружка оппозиционных офицеров), то они не имели никакого отношения к высылке Вяземского, так как произошли едва ли не спустя год после нее».[3]

В 1820—1821 годах политическая тема достигает высшего накала в стихах Вяземского, в его обширных письмах к друзьям.[4] В цитированной уже статье Ю. М. Лотман показал, насколько Вяземский был близок к установкам декабристского Союза благоденствия, как энергично он действовал в духе просветительских задач этой организации, оставаясь в то же время чужд конспиративной тактике декабристов. В 1821 году на месте умеренного Союза благоденствия возникли Северное и Южное тайные общества с их ориентацией на военный переворот. Это был сигнал к отчетливому размежеванию революционных и либеральных элементов в декабристских и околодекабристских кругах. Вяземский остался на прежних позициях. Идеологически это отдалило его от декабристов в последние годы перед восстанием. Все же он поддерживал литературные и личные отношения с группой «Полярной звезды», самой боевой

---

[1] См.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // «Ученые записки Тартуского государственного университета». Тарту, 1960. Вып. 98. С. 82—112.

[2] Этой точки зрения придерживается и австрийский исследователь Г. Вытженс в своей обстоятельной монографии о Вяземском. См.: Wytrzens G. Pjotr Andreevič Vjazemskij. Studie zur russischen Literatur und Kulturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Wien, 1961. S. 27—34.

[3] Ланда С. С. Дух революционных преобразований: Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. М., 1975. С. 357.

[4] Особенно обширную систематическую переписку Вяземский вел с А. И. Тургеневым, вплоть до смерти Тургенева в 1845 г. Переписка эта издана в первых четырех томах «Остафьевского архива князей Вяземских». Спб., 1899—1909. См. также: «Архив братьев Тургеневых». Пг., 1921. Т. 1. Вып. 6: Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским (1814—1833).

в Северном обществе. Характерно, что именно Александр Бестужев, соиздатель альманаха, сделал попытку вовлечь Вяземского в тайное общество. Таким образом, о существовании общества Вяземский не только догадывался — он знал. Знал, но уклонился.[1] В 1825 году, примерно за три месяца до восстания, Вяземский с горечью писал Пушкину: «Оппозиция — у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя... если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа».[2]

Оппозиционные настроения Вяземского отразились в ряде его сатирических и вольнолюбивых стихотворений — «Сибирякову», «Петербург», «Уныние», «Во имя хартии свободы...», «Деревня», «Куда летишь? К каким пристанешь берегам...» и других. В ноэле («Спасителя рожденьем...») наряду с выпадами против литературных врагов — шишковцев развернута острая сатира на министров и прочих сановников Александра I. Вот, например, строфа, посвященная сибирскому генерал-губернатору Пестелю:

Пронырливый от века
Сибирский лилипут,
Образчик человека,
Явился Пестель тут.
«Что правит бог с небес землей — ни в грош не ставлю;
Диви, пожалуй, он глупцов,
Сибирь и сам с Невы брегов
И правлю я, и граблю!»

Басня «Доведь» направлена не только против временщиков вообще, но непосредственно метила и в Аракчеева.

Ряд вольнолюбивых и сатирических стихотворений («Петербург», «Цветы», «Воли не давай рукам», «В шляпе дело», «Того-сего», «Давным-давно») Вяземский печатает в «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева. Издатели «Полярной звезды» дорожили со-

---

[1] В позднейших примечаниях к своей «Исповеди» 1829 г. Вяземский писал, явно смягчая картину: «Некоторые попытки, разумеется, весьма неопределенные и загадочные, были пущены на меня, но нашли во мне твердое отражение» (Вяземский П. А. Т. 9. С. 107). Материал об отношениях Вяземского с декабристами собран в статье: Кутанов Н. [Дурылин С. Н.] Декабрист без декабря // «Декабристы и их время». М., 1932. Т. 2. С. 201—290.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 222. В дальнейшем ссылки на переписку Вяземского с Пушкиным и на заметки последнего даются по этому изд. ([М.; Л.], 1937—1949, Т. 1—16) сокращенно — с указанием тома и страницы.

трудничеством Вяземского. 20 февраля 1825 года Рылеев писал ему: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что, однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое Вы себе избрали, дремать не должно: давайте нам сатиры, сатиры и сатиры».[1]

Нашумевшее в свое время «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820) имело целью защитить Карамзина от нападок его врагов, но и в это послание проникли политические, вольнолюбивые мотивы:

Внемлите, как теперь пугливые невежды
Поносят клеветой высоких душ надежды.
На светлом поприще гражданского ума
Для них лежит еще предубеждений тьма...
...В превратном их уме свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.

Центральное место среди вольнолюбивых произведений Вяземского этой поры занимает стихотворение «Негодование» (1820), широко распространявшееся в списках.

В «Негодовании» Вяземский говорит о бесчеловечных формах крепостного гнета, о деспотизме власть имущих:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

В то же время в «Негодовании» ясно видно, сколь умеренны были политические требования Вяземского, его практическая программа. С. Ланда пишет по этому поводу: «...В написанных почти одновременно стихотворениях «Негодование» и «Табашное послание» Вяземский — пламенный обличитель всех язв современной ему России, трибун, возвещающий неизбежное торжество свободы над силами невежества и рабства, и вместе с тем осторожный и умеренный политик, рекомендующий обращаться лишь к легальным формам борьбы».[2]

---

[1] «Литературное наследство». М., 1954. Т. 59. С. 145.

[2] Ланда С. С. Дух революционных преобразований. М., 1975. С. 226.

В «Негодовании» поэт обращается к свободе:

Ты разорвешь рукой могущей
Насильства бедственный устав
И на досках судьбы грядущей
Снесешь нам книгу вечных прав,
Союз между граждáн и троном,
Вдохнешь в царей ко благу страсть,
Невинность примиришь с законом,
С любовью подданного — власть.

Подобные иллюзии были еще распространены на рубеже 1820-х годов. Молодой Пушкин тоже писал:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя?

Отход от гармонического стиха карамзинской школы, от подражаний французским «легким» поэтам намечается в творчестве Вяземского именно в тот период, когда ему пришлось искать средства для выражения общественных идей, выходивших за пределы кругозора писателей сентиментализма.

Для Вяземского поэзия мысли, которую он неустанно пропагандирует, — не поэзия философских умозрений, но поэзия сочувствия и соответствия обществу. Понятно, что творческие задачи, стоявшие перед Вяземским 1820-х годов, не могли быть разрешены средствами карамзинской школы с ее гармонической поэтикой. Полемический темперамент Вяземского, его интерес к быту, к политике и злободневности не укладывались в эти границы.

По групповым и тактическим соображениям Вяземский в печати тщательно избегал всего, что могло прозвучать полемикой с Карамзиным, но практически он был принужден искать новые средства художественного выражения на путях, далеких от традиций учителя. Вяземский знал и ценил литературную культуру XVIII века, культуру Державина и Фонвизина, во всей ее широте, не только с «высоким штилем», но и с просторечием и со всей стилистической самобытностью и смелостью. Языковая культура XVIII века открывала возможности решения новых и актуальных литературных задач.

У Вяземского подобного рода тенденции наиболее отчетливо сказались в его опытах политической оды (одическими стихами он откликается уже на события Отечественной войны 1812 года). Обращение к оде было естественно: торжественная и приподнятая одическая речь как бы придавала особую значительность высокому

предмету произведения. Наряду с официальной, придворной одой существовала вольнолюбивая ода Радищева, Рылеева, молодого Пушкина. К традициям вольнолюбивой оды примыкает и «Негодование» Вяземского:

Но ветер разносил мой глас, толпе невнятный.
Под знаменем ее владычествует ложь;
Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.

Приподнятость тона, нагромождение образов, обилие славянских слов (глас, чело, председит и т. д.) — всем этим «Негодование» приближается к оде XVIII века. Наряду с одической традицией Вяземский развивает сложившуюся в XVIII веке традицию сатиры, эпиграммы, сатирической басни. Излюбленная его стиховая форма — куплеты с повторяющимся, иногда варьирующимся припевом; куплеты сатирического содержания — от обличения взяточников до литературной полемики со старовером Каченовским.

В своих литературных опытах молодой Вяземский выступает и как ученик французских просветителей, и как наследник национальной культуры русского XVIII века.

Но вот на рубеже 1820—1830-х годов возникают толки и споры о романтизме — и каждый активный русский писатель этой поры должен определить теперь свое отношение к новому кругу вопросов.

3

В своих критических и полемических статьях 1820-х годов[1] Вяземский выступает как один из самых энергичных защитников и пропагандистов нового, романтического направления. Для понимания деятельности Вяземского этих лет необходимо поставить вопрос: чем же был романтизм для этого человека, смолоду впитавшего рационалистическую, просветительскую культуру XVIII века?

Декабристский романтизм 1820-х годов — это совершенно своеобразная национальная форма романтизма. О западноевропейском романтизме конца XVIII — начала XIX века Маркс говорил, что

[1] О Вяземском-критике см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 173—182, 201—213, 280—313; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969 (главы 3, 4, 5, 7, 10); Дерюгина Л. В. Эстетические взгляды П. А. Вяземского // П. А. Вяземский. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 7—42.

это — «первая реакция на французскую революцию и связанное с ней Просвещение».[1] Романтизм то смыкался с церковной и монархической идеологией, то выступал как революционный, протестующий. Но самый характер романтического протеста также определялся послереволюционной атмосферой. Примером в первую очередь является байронизм с его трагическим индивидуализмом, «демонизмом», разочарованием.

Понятно, что деятелям 1810—1820-х годов, выступавшим в условиях подготовки дворянской революции, гораздо ближе те явления мировой культуры, которые связаны с предреволюционным и революционным подъемом: просветительская философия, руссоизм, радикальный сентиментализм, выдвинувший проблемы народности и истории.

Создание самобытной национальной литературы, раскрывающей насущные жизненные вопросы, — вот великая культурная задача, поставленная передовыми людьми 1820-х годов (разрешена она была позднее). Поэтому из круга романтических идей в качестве основной выделяется идея народности, на Западе созревавшая еще в недрах позднего Просвещения, проникшая в романтическую идеологию как наследие умственного движения, возбужденного Лессингом, Гердером, Гёте.

Русская просветительская идеология могла быть выражена художественными средствами классицизма, особенно гражданского классицизма с его вольнолюбивыми аллюзиями. В 1820-х годах на рационалистическую почву начинают наслаиваться романтические темы, романтические литературные формы. Гражданственный классицизм и революционный романтизм своеобразно скрещиваются в своей трактовке героической личности, хотя исходят при этом из разных социальных и философских предпосылок.[2]

С одной стороны, герой с его страстями и с его гражданственностью, герой — тираноборец, отчизнолюбец. С другой стороны, мощный протестующий дух, романтическая «избранная личность». В декабристском романтизме они порою сливаются. Творчество Байрона воспринимается в первую очередь как могучая проповедь тираноборчества и свободы. Байроновский трагизм в какой-то мере находит себе соответствия в глубоких противоречиях, присущих сознанию дворянских революционеров, — в скептицизме, в иронии, от которых до конца не свободны даже некоторые активные декабристы, а тем более люди декабристской периферии.

---

[1] Письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 25 марта 1868 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. Т. 32. С. 44.
[2] См.: Гинзбург Л. Проблема личности в поэзии декабристов // Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982.

В сознание Вяземского романтизм входит именно через поэзию Байрона, о котором Вяземский говорил: «Краски его романтизма часто сливаются с красками политическими».[1] Вяземский знакомится с поэзией Байрона в 1819 году, и его письма этой поры отражают потрясающее воздействие этого открытия. «Я все это время купаюсь в пучине поэзии, — пишет Вяземский А. Тургеневу из Варшавы, — читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов!» И характерно, что далее, в том же письме, Вяземский связывает байронизм с собственными своими неудовлетворенными порывами к жизни деятельной, насыщенной, напряженной: «Это также мой сон: или за Байроном пуститься по всему свету вдогонку за солнцем, или в губернском правлении — за здравым рассудком и правдою, бежавшими из России, или... Развернитесь скорее передо мною, туманные завесы будущего! Раскройте бездну, которая пожрет меня, или цель, достойную человека! Полно истощевать мне силы в праздных и неопределенных шатаньях! Судьба, промысел, боже, случай, направьте шаги мои!.. Я не по росту своему шагаю, не туда иду, куда глаза глядят, куда чутье манит, куда сердце призывает. Там родина моя, где польза или наслажденье, а здесь я никого не пользую и ничем не наслаждаюсь. Сделайте со мною один конец, или выведите мою жизнь на свежую воду, или и концы в воду! Вот тебе и моего байронства».[2]

Для Вяземского декабристской поры романтизм — это прежде всего литературное выражение вольнолюбия, поэзия народов, борющихся за независимость, и личностей, протестующих против угнетения. При этом романтическое раскрепощение литературной формы находит у Вяземского политические аналогии. «Провалитесь вы, классики, с классическими своими деспотизмами! Мир начинает узнавать, что не народы для царей, а цари для народов; пора и вам узнать, что не читатели для писателей, а писатели для читателей»,[3] — пишет Вяземский А. Тургеневу в 1819 году.

И романтизм как освободительное движение в литературе, и романтизм как новую поэзию, развивающуюся на основе народности, Вяземский, рационалист и ученик просветителей, воспринял органически. В то же время он равнодушен к «туманному» немец-

---

[1] «Остафьевский архив». Т. 2. С. 171.

[2] «Остафьевский архив». Т. 1. С. 326—328. О восприятии творчества Байрона его русскими современниками см.: Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII — первая половина XIX в.) // «Литературное наследство». М., 1982. Т. 91. С. 428—448 и др. (по указателю имен).

[3] «Остафьевский архив». Т. 1. С. 359.

кому романтизму с его идеалистической эстетикой, натурфилософией, религиозными устремлениями. В романтизме Вяземский увидел то, что было в нем наименее «мечтательным» и наиболее позитивным, то, что в эпоху доромантическую было уже намечено самыми смелыми и последовательными умами позднего Просвещения: интерес к историческому, национальному, идею освобождения личности, борьбу за новые свободные формы в искусстве. Именно эти взгляды на романтизм Вяземский выразил в своих программных статьях 1820-х годов, посвященных «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану», «Цыганам» Пушкина.

Не случайно, что самые веские критические высказывания Вяземского 1820-х годов связаны с Пушкиным. В этом как бы отразилось особое значение Пушкина в творческой судьбе Вяземского. Оно было решающим, несмотря даже на то, что Вяземскому свойственна своего рода недооценка Пушкина (к этому я еще вернусь).

Отношения между поэтами завязались, когда Пушкин был еще лицеистом и видел в Вяземском одного из своих учителей; они продолжались до смерти Пушкина. В конце 1810-х и первой половине 1820-х годов Пушкин и Вяземский встречались не часто. Вяземский жил в Москве, а с 1818 года — в Варшаве, потом их разлучила ссылка Пушкина. И все же в эти годы Вяземский — один из ближайших друзей Пушкина, с которым он ведет постоянную, оживленную переписку, очень важную по затрагиваемым темам. После приезда, в 1826 году, Пушкина из Михайловского в Москву начинается период частых дружеских встреч. Позднее — в 1830-х годах — в отношениях Вяземского и Пушкина наступило заметное охлаждение, но и в 1836 году Вяземский — деятельный сотрудник пушкинского «Современника».

Через все перипетии не всегда ровных личных отношений проходят неизменные творческие контакты. Взаимное воздействие, взаимные высокие оценки, реминисценции, явные и скрытые цитаты — все это неоднократно отмечалось нашими историками литературы. Постановка проблемы поэтического взаимодействия Вяземского и Пушкина принадлежит И. Розанову.[1] Далее эту тему более или менее подробно разрабатывали М. Алексеев, П. Бицилли, С. Бочаров, В. Вацуро, М. Гиллельсон, К. Соколова, И. Тойбин, Г. Фридлендер. Из отдельных сопоставлений и наблюдений возникает связная картина творческих отношений Пушкина и Вяземского. Начиная с 1820-х годов влияние Пушкина активно формировало Вяземского-поэта. Некоторые же стихи Вяземского явились прямым откликом

---

[1] См.: Розанов И. Н. Князь Вяземский и Пушкин (К вопросу о литературных влияниях) // Беседы. Сб. Общества истории литературы в Москве. М., 1915, Т. 1. С. 57—76.

на произведения Пушкина. Например, «Дорожная дума» — на «Дар напрасный, дар случайный...», «Еще тройка» — на «Бесы» и т. д.

В свою очередь в творческой памяти Пушкина прочно хранились стихи Вяземского и от времени до времени всплывали то эпиграфом (к «Евгению Онегину», к «Станционному смотрителю»), то реминисценцией, то упоминанием в примечании (к «Онегину», к «Медному всаднику»). Можно считать установленным, что стихотворение Вяземского «Петербург» использовано Пушкиным в «Деревне», а позднее в «Арапе Петра Великого» и что это произведение является одним из источников «Медного всадника». В «Станционном смотрителе» с его эпиграфом из стихотворения Вяземского «Станция» исследователи отмечают своего рода полемику с этим произведением — противопоставление русского и польского вариантов темы почтовой станции и ее обитателей.[1]

К. Соколова проследила за той длительной второй жизнью, которую обретает в поэзии Пушкина элегия Вяземского «Первый снег».

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях...

Наряду с эпиграфом к первой главе «Евгения Онегина» эти строки из третьей строфы пятой главы — самое прямое обращение Пушкина к элегии «Первый снег». Но есть и реминисценции менее заметные. В первоначальной редакции первой главы, в строфе IX (в окончательном тексте заменена точками) имеется строка: «Летит горячность молодая», у Вяземского: «скользит горячность молодая». С «Первым снегом» перекликаются описания зимы в четвертой и седьмой главах «Евгения Онегина», в стихотворениях «Зима. Что делать нам в деревне...», «Зимнее утро», «Осень». В ряде случаев у Пушкина нет явного цитирования Вяземского, но есть *напоминание* о его элегии.

---

[1] См.: Фридлендер Г. М. Поэтический диалог Пушкина с П. А. Вяземским // Пушкин. Исследования и материалы. Л. 1983. Т. 11. С. 170—173. В этой статье имеются библиографические указания на основные работы, посвященные теме «Пушкин и Вяземский».

[2] См.: Соколова К. И. Элегия П. А. Вяземского «Первый снег» в творчестве Пушкина // Проблемы пушкиноведения. Л., 1975. С. 67—86.

В качестве эпиграфа к первой главе строка из «Первого снега» «И жить торопится и чувствовать спешит» переосмыслена; изъятая из любовно-элегического контекста, она стала девизом *современного человека*, художественному исследованию которого посвящен «Евгений Онегин».

Эпиграф появился только во втором его издании, в 1829 году. Вяземский именно в этом году работал над своим переводом романа Бенжамена Констана «Адольф», в котором и он и Пушкин видели замечательный опыт изображения современного человека, охлажденного и разочарованного.[1] «Адольф» вышел в 1831 году,[2] но уже в конце 1829-го Пушкин посвятил готовящемуся переводу исполненную заинтересованности заметку (напечатана в первом номере «Литературной газеты» за 1830 год). «Бенжамен Констан,— писал в ней Пушкин,— первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона».[3] Вяземский в предисловии к переводу повторил формулировку Пушкина: «Характер Адольфа верный отпечаток времени своего. Он прототип Чайльд Гарольда и многочисленных его потомков».[4]

Так Вяземский переводом «Адольфа» возобновил с Пушкиным диалог о современном, романтическом человеке, начатый несколькими годами ранее по поводу персонажей пушкинских южных поэм (кавказского пленника, Алеко).

Споры вокруг романтизма приобретают в России особую остроту именно с появлением южных поэм Пушкина, выдвинувших новые для русской поэзии проблемы — героя и характера. «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», напечатанный Вяземским в виде предисловия к первому изданию «Бахчисарайского фонтана»,— в эти годы самое яркое теоретическое выступление в защиту романтизма и Пушкина. Статья была воспринята как манифест нового направления. В апреле 1824 года Пушкин писал Вяземскому по поводу этой статьи: «Не знаю, как тебя благодарить; Разговор — прелесть, как мысли,

---

[1] См.: «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // Анна Ахматова о Пушкине: Статьи и заметки: 2-е изд., дополненное. Горький, 1984. С. 51—89.

[2] Адольф. Роман Бенжамен-Констана. Спб., 1831. Издание открывалось посвящением Пушкину. Вяземский в нем писал: «Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно я относился к суду твоему, в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть. . .»

[3] Пушкин А. С. Т. 11. С. 87.

[4] Вяземский П. А. Т. 10. С. VII.

так и блистательный образ их выражения. Суждения неоспоримы. Слог твой чудесно шагнул вперед».[1]

Ведущим деятелям русской культуры первой половины 1820-х годов присуще равнодушие к философским истокам и обоснованиям романтизма (в отличие от «любомудров» и вообще русских романтиков, действовавших уже в последекабристский период). Это равнодушие приводило к своеобразным противоречиям: защита романтизма сочеталась со скептическим отношением к самому понятию, к термину *романтизм*. Скептические суждения по этому поводу неоднократно высказывал Пушкин. Но он же пользовался формулой «истинный романтизм», применяя ее к своим творениям. Скептицизм характерен и для многих высказываний Вяземского. Даже в своих статьях 1820-х годов он отмечает неопределенность понятий классического и романтического. В «Письмах из Парижа» (1826—1827) Вяземский писал: «Нет сомнения, что так называемый романтизм (надобно, кажется, непременно ставить или подразумевать оговорку: «так называемый» перед словом романтизм, ибо название сие не иначе, как случайное и временное; настоящий крестный отец так называемого романтизма еще не явился) дает более свободы дарованию; он покоряется одним законам природы и изящности, отвергая насильство постановлений условных».[2]

В первой половине 1820-х годов Вяземский-критик выступает как защитник и истолкователь русского романтизма; в собственную же его поэтическую практику новые веяния нашли доступ, ограниченный иными навыками и традициями.

В русской лирике 1820-х годов — в первую очередь у Пушкина и Боратынского — новые веяния породили стремление к изображению индивидуальных явлений душевной жизни, тем самым к освобождению от готовых, повторяющихся элегических формул, суммарно обозначавших чувство и настроение.

В 1818 году написано послание Вяземского к Ф. И. Толстому. В целом это типичное арзамасское шуточное послание, но первые одиннадцать строк — характеристика Толстого — выпадают из общего тона. Здесь Толстой уже не условный адресат карамзинистских дружеских посланий; перед нами — психологический портрет:

Под бурей рока — твердый камень!
В волненье страсти — легкий лист!

Эти строки послания Пушкин воспринял как ключ к романтическому характеру, — он хотел взять их эпиграфом к «Кавказскому

---

[1] Пушкин А. С. Т. 13. С. 91.
[2] Вяземский П. А. Т. 1. С. 226.

пленнику» и отказался от своего намерения только из-за личных столкновений с Федором Толстым.

Однако все это лишь разрозненные психологические штрихи. «Первый снег» — «романтичен» не столько трактовкой лирически-психологической темы, сколько тем, что в условный, отрешенный от повседневной действительности элегический мир внесено национальное начало. Лирическая тема вплетается в подробности описания русской природы:

Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной сóсне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары, и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.

В 1819 году Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я себя называю природным русским поэтом потому, что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское: русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское рождество [1] и пр. и пр.; вот что я пою. В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего. Возьми Дмитриева, — только в лирике слышно русское наречие и русские имена; все прочее — всех цветов и всех голосов, и потому все без цвета и все без голоса... Вот, моя милуша, отчего я пойду в потомство с российским гербом на лбу, как вы, мои современники, ни французьте меня. Орловский — фламандской школы, но кто русее его в содержаниях картин?» [2]

Репутацию лирического поэта создали Вяземскому две элегии 1819 года — «Первый снег» и «Уныние» (обе высоко ценил Пушкин).

«Уныние» представляет собой своеобразное скрещение жанров — это своего рода политическая элегия, в которой личная, лирическая тема тесно связана с темой гражданской. И тут сразу сказывается закваска XVIII века. Высокая гражданская тематика в поэзии Вяземского неизменно вызывала одический стиль («Негодование», «Море», «К ним» и т. д.). В «Унынии» элегическо-романтическое заглавие, элегическая интонация сочетаются со славянизмами, архаическими оборотами, затрудненным синтаксисом:

---

[1] Вяземский имеет в виду свой ноэль «Спасителя рожденьем...»

[2] «Остафьевский архив». Т. I. С. 376—377. О художнике А. О. Орловском см. в наст. изд. примеч. к стихотворению «Памяти живописца Орловского».

Кумир горящих душ! Меня не допустила
Судьба переступить чрез твой священный праг,
И, мой пожравшая уединенный прах,
Забвеньем зарастет безмолвная могила.

Поэзия Вяземского не могла органически проникнуться романтизмом прежде всего потому, что Вяземскому присуще иное понимание личности в ее отношениях с обществом. В 1820-х годах Вяземский-теоретик выступает в защиту романтизма, но Вяземскому — поэту той поры, в сущности, чужд погруженный в себя лирический герой, тон исповеди, непосредственное обнаружение «внутреннего человека».

К «внутреннему человеку» еще в конце XVIII — начале XIX века обратился русский сентиментализм, окружив его атмосферой чувствительного морализирования, напряженного внимания к движениям «сердца и воображения». Этот тон душевной жизни отразился в произведениях и письмах Карамзина, Жуковского, братьев Тургеневых, но не Вяземского, взращенного на культуре русского вольтерьянства, с первых шагов впитавшего рационализм.

Впоследствии русский последекабристский романтизм культивировал самоуглубление, самоосознание, романтическую любовь, склонную исповедоваться, романтическую дружбу, требовательную, исполненную конфликтами и примирениями. Все это питало культуру 1830—1840-х годов, и мимо всего этого Вяземский прошел, как человек другого поколения.

У Вяземского не оказалось бы недостатка в материале, если бы он захотел пойти по пути автопсихологических признаний. Вяземский был ипохондриком, подверженным длительным припадкам хандры и подавленности. Ему пришлось пережить почти всех своих детей (за исключением одного сына), испытать множество сердечных увлечений, крушение честолюбивых надежд, тяжелые, оскорбительные отношения с правительством — и все это оставило лишь скупые следы в его гигантской переписке, в его записных книжках, меньше всего похожих на исповедь, на интимный дневник. То же относится к лирике Вяземского, за исключением поздней (к ней я еще вернусь). Эпистолярная и мемуарно-документальная проза Вяземского была выражением того внешнего человека, каким Вяземский являлся в обществе и каким описал его современник: «Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо, ни на какое другое не похожее... Он был женат, был уже отцом, имел вид серьезный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Нетрудно было угадать, что много мыслей роится в голове его, но с первого взгляда никто не мог бы подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце;

эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен, как француз прежнего времени; с мужчинами холоден, как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка».[1]

В 1810—1820-х годах Вяземский занят не индивидуалистическим, самоуглубляющимся человеком, но человеком в его деятельности, в его гражданской функции. Себя и своих друзей в эту пору он мыслит как представителей самого образованного, свободомыслящего, богатого силами слоя русского общества.

Всем этим настроениям положила конец декабрьская катастрофа.

4

Опальное существование Вяземского началось в 1821 году. Он не служит, деятельно занимается литературой. Много времени проводит с семьей в родовом подмосковном имении Остафьево. К этой поре относится эпизод сотрудничества Вяземского с Грибоедовым. Они познакомились в Москве, в апреле 1823 года. В конце того же года написали совместно водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом».

Вяземскому, недавно вернувшемуся из Варшавы, принадлежит «польский колорит» пьесы и, в основном, ее стихотворная часть. В январе 1824 года водевиль был поставлен, успеха у публики не имел и быстро сошел со сцены. Авторы этому своему произведению не придавали значения и даже не пожелали объявить на афише свои имена.

В статье «Дела иль пустяки давно минувших лет» (1873) Вяземский рассказал о соавторстве с Грибоедовым и о том, что он был из числа первых слушателей «Горя от ума», которое Грибоедов прочитал ему с глазу на глаз.

В 1824—1825 годах Вяземский и Грибоедов объединились в полемике с М. А. Дмитриевым и А. И. Писаревым, которые напали сначала на водевиль, а позднее выступили в «Вестнике Европы» против «Горя от ума», частично напечатанного в «Русской Талии» на 1825 год. Враждующие стороны обменивались язвительными эпиграммами.[2] К 1824 году относится и полемика Вяземского с М. Дми-

---

[1] Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892. Ч. 4. С. 123.

[2] См. «Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века». Л., 1975. (Б-ка поэта, БС). С. 261—262, 281—282, 356—357, 723, 733—734. В своих позднейших мемуарных записях (публиковались частично в 1840-х гг., изданы в 1854-м) М. А. Дмитриев, умалчивая о столкновениях с Вяземским, упоминает его с уважением (см.: Дмитриев М. А. Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985. С. 223, 266).

триевым по поводу предисловия к «Бахчисарайскому фонтану»; Дмитриев обвинял его в недооценке национального своеобразия русской литературы и в неясности определения понятия *романтизм.*

Вяземский поддержал Грибоедова в журнальной борьбе, но отношение его к «Горю от ума» было не однозначным. О комедии Грибоедова Вяземский говорит, кроме упомянутой статьи, в книге «Фонвизин» (1830), в статьях 1860—1870-х годов «Допотопная или допожарная Москва», «Грибоедовская Москва» (помещены в т. 7 Полного собрания сочинений). В сдержанном тоне Вяземский неизменно признавал «Горе от ума» замечательным явлением русской драматургии, он подчеркивал, что один из первых приветствовал пьесу Грибоедова, и тут же переходил к критическим замечаниям. Они касались и образа Чацкого, некстати взывающего к тем, кто не может его понять (об этом писал и Пушкин), и несценичности комедии, и даже ее языка: «...Небрежность языка и стихосложения доведены в ней иногда до непростительного своеволия...» («Фонвизин»).[1] В поздних статьях Вяземский, отдавая дань таланту Грибоедова, выдвигает концепцию «антигрибоедовской Москвы», Москвы Карамзина, И. И. Дмитриева, Нелединского-Мелецкого, князя Андрея Ивановича Вяземского. «Пора, наконец, перестать искать Москву в комедии Грибоедова. Это разве часть, закоулок Москвы. Рядом... была другая, светлая, образованная Москва. Вольно же было Чацкому закабалить себя в темной Москве» («Грибоедовская Москва»).[2] Суждение, характерное для Вяземского, с его культом высоких традиций прошлого.

В 1823—1825 годах Вяземский и Грибоедов активно общались, но личная, дружеская близость между ними не возникла. До конца своих дней Вяземский в стихах и прозе возвращался к воспоминанию об ушедших из жизни друзьях — от Карамзина и Дмитриева до Пушкина, Боратынского, Языкова,[3] но имя Грибоедова не встречается в поминальных списках поэта.

В конце 1825 года Грибоедов после двухлетнего отпуска вернулся на Кавказ, к своим служебным обязанностям. Там в 1826 году он был арестован по подозрению в принадлежности к тайному об-

---

[1] Вяземский П. А. Т. 5. С. 143.

[2] Там же. Т. 7. С. 378.

[3] См., например, стихотворение «Поминки» («Дельвиг, Пушкин, Боратынский...»), датируется предположительно 1864 г. Об отношениях Вяземского с Боратынским см. монографию норвежского исследователя: Хетсо Гейр. Евгений Боратынский: Жизнь и творчество. Осло; Берген, 1973, по указателю.

ществу. Вяземского дело декабристов не коснулось так прямо, но оно потрясло его до глубины:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.

Это строфа из стихотворения «Море», написанного летом 1826 года, после того как до Вяземского в Ревель дошло известие о казни пяти декабристов. Посылая «Море» Пушкину, Вяземский писал: «Ты скажешь qu'il faut avoir le diable au corps pour faire des vers par le temps qui court.[1] Это и правда! Но я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе».[2]

Вяземский не принадлежал к декабристским организациям, но атмосфера дворянской революционности питала его мысли, его поэтическое творчество. Он крайне болезненно пережил расправу над декабристами, среди которых было столько людей, лично и идеологически ему близких. В записных книжках есть ряд откликов на суд, на казнь — все они полны сарказма и гнева.[3] Но после разгрома восстания возможности активной дворянской оппозиции были исчерпаны; к концу 1820-х годов Вяземский скрепя сердце пришел к убеждению, что нет у него другого пути, как искать примирения с правительством.

Вяземскому припомнили грехи его либеральной молодости. Так он получил решительный отказ на свою просьбу о прикомандировании к главной квартире во время турецкой кампании 1828—1829 годов. В крайне оскорбительной форме ему запретили издавать газету, которую притом он издавать не собирался. В 1829 году Вяземский представил Николаю I «Записку о князе Вяземском, им самим составленную» (в т. 2 Полного собрания его сочинений она напечатана под заглавием «Моя исповедь»); в ней он объяснял свою общественную позицию. «Моя исповедь» написана смело и с достоинством. Доказывая в ней свою лояльность, Вяземский в то же время критикует действия правительства и не скрывает свой

[1] что надо быть одержимым, чтоб в настоящее время сочинять стихи (фр.).
[2] Пушкин А. С. Т. 13. С. 289.
[3] Вяземский П. А Записные книжки (1813—1848) / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1963. См. особенно книжку пятую.

конституционный образ мыслей. «Нельзя не подчинить, — пишет Вяземский в «Исповеди», — дел своих и поступков законной власти, но мнения могут вопреки всем усилиям оставаться неприкосновенными». И он подчеркивает, что своим мнениям «оставался предан и после их падения».[1]

Сочтено было, что «Записка» составлена в недостаточно верноподданническом тоне. Вяземский написал Николаю оправдательное письмо. Наконец, в 1830 году он был назначен чиновником особых поручений при министре финансов (хотя просил о должности по министерству просвещения или юстиции). По министерству финансов Вяземский прослужил около двадцати лет, и в течение двадцати лет он не переставал считать свое пребывание в этом ведомстве тяжелым недоразумением и с отвращением относился к своей службе.

«Вчера утром в департаменте читал проекты положения маклерам, — отмечает Вяземский в записной книжке. — Если я мог бы со стороны увидеть себя в этой зале, одного за столом, читающего, чего не понимаю и понимать не хочу, куда показался бы я себе смешным и жалким. Но это называется служба, быть порядочным человеком, полезным отечеству, а пуще всего верным верноподданным».[2] В 1845 году Вяземский был назначен на совсем уже неподходящую для него должность директора Государственного заемного банка.

По этому поводу он писал: «(Правительство)... неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствиям и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть у себя, а все как-то пересажен, приставлен, привит наперекор природе и образованию. Например, никогда не назначили бы Жуковского попечителем учебного округа... А если Жуковскому хорошенько бы поинтриговать и просить с настойчивостию, то, вероятно, переименовали бы его в генерал-майоры и дали бы ему бригаду, особенно в военное время».[3]

Признав для себя неизбежным подчиниться требованиям грубой и бездарной власти, Вяземский все же долго сохранял оппозиционные настроения. В его сознании борются противоречивые начала. Исполненные горечи замечания о положении дел в николаевской России рассыпаны в письмах, в записных книжках Вяземского 1830-х, даже 1840-х годов.[4]

---

[1] Вяземский П. А. Т. 2. С. 91, 101.
[2] Вяземский П. А. Записные книжки. С. 169.
[3] Там же. С. 287.
[4] Например, в 1844 г. Вяземский записывает: «Одна моя надежда, одно мое утешение в уверении, что он (Николай I) и они увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вред-

В конце 1820-х и в 1830-х годах отвращение Вяземского к лакействующей бюрократии нисколько не уменьшилось, чему свидетельство убийственная сатира «Русский бог», написанная в 1828 году (в 1854 году ее опубликовала в Лондоне Вольная русская типография Герцена):

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский бог.
...Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он, русский бог.

В бумагах К. Маркса сохранился специально для него сделанный перевод «Русского бога».

В 1825—1827 годах Вяземский покровительствовал Н. А. Полевому и вместе с ним издавал «Московский телеграф», самый передовой журнал того времени, пропагандировавший романтическое направление; притом Полевой трактовал его в плане социальной проблематики. В «Московском телеграфе» напечатаны статьи Вяземского: «Жуковский. — Пушкин. — О новой пиитике басен», о «Чернеце» Козлова, «Письма из Парижа», «Сочинения в прозе В. Жуковского», «„Цыганы“ — поэма Пушкина», «О сонетах Мицкевича» и другие (кроме того, ряд мелочей под разными псевдонимами). Со временем, однако, все яснее обнаруживалось, что дворянскому либералу Вяземскому не по пути с буржуазным демократом Полевым. В конце 1827 года Вяземский порывает с «Московским телеграфом».

В 1830-х годах Вяземский дважды выступал как критик и полемист от имени группы, сплотившейся сначала вокруг «Литературной газеты» Дельвига (1830—1831), потом вокруг «Современника» (1836). Эта группа — Пушкин, Жуковский, Вяземский, Боратынский, Дельвиг, Денис Давыдов, Плетнев — получила от своих врагов ироническую кличку «литературных аристократов». Между тем в 1830-х годах принадлежность к этой группе отнюдь не противоречила оппозиционным настроениям некоторых ее участников. «Ари-

---

ны, как они справедливо и строго были оценены общим мнением, как они не возбуждали никакого благородного сочувствия в народе...» (Вяземский П. А. Записные книжки. С. 283). О противоречиях последекабристской идеологии Вяземского (особенно 1830-х годов) см.: Тоддес Е. А. О мировоззрении П. А. Вяземского после 1825 года // «Ученые записки Латвийского гос. университета». Вып. 2 (Пушкинский сборник). Рига, 1974.

стократы» «Литературной газеты» Дельвига и пушкинского «Современника» противопоставляли себя не разночинной демократии, которая в 1830-х годах еще не существовала как самостоятельная идейная сила, но тому николаевскому мещанству и чиновничеству, которое обслуживали своими печатными органами Булгарин, Греч, Сенковский.

Как бы ни расшифровывали современники термин «аристократия» — по признаку ли происхождения, по признаку ли принадлежности к классу крупных землевладельцев, наконец по признаку близости ко двору (последний вид «аристократизма» особенно характерен для России, где монархия чуждалась родового дворянства и стремилась возводить на первые ступени случайных людей) — все эти категории с трудом применимы к так называемым «литературным аристократам» 1830-х годов.

Из них только Вяземский был родовым аристократом. Но уже захудалое шестисотлетнее дворянство Пушкина, как и баронство Дельвига, представляло сомнительную ценность с точки зрения «высшего света» николаевских времен. Жуковский — незаконный сын дворянина средней руки и пленной турчанки. Плетнев, присяжный критик группы, неизменный и полноправный участник всех ее начинаний, происходил из среды духовенства и занимался педагогической работой.

Если происхождение Жуковского или Плетнева до известной степени заслонялось их служебным положением и покровительством двора, то, напротив, общественное положение Дельвига, Боратынского было самым незначительным.

Решающее значение для группы, объединившейся вокруг «Литературной газеты», а позднее «Современника», имели совсем иные моменты. Прежде всего — сознание преемственности, принадлежности к высокой традиции русской литературы. В этом плане очень существенно было литературное воспитание, полученное в таких учебных заведениях, как Царскосельский лицей, Благородный пансион при Московском университете (оттуда вышли Жуковский и братья Тургеневы), где воспитанники формировались в атмосфере определенной литературной культуры и традиции.

Но в 1830-х годах для Вяземского своим человеком является и Крылов (сын бедного армейского офицера, сам начавший свое служебное поприще в должности «подканцеляриста калязинского нижнего земского суда»). Прежнее отрицательное отношение Вяземского к Крылову как к сопернику И. И. Дмитриева (1810—1820-е годы) было бы в 1830-х годах вопиющим анахронизмом. То обстоятельство, что Крылов отчасти примыкал к «Беседе», потеряло свою остроту; само наличие традиций — даже чуждых — мыслилось уже как некоторая самодовлеющая ценность.

С понятием традиции, культурной преемственности связано понятие *авторитета*. Литературная иерархия для Вяземского была важной и принципиальной. В частности, в вопросе об авторитетах Вяземский — чистейший карамзинист. Для старших учеников Карамзина характерно сочетание новаторской литературной практики с лояльностью по отношению к прошлому; для них существует ряд писателей (Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин), по отношению к которым нарушение пиетета считается, независимо от литературных симпатий, неприличным.

Историческое значение писателя измеряется сочетанием литературных трудов и достижений с гражданскими и научными. Отсюда повышенный интерес к таким явлениям, как Державин-министр, Ломоносов-естествоиспытатель, Карамзин-историк. Историческая наука не считалась тогда делом специалиста, но чем-то вроде промежуточного поприща между литературным и гражданским.

В представлении Вяземского авторитеты, украшенные литературной славой, возрастом и гражданскими заслугами, являлись необходимым условием для соблюдения высокого стиля литературных отношений. Ни в коей мере не обязательно соглашаться со всеми мнениями авторитета, допустимо выражать свое неудовольствие в частных письмах, быть может даже распространять на учителя эпиграммы в дружеском кругу; но в пределах литературы для публики авторитет — это знамя, неприкосновенность которого необходимо всячески охранять, ибо только оно обеспечивает успех в борьбе с претензиями «литературной улицы».

В этом иерархическом складе мышления находят свое объяснение многие литературные суждения Вяземского. Именно по иерархическим основаниям в большей степени, чем по эстетическим, Вяземский в свое время настаивал на предпочтении Дмитриева Крылову. Отсюда же культ Карамзина и крайняя нетерпимость в проявлениях этого культа, побуждавшая Вяземского смотреть на каждого противника «Истории государства Российского» как на нарушителя общественной благопристойности. Именно попытка Н. Полевого поколебать авторитет Карамзина была непосредственной причиной разрыва Вяземского с кругом «Московского телеграфа». «Полевой у нас родоначальник литературных наездников, — писал Вяземский в 1846 году, после смерти Полевого, — каких-то кондотьери, ниспровергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина».[1]

[1] Вяземский П. А. Записные книжки. С. 286—287.

Пушкин, впрочем, никогда не являлся для Вяземского в полной мере «законной литературной властью» — несмотря на всю силу пушкинского воздействия на его творчество (о чем выше шла речь). Как ни странно, но в представлении Вяземского Пушкин так и остался «младшим» поэтом; выдающимся, но все же «младшим». В «Приписке» 1875 года к статье о «Цыганах» Вяземский приводит характерный факт: Пушкин был недоволен его разбором «Цыган»; он находил, что Вяземский говорит «иногда с каким-то учительским авторитетом».[1]

В вопросе о социальном положении писателя точка зрения Вяземского типична для представителя культурной верхушки дворянства, мечтавшей (в высшей степени тщетно) о некоторой общественной независимости и об идеологическом влиянии на власть. Если не считать 1819—1821 годов — наиболее оппозиционного периода Вяземского, когда его прельщала роль «народного трибуна», — то идеал Вяземского — это писатель-дворянин, в силу своих гражданских и литературных заслуг достигший такого положения, что он может давать «советы царям». Однако в николаевском режиме не было никаких оснований для подобной идиллии. И Вяземскому остается проповедь аристократического дилетантизма. «По большей части, — утверждает он в 1847 году, — пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем. Те, которым писать было бы о чем, не имеют привычки или дичатся писать» («Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»).[2]

Те, которым не о чем писать, — это цеховые писатели, профессионалы, живущие гонораром. Они-то и лишены опыта дворянского «общежития», опыта высшего света, правительственных и дипломатических сфер, государственной службы, помещичьего хозяйства, войны; те, кто владеет этим опытом, «боятся причислить себя к известному ремеслу и вписаться в известный цех сочинительства».[3]

И все же Вяземский с его историческим чутьем, с его интересом к общественным условиям деятельности писателя не мог остановиться на концепции, сложившейся в XVIII столетии. Современность требовала писателя-профессионала. Вяземский мог тешиться теорией дворянского «аматёрства», любоваться этим явлением в прошлом. Но он очень хорошо понимал, что XIX век принес новые формы литературных отношений.

---

[1] Вяземский П. А. Т. 1. С. 321. В 1845 году Вяземский составил помещенное в «Москвитянине» объявление о подписке на памятник Крылову. В нем наряду с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным Крылов провозглашен создателем русского литературного языка. Имя Пушкина в этом списке не названо (см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 301).

[2] Вяземский П. А. Т. 2. С. 348.

[3] Там же.

5

В кризисную для оппозиционного дворянства последекабрьскую эпоху Вяземский был не в силах выйти на пушкинский путь широкого понимания государственных задач. В то же время Вяземский 1830-х годов не стал, подобно Боратынскому, поэтом скорби, захлестывающей одинокую душу. Тем менее мог он проникнуться новыми философскими и литературными устремлениями, устремлениями «любомудров» или русских революционных романтиков этой поры. Но среди колебаний и противоречий, несмотря на неясность целей, неизбежную в эти годы для людей его социального слоя, Вяземский вырабатывает все же некую индивидуальную, характерную манеру; вернее, он развивает линию, очень рано наметившуюся в его творчестве.

С середины 1820-х годов в России возникает напряженный интерес к проблемам истории. Под знаком историзма совершаются открытия Пушкина. В этом же русле движется и творчество Вяземского — критика, прозаика, поэта.

Историзм Пушкина — бесконечно широкий охват действительности в ее развитии, в ее прошлом и настоящем. У Вяземского историческое и социальное часто предстают раздробленным, фактическим, частным.

«История литературы народа должна быть вместе историею и его общежития, — пишет Вяземский в книге о Фонвизине в 1830 году.[1] — Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются мнения, страсти, оттенки, самые предрассудки современного общества; если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо господству и влиянию современной литературы, — то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества».[2]

В литературу, по убеждению Вяземского, должны вторгаться политика, злободневность. Эти требования Вяземского особенно полно выражены в его «Письмах из Парижа» (1826—1827), в замечательной для своего времени монографии о Фонвизине (написана в 1830, издана в 1848 году), в статье «О Сумарокове».

Взгляд на литературу как на выражение общества (как и свои эволюционные теории) Вяземский мог, в общей форме, усвоить из французских источников, но интересно дальнейшее развитие этого взгляда. В приведенной только что цитате наряду со словом *обще-*

---

[1] Книга «Фонвизин» одновременно свидетельствует о том, что Вяземскому были доступны веские исторические обобщения.
[2] Вяземский П. А. Т. 5. С. 1.

ство Вяземский употребляет слово *общежитие* — и это характерно. Писатель перерабатывает живой опыт общежития. «Он первый внес себя и окружающую жизнь в литературу свою»,[1] — говорит Вяземский о Сумарокове в посвященной ему статье.

Для Вяземского самые ценные показания литературы о жизни относятся к единичным, неповторимым фактам. «Разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления и т. д. сами по себе малозначительны, взятые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл и внутреннее содержание. Все это отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей; дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчет».[2]

Как мемуарист Вяземский питал чрезвычайный интерес к политическим анекдотам, характерным бытовым мелочам, ко всевозможной злобе дня.[3] Он писал по этому поводу: «Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах... — выйдет хроника прелюбопытная. В этих *сказах* и сказках изображается дух народа. По гулу, доходящему до нас, догадываюсь, что их тьма в Москве, что пар от них так столбом и стоит: хоть ножом режь. Сказано: la littérature est l'expression de la société,[4] а еще более сплетни, тем более у нас нет литературы. У нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается, заведите плевальник».[5]

Вяземский был не только теоретиком, но и практиком этой «обиходной литературы». Он автор многочисленных мемуарных очерков. В течение десятков лет он создавал свои записные книжки, состоявшие из размышлений, анекдотов, подхваченных на лету разговоров, бытовой хроники, документов.[6]

---

[1] Вяземский П. А. Т. 2. С. 173.
[2] Там же. Т. 8. С. 506—507.
[3] В какой-то мере это характерно и для Пушкина; о чем свидетельствует его «Table-talk», исторические заметки, «Дневник».
[4] Литература — выражение общества (фр.).
[5] Вяземский П. А. Записные книжки. С. 201—202.
[6] В 1870-х гг. Вяземский, под заглавием «Старая записная книжка», частично публиковал этот материал (в основном в «Русском архиве»), подвергая его переработке. Издана выборочно: Вяземский П. А. Старая записная книжка / Под ред. Л. Гинзбург. Л., 1929. Вступ. статья к этому изд. перепечатана: в кн.: Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982. В изд.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848) / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1963 — материал напечатан в первоначальной редакции.

Если бы собрать и систематизировать высказывания Вяземского, посвященные тому, что он называл ходячей, домашней, обиходной литературой, то получился бы довольно обширный свод.

В каких-то, разумеется высоко почитаемых им, формах литературы должны были выражаться «дух времени», большие культурные движения, высокие гражданские и нравственные задачи, — но сам он тяготел к монтажу неповторимых, обиходных фактов.

«Мне часто приходило на ум написать свою «Россиаду», не героическую, не в подрыв херасковской, не «попранную власть татар и гордость низложенну» (боже упаси!), а «Россиаду» домашнюю, обиходную, — сборник, энциклопедический словарь всех возможных *руссицизмов*, не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящихся к нравам... В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло — хотя до угара и до ошиба, хотя до выноса всех святых!.. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов».[1]

По записным книжкам можно проследить интерес Вяземского к салонным поэтам-остроловам С. А. Неелову, И. П. Мятлеву, А. М. Белосельскому, к Ф. В. Ростопчину — его агитационным «афишкам» и злободневным комедиям — и другим представителям «обиходной литературы». Нетерпимый критик профессиональных писателей, Вяземский в то же время как бы любуется неквалифицированностью этой продукции. Стихотворная беспомощность светских дилетантов вроде Белосельского и А. М. Пушкина, корявые размеры и ни на что не похожий стиль Неелова, заведомо дурацкие «амфигури» неизвестных авторов «из общества» — все это привлекало Вяземского потому, что являлось для него гарантией нелитературности этой литературы и тем самым ее пригодности «выражать общежитие».

Нужно ввести жизнь в литературу и литературу в жизнь — Вяземский много раз варьирует эту формулу.

Характерно, что и в высоких образцах поэзии Вяземский любил и умел находить злободневность. «Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах, — писал Вяземский А. Тургеневу в 1821 году. — Прежде поэты терялись в метафизике; теперь *чудесное*, сей великий помощник поэзии, — на земле. Парнас — в Лайбахе».[2] От-

---

[1] Вяземский П. А. Т. 8. С. 340—341.

[2] «Остафьевский архив». Т. 2. С. 171. В Лайбахе в 1821 г. заседал Священный союз трех монархов — русского, прусского и австрийского.

сюда у Вяземского замечательная по смелости и новизне оценка Державина, в котором он усмотрел не только торжественное парение, но и остроту конкретных описаний. Интересны в этой связи такие отзывы Вяземского (например, в «Письмах из Парижа» 1826—1827 годов), как: «Державин... в лучших одах своих был иногда горячим и метким памфлетером и публицистом».[1] Даже в заметке о Ломоносове Вяземский не побоялся написать фразу: «Вот пример политической или газетной поэзии из оды пятнадцатой...»[2] Речь идет об оде «...На победы... над королем прусским одержанные».

Жадный собиратель «дробей жизни», Вяземский и собственную свою литературную судьбу мыслил как дробную, разорванную. В «Автобиографии» Вяземский писал: «Друзья мои убеждали меня собрать и издать себя... Когда был я молод, было мне просто не до того. Жизнь сама по себе выходила скоропечатными листками. Типография была тут в стороне, была ни при чем. Вообще я себя расточал, а оглядываться и собирать себя не думал».[3] Ту же тему развивает Вяземский в письме 1876 года к Е. Д. Милютиной: «Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках... Бог фасы мне не дал, а дал мне только несколько профилей».[4]

Но и профили Вяземского были характерны.

В 1820-х годах «чистая» лирика вытесняется из творчества Вяземского злободневными, памфлетными, фельетонными формами, стихами, которые, подобно его записным книжкам, являлись непосредственным «выражением общежития».

Вяземский разрабатывает подсказанную французской поэзией форму куплетов с повторяющимся, иногда варьирующимся припевом. Припев этот обычно является и заголовком стихотворения: «Пиши пропало», «Да, как бы не так», «Того-сего», «Всякий на свой покрой», «В шляпе дело», «Семь пятниц на неделе» и т. п. Стихотворения этого типа у Вяземского часто строятся так, что куплеты, посвященные обличению общечеловеческих пороков (традиция, восходящая еще к XVIII веку), морализированию, довольно безобидному, чередуются с куплетами резко злободневными, порой и прямо политическими.

---

[1] Вяземский П. А. Т. 1. С. 223.
[2] Там же. Т. 8. С. 43.
[3] Там же. Т. 1. С. 1.
[4] Там же. Т. 10. С. 290.

Вот, например, два соседних куплета из стихотворения «Семь пятниц на неделе»:

«Женюсь! Нет, путь женатых скользк.
Подам в отставку! Нет, ни слова!
В Париж поеду! Нет, в Тобольск!
Прочту Сенеку! Нет, Графова!» —
Так завсегда по колесу
Вертятся мысли в пустомеле,
Вот что зовется — на часу
Иметь семь пятниц на неделе.

Устроив флюгер из пера,
Иной так пишет, как подует:
У тех, на коих врал вчера,
Сегодня ножки он целует.
Флюгарин иль Фиглярин, тот
Набил уж руку в этом деле,
Он и семь совестей сочтет,
Да и семь пятниц на неделе.

Первый из этих куплетов обличает «общечеловеческого» пустомелю, второй — вполне определенного литературного и политического врага, Булгарина. Образ Флюгарина — Булгарина здесь, в свою очередь, обобщен, но это обобщение политически конкретное, злободневное.

В куплетной форме написан и «Русский бог» — самая сильная из сатир Вяземского.

Уже в 1823 году Вяземский циклизует стихи под фельетонным заглавием «Заметки». Эта форма проходит последовательно через всю его поэтическую деятельность. Один из таких циклов в виде эпиграфа снабжен фразой, знакомой по записным книжкам: «L'esprit court la rue».[1]

Не удовлетворяясь традиционными сатирическими формами, Вяземский создает своеобразный, в 1820—1830-х годах новый на русской почве тип «газетного стихотворения», стихотворного фельетона (этому жанру предстояло развиться в русской сатирической поэзии второй половины XIX века).

В 1825—1826 годах Вяземский пишет такие вещи, как «Станция», «Коляска» — род фельетонного обозрения из окон кареты или кибитки. На этих произведениях несомненно сказался опыт первых

[1] «Ум рыщет всюду» (фр.).

глав «Евгения Онегина». В той же манере написаны «Зимние карикатуры» (1828) с их восхитившей Пушкина «фламандщиной».[1]

В заключительных строках «Коляски» Вяземский подчеркивает связь с романом Пушкина, текстуально используя посвящение «Евгения Онегина»:

Друзья! Боюсь, чтоб бег мой дальный
Не утомил вас, если вы,
Простя мне пыл первоначальный,
Дойдете до конца главы
Полупустой, полуморальной,
Полусмешной, полупечальной,
Которой бедный Йорик ваш
Открыл журнал сентиментальный,
Куда заносит дурь и блажь
Своей отваги повиральной.
Все скажут: с ним двойной подрыв,
И с ним что далее, то хуже;
Поэт болтливый, он к тому же
Как путешественник болтлив!

У Пушкина в «Посвящении» «Евгения Онегина»:

Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных...

Тон непринужденной разговорной речи, свободные переходы от темы к теме сближают дорожные обозрения Вяземского и с лирическими отступлениями «Онегина» и с дружескими посланиями 1820-х годов. Но специфика этих обозрений в стихах именно в их злободневности, фельетонном тоне и слоге.

Стихотворение «Зимние карикатуры» на три четверти посвящено зарисовкам зимнего путешествия в кибитке, но под конец эти зарисовки непосредственно переходят в сатирическое изображение московского барства:

С умильной радостью, с слезой мягкосердечья
Уж исчисляет он гостей почетных съезд,
И сколько блюд и сколько звезд
Украсят пир его в глазах Замоскворечья.

---

[1] В январе 1831 г. Пушкин писал Вяземскому: «Стихи твои прелесть... Обозы, поросята и бригадир удивительно забавны» (Пушкин А. С. Т. 14. С. 139).

...И, хриплым голосом и брюхом на виду
Рожденный быть вождем в служительских фалангах,
Дворецкий с важностью в лице и на ходу
Разносит кушанья по табели о рангах.

Здесь уже Вяземский выступает не только современником Пушкина, испытавшим его могучее воздействие, но и учеником мастеров сатиры и комедии XVIII века. У русских писателей этой поры, прежде всего у Державина, он учился конкретности словесного образа, свободе и разнообразию языка, еще не подвергшегося карамзинистскому сглаживанию. «Своенравный гений его, — писал Вяземский в статье 1816 года «О Державине», — испытавший богатство и свойство языка почти нового, пробил себе путь особенный...»[1] Через голову своих непосредственных учителей — Карамзина, Дмитриева, Жуковского — Вяземский возвращается к истокам русской поэзии XVIII века. У писателя сколько-нибудь даровитого подобные возвращения никогда не бывают механическими. Вяземский — поэт своего времени, работающий на современном материале. Но остается исходный державинский принцип — свободное словоупотребление, не ограниченное специально поэтическим отбором; оно позволяет Вяземскому вбирать в свой стих газетную и бытовую речь — слова, понятия, собственные имена, подсказанные сегодняшним днем:

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бюджете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.

На креслах у огня, не хуже чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.

Обозы, на Руси быть *зимним судоходством*
Вас русский бог обрек, — и милость велика:
Помещики от вас и с дéньгой и с дородством.
Но в проезжающих болят от вас бока.

(«Зимние карикатуры»)

Это стиль, близкий к прозаическому, умышленно небрежный, разговорный, не чуждающийся бытовых оборотов и простых, обиходных слов. Литературный язык, ориентирующийся на устную речь, конечно, карамзинистская установка. Но Карамзин имел в виду идеальные нормы салонной речи образованного дворянства,

---

[1] Вяземский П. А. Т. 1. С. 16.

Вяземский же решительно расширяет рамки, открывая литературный язык дворянскому и народному просторечию. В приведенных только что строках характерное для фельетонной поэзии Вяземского сочетание просторечия («и с деньгой и с дородством», «болят... бока») с терминологией публицистической и даже научной:

В народном бюджете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот...

Проникновение в стих деловой и научной речи отнюдь не ограничено у Вяземского рамками фельетонного жанра. Интересно в этом отношении стихотворение 1825 года «К мнимой счастливице». Чуждое и сентиментально-элегическому и романтическому духу, это стихотворение представляет собой в высшей степени рационалистический анализ некоторых явлений душевной жизни:

Умеренность — расчет, когда начнут от лет
Ум боле поверять, а сердце меней верить,
Необходимостью свои желанья мерить —
Нам и природы глас и опыта совет.

Но в возраст тот, когда печальных истин свиток
В мерцанье радужном еще сокрыт от нас,
Для сердца жадного и самый благ избыток
Есть недостаточный запас.

А ты, разбив сосуд волшебный
И с жизни оборвав поэзии цветы,
Чем сердце обольстишь, когда рукой враждебной
Сердечный мир разворожила ты?

Есть, к счастью, выдержка в долине зол и плача;
Но в свет заброшенный небесный сей залог
Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача.

Анализирующий тон этого этюда, посвященного одной женской судьбе, притягивает и оправдывает элементы деловой и научной речи, неожиданно сближающие это стихотворение со стихотворным фельетоном «Зимние карикатуры»:

Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача...

Недаром Пушкин в мае 1826 года иронически писал Вяземскому: «Твои стихи к мнимой красавице (ах, извини: счастливице) слишком умны».[1]

[1] Пушкин А. С. Т. 13. С. 278.

6

Своеобразие поэтического и прозаического стиля Вяземского постоянно отмечали современники: одни, как Пушкин, — с горячим одобрением; другие — Карамзин, например, — с неудовольствием. Щепетильные карамзинисты неоднократно упрекали его в отступлении от правил. Даже Жуковский в 1810-х годах в дружеском послании, обращенном к Вяземскому по поводу его стихотворения «Вечер на Волге», писал:

Переступившее ж последнюю ступень
На небе пламенном вечернее светило —
В прекраснейших стихах ее переступило,
Да жаль, что в точности посбилось на пути;
Нельзя ль ему опять на небеса взойти,
Чтоб с них по правилам грамматики спуститься,
Чтоб было ясно всё на небе и в стихах?

Вяземский, однако, во все времена сознательно допускал грамматические погрешности. Он считал себя прежде всего *мыслящим* поэтом, всегда готовым ради наилучшего выражения мысли пожертвовать легкостью и даже правильностью стиха.

В 1853 году Вяземский заносит в «Записную книжку»: «Mery Beck писала Лизе (Валуевой): „que je n'étais pas son poète favori parce qu'elle me trouvait trop profond et qu'elle préferait Joukovski“.[1] Я отвечал ей: „И таким образом вы, матушка Мария Ивановна, жалуете меня в немцы и проваливаетесь в моей *глубокомысленности*... Вы отчасти правы. Вы в стихах любите то, что надобно в них любить, что составляет их главную прелесть: звуки, краски, простоту. Этого всего у меня мало, а у Жуковского много. Только в стихах моих порок не тот, который вы им изволите приписывать. Это было бы еще не беда, а беда та, что я в стихах моих часто *умничаю* и вследствие того сбиваюсь с прямого поэтического пути, что вы и принимаете за глубокомысленность“».[2]

Глубоким стариком Вяземский писал, оглядываясь на свой творческий путь: «Странное дело: очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за этою певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу: о ушах ближнего не забочусь и не помышляю. Не помышляю и о том, что многое не ладит

---

[1] что я не являюсь ее любимым поэтом, так как она считает, что я слишком глубок, — и предпочитает Жуковского (фр.).
[2] Вяземский П. А. Т. 10. С. 43.

со стихами; стихи или поэзия всего не выдерживают. Коровы бывают очень красивые, но седло им нейдет. Мысль, стихом оседланная, может никуда не годиться. Мое упрямство, мое насильствование придают иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда вычурность... В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем полагаю, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли».[1]

Вяземский писал о себе, что он создан «поштучно», Гоголь называет его стихи «пестрым фараоном всего вместе».[2] О скрещении у Вяземского разных стилей, несовместимых поэтических пластов (нередко в одном стихотворении) говорят и современные литературоведы. «Это — разные словесные миры, и они продолжают жить своей жизнью. Они не гармонизованы, не сцеплены воедино, как умел это делать Пушкин...»[3] — пишет И. М. Семенко, анализируя стихотворение Вяземского.

Установка на преобладание мысли оправдывала для Вяземского ломку языка, неологизмы, нарушение синтаксических и вообще грамматических норм именно потому, что Вяземский считал русский литературный язык начала XIX века еще не подготовленным для выражения философской и политической мысли. Пушкин придал русскому слову небывалую силу. И все же в 1820-х, даже в 1830-х годах Пушкин, Вяземский, Боратынский сетуют на недостаточность русского «метафизического языка», — так они называли язык отвлеченных понятий. Вяземский высказывается на эту тему неоднократно: «...Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему ни литературы, которой они не имели, ни преданий утонченного общежития, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения».[4]

Итак, наряду с языком философии, науки, политики, «метафизическим языком», языком мысли, предстоит создать язык чувства и утонченного общежития, который в предисловии к переводу романа Бенжамена Констана «Адольф» Вяземский называет языком

---

[1] Вяземский П. А. Т. 1. С. XLI—XLII.
[2] Гоголь Н. В. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность // Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 390.
[3] Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 138. О совмещении разнородных стилей пишет также С. Рассадин, противопоставляя негармоничность Вяземского «абсолютной гармонии Пушкина». См.: Рассадин С. Спутники. М., 1983. С. 276—287.
[4] Вяземский П. А. Т. 8. С. 39.

«светской, так сказать, практической метафизики». Для этого Вяземский считал нужным «изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки».[1]

Пушкин отнесся к работе Вяземского над переводом «Адольфа» с большим интересом. В заметке 1829 года (О переводе романа Бенжамена Констана «Адольф») Пушкин, откликаясь на высказывания Вяземского о «светской практической метафизике», писал: «Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо к(нязя) Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы».[2]

В прозе Вяземский считал необходимым вырабатывать язык, пригодный для выражения политической и философской мысли, для психологического исследования. Вяземский-поэт ставил себе аналогичные задачи, но решение их определяла специфика стихового материала. С середины 1820-х годов в русской литературе настоятельно выдвигается требование «поэзии мысли». Требование было почти всеобщим, но толковали его по-разному. Здесь и синтез мысли и чувства, провозглашенный начинающим Белинским, и натурфилософские опыты молодых русских шеллингианцев («любомудров»), и упрощенная имитация философской тематики, свойственная низовому, вульгарному романтизму.

Вяземский занимает особую позицию. Он далек от шеллингианской концепции искусства как высшей формы познания, от романтического погружения в тайны природы. Вяземский — наследник русских и французских просветителей, и его поэзия мысли рационалистична. Элемент размышления, даже рассуждения он вносит порой и в свою элегическую или пейзажную лирику, и в свои бытовые стихи. Вот почему сам Вяземский писал, что в стихах он нередко «умничает», а Пушкин отметил, что элегия Вяземского «К мнимой счастливице» — «слишком умна».

В связи с вопросом о мысли и о ее выражении в поэзии Вяземский рассматривал даже отдельные технические моменты. Так, например, в рифме он видел опасность ущемления поэтического смысла: «Русскими стихами (т. е. с рифмами), — писал Вяземский А. И. Тургеневу, — не может изъясняться свободно ум, ни душа. Вот отчего все поэты наши детски лепетали. Озабоченные побеждением трудностей, мы не даем воли ни мыслям, ни чувствам».[3]

---

[1] Вяземский П. А. Т. 10. С. XI.
[2] Пушкин А. С. Т. 11. С. 87.
[3] «Остафьевский архив». Т. 3. С. 76.

Тему соотношения между стиховой формой и мыслью Вяземский затронул уже в послании «К В. А. Жуковскому» (1819):

Как с рифмой совладеть, подай ты мне совет.
Не ты за ней бежишь, она тебе вослед;
Угрюмый наш язык как рифмами ни беден,
Но прихотям твоим упор его не вреден...
...Но я, который стал поэтом на беду,
Едва когда путем на рифму набреду;
Не столько труд тяжел в Нерчинске рудокопу,
Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу
И рифму залучить к перу на острие.
Ум говорит одно, а вздорщица свое.
Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.
В стихах моих не раз, ее благодаря,
Трус Марсом прослывет, Катоном — раб царя,
И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет,
А рифма, надо мной ругаясь, мне перечит.

Вяземский считал нужным раскрепощать рифму и другие стиховые элементы. Новые и смелые для своего времени, необычные созвучия расширяли круг рифмующихся слов, тем самым уменьшая власть рифмы над смыслом, над мыслью, подлежащей выраженью:

Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!

(*«Поручение в Ревель...»*)

По поводу этого стихотворения, напечатанного в 1833 году, Вяземский — в феврале того же года — писал И. И. Дмитриеву: «Вы тут (в альманахе «Альциона») найдете мою стихотворную карикатуру ультраромантическую, написанную для шутки и с умыслом подделаться под некоторых французских поэтов новейшей школы».[1] Характерно, что критика обсуждала эту пародию всерьез. И, ко-

[1] «Русский архив». 1868, № 4/5. Стб. 627.

нечно, в 1830-х годах написать такую вещь, хотя бы и шуточную, мог только человек, искавший непроторенных дорог.[1]

Стилистические опыты Вяземского неразрывно связаны с тем, что он осознавал себя поэтом мыслящим, политическим, злободневным — словом, поэтом, чей материал не укладывается в рамки традиционного и «гладкого» стиля.

7

Уже с 1840-х годов все то, что составляло содержание литературной жизни Вяземского, оказалось исчерпанным. На сцене теперь — Белинский, борьба западников и славянофилов, развитие русской реалистической прозы. Проблемы, волновавшие Вяземского, теряли свою остроту, его соратники по литературному делу сходили со сцены, умирали.

С годами примирение Вяземского с правительством становилось все более прочным. Формирование новой, разночинной интеллигенции, углубление стихийного крестьянского протеста против крепостного права — все это побуждало поместное дворянство и даже его либеральных идеологов искать опору в твердой правительственной власти. Резким поворотным пунктом для Вяземского, как и для многих других, стал 1848 год, испугавший его призраком европейской революции. В 1848 году Вяземский написал стихотворение «Святая Русь» — декларацию ненависти к революции и преданности монархии. К 1850-м годам позиция Вяземского вполне определилась в рядах охранителей сословной монархии против всего, что ей угрожало. На Крымскую войну он уже отозвался стихами в духе официальной идеологии (сборник 1854 года «К ружью» и другие стихотворения).

Если в 1830-е годы Вяземский активно выступает против влияния реакционной мещанской журналистики, возглавлявшейся Булгариным, Гречем, Сенковским, то начиная с 1840-х годов полемический пафос Вяземского прежде всего направлен против явлений новой, демократической культуры. В 1840-х годах начинаются (они не прекращались уже до самого конца) враждебные выступления Вяземского против демократических сил русской литературы, в особенности против гоголевской школы и Белинского. В этом отношении характерны две большие статьи Вяземского 1847 года — «Языков и Гоголь» и «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина».

---

[1] В цитированной уже работе И. М. Семенко сопоставляются некоторые стихи позднего Вяземского со стихотворениями русских поэтов XX века.

По мере того как стареющий Вяземский укреплялся на охранительных позициях, его интерес к народному, национальному началу — некогда столь прогрессивный — принимает окраску официального патриотизма. Это сказалось, например, на стихотворении 1853 года «Масленица на чужой стороне». У Вяземского появляется разухабистый русский стиль, близкий к тем фальшивым подражаниям крестьянскому стилю, которые вошли в моду вместе с официальной народностью времен Николая I. В одной из строф стихотворения 30-х годов «Памяти живописца Орловского» Вяземский как бы раскрывает идеологическую подоплеку этого стиля:

Все поверья, всё раздолье
Молодецкой старины —
Подъедает своеволье
Душегубки-новизны.

Николай I терпеть не мог Вяземского, которого до конца считал фрондером и человеком декабристской закваски. После смерти Николая положение изменилось: в 1855 году Александр II назначил Вяземского товарищем министра народного просвещения, а в конце 1856 года поставил его во главе цензурного ведомства. На этом посту Вяземский придерживался умеренного образа действий, возражая против цензурных крайностей и злоупотреблений.[1]

В. С. Нечаева, рассматривая общественную позицию позднего Вяземского, подчеркивает, что она характерна не только осуждением демократических сил, «но и презрительно-насмешливым отношением к другим общественным группам: и к либералам западной ориентации, и к славянофилам, и к идеологам крайней реакции, подобным Каткову».[2]

В 1858 году Вяземский оставил министерство народного просвещения; до конца жизни он числился сенатором, членом Государственного совета, обер-шенком двора. Он не только бывал при дворе, но имел свободный доступ в домашнее окружение Александра II. Однако в эти годы Вяземский не принимал реального участия в государственных делах. Много времени он проводит в разъездах по Европе.

В 1850—1870-х годах Вяземский достиг, таким образом, высокого официального положения, в котором ему отказывал николаевский режим. Но именно вторая половина жизни Вяземского отмечена возрастающей мрачностью. Хандра становится постоянной,

---

[1] См.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 339—343.
[2] Вяземский П. А. Записные книжки. С. 344.

настойчиво звучащей темой его стихов. Ее стимулы — смерть трех взрослых дочерей (одна из них умерла еще в 1835 году), утрата всех почти друзей и соратников, одиночество... Вяземский страдал длительными припадками нервного заболевания — оно сопровождалось мучительной бессонницей. Общавшийся с Вяземским в период одного из таких припадков Тютчев писал жене в июле 1851 года: «...Рассудок князя находится в довольно плачевном состоянии... Рассудок его серьезно болен...»[1] Обострение болезни наступало периодически. В стихотворениях «Бессонница», «„Зачем вы, дни?“ — сказал поэт...», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...» и многих других отразились настроения этих лет.

В литературе господствовали теперь враждебные Вяземскому новые силы. Сначала с ним спорили, над ним смеялись. Потом наступило самое страшное, то, что Вяземский сам назвал заговором молчания. С этим его не могли примирить официальные почести и юбилеи. В атмосфере прижизненного забвения Вяземский приходит к жестокой самооценке. За полгода до смерти, в июне 1878 года, он написал на титульном листе сборника «В дороге и дома»: «Пересматриваю написанное мною. Я в припадках хандры своей часто бываю очень недоволен стихами моими и нахожу, что Белинские, Некрасов с компанией едва ли не правы в строгих своих о них суждениях. Говорю теперь серьезно и добросовестно. По мнению моему, здоровие обманчиво и обольщает нас. Одна болезнь наводит нас на правду, на грустную правду».[2]

Ожесточившийся и усталый, Вяземский пытается перечеркнуть все им сделанное. Между тем поздняя поэзия Вяземского — явление чрезвычайно своеобразное. Личная позиция стареющего Вяземского — уединенность, отрешенность от окружающей литературной жизни. Но как поэт он вовсе не остался чужд современным веяниям. Это и несомненное воздействие Тютчева,[3] и даже воздействие фельетонной и сатирической манеры враждебных Вяземскому поэтов «Искры» и «Современника» 1850—1860-х годов. В иных стихотворениях, полушуточных-полускорбных, умышленно небрежных и угловатых, по-новому преломляется старая фельетонная, разговорная интонация Вяземского.

Поздняя поэзия Вяземского, крайне неровная по своей поэти-

---

[1] Тютчев Ф. И. Соч.: В двух томах. М., 1984. Т. 2. С. 159.

[2] Авторский экземпляр «В дороге и дома» с пометами Вяземского // Отдел редких книг Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

[3] О взаимном влиянии, которое Тютчев и Вяземский оказывали друг на друга см.: Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней. М., 1972. Т. 1 (статья «Тютчев и Вяземский»).

ческой ценности, по темам и стилю являет собой разнообразную картину. Здесь в изобилии пейзажная лирика, политические стихи и фельетонно-сатирические, стихи — воспоминания об умерших друзьях и стихотворные обращения к разным лицам — отголосок посланий прежних лет и проч.

Но чем дальше, тем явственнее обозначается среди всей пестроты некая цепочка стихов резко индивидуальных, отмеченных тем, что Боратынский назвал «необщим выраженьем». Это своего рода цикл, хотя и лишенный формальных признаков циклизации. Его образуют стихи о болезни, бессоннице, смерти, загробном существовании, которое Вяземский отрицает или не приемлет.

Скоропреходящая жизнь, неизбежность смерти — темы, породившие неисчислимое количество стихов. Но в стихах Вяземского на эти темы — необычайная обнаженность личного переживания, столь противоположная установкам его ранней поэзии. О жизни и смерти говорит не обобщенное лирическое *Я*, но биографически конкретный Вяземский, страдающий бессонницей, тщетно принимающий хлорал. Вяземский ушел от традиционного элегического решения темы: размышление над быстротечностью жизни, скорбь, или ропот, или примирение с законами божественного промысла. Вместо того у Вяземского комплекс переплетающихся противоречивых мотивов.

Поэт ждет избавления от постылого, затянувшегося существования, а смерть запаздывает, обманывает его ожидания. В то же время смерть страшна и отвратительна своими физическими атрибутами и подробностями:

А нас и корчит, и томит
Болезнь пред роковой могилой,
Нам диким пугалом грозит
Успенья гений белокрылый.

(«Цветок», 1876)

В посмертной публикации после этой строфы следует еще несколько строк, отсутствующих в дошедшем до нас автографе. Они окончательно проясняют тему:

Страшна не смерть, а страшны нам
Ее обряд и обстановка,
Страданье днем и по ночам,
А там в путь дальний упаковка...

Еще в 1841 году в письме к Тургеневу Вяземский определил свое душевное состояние фразой: «Жить не хочу, а умирать не же-

лаю».[1] Отсюда уже в 70-х годах, в стихотворении «Куда девались вы с своим закатом ясным...» возникает образ «живого мертвеца», как бы предсказывающий мотивы блоковских «Плясок смерти».

Иллюзии загробного блаженства Вяземский отверг. Этой мыслью проникнуты его поздние стихи. Об этом с полной ясностью он писал к Жуковскому в том же 1841 году, после смерти второй своей дочери: «Я ближе, нежели другие, был к этой страшной загадке, которою должна разрешиться тайна нашего назначения; я схватился грудь с грудью с этою тайною, я два раза был в этой неопалимой купине скорби и не вынес из нее никакого утешительного или ободряющего убеждения, вынес одну безнадежность, одно чувство, одно слово: *нет*!»[2]

В противоречивую психологическую вязь стихов Вяземского 1860—1870-х годов вплетается еще одно звено. Он не просто не верит в загробные утешения, но он их не хочет. Через многие стихи проходит необычный мотив воли к полному уничтожению, к небытию или, по выражению Вяземского, *ничтожеству*.[3]

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

В первом стихотворении цикла «Из собрания стихотворений „Хандра с проблесками“» (предположительно 1876) Вяземский призывает «Ничтожества сон непробудный!». В четвертом стихотворении того же цикла на обещания бессмертия души отвечает строфой:

Благодарю! С меня довольно!
Так надоел мне первый том,
Что мне заранней думать больно,
Что вновь засяду на втором.

Вера в бессмертие души — краеугольный камень христианского религиозного сознания. Вяземский то утверждает свое неверие, то вступает с идеей бога в своеобразные, очень личные и враж-

---

[1] «Остафьевский архив». Т. 4. С. 139.

[2] «Русский архив». 1900, № 3. С. 388.

[3] В. И. Даль так определяет значение слова *ничтожество*: «...небытие, состояние уничтоженного, обращенного в ничто или не существующего».

дебные отношения. Так Вяземский создает образ «злопамятливого бога» («Все сверстники мои давно уж на покое...») или бога-палача:

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал его по собственным страданьям
И, где отца искал, там встретил палача.

(«Свой катехизис сплошь прилежно изуча...»)

В богоборчестве Вяземского сочетались не преодоленная до конца инерция религиозных представлений (был период, в 40—50-х годах, когда Вяземский пытался найти облегчение в религии), навыки вольтерьянца начала XIX века и вольнодумца 1820-х годов, наконец атмосфера атеизма второй половины века.

Именно в атеистическом или полуатеистическом сознании второй половины XIX века созрело переживание непостижимости, несообразности смерти разумного человека. Об этом и о смысле или бессмыслице конечного существования И. С. Тургенев в 1865 году написал философский очерк «Довольно», Толстой в 1870-х годах — главы «Анны Карениной», посвященные нравственному кризису Левина. Желание «ничтожества», сведение счетов с «злопамятливым», безжалостным богом — все это было до предела биографически личным и в то же время отразило веяния отвергаемого Вяземским времени.

Тематика богоборчества, пресыщения затянувшейся, исчерпавшей себя жизнью, жажды «ничтожества» нашла для себя особое словесное воплощение, столь отличное от пышного стиля пейзажной лирики Вяземского. Для стихов о хандре он выбирает словарь жесткий, умышленно прозаический, именно потому точно выражающий его поэтическую мысль.

Стихотворению «Желание» (1858) предшествует эпиграф из Боратынского — «Не искушай меня без нужды...», — настраивающий на ожидание элегического тона. Стихотворение кончается строфой:

Бесплодны будут заклинанья.
Отстань, не искушай меня;
В одном отсутствии желанья
Хочу провесть остаток дня.

Словом «отстань» измеряется расстояние, которое поэзия Вяземского прошла от элегии 1820-х годов. Трагическое часто выра-

жается теперь языком, сочетающим обиходную разговорность с резкой угловатостью гротеска.

Вяземский писал, и много писал, до самого конца, до последнего дня своей жизни. Свои поздние стихи он почти не печатал. Если бы можно было их напечатать, едва ли они привлекли внимание современников.

В последние годы жизни Вяземский принял участие в подготовке Полного собрания своих сочинений, предпринятом его внуком С. Шереметевым. Вяземский умер в Баден-Бадене 86-ти лет 10 ноября 1878 года. Похоронен был близ могил Карамзина и Жуковского, на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Тем же 1878 годом датирован первый том Собрания его сочинений, но до выхода его Вяземский не дожил.

Лидия Гинзбург

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ К ⟨ЖУКОВСКОМУ⟩ В ДЕРЕВНЮ

Итак, мой милый друг, оставя скучный свет
И в поле уклонясь от шума и сует,
В деревне ты живешь, спокойный друг природы,
Среди кудрявых рощ, под сению свободы!
И жизнь твоя течет, как светлый ручеек,
Бегущий по лугам, как легкий ветерок,
Играющий в полях с душистыми цветами
Или в тени древес пастушки с волосами.
Беспечность твой удел! Стократ она милей
И пышности владык и блеску богачей!
Не тот, по мне, счастлив, кто многим обладает,
Воспитан в роскоши, в звездах златых сияет
(Ни злато, ни чины ко счастью не ведут);
Но тот, чьи ясны дни в невинности текут,
Кто сердцем не смущен, кто, славы не желая,
Но искренно, в душе, свой рок благословляя,
Доволен тем, что есть, и лучшего не ждет —
И небо на него луч благости лиет!
Гром брани до него в пустыне не доходит;
Ни алчность почестей, ни зависть не тревожит
Его, сидящего при светлом ручейке
Под сению древес с Горацием в руке
Или в объятиях своей супруги нежной.
О друг мой! Так и ты, оставя град мятежный,
В уединении, в безмолвной тишине
Вкушаешь всякий день лишь радости одне!
То бродишь по лугам, то по́ лесу гуляешь,
То лирою своей Климену восхищаешь,
То быстро на коне несешься по полям,
Как шумный ветр пустынь; то ходишь по утрам
С собакой и ружьем — и с птицами воюешь;
То, сидя на холме, прелестный вид рисуешь!
А вечером, когда зефиров резвых рой
На листьях алых роз, осыпанных росой,

Утихнет и заснет, как пахарь возвратится
С полей, чтобы в семье покоем насладиться,
Как вечера туман обымет мрачный лес,
Когда усеется звезда́ми свод небес,
Тогда ты, вышедши из хижины смиренной,
Покрытой мягким мхом, древами осененной,
С своею милою приближишься к реке
И станешь рассекать с ней волны в челноке,
И будет вам луна сопутницей приятной!
Взор бросив на тебя, взор только сердцу внятный,
Промолвит милая, вздохнув: «Друг нежный мой!
Какое счастье быть любимою тобой!
Но, ах! всегда ль судьбы к нам будут так
преклонны?
Быть может, разлучат с тобой нас люди злобны
Иль смерть... печальна мысль!» — «На что себя
смущать, —
Ты скажешь ей, — на что покой свой нарушать?
Любезны мы богам, чего же нам страшиться?
Мы чистою душой привыкли им молиться!
Когда от нас в слезах убогий уходил?
Когда гонимый в нас друзей не находил?
Утешься, милая! Мы добры — и, конечно,
Нас боги наградят здесь жизнью долговечной!»
Потом, обнявшися, в безмолвии, домой
Пойдете медленно вкушать ночной покой.
Вы не услышите ни птичек щебетанья,
Ни звука от рогов, ни эха грохотанья, —
Сны благотворные с лазоревых небес
Слетят на ложе к вам с толпой приятных грез,
А утренний зефир, прохладу разливая,
Разбудит вас опять... Живи в полях, вкушая
Прямые радости чувствительных сердец!
Когда же нимф собор оставит мрачный лес,
Когда туманами одетая Аврора
В лесу поющих птиц не будет слышать хора
И вместо ярких роз лишь иней по утрам
С осенней будет мглой на землю сыпать к нам, —
Тогда, мой милый друг, в столицу возвратися,
Таков, как был всегда, к друзьям своим явися!
Поверь! И в городе возможно с счастьем жить:
Оно везде — умей его лишь находить!

1808

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Разыгрывать на днях новейшу драму станут.
Сумбур, творец ее, ручается собой,
Что слезы зрители польют рекой,
Что волосы у них от страха дыбом станут!
Акт первый: трубный глас, гром пушек, барабаны,
Кровавая война, сраженье, вопли, раны...
Вдали кладбище, гошпита́ль...
Второй акт: дождь, гроза, растрепанна Печаль
По сцене бегает и водит за собою
Своя́ка Голода с сестрицею Чумою;
И с ревом рыскают медведи, львы в лесах.
Акт третий: ужас! страх!
Землетрясение и преставленье света...
Смерть одинокая, во вдовий креп одета,
Хоронит человечий род!
Финал: балет чертей и фурий хоровод.

⟨1810⟩

БЫЛЬ В ПРЕИСПОДНЕЙ

«Кто там стучится в дверь? —
Воскликнул Сатана. — Мне недосуг теперь!»
— «Се я, певец ночей, шахматно-пегий гений,
Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр осенний,
Погреться дайте мне, слезит дождь в уши мне!»
— «Что врешь ты за сумбур? Кто ты? Тебя не знают!»
— «Ага! Здесь, видно, так, как и на той стране, —
Покойник говорит, — меня не понимают!»

1810

К ПОРТРЕТУ ВЫСПРЕННЕГО ПОЭТА

Нет спора, что Бибрис богов язы́ком пел:
Из смертных бо никто его не разумел.

1810

СРАВНЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА С МОСКВОЙ

У вас Нева,
У нас Москва.
У вас Княжнин,
У нас Ильин.
У вас Хвостов,
У нас Шатров.
У вас плутам,
У вас глупцам,
Больным ......
Дурным стихам
И счету нет.
Боюсь, и здесь
Не лучше смесь:
Здесь вор в звезде,
Монах в .....
Осел в суде,
Дурак везде.
У вас Совет,
Его здесь нет —
Согласен в том,
Но желтый дом
У нас здесь есть.
В чахотке честь,
А с брюхом лесть —
Как на Неве,
Так и в Москве.
Мужей в рогах,
Девиц в родах,
Мужчин в чепцах,
А баб в портках
Найдешь у вас,
Как и у нас,
Не пяля глаз.
У вас «авось»
России ось
Крутит, вертит,
А кучер спит.

⟨1811⟩

* * *

Ага, плутовка мышь, попалась, нет спасенья!
Умри! Ты грызть пришла здесь Дмитриева том,
Тогда как у меня валялись под столом
Графова сочиненья!

(1811)

ЭПИТАФИЯ

Российский Диоген лежит под сею кочкой:
Тот в бочке прожил век, а наш свой прожил с бочкой.

(1811)

* * *

Тирсис всегда вздыхает,
Он без «увы» строки не может написать;
А тот, кому Тирсис начнет свой бред читать,
Сперва твердит «увы», а после засыпает.

(1811)

МИЛОНОВУ

ПО ПРОЧТЕНИИ ПЕРЕВОДА ЕГО ИЗ ГОРАЦИЯ

Когда нам уши раздирают
Несносны крики сов, гагар
И музы в наши дни страдают,
Как предки наши от татар;
Когда один с поэмой вздорной,
Другой с комедией снотворной
И вся Батыева орда
Выходит на Парнас войною, —
Ты в эти смутные года,
Со светлой, пылкою душою
И лирой звонкой золотой

Невежд ватагу оставляешь
И славу на пути встречаешь —
Ее приемыш молодой.
Иди вперед, друг муз и граций,
За избранным тобой вождем,
И пусть учитель твой Гораций
С тобой поделится венком.

1811

ОТЪЕЗД ВЗДЫХАЛОВА

С собачкой, с посохом, с лорнеткой
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком,
В кармане с парой мадригалов
И чуть с звенящим кошельком
По свету белому *Вздыхалов*
Пустился странствовать пешком.
«Прости, жестокая Аглая! —
Он говорит в последний раз,
И вздох за вздохом, грудь стесняя,
Его перерывают глас. —
Прости, Макаров, Фебом чтимый,
И ты, о Бланк неистощимый,
Единственный читатель мой!
Вот вам мое благословенье;
Кроплю вас тихою слезой».
А прочной дружбы в уверенье
Кольнув булавкой палец свой,
Он на бумажке пишет кровью:
«Дышу до гроба к вам любовью,
До гроба, или я не Стерн,
Или, по крайности, не Верн».
Тут он вздохнул, перекрестился,
Еще вздохнул, еще. . . и скрылся.

1811

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ В СТИХАХ ПЕРВЫЙ ОТДЫХ ВЗДЫХАЛОВА

Автор в путешествии своем наезжает на разных путешественников, между прочим на Фиглярина, Вздыхалова и других, знакомит с ними читателей своих путевых записок. Здесь сообщает он одно приключение из пешеходного странствования Вздыхалова с собачкою своею; в других главах будут описаны: встреча Вздыхалова с Фиглярином и предварительные переговоры союза оборонительного и нападательного, заключенного между ними; военная шутка из мирного странствования Фиглярина по передним и проч. и проч.

«Устал! Странноприимны боги!
Я вам сейчас стишки скажу.
Едва мои виляют ноги,
Едва лорнетку я держу,
И, уши опустя, *Бижу*,
Товарищ мой в сиротской доле,
Как я, бежать не может боле,
И *отдых в пользу* я читал,
Я три версты уж отпорхал;
Мне, право, отдохнуть не стыдно,
К тому ж и подлинник мой, видно,
Стерн точно так же отдыхал.
Так! Сесть мне можно без ошибки
Под ароматный зонтик липки,
Пленясь красой картинных мест».
Желудок между тем нескромный
Ему журчит укорой томной,
Что Йорик ел, а он не ест.
И, кое-как собравшись с силой,
Побрел он поступью унылой
К избушке, в нескольких шагах
Пред ним мелькающей в кустах;
И силится в уме усталом,
Свершая медленно свой путь,
Хотя экспромтом-мадригалом
Спросить поесть чего-нибудь,
Чтоб жизнь придать натуре тощей
Иль заморить, сказавши проще,
В пустом желудке червяка.

Он весь в экспромте был. Пока
К нему навстречу из лачужки
Выходит баба; ожил он!
На милый идеал пастушки
Лорнет наводит Селадон,
Платок свой алый расправляет,
Вздыхает раз, вздыхает два,
И к ней, кобенясь, обращает
Он следующие слова:
«Приветствую мольбой стократной
Гебею здешней стороны!
Твой обещает взор приятный
Гостеприимство старины.
В руке твоей, с нагорным снегом,
С лилеей равной белизны,
Я, утомленный дальним бегом,
Приемлю радостей залог;
Я истощился, изнемог.
Как, подходя к речному устью,
Томимый зноем пилигрим
Не верит и глазам своим,
Так я, и голодом и грустью
Томимый, подхожу к тебе.
Внемли страдальческой мольбе,
Как внемлешь ты сердечной клятве,
Когда твой юный друг на жатве
Любить тебя клянется вновь!
Клянусь: и я любить умею,
Но натощак что за любовь?
Май щедрый пестует лилею
И кормит бабочек семью,
Ты призри бабочку свою!
Молю Цереру-Киферею:
Моим будь щедрым Маем ты,
Не Декабрем скупым и льдистым!
И с сердцем и желудком чистым
Стою пред взором красоты.
Немного мне для пищи нужно:
Я из числа эфирных лиц.
Ты снисходительно и дружно
Изжарь мне пару голубиц,
Одних примет с тобой и масти,
Да канареечных яиц
Мне всмятку изготовь отчасти;

И каплей, в честь твоей красе,
Запью *чувствительного спирта*,
Настойки в утренней росе
Из *глаз анютиных* и мирта».
Но между тем как стих к стиху
В жару голодного запала
Он подбирал, как шелуху,
Или у музы на духу
Грехи для нежного журнала,
Иль нашему герою в лад
Я подобрать в сравненье рад
Еще вернее рукоделье —
Как буску к буске в ожерелье,
Иль легкий пух на марабу,
Который ветерок целует,
Колыша на девичьем лбу, —
Он и не видит и не чует,
Что перед ним нет никого
И что Гебея тихомолком,
Не понимая речи толком,
В избу укрылась от него.
Он, с воркованьем и приветом,
Стучал напрасно в ворота:
Ему мяуканье ответом
В окно смотрящего кота.
Такой прием ему не новость:
У журналистов он не раз
Людей испытывал суровость,
Когда носил им напоказ
Экспромтов дюжинный запас.
И что ж? Читал себе и музе
На запертых дверях отказ!
С смиренной мудростью в союзе,
И бед и опытов сестрой,
Он и теперь прямой герой!
Судьбе властительной послушно
Он съел свой гриб великодушно
И молча на *Бижу* взглянул.
То есть ведь речью фигуральной
Я здесь про гриб упомянул,
А то в судьбе своей печальной
И за единый гриб буквальный
Поэт бы с радости вспрыгнул.
И от избы бесчеловечной,

Где он Бавкиды не нашел,
С тоской и пустотой сердечной
Он прочь задумчиво побрел;
Шатался, медленно кружился
И наземь тихо повалился,
Как жидкая под ветром ель;
И тут, по воле и неволе,
Перебирая травку в поле,
С разглядкой стал щипать щавель.

1811?

* * *

Картузов другом просвещенья
В листках провозгласил себя.
О времена! О превращенья!
Вот каковы в наш век друзья!..

⟨1812⟩

К МОИМ ДРУЗЬЯМ Ж⟨УКОВСКОМУ⟩, Б⟨АТЮШКОВУ⟩ И С⟨ЕВЕРИНУ⟩

Где вы, товарищи-друзья?
Кто разлучил соединенных
Душой, руками соплетенных?
Один, без сердцу драгоценных,
Один теперь тоскую я!

И, может быть, сей сердца стон
Вотще по воздуху несется,
Вотще средь ночи раздается;
До вас он, может, не коснется,
Не будет вами слышен он!

И, может быть, в сей самый час,
Как ночи сон тревожит вьюга,
Один из вас в борьбах недуга
Угасшим гласом имя друга
В последний произносит раз!

Почий, счастливец, кротким сном!
Стремлюсь надежой за тобою...
От бури ты идешь к покою.
Пловец, томившийся грозою,
Усни на берегу родном!

Но долго ль вас, друзья, мне ждать?
Когда просветит день свиданья?
Иль — жертвы вечного изгнанья —
Не будем чаши ликованья
Друг другу мы передавать?

Иль суждено, чтоб сердца хлад
Уже во мне не согревался,
Как ветр в пустыне, стон терялся,
И с взглядом друга не встречался
Бродящий мой во мраке взгляд?

Давно ль, с любовью пополам,
Плели нам резвые хариты
Венки, из свежих роз увиты,
И пели юные пииты
Гимн благодарности богам?

Давно ль? — и сладкий сон исчез!
И гимны наши — голос муки,
И дни восторгов — дни разлуки!
Вотще возносим к небу руки:
Пощады нет нам от небес!

А вы, товарищи-друзья,
Явитесь мне хоть в сновиденье,
И, оживя в воображенье
Часов протекших наслажденье,
Обманом счастлив буду я!

Но вот уж мрак сошел с полей
И вьюга с ночью удалилась,
А вас душа не допросилась;
Зарей окрестность озлатилась...
Прийти ль когда заре моей?

Октябрь 1812
Вологда

ПОСЛАНИЕ К ЖУКОВСКОМУ

ИЗ МОСКВЫ, В КОНЦЕ 1812 ГОДА

Итак, мой друг, увидимся мы вновь
В Москве, всегда священной нам и милой!
В ней знали мы и дружбу и любовь,
И счастье в ней дни наши золотило.
Из детства, друг, для нас была она
Святилищем драгих воспоминаний;
Протекших бед, веселий, слез, желаний
Здесь повесть нам везде оживлена.
Здесь красится дней наших старина,
Дней юности, и ясных и веселых,
Мелькнувших нам едва — и отлетелых.
Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издревле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты.
Здесь бедная скитается вдовица,
Там слышен вопль младенца-сироты;
Их зрит в слезах румяная денница
И ночи мрак их застает в слезах!
А там старик, прибредший на клюках
На хладный пепл родного пепелища,
Не узнает знакомого жилища,
Где он мечтал сном вечности заснуть,
Склонив главу на милой дщери грудь;
Теперь один, он молит дланью нищей
Последнего приюта на кладбище.
Да будет тих его кончины час!
Пускай мечты его обманут муку,
Пусть слышится ему дочерний глас,
Пусть, в гроб сходя, он мнит подать ей руку!
Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих картин,
Сих ужасов и бедствий удаленный
И строгих уз семейных отчужденный,
Своей судьбы единый властелин,
Летит теперь, отмщеньем вдохновенный,
Под знамена карающих дружин!
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,

Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в боях утраченных друзей;
И, роковым постигнутый ударом,
Он скажет, свой смыкая мутный взор:
«Москва! Я твой питомец с юных пор,
И смерть моя — тебе последним даром!»

Я жду тебя, товарищ милый мой!
И по местам, унынью посвященным,
Мы медленно пойдем, рука с рукой,
Бродить, мечтам предавшись потаенным.
Здесь тускл зари пылающий венец,
Здесь мрачен день в краю опустошений;
И скорби сын, развалин сих жилец,
Склоня чело, объятый думой гений
Гласит на них протяжно: нет Москвы!
И хладный прах, и рухнувшие своды,
И древний Кремль, и ропотные воды
Ужасной сей исполнены молвы!

1813

К ТИРТЕЮ СЛАВЯН

Давно ли ты, среди грозы военной,
Младой Тиртей, на лире вдохновенной
Победу пел перед вождем побед?
И лаврами его означил след?
Давно ли ты, воспламенен героем,
Воспел его, с бестрепетным покоем
Стоящего пред трепетным врагом?
О, сколь тебе прекрасен перед строем
Казался он с израненным челом!
И ты прочел в священном упоенье
На сем челе судьбины приговор:
Успех вождя и пришлеца позор,
И ты предрек грядущих дней явленье!
Но где тобой обещанный возврат?
Где вождь побед? Увы! и стар и млад,
Предупредя дрожащий луч денницы,
Во сретенье к нему не поспешат!
Не окружат победной колесницы
И спасшей их отмстительной десницы
К устам своим не поднесут стократ!

И каждый шаг его не огласят
Языком чувств, хвалою благодарной!
Не придет сей желанный нами день!
Внезапно смерть простерла ночи тень
На путь вождя, путь славы лучезарной!
Спасенья муж свой зоркий взгляд смежил,
И тесный гроб — великого вместил!
Обвей свою ты кипарисом лиру,
Тиртей славян! И прах, священный миру,
Да песнь твоя проводит в мрачный свод,
И тень его, с безоблачных высот
Склонясь на глас знакомых песнопений,
Твой будет щит и вдохновенья гений.

1813

НА НЕКОТОРУЮ ПОЭМУ

Отечество спаслось Кутузова мечом
От мстительной вражды новейшего Батыя,
Но от твоих стихов, враждующих с умом,
Ах! не спаслась Россия!

1813

* * *

Картузов — сенатор,
Картузов — куратор,
Картузов — поэт.
Везде себе равен,
Во всем равно славен,
Оттенков в нем нет:
Худой он сенатор,
Худой он куратор,
Худой он поэт.

1813

* * *

Спасителя рожденьем
Встревожился народ;
К малютке с поздравленьем
Пустился всякий сброд:
Монахи, рифмачи, прелестники, вельможи —
Иной пешком, другой в санях;
Дитя глядит на них в слезах
И во́пит: «Что за рожи!»

Совет наш именитый,
И в лентах и в звездах,
Приходит с шумной свитой —
Малютку пронял страх.
«Не бойся, — говорят, — сиди себе в покое,
Не обижаем никого,
Мы, право, право, ничего,
Хоть нас число большое!»

Наш Неккер, запыхаясь,
Спасителю сквозь слез,
У ног его валяясь,
Молитву произнес:
«Мой боже, сотвори ты в нашу пользу чудо!
Оно тебе как плюнуть раз,
А без него, боюсь, у нас
Финансам будет худо!

Склонись на просьбу нашу.
Рука твоя легка,
А для тебя я кашу
Начну варить пока.
О мастерстве моем уже здесь всякий сведал,
Я кашу лучше всех варю,
И с той поры, как взят к царю,
Я только то и делал».

Сподвижник знаменитый
Его достойных дел,
Румянами покрытый,
К Марии вдруг подсел.

Он говорит: «Себе подобного не знаю,
Военным был средь мирных лет,
Теперь, когда торговли нет,
Торговлей управляю!»

Пронырливый от века
Сибирский лилипут,
Образчик человека,
Явился Пестель тут.
«Что правит бог с небес землей — ни в грош не ставлю;
Диви, пожалуй, он глупцов,
Сибирь и сам с Невы брегов
И правлю я, и граблю!»

К Христу на новоселье
Несет министр овец,
Российское изделье,
Суконный образец!
«Я знаю, — говорит, — сукно мое дрянное,
Но ты носи, любя меня,
И в «Северной» о друге я
Скажу словцо-другое!»

Вдруг слышен шум у входа:
Березинский герой
Кричит толпе народа:
«Раздвиньтесь: я герой!»
— «Пропустимте его, — вдруг каждый повторяет, —
Держать его грешно бы нам,
Мы знаем: он других и сам
Охотно пропускает!»

Украшенный венками,
Приходит Витгенштейн,
Герою рифмачами
Давно приписан Рейн!
Он говорит: «Бог весть, как с вами очутился,
Летел я к славе налегке,
Летел, летел с мечом в руке,
Но с Люцена я сбился!»

Нос кверху вздернув гордо
И нюхая табак,
Столп государства твердый,
А просто — злой дурак!
Подводит из Москвы полиции когорту;
Христос, ему отбривши спесь,
Сказал: «Тебе не место здесь, —
Ты убирайся к черту».

Захаров пресловутый,
Присяжный славянин,
Оратор наш надутый,
Беседы исполин,
Марии говорит: «Не занят я житейским,
Пишу наитием благим,
И всё не языком людским,
А самым уж библейским!»

Дородный Карабанов
Младенцу на досуг
Выносит из карманов
Стихов тяжелых пук.
Тот смотрит на него и рвется из пеленок,
Но, хорошенько рассмотрев,
Сказал: «Наш разживает хлев,
К ослу пришел теленок!»

С поэмою холодной
Студеный Шаховской
Приходит в час свободный
Читать акафист свой.
При первых двух стихах дитя прилег головкой,
«Спасибо! — дева говорит. —
Читай, читай, смотри, как спит,
Баюкаешь ты ловко!»

К Христу оратор новый
Подходит, Филарет:
«К услугам вам готовый,
Аз невский Боссюэт!
Мне, право, никогда быть умником не снилось,
Но тот шепнул, другой сказал,
И, что я в умники попал,
Нечаянно случилось!»

К Марии благодатной
Растрепанный бежит
Кликушка князь Шахматный,
Бьет об грудь и визжит:
«Святая! Будь мне щит, я вовсе погибаю;
Лукавый смысл мой помрачил,
Шишковым я испорчен был,
Очисти! Умоляю!»

Хвостовы пред малюткой
Друг с другом входят в бой;
Один с старинной шуткой,
С мешком стихов другой.
Один кричит: «Словцо!» Другой мяучит: «Ода!»
Малютка, их прослуша вздор,
Сказал, возвыся к небу взор:
«Несчастная порода!»

За ними пара Львовых
Выходит из толпы,
Беседы стен Петровых
Надежные столпы.
Прослушавши Христос приветствие их длинно
И смеря с ног до головы,
«Уж не Хвостовы ли и вы?» —
Спросил он их невинно.

Трактат о воспитанье
Приносит новый Локк:
«В малютке при старанье,
Поверьте, будет прок.
Отдайте мне его, могу на Нижний смело
Сослаться об уме своем.
В Гишпанье, не таюсь грехом,
Совсем другое дело!

Горация на шею
Себе я навязал, —
Я мало разумею,
Но много прочитал!
Малютку рад учить всем лексиконам в мире,
Но математике никак,
Боюсь, докажет — я дурак,
Как дважды два четыре!»

К Марии с извиненьем
Подкрался Горчаков,
Удобривая чтеньем
Похвальных ей стихов.
Она ему в ответ: «Прошу, не извиняйся!
Я знаю, ты ругал меня,
Ругай и впредь, позволю я,
Но только убирайся!»

Беседы сын отважный,
Пегаса коновал,
Еров злодей присяжный,
Языков тут сказал:
«Колена преклоня, молю я Иисуса:
Храни, спаси нас от еров,
Как я спасаюсь от чтецов,
От смысла и от вкуса».

1814

К ДРУЗЬЯМ

Гонители моей невинной лени,
Ко мне и льстивые, и строгие друзья!
Благодарю за похвалы и пени, —
Но не ленив, а осторожен я!
Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом,
Я ни одним еще не завладел журналом,
И, пальцем на меня указывая, свет
Не говорит: вот записной поэт!
Но признаюсь, хотя и лестно, а робею:
Легко, не согласясь с способностью моею,
Обогатить, друзья, себе и вам назло
Писателей дурных богатое число.
Немало видим мы в поэтах жертв несчастных
Успеха первого и первой похвалы;
Для них день ясный был предтечей дней ненастных,
И ветр, сорвав с брегов, их бросил на скалы.
Притом хотя они бессмертного рожденья,
Но музы — женщины, не нужны объясненья!
Смешон, кто с первых ласк им вериться готов;
Как часто вас они коварно задирают,
Когда вы их не ищете даров!

А там еще стократ коварней покидают,
Когда вы, соблазнясь притворной лаской их,
Владычиц видите в них и богинь своих!
Смотрите — не искать тому примеров дальних!
Мы здесь окружены толпой
Обманутых любовников печальных!
Не знавшись с музами, они б цвели душой,
И в неге тишины целебной
По слуху знали бы и хлопоты и труд!
Но первый их экспромт разрушил мир волшебный,
И рифмы-коршуны, в них впившись, их грызут.
Быть может, удалось крылатым вдохновеньем
И мне подчас склонять на робкий глас певца
Красавиц, внемлющих мне с тайным умиленьем,
Иль, на беду его, счастливым выраженьем
Со смехом сочетать прозвание глупца.
И смерть пускай его предаст забвенья злобе,
Мой деятельный стих его и в дальнем гробе
Преследует, найдет, потомству воскресит
И внуков памятью о деде рассмешит!
Иль, смелою рукой младую лиру строя,
Быть может, с похвалой воспел царя-героя!
И, скромность в сторону, шепну на всякий страх —
Быть может, боле я и в четырех стихах
Сказал о нем, чем сонм лже-Пиндаров надутых
В громадах пресловутых
Их од торжественных, где торжествует вздор!
И мать счастливая увенчанного сына
(Награда лестная! Завидная судьбина!)
Приветливый на них остановила взор.
Я праведно бы мог гордиться в упоенье;
Но, строгий для других, иль буду к одному
Я снисходителен себе, на смех уму?
Нет! нет! Опасное отвергнув обольщенье,
Удачу не сочту за несомненный дар;
И Рубан при одном стихе вошел в храм славы!
И в наши, может, дни (чем не шутил лукавый?)
Порядочным стихом промолвится Гашпар.
О, дайте мне, друзья, под безмятежной сенью,
Куда укрылся я от шума и от гроз,
На ложе сладостном из маков и из роз,
Разостланном счастливой ленью,
Понежиться еще в безвестности своей!
Успехов просит ум, а сердце счастья просит!

И самолюбия нож острый часто косит
Весенние цветы младых и красных дней.
Нет! нет! Решился я, что б мне ни обещали,
Блаженным Скюдери не буду подражать!
Чтоб более меня читали,
Я стану менее писать!

Вторая половина 1814

ОТВЕТ НА ПОСЛАНИЕ ВАСИЛЬЮ ЛЬВОВИЧУ ПУШКИНУ

Ты прав, любезный Пушкин мой,
С людьми ужиться в свете трудно!
У каждого свой вкус, свой суд и голос свой!
Но пусть невежество талантов судией —
Ты смейся и молчи: роптанье безрассудно!
Грудистых крикунов, в которых разум скудный
Запасом дерзости с избытком заменен,
Перекричать нельзя. Язык их — брань, искусство —
Пристрастьем заглушать священной правды чувство,
А демон зависти — их мрачный Аполлон!
Но их безвредное, смешное вероломство
В борьбе с талантами не может устоять!
Как волны от скалы, оно несется вспять!
Что век зоила? — день! Век гения? — потомство!
Учись — здесь Карамзин, честь края своего,
Сокрывшихся веков отважный собеседник,
Наперсник древности и Ливия наследник,
Не знает о врагах, шипящих вкруг него.
Пускай дурачатся, гордясь рукоплесканьем
Сотрудников своих; их речи — тщетный звон!
Не примечая их, наказывает он
Витийственный их гнев убийственным молчаньем.
Так путник, посреди садов,
Любуясь зеленью и свежими цветами,
Не видит под травой ползущих червяков,
Их топчет твердыми ногами
И далее идет, не думая о них!

Оставим сих слепцов; их сумрачные очи,
Привыкшие ко тьме, бегут лучей дневных, —

И, пожелав им доброй ночи,
Сзовем к себе друзей своих
Стихи читать, не зачитаться,
Поговорить и посмеяться
На свой, подчас и счет других;
Но только с тем, чтоб осторожно!
И в дружеском кругу своем,
Поверь, людей еще найдем,
С которыми ужиться можно!

1814

К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

(В 1814-м году)

Анакреон под дуломаном,
Поэт, рубака, весельчак!
Ты с лирой, саблей иль стаканом
Равно не попадешь впросак.

Носи любви и Марсу дани!
Со славой крепок твой союз:
В день брани — ты любитель брани!
В день мира — ты любимец муз!

Душа, двойным огнем согрета,
В тебе не может охладеть:
На пламенной груди поэта
Георгия приятно зреть.

Воинским соблазнясь примером,
Когда б Парнас давал кресты,
И Аполлона кавалером
Давно, конечно, был бы ты.

К ПАРТИЗАНУ-ПОЭТУ

Давыдов, баловень счастливый
Не той волшебницы слепой,
И благосклонной, и спесивой,
Вертящей мир своей клюкой,

Пред коею народ трусливый
Поник просительной главой, —
Но музы острой и шутливой
И Марса, ярого в боях!
Пусть грудь твоя, противным страх,
Не отливается игриво
В златистых и цветных лучах,
Как радуга на облаках;
Но мне твой ус красноречивый,
Взращенный, завитый в полях
И дымом брани окуренный, —
Повествователь неизменный
Твоих набегов удалых
И ухарских врагам приветов,
Колеблющих дружины их!
Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож!
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;
Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждает дверь;
Но не тужи о том теперь!
На барскую ты половину
Ходить с поклоном не любил,
И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил.
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил!
Спеши в объятья их без страха
И, в соприсутствии нам Вакха,
С друзьями здесь возобнови
Союз священный и прекрасный,
Союз и братства и любви,
Судьбе могущей неподвластный!..
Где чаши светлого стекла?
Пускай их ряд, в сей день счастливый,
Уставит грозно и спесиво
Обширность круглого стола!
Сокрытый в них рукой целебной,

Дар благодатный, дар волшебный
Благословенного *Аи*
Кипит, бьет искрами и пеной! —
Так жизнь кипит в младые дни!
Так за столом непринужденно
Родятся искры острых слов,
Друг друга гонят, упреждают
И, загоревшись, угасают
При шумном смехе остряков!
Ударим радостно и смело
Мы чашу с чашей в звонкий лад! . .
Но твой, Давыдов, беглый взгляд
Окинул круг друзей веселый,
И, среди нас осиротелый,
Ты к чаше с грустью приступил,
И вздох невольный и тяжелый
Поверхность чаши заструил! . .
Вздох сердца твоего мне внятен,
Он скорбной траты тайный глас;
И сей бродящий взор понятен —
Он ищет Б⟨урцо⟩ва средь нас.
О Б⟨урцо⟩в, Б⟨урцо⟩в! Честь гусаров,
По сердцу Вакха человек!
Ты не поморщился вовек
Ни с блеска сабельных ударов,
Светящих над твоим челом,
Ни с разогретого арака,
Желтеющего за стеклом
При дымном пламени бивака!
От сиротствующих пиров
Ты был оторван смертью жадной!
Так резкий ветр, посол снегов,
Сразившись с лозой виноградной,
Красой и гордостью садов,
Срывает с корнем, повергает
И в ней надежду убивает
Усердных Вакховых сынов!
Не удалось судьбой жестокой
Ударить робко чашей мне
С твоею чашею широкой,
Всегда потопленной в вине!
Я не видал ланит румяных,
Ни на челе следов багряных
Побед, одержанных тобой;

Но здесь, за чашей круговой,
Клянусь Давыдовым и Вакхом:
Пойду на холм надгробный твой
С благоговением и страхом;
Водя́ных слез я не пролью,
Но свежим плющем холм украшу,
И, опрокинув полну чашу,
Я жажду праха утолю!
И мой резец, в руке дрожащий,
Изобразит от сердца стих:
«Здесь Б⟨урцо⟩в, друг пиров младых,
Сном вечности и хмеля спящий.
Любил он в чашах видеть дно,
Врагам казать лице средь боя, —
Почтите падшего героя
За честь, отчизну и вино!»

1814 или 1815

К ПОДУШКЕ ФИЛЛИДЫ

(С французского)

Поведай тайны мне свои,
Подушка, смятая Филлидой,
Пух с горлиц, вскормленных Кипридой,
Иль с легких крылиев любви!

Не сказывай, что взор встречает,
Когда покров с себя ночной
Откинет легкою ногой,
Или зефир его сдувает!

Не сказывай ты мне равно,
Как уст прелестных осязаньем
И сладостным она дыханьем
Твое согрела полотно!

И сам Амур красноречивый
Всего бы мне не рассказал
Того, что прежде угадал
Мечтою я нетерпеливой!

Нет, нет! Поведай мне сперва,
Как часто с робостию скромной
Любви восторгов шепчет томно
Она волшебные слова?

Скажи мне, сколько слез укоры
И ревности упало слез
В тебя, когда я веткой роз
Украсил грудь Элеоноры?

На днях украдкою в тени
Она меня поцеловала.
«Ты видишь — ты любим, — сказала, —
Но от самой меня храни».

Я тут с Филлидою расстался.
Скажи, могла ль она заснуть?
Скажи, как трепетала грудь,
Как вздох за вздохом вырывался?

Девица в поздние часы
Под завесом не столь таится:
Душа ее нагая зрится,
Как и открытые красы.

Другим бы, может быть, скорее
Пристало тайны знать твои,
Но из поклонников любви
Достойней тот, кто всех нежнее.

Когда, ущедренный судьбою,
Я при тебе к груди своей
Прижму ее и робость в ней
Я поцелуем успокою?

Вечор мне руку подала,
Затрепетала и вздохнула.
«Ты завтра приходи», — шепнула
И, закрасневшись, отошла.

О боги! Можно ли мне льститься?
Прелестной верить ли судьбе?
Подушка! Вечером к тебе
Приду ответа допроситься.

⟨1815⟩

* * *

Кто вождь у нас невеждам и педантам?
Кто весь иссох из зависти к талантам?
Кто гнусный лжец и записной зоил?
Кто, если мог вредить бы, вреден был?
Кто, не учась, других охотно учит,
Врагов смешит, а приближенных мучит?
Кто лексикон покрытых пылью слов?
Все в один раз ответствуют: Шишков!

(1815)

К ДРУЗЬЯМ

Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час;
Радость от нас
Молний быстрее
Быстро парит,
Птичек резвее
Резво летит.
Неумолимый
Неумолим,
Невозвратимый
Невозвратим.
Утром гордится
Роза красой;
Утром свежится
Роза росой.
Ветер не смеет
Тронуть листков,
Флора лелеет
Прелесть садов!
К ночи прелестный
Вянет цветок;
Други! Безвестно,
Сколько здесь рок
Утр нам отложит, —
Вечер, быть может,
Наш недалек.

1815

КОГДА? КОГДА?

Когда утихнут дни волненья
И ясным дням придет чреда,
Рассеется звездой спасенья
Кровавых облаков гряда?
Когда, когда?

Когда воскреснут добры нравы,
Уснет и зависть и вражда?
Престанут люди для забавы
Желать взаимного вреда?
Когда, когда?

Когда корысть, не зная страха,
Не будет в храминах суда
И в погребах, в презренье Вакха,
Вино размешивать вода?
Когда, когда?

Когда поэты будут скромны,
При счастье глупость не горда,
Красавицы не вероломны
И дружба в бедствиях тверда?
Когда, когда?

Когда очистится с Парнаса
Неверных злобная орда
И дикого ее Пегаса
Смирит надежная узда?
Когда, когда?

Когда на языке любовном
Нет будет *нет, да* будет *да*
И у людей в согласье ровном
Расти с рассудком борода?
Когда, когда?

Когда не по полу прихожей
Стезю проложат в господа
И будет вывеской вельможей
Высокий дух, а не звезда?
Когда, когда?

Когда газета позабудет
Людей морочить без стыда,
Суббота отрицать не будет
Того, что скажет середа?
Когда, когда?

1815

ВЕСЕННЕЕ УТРО

По зыбким, белым облакам
Горят пылающие розы;
Денницы утренние слезы
Блестят, как жемчуг, по лугам,
И с пышной липы и березы
Душистый веет фимиам!

Разлитое струями злато
Волнуется на теме гор;
Садов богини верный двор,
Зефиров легких рой крылатый
Летит на сотканный ковер
Рукою Флоры тароватой!

Настал любви условный час,
Час упоений, час желаний;
Спи, Аргус, под крылом мечтаний!
Не открывай, ревнивец, глаз!
Красавицы! Звезда свиданий,
Звезда Венеры будит вас!

Оставь ты одр уединенный,
Услышь, о Дафна, друга зов,
Накинь свой утренний покров
И матери непробужденной
Оставь неблагосклонный кров,
Восторгами не освященный!

Приди ко мне! Нас в рощах ждет
Под сень таинственного свода
Теперь и нега, и свобода!
Птиц ожил хор и шепот вод,
И для любви сама природа
От сна, о Дафна, восстает!

1815

ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ

(1816)

Дыханье вечера долину освежило,
Благоухает древ трепещущая сень,
И яркое светило,
Спустившись в недра вод, уже переступило
Пылающих небес последнюю ступень.
Повсюду разлилось священное молчанье;
Почило на волнах
Игривых ветров трепетанье,
И скатерть синих вод сровнялась в берегах.
Чья кисть, соперница природы,
О Волга, рек краса, тебя изобразит?
Кто в облачной дали конец тебе прозрит?
С лазурной высотой твои сровнялись воды,
И пораженный взор, оцепенев, стоит
Над влажною равниной;
Иль, увлекаемый окрестною картиной,
Он бродит по твоим красивым берегам:
Здесь темный ряд лесов под ризою туманов,
Гряда воздушная синеющих курганов,
Вдали громада сел, лежащих по горам,
Луга, платящие дань злачную стадам,
Поля, одетые волнующимся златом, —
И взор теряется с прибережных вершин
В разнообразии богатом
Очаровательных картин.
Но вдруг перед собой зрю новое явленье:
Плывущим островам подобяся, вдали
Огромные суда в медлительном паренье
Несут по лону вод сокровища земли;
Их крылья смелые по воздуху белеют,
Их мачты, как в водах бродящий лес, темнеют.
Люблю в вечерний час, очарованья полн,
Прислушивать, о Волга величава!
Глас поэтический твоих священных волн;
В них отзывается России древней слава.
Или, покинув брег, люблю гнать резвый челн
По ропотным твоим зыбям — и, сердцем весел,
Под шумом дружных весел,
Забывшись, наяву один дремать в мечтах.
Поэзии сынам твои знакомы воды!
И музы на твоих прохладных берегах,

В шумящих тростниках,
В час утренней свободы,
С цевницами в руках
Водили хороводы
Со стаей нимф младых;
И отзыв гор крутых,
И вековые своды
Встревоженных дубрав
Их песнями звучали
И звонкий глас забав
Окрест передавали.
Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин,
И Дмитриев, харит счастливый обожатель,
Величья твоего певец-повествователь,
Тобой воспоены средь отческих долин.
Младое пенье их твой берег оглашало,
И слава их чиста, как вод твоих зерцало,
Когда глядится в них лазурный свод небес,
Безмолвной тишиной окован ближний лес
И резвый ветерок не шевелит струею.
Их гений мужествен, как гений вод твоих,
Когда гроза во тьме клубится над тобою
И пеною кипят громады волн седых;
Противник наглых бурь, он злобе их упорной
Смеется, опершись на брег, ему покорный;
Обширен их полет, как бег обширен твой;
Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой,
В пучину Каспия мчишь воды обновленны,
Так славные их дни, согражданам священны,
Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках!
Но мне ли помышлять, но мне ли петь о славе?
Мой жребий: бег ручья в безвестных берегах,
Вьющийся в дубраве!
Счастлив он, если мог цветы струей омыть,
И ропотом приятным
Младых любовников шаги остановить,
И сердце их склонить к мечтаньям благодатным.

1815

К ПОДРУГЕ

От шума, от раздоров,
Гостинных сплетен, споров,
От важных дураков,
Забавников докучных
И вечных болтунов,
С злословьем неразлучных,
От жалких пастушков,
При дамских туалетах
Вздыхающих в сонетах;
От критиков-слепцов,
Завистников талантов,
Нахмуренных педантов,
Бродящих фолиантов,
Богатых знаньем слов;
От суетного круга,
Что прозван свет большой,
О милая подруга!
Укроемся со мной.
Простись с блестящим светом,
Приди с своим поэтом,
Приди под кров родной,
Под кров уединенный,
Счастливый и простой,
Где счастье неизменно
И дружбой крыл лишенно
Нас угостит с тобой!
Хотя мы жили мало,
Но в вихре юных лет
Нас горе испытало,
И, по морю сует
Пловцы неосторожны,
Мы часто брали ложный
Путь гибели и бед
За верный и надежный,
Казавший к благу след.
И там с бедой встречались,
Где мы найти ласкались
И счастье, и покой.
О друг бесценный мой!
Испытанное горе
Забвенью предадим,
И треволнений море

Уступим мы другим.
Дар редкой, особливый,
С небес необходим,
Чтоб управлять счастливо
На нем челном своим.
Что ж делать? Не имеем
Искусства мы сего;
Зато, мой друг, умеем
Прожить и без него.
Уже воображенье
Сближает отдаленье
Мне тех счастливых дней,
Когда уединенье,
Покой и размышленье
Смирят души смятенье
И усыпят страстей
Коварное волненье!
Уже среди полей,
Украшенных природой,
Я, свергнув плен цепей,
Горжусь своей свободой
И восхищаюсь ей,
Как пленник свобожденный,
В отчизну возвращенный
От вражеских брегов,
С восторгом внемлет пенью
Знакомых голосов
И веселится тенью
Родительских дубов.
Уже тебя мечтою
Я, утренней порою,
Бегущей вижу в сад,
Для неги и прохлад
И Флорой и тобою
Украшенный стократ!
Твой утренний наряд,
И скромный и прелестный,
Меж зелени древесной
Белеется вдали, —
Ты всё обозреваешь:
Здесь мирты поливаешь,
Гвоздику расправляешь,
Склоненную к земли;
А там тропу от спальни

К беседке у купальни
Прокладываешь ты!
Но воздух тмится паром,
И солнце пышет жаром
С лазурной высоты;
Тут ты работы бросишь
И розу мне приносишь —
Подобие себя!
Но, ах! могу ли я
Грядущего картину
Искусною рукой
Представить пред тобой?
Нет! Разве тень едину
Тебе изображу;
Нет, разве половину
Я радостей скажу,
Которые нас встретят,
Украсят и осветят
Смиренный наш приют!
С волшебной быстротою
Дни резвые бегут:
Меж утренней зарею
И сумрачной порою
Лишь несколько минут
Сочтем, мой друг, с тобою!
Тогда как в тех домах,
Где гордость с суетою
И подлость впопыхах,
Одна перед другою
В натянутых словах
Невольно открывают
Всю скуку, что питают
В изношенных душах,
Едва тащится время
И каждый миг, как бремя,
Тягчится на плечах.
Быть может, к нам в обитель
Заманим мы друзей:
И тишины любитель,
И младости моей
Наставник и хранитель,
Бессмертной Клии сын,
Трудами утомленный,
Под кров уединенный

Придет вкусить покой;
И, может быть, младой
Наперсник фей и граций,
Веселый, как Гораций,
И сумрачный порой,
Как самый Громобой,
В полуночи ненастной
Балладою ужасной
Придет нас восхищать
И внемлющих безгласно
И трогать, и пугать;
А с ним и сладострастный
Цитерских битв певец,
Тибулл наш сладкогласный,
И гражданин, и жрец
Благословенной Книды,
От Марса и Киприды
Приявший свой венец,
Быть может, к нам в дубравы
Перенесет Тибур
И, сердцем Эпикур,
Все обольщенья славы
И шумные забавы
Столицы между нас
Придет забыть на час.
О дружба! Жизни радость,
Твою святую сладость
Из детства выше всех
Я почитал утех!
Всегда была ты страстью
Души моей младой,
И трудный путь ко счастью
Мне проложен тобой.
О дружба! Весь я твой.
И на одре недуга
Я, в час мой роковой,
Хочу коснуться друга
Трепещущей рукой!
И, сим прикосновеньем
Как будто возрожден,
С надеждой, с утешеньем
Я встречу смерти сон.

1815

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК ШУТОВСКОГО,
поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги

1

В комедиях, сатирах Шутовского
Находим мы веселость словаря,
Затейливость месяцеслова
И соль и едкость букваря.

2

Напрасно, Шутовской, ты отдыха не знаешь,
За неудачами от неудач спешишь;
Комедией друзей ты плакать заставляешь,
Трагедией ты зрителя смешишь.

3

Когда затейливым пером
Забавник Шутовской, шутя, соседов ссорил,
Сам не на шутку он, бог весть за что, повздорил
С партером, вкусом и умом.

4

«Коварный», «Новый Стерн» — пигмеи!
Они незрелый плод творца,
Но «Полубарские затеи» —
Затеи полного глупца.

5

Напрасно говорят, что грешника черты
Доносят нам, как он раскаяньем замучен;
Смотрите, как румян и тучен
Убийца сироты! [1]

6

К ПЕРЕВОДЧИКУ «КИТАЙСКОЙ СИРОТЫ»

Вольтер нас трогает «Китайской сиротой»
И тем весельчаков заслуживает пени;
Но слезы превратил в забаву Шутовской:
Он из трагедии удачною рукой
Китайские поделал тени.

---

[1] Объяснимся: Китайской.

7

С какою легкостью свободной
Играешь ты в стихах природой и собой.
Ты в «Шубах» Шутовской холодный,
В «Водах» ты Шутовской сухой.

8

Когда при свисте кресл, партера и райка
Торжественно сошел со сцены твой «Коварный»,
Вини себя и впредь готовься не слегка.
Ты выбрал для себя предмет неблагодарный:
Тебе ли рисовать коварного портрет!
Чистосердечен ты, в тебе коварства нет.
И каждый, кто прочтет твоих трудов собранье
Или послушает тебя минуты две,
Увидит, как насквозь: в душе вредить желанье
И неспособность в голове.

9

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОДЫ

«Каков ты?» — «Что-то всё не спится,
Хоть пью лекарства по ночам».
— «Чтоб от бессонницы лечиться,
Отправься к Липецким водам».

«Каков ты?» — «Пламя потаенно
Жжет кровь мою назло врачам».
— «Чтоб исцелиться совершенно,
Отправься к Липецким водам».

Сентябрь — ноябрь 1815

* * *

На степени вельмож Сперанский был мне чужд.
В изгнанье, под ярмом презрения и нужд,
В нем жертву уважал обманчивого счастья;
Стал ненавистен мне угодник самовластья.

Между 1814 и 1816

ОБЖОРСТВО

Один француз
Жевал арбуз.
Француз хоть и маркиз французский,
Но жалует вкус русский,
И сладкое глотать он не весьма ленив.
Мужик, вскочивши на осину,
За обе щеки драл рябину,
Иль, попросту сказать, российский чернослив:
Знать, он в любви был несчастлив!
Осел, увидя то, ослины лупит взоры
И лает: «Воры! Воры!»
Но наш француз
С рожденья не был трус;
Мужик же тож не пешка,
И на ослину часть не выпало орешка.

Здесь в притче кроется толикий узл на вкус:
Что госпожа ослица,
Хоть с лаю надорвись, не будет век лисица.

⟨1816⟩

К***

Ты требуешь стихов моих,
Но что достойного себя увидишь в них?
Язык богов, язык святого вдохновенья —
В стихах моих язык сухого поученья.
Я, строгой истиной вооружая стих,
Был чужд волшебства муз и вымыслов счастливых,
К которым грации, соперницы твои,
По утренним цветам любимцев горделивых
Ведут, их озарив улыбкой в юны дни.
Повиновение всегда к тебе готово.
Но что узнаешь ты, прочтя стихи мои?
Зевая, может быть, поверишь мне на слово,
Что над славянскими я одами зевал,
Что комик наш Гашпар плач Юнга подорвал,
Что трагик наш Гашпар Скаррона побеждал,
Что, маковым венком увенчанный меж нами,

Сей старец-юноша, певец Анакреон
Не счастьем, не вином роскошно усыплен,
Но вялыми стихами;
Что Сафе нового Фаона бог привел,
Ей в переводчики убийцу нарекая,
Что сей на Грея был и на рассудок зол,
А тот, чтоб запастись местечком в недрах рая,
Водой своих стихов Вольтера соль развел.
Но мне ль терзать твое терпение иску́сом
И вызывать в глазах твоих из тьмы гробов
Незнаемых досель ни красотой, ни вкусом,
Смертельной скукою живущих мертвецов?
Тебе ль, благих богов любимице счастливой,
Рожденной розы рвать на жизненном пути,
Тебе ли, небесам назло, мне поднести
Венок, сплетенный мной из терния с крапивой?
Когда Мелецкого иль Дмитриева дар
Питал бы творческою силой
В груди моей, как пепл таящийся остылой,
Бесплодный стихотворства жар,
Когда бы, прелестей природы созерцатель,
Умел я, как они, счастливый подражатель,
Их новой прелестью стихов одушевлять
Иль, тайных чувств сердец удачный толкователь,
Неизъяснимое стихами изъяснять, —
Почувствовавши муз святую благодать,
Пришел бы я с душой, к изящному пристрастной,
Природы красоте учиться при тебе;
Но, заглядевшися на подлинник прекрасный,
Забыл бы, верно, я о списке и себе.

1816

К ПЕРУ МОЕМУ

Перо! Тебя давно бродящая рука
По преданной тебе бумаге не водила;
Дремотой праздности окованы чернила;
И муза, притаясь, любимцу ни стишка
Из жалости к нему и ближним не внушила.
Я рад! Пора давно расстаться мне с тобой.
Что пользы над стихом других и свой покой,
Как труженик, губить с утра до ночи темной

И теребить свой ум, чтоб шуткою нескромной
Улыбку иногда с насмешника сорвать?
Довольно без меня здесь есть кому писать;
И книжный ряд моей не алчет скудной дани.
К тому ж, прощаясь, я могу тебе сказать:
С тобой не наживу похвал себе, а брани.
Обычай дурен твой, пропасть недолго с ним.
Не раз против меня ты подстрекало мщенье;
Рожденный сердцем добр, я б всеми был любим,
Когда б не ты меня вводило в искушенье.
Как часто я, скрепясь, поздравить был готов
Иного с одою, другого с новой драмой,
Но ты меня с пути сбивало с первых слов!
Приветствием начну, а кончу эпиграммой.
Что ж тут хорошего? В посланиях моих
Нескромности твоей доносчик каждый стих.
Всегда я заведен болтливостью твоею;
Всё выскажешь тотчас, что на сердце имею.
Хочу ли намекнуть об авторе смешном?
Вздыхалов, как живой, на острие твоем.
Невеждой нужно ль мне докончить стих начатый?
То этот, то другой в мой стих идет заплатой.
И кто мне право дал, вооружась тобой,
Парнасской братьи быть убийцей-судией?
Мне ль, славе чуждому, других в стихах бесславить?
Мне ль, быв защитником неправедной войны,
Бессовестно казнить виновных без вины?
Или могу в вину по чести я поставить
Иному комику, что за дурной успех
Он попытался нас трагедией забавить,
Когда венчал ее единодушный смех?
Прямой талант — деспо́т, и властен он на сцене
Дать Талии колпак, гремушку Мельпомене.
Иль, вопреки уму, падет мой приговор
На од торжественных торжественный набор,
Сих обреченных жертв гостеприимству Леты,
Которым душат нас бездушные поэты?
Давно — не мне чета — от них зевает двор!
Но как ни оскорбляй рифмач рассудок здравый,
В глазах увенчанной премудрости и славы
Под милостивый он подходит манифест.
Виновник и вина — равно забыты оба;
Без нас их колыбель стоит в преддверье гроба.
Пускай живут они, пока их моль не съест!

Еще когда б — чужих ошибок замечатель —
Ошибок чужд я был, не столько б я робел,
С возвышенным челом вокруг себя смотрел,
И презрен был бы мной бессильный неприятель.
Но утаить нельзя: в стихах моих пятно
В угоду критике найдется не одно.
Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным;
И часто, как примусь шутить насчет других,
Коварно надо мной подшучивает стих.
Дай только выйти в свет, и злоба ополчится!
И так уже хотел какой-то доброхот
Мидасовым со мной убором поделиться.
Дай срок! И казни день решительный придет.
Обиженных творцов, острящих втайне жалы,
Восстанет на меня злопамятный народ.
Там бранью закипят досужные журналы;
А здесь, перед людьми и небом обвиня,
Смущенный моралист безделкою невинной
За шутку отомстит мне проповедью длинной,
От коей сном одним избавлюсь разве я.
Брань ядовитая — не признак дарованья.
Насмешник может быть сам жертвой осмеянья.
Не тщетной остротой, но прелестью стихов
Жуковский каждый час казнит своих врагов,
И вкуса, и ума врагов ожесточенных.
В твореньях его, бессмертью обреченных,
Насмешек не найдет злословцев жадный взор;
Но смелый стих его бледнеющим зоилам
Есть укоризны нож и смерти приговор.
Пример с него бери! Но если не по силам
С его примером мне успехам подражать,
То лучше до беды бумаге и чернилам,
Перо мое, поклон нам навсегда отдать.
Расторгнем наш союз! В нем вред нам неизбежный;
В бездействии благом покойся на столе;
О суете мирской забудь в своем угле
И будь поверенным одной ты дружбы нежной.
Но если верить мне внушениям ума,
Хоть наш разрыв с тобой и мудр, и осторожен,
Но, с грустью признаюсь, не может быть надежен;
Едва ль не скажет то ж и опытность сама.
Героев зрели мы, с полей кровавой бури
Склонившихся под сень безоблачной лазури

И в мирной тишине забывших браней гром;
Вития прошлых битв — меч праздный со щитом
В обители висел в торжественном покое;
Семейный гражданин не думал о герое.
Корысти алчный раб, родных брегов беглец,
Для злата смерть презрев средь бездны
разъяренной,
Спокойный домосед, богатством пресыщенный,
Под кровом отческим встречает дней конец,
Любовник не всегда невольником бывает.
Опомнится и он — оковы разрывает
И равнодушно зрит, отступник красоты,
Обманчивый восторг поклонников мечты.
Есть свой черед всему — трудам, успокоенью;
И зоркий опыт вслед слепому заблужденью
С светильником идет по скользкому пути.
Рассудку возраст есть; но в летописях света
Наш любопытный взгляд едва ль бы мог найти
От ремесла стихов отставшего поэта.
Он пишет, он писал, он будет век писать.
Ни летам, ни судьбе печати не сорвать
С упрямого чела служителя Парнаса.
В пеленках Аруэт стихами лепетал,
И смерть угрюмую стихами он встречал.
Несчастия от муз не отучили Тасса.
И Бавий наш в стране, где зла, ни мести нет
(О тени славные! Светила прежних лет!
Простите дерзкое имен мне сочетанье),
И Бавий — за него пред небом клятву дам —
По гроб не изменит ни рифмам, ни свисткам.
Вотще насмешки, брань и дружбы увещанье!
С последним вздохом он издаст последний стих.
Так, видно, вопреки намерений благих,
Хоть Бавия пример и бедствен и ужасен,
Но наш с тобой разрыв, перо мое, напрасен!
Природа победит! И в самый этот час,
Как проповедь себе читал я в первый раз,
Коварный демон рифм, злословцам потакая
И слабый разум мой прельщеньем усыпляя,
Без ведома его, рукой моей водил
И пред лицом судей с избытком отягчил
Повинную главу еще виною новой.
С душою робкою, к раскаянью готовой,
Смиряюсь пред судьбой и вновь дружусь с пером.

Но Бавия вдали угадываю взором:
Он место близ себя, добытое позором,
Указывает мне пророческим жезлом.

1816

К ОВЕЧКАМ

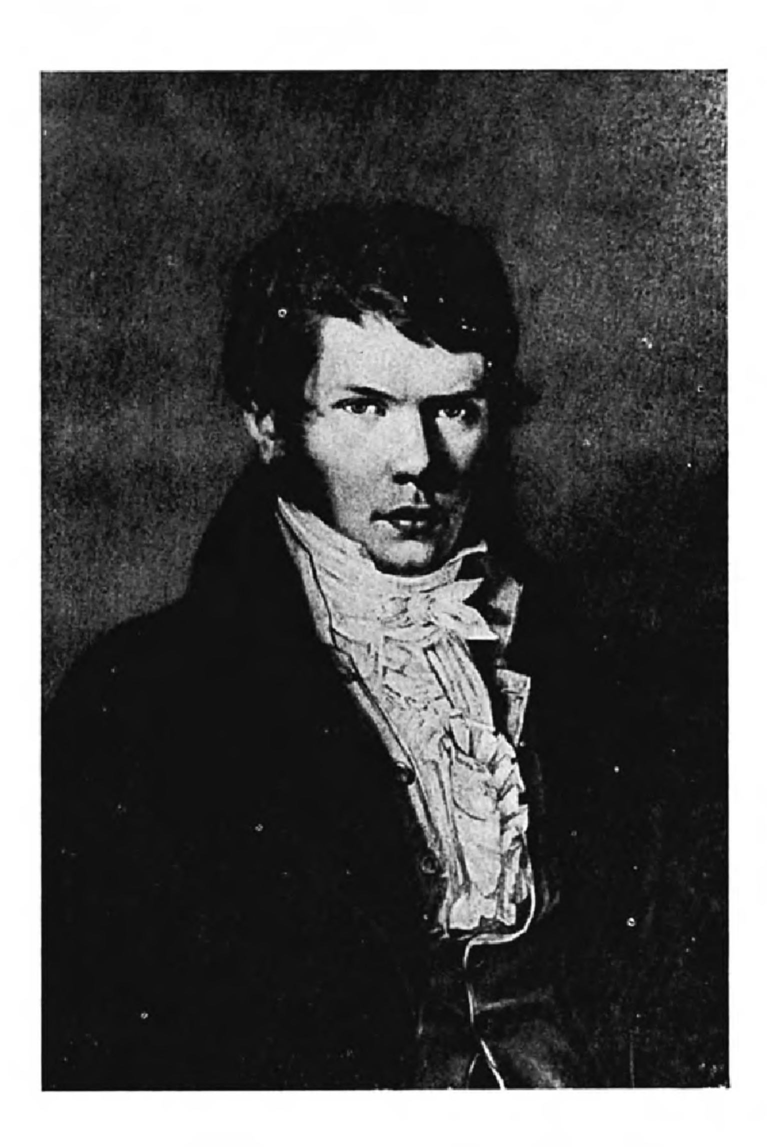
Овечки милые! Как счастлив ваш удел.
Недаром вашей мы завидуем судьбине.
И женский Теокрит в стихах вас стройных пел,
Для вас луга цветут, для вас ручей в долине
С игривым шумом льет студеные струи,
При вас младой Ликас поет природы радость,
Приветствуя рассвет алеющей зари.
С каким надзором он лелеет вашу младость,
Как охраняет вас в тиши родимых мест.
А там, как вскормит он, взрастит рукой прилежной, —
Зажарит и с пастушкой нежной
О праздник за обедом съест.

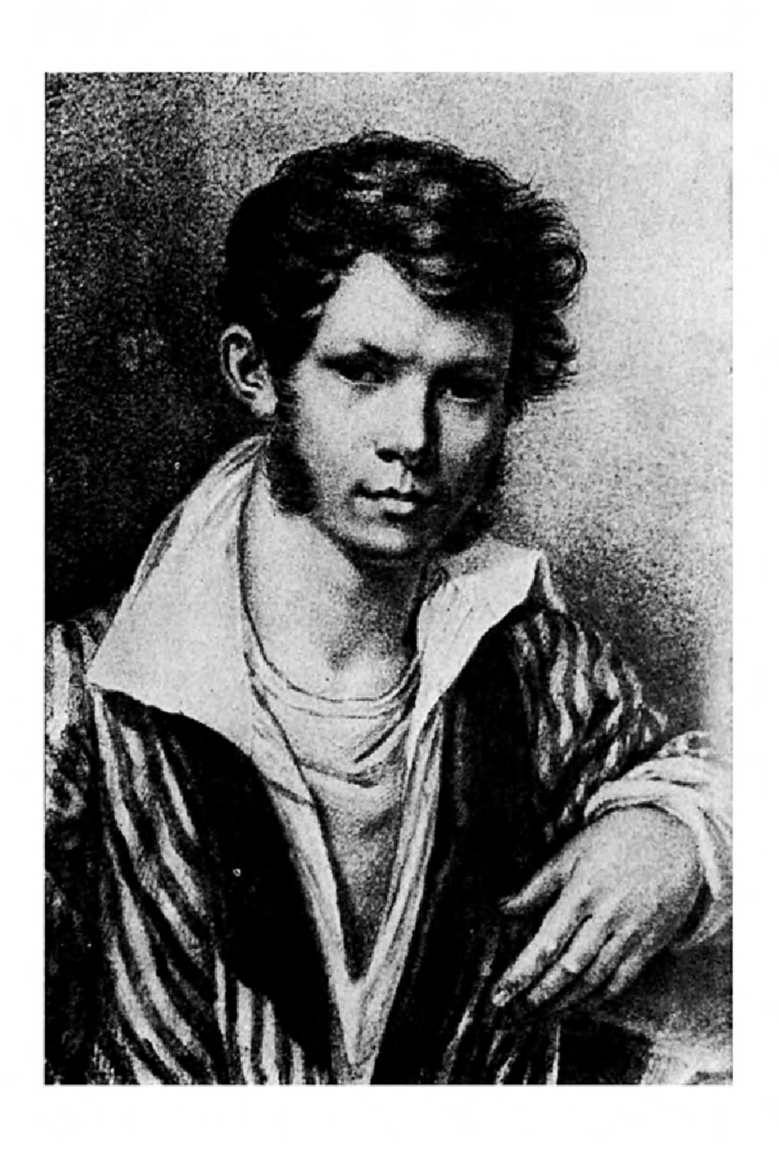
1816

К БАТЮШКОВУ

Мой милый, мой поэт,
Товарищ с юных лет!
Приду я неотменно
В твой угол, отчужденный
Презрительных забот,
И шума, и хлопот,
Толпящихся бессменно
У Крезовых ворот.
Пусть, златом не богаты,
Твоей смиренной хаты
Блюстители-пенаты
Тебя не обрекли
За шумной колесницей
Полубогов земли

Влачить стопы твои,
И в дом твой не ввели
Фортуны с вереницей
Затейливых страстей.
Пусть у твоих дверей
Привратник горделивый
Не будет с булавой
Веселости игривой
Отказывать, спесивой
Качая головой;
А скуке, шестерней
Приехавшей шумливо
С гостями позевать,
Дверь настежь растворять
Рукою торопливой!
И пусть в прихожей звон
О друге не доложит;
Но сердце, статься может,
Шепнет тебе: вот он!
Пусть в храмине опрятной,
Уютной и приятной
Для граций и друзей,
Слепить не будут взоров
Ни выделка уборов —
Труд тысячи людей, —
Ни белизна фарфоров,
Ни горы хрусталей,
Сияющих, но бренных,
Как счастье прилепленных
К их блеску богачей,
Фортуны своенравной
Балованных детей!
Природа-мать издавна
Поэтам избрала
Тропинку здесь простую,
Посредственность златую
В подруги им дала.
Вергилия приятель,
Любимый наш певец,
Не приторный ласкатель,
Не суетный мудрец,
Гораций не был знатным,
Под небом благодатным,





Тибурских рощ в тени
Он радостные дни
Умеренности ясной
С улыбкой посвящал,
Друг Делии прекрасной,
Богатства не желал.
И староста Пафоса,
Девицами Теоса
При сединах увит,
Не в мраморных чертогах,
Не при златых порогах
Угащивал харит!
Стихов своих игривых
Мне свиток приготовь,
Стихов красноречивых,
И пылких и счастливых,
Где дружбу и любовь
Ты, сердцем вдохновенный,
Поешь непринужденно
И где пленяешь нас
Не громом пухлых фраз
Раздутых Цицеронов,
Не пискотнею стонов
Тщедушных селадонов,
Причесанных в тупей,
И не знобящим жаром,
Лирическим угаром
Пиндаров наших дней!
Расколом к смертной казни
Приговоренный Вкус,
Наставник лучший муз,
Исполненный боязни,
Укрылся от врагов
Под твой счастливый кров.
Да будет неотлучно
Тебя он осенять,
Да будет охранять
Тебя от шайки скучной
Вралей, вестовщиков,
И прозы и стихов
Работников поденных,
Невежеством клейменных
Пристрастия рабов!

Да, убояся бога,
Живущего с тобой,
Дверей твоих порога
Не осквернят ногой.
Да западет дорога
К тебе, любимец мой,
Сей сволочи бездумной,
И суетной и шумной
Толпе забот лихих,
Как древле коршун жадный,
Грызущих беспощадно
Усердных слуг своих!
Но резвость, но веселья —
Товарищи безделья —
И Вакх под вечерок
С Токаем престарелым
И причетом веселым
Пускай полетом смелым
В твой мчатся уголок;
А там любовь позднее
Пускай в условный срок
Придет к тебе, краснея, —
И двери на замок!
О друг мой! Мне уж зрится:
Твой скромный камелек
Тихохонько курится,
Вокруг него садится
Приятелей кружок;
Они слетелись вместе
На дружеский твой зов
Из разных все концов.
Здесь на почетном месте
Почетный наш поэт,
Белева мирный житель
И равнодушный зритель
Приманчивых сует.
Жуковский, в ранни годы
Гораций-Эпиктет.
Здесь с берега свободы,
Художеств, чудаков,
Карикатур удачных,
Радклиф, Шекспиров мрачных,
Ростбифа и бойцов —
Наш Северин любезный;

Пусть нас делили бездны
Зияющих морей,
Но он не изменился
И другом возвратился
В объятия друзей!
Питомец сладострастья,
Друг лакомых пиров,
Красавиц и стихов,
Дитя румяный счастья,
И ты, Тургенев, к нам!
И ты, наследник тула
Опасных стрел глупцам
Игривого Катулла,
О Блудов, наш остряк!
Завистников нахальных
И комиков печальных
Непримиримый враг!
Круг избранный, бесценный
Товарищей-друзей!
Вам дни мои смиренны
И вам души моей
Обеты сокровенны!
Меня не будут зреть
В прислужниках гордыни,
И не заманит сеть
Меня слепой богини!
Вам, вам одним владеть
Веселыми годами,
Для вас хочу и с вами
Я жить и умереть!

1816

Д. В. ДАВЫДОВУ

(1816 года)

Давыдов! Где ты? что ты? Сроду
Таких проказ я не видал;
Год канул вслед другому году...
Или, перенимая моду
Певцов конфект и опахал
И причесав для них в угоду
Жеманной музе мадригал,

Скажу: май два раза природу
Зеленым бархатом постлал,
И разогрел дыханьем воду,
И вечных граций хороводу
Резвиться в рощах заказал —
С тех пор, как от тебя ни строчки,
Ни двоеточия, ни точки
Хоть на смех я не получал.
Чем мне почесть твое забвенье?
Теряюсь я в недоуменье.
Иль, как мундирный идеал,
Под ношей тучных эполетов,
Ты вместо речи и ответов
Плечом да шпорой говоришь
И лучшего пера не знаешь,
Как то, которым щеголяешь
И гордо с шляпы шевелишь?
Иль дружба, может быть, в отставке,
Отбитая сестрой своей,
Сидит печально на прилавке
У непризнательных дверей.
И для отсутственных друзей
Помина нет в походной ставке
Непостоянных усачей?
Ты наслаждайся с новой гостью,
Но берегись, чтоб наконец,
Платя за хлеб-соль сердца злостью,
Не захозяйничал жилец.
Иль, может быть, мудрец угрюмый,
На светлое свое чело
Ты, розам радостей назло,
Навел бразды спесивой думы;
Оценщик строгий строгих благ,
Страшась любви и дружбы ныне,
От двух сердечных побродяг
Ты держишь сердце в карантине.
Чем не пошутит хитрый враг?
Уж верить ли моим гаданьям?
Сказав *прости* очарованьям,
Назло пленительных грехов,
И упоительным мечтаньям
Весны, веселий и стихов,
Любви призыву ты не внемлешь,

Но в клире нравственных певцов
Перо Хераскова приемлешь
И мысленно зараne дремлешь
В академических венках!
В твоем камине на кострах
Пылают: красоты угодник —
Роскошный Душеньки певец,
Теоса мудрый греховодник
И соблазнительный мудрец —
Наставник счастия Гораций;
И окаянного Парни,
Поклонника единых граций,
Которому и ты сродни
(Сказать не в гнев, а мимоходом),
Уж не заставишь в оны дни
Ожить под русским переводом.
Постясь и чувством и умом,
Не знаешь прежних мясоедов,
Ни шумных дружеских обедов,
Ни тайных ужинов вдвоем,
Где с полночи до ранней зори
Веселье бодро спорит с сном.
Теперь живой *memento mori*,
Мороча и себя и нас,
Не испугавшись Мольера,
Играешь ролю лицемера;
Иль, может... Но на этот раз
Моим поклепам и догадкам
И стихотворческим нападкам
Пора мне положить конец.
Лихого Бурцова знакомец,
Тройного хмеля будь питомец —
Вина, и песен, и любви
Или, мудрец тяжеловесный,
Свой стих веселый протрезви
Водою нравственности пресной, —
До этого мне дела нет:
Рядись как хочешь на досуге —
Но мне на голос дай ответ
И, помня о старинном друге,
Ты будь Денисом прежних лет!

К ИТАЛЬЯНЦУ, ВОЗВРАЩАЮЩЕМУСЯ В ОТЕЧЕСТВО

(1816)

Под небом голубым Италии прекрасной,
В отечестве надежд и счастья сладких снов,
Где воздух напоен любовью сладострастной,
Где мирт колеблется и блеск златых плодов
В густой тени дерев с лучами дня играет,
Да жизни пред тобой всегда светлеет путь,
Да радость и любовь чело твое венчает,
Но северных снегов не позабудь!

В стране, где гордый Тибр златые катит воды,
Где Капитолиум вознес свою главу,
Воспомни прах Кремля, сей памятник свободы,
Воспомни славную в падении Москву!
Иди, куда тебя отца зовут моленья;
В объятиях согрей ты старческую грудь,
Но в первой радости любви и умиленья
Нас, северных друзей, не позабудь.

ПОГРЕБ

С Олимпа изгнаны богами,
Веселость с Истиной святой
Шатались по свету друзьями,
Людьми довольны и собой;
Но жизнь бродяг им надоела,
Наскучила и дружбы связь,
В колодезь Истина засела,
Веселость в погреб убралась.

На юность вечную от граций
С патентами Анакреон
И мудрый весельчак Гораций
К ней приходили на поклон.
Она их розами венчала,
И розы дышат их теперь;
Она Державина внушала,
Когда ковша он славил дщерь.

Она в Мелецком воскресила
На хладном севере Шолье,
И с Дмитревым друзей манила
На скромное житье-бытье.
И Пиндар наш — когда сослаться
На толки искренних повес —
Охотник в погреб был спускаться,
Чтобы взноситься до небес!

Почто же наших дней поэты
Не подражают старикам
И музы их, наяды Леты,
Зевая, сон наводят нам?
Или, покрывшись облаками,
Не хочет Феб на нас взглянуть?
Нет! К славе путь зарос меж нами
За то, что в погреб брошен путь!

От принужденья убегает
Подруга резвости, любовь;
Она в гостиной умирает,
А в погребе живится вновь.
У бар частехонько встречаешь,
Что разум заменен вином,
Перед столом у них зеваешь,
Но не зеваешь за столом.

Друзья! Вы в памяти храните,
Что воды воду лишь родят, —
Восторг стихов вы там ищите,
Где расцветает виноград.
О, если б Бахус в наказанье
Мне шайку водопийц отдал,
Я всех бы их на покаянье
В порожний погреб отослал!

1816

* * *

Когда беседчикам Державин пред концом
Жилища своего не завещал в наследство,
Он знал их твердые права на желтый дом
И прочил им соседство.

Конец 1816 — начало 1817

ВСЯКОЙ НА СВОЙ ПОКРОЙ

Портных у нас в столице много,
Все моде следуют одной:
Шьют ровной, кажется, иглой,
Но видишь, всматриваясь строго,
Что каждый шьет на свой покрой.

Портными нас всех можно счислить:
Покрой у каждого есть свой,
И тот, кто мастер сам плохой,
Других принудить хочет мыслить
И поступать на свой покрой.

Дай бог покойнику здоровье!
Вольтер чудесный был портной:
В стихах, записочке простой,
В исторье, в сказках, в богословье
Везде найдешь его покрой.

Уча, нас комик забавляет:
Денис тому пример живой;
Но Вралькин сам себе большой,
И на смех прочим одевает
Он Талию на свой покрой.

Старик Федул, муж правил строгих,
Быть хочет в доме головой;
Жена пред ним равна с травой,
Но голове, не хуже многих,
Наряды шьет на свой покрой.

Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной;
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.

Пускай баллады — бабьи сказки,
Пусть черт качает в них горой;
Но в них я вижу слог живой,
Воображенье, чувство, краски, —
Люблю Жуковского покрой.

Пусть мне дурачество с любовью
Дурацкий шьют колпак порой;
Лишь парк бы только причет злой
Не торопился по условью
Убрать меня на свой покрой!

(1817)

СТОЛ И ПОСТЕЛЯ

Полюбил я сердцем Леля,
По сердцу пришел Услад!
Был бы стол, была б постеля —
Я доволен и богат.

Пусть боец в кровавом деле
Пожинает лавр мечом;
Розы дышат на постели,
Виноградник за столом.

Одами поэт Савелий
Всех пленяет кротким сном;
Век трудится для постели
Он за письменным столом.

Бедствий меньше бы терпели,
Если б люди, страстны к злу,
Были верны в ночь постели,
Верны днем, как я, столу.

За столом достигнув цели,
На постель я часто шел,
Завтра, может быть, с постели
Понесут меня на стол.

(1817)

К БАТЮШКОВУ

Шумит по рощам ветр осенний,
Древа стоят без украшений,
Дриады скрылись по дуплам;
И разувенчанная Флора,
Воздушного не слыша хора,
В печали бродит по садам.
Певец любви, певец игривый

И граций баловень счастливый,
Стыдись! Тебе ли жить в полях?
Ты ль будешь в праздности постылой
В деревне тратить век унылый,
Как в келье дремлющий монах?
Нет! Быть отшельником от света —
Ни славы в том, ни пользы нет;
Будь терпелив, приспеют лета —
И сам тебя оставит свет.
Теперь, пока еще умильно
Глядят красавицы на нас
И сердце, чувствами обильно,
Знакомо с счастием подчас,
Пока еще у нас играет
Живой румянец на щеках
И радость с нами заседает
На шумных Вакховых пирах —
Не будем, вопреки природы
И гласу сердца вопреки,
Свои предупреждая годы,
Мы добиваться в старики!
Доколе роз в садах не тронет
Мертвящей осени рука,
Любимца Флоры, мотылька,
Ничто от розы не отгонит.
Пример и мы с него возьмем!
Как мотылек весною к розе,
И мы к веселью так прильнем,
Смеяся времени угрозе!
Ах! юностью подорожим!
В свое пусть старость придет время,
Пусть лет на нас наложит бремя —
Навстречу к ней не поспешим.
Любви, небесным вдохновеньям,
Забавам, дружбе, наслажденьям
Дней наших поручая бег,
Судьбе предавшися послушно,
Ее ударов равнодушно
Дождемся мы средь игр и нег.
Когда же смерть нам в дверь заглянет
Звать в заточение свое,
Пусть лучше на пиру застанет,
Чем мертвыми и до нее.

⟨1817⟩

ДОВЕДЬ

Попавшись в доведи на шашечной доске,
Зазналась шашка пред другими,
Забыв, что из одной она и кости с ними
И на одном сработана станке.
Игрок по прихоти сменил ее другою
И продолжал игру, не думая о ней.

При счастье чванство впрок бывает у людей;
Но что, скажите, в нем, как счастье к нам спиною?

О доведи-временщики
На шахматном паркете!
Не забывайте, что на свете
Игрушки царской вы руки.

Январь — февраль 1817

УСТАВ СТОЛОВОЙ
(Подражание Панару)

В столовой нет отлик местам.
Как повар твой ни будь искусен,
Когда сажаешь по чинам,
Обед твой лакомый невкусен.
Равно что верх стола, что низ,
Нет старшинства у гастронома:
Куда попал, тут и садись,
Я и в гостях хочу быть дома.

Простор локтям: от тесноты
Не рад и лучшему я блюду;
Чем дале был от красоты,
Тем ближе к ней я после буду.
К чему огромный ряд прикрас
И блюда расставлять узором?
За стол сажусь я не для глаз
И сыт желаю быть не взором.

Спаси нас, боже, за столом
От хлопотливого соседа:
Он потчеваньем, как ножом,
Пристанет к горлу в час обеда.

Не в пору друг тошней врага!
Пусть каждый о себе хлопочет
И, сам свой барин и слуга,
По воле пьет и ест как хочет.

Мне жалок пьяница-хвастун,
Который пьет не для забавы:
Какой он чести ждет, шалун?
Одно бесславье пить из славы.
На ум и взоры ляжет тьма,
Когда напьешься без оглядки, —
Вино пусть нам придаст ума,
А не мутит его остатки.

Веселью будет череда;
Но пусть и в самом упоенье
Рассудка легкая узда
Дает веселью направленье.
Порядок есть душа всего!
Бог пиршеств по уставу правит;
Толстой, верховный жрец его,
На путь нас истинный наставит:

Гостеприимство — без чинов,
Разнообразность — в разговорах,
В рассказах — бережливость слов,
Холоднокровье — в жарких спорах,
Без умничанья — простота,
Веселость — дух свободы трезвой,
Без едкой желчи — острота,
Без шутовства — соль шутки резвой.

Август — сентябрь 1817

ПРОЩАНИЕ С ХАЛАТОМ

Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне в забытьи не приходил на ум.
Искусства жить недоученный школьник,
На поприще обычаев и мод,

Где прихоть-царь тиранит свой народ,
Кто не вилял? В гостиной я невольник,
В углу своем себе я господин,
Свой меря рост не на чужой аршин.
Как жалкий раб, платящий дань злодею,
И день и ночь, в неволе изнурясь,
Вкушает рай, от уз освободясь,
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом;
С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.
У камелька, где яркою струею
Алел огонь, вечернею порою,
Задумчивость, красноречивый друг,
Живила сон моей глубокой лени.
Минувшего проснувшиеся тени
В прозрачной тьме толпилися вокруг;
Иль в будущем, мечтаньем окриленный,
Я рассекал безвестности туман,
Сближая даль, жил в жизни отдаленной
И, с истиной перемешав обман,
Живописал воздушных замков план.
Как я в твоем уступчивом уборе
В движеньях был портного не рабом,
Так мысль моя носилась на просторе
С надеждою и памятью втроем.
В счастливы дни удачных вдохновений,
Когда легко, без ведома труда,
Стих под перо ложился завсегда
И рифма, враг невинных наслаждений,
Хлыстовых бич, была ко мне добра;
Как часто, встав с Морфеева одра,
Шел прямо я к столу, где Муза с лаской
Ждала меня с посланьем или сказкой
И вымыслом, нашептанным вчера.
Домашний мой наряд ей был по нраву:
Прием ее, чужд светскому уставу,
Благоволил небрежности моей.
Стих вылетал свободней и простей;
Писал шутя, и в шутке легкокрылой
Работы след улыбки не пугал.
Как жалок мне любовник муз постылый,

Который нег халата не вкушал!
Поклонник мод, как куколка одетый
И чопорным восторгом подогретый,
В свой кабинет он входит, как на бал.
Его цветы — румяны и белила,
И, обмакнув в душистые чернила
Перо свое, малюет мадригал.
Пусть грация жеманная в уборной
Дарит его улыбкою притворной
За то, что он выказывал в стихах
Слог расписной и музу в завитках;
Но мне пример: бессмертный сей неряха —
Анакреон, друг красоты и Вакха,
Поверьте мне, в халате пил и пел;
Муз баловень, харитами изнежен
И к одному веселию прилежен,
Играя, он бессмертие задел.
Не льщусь его причастником быть славы,
Но в лени я ему не уступлю:
Как он, люблю беспечности забавы,
Как он, досуг и тихий сон люблю.
Но скоро след их у меня простынет:
Забот лихих меня обступит строй,
И ты, халат! товарищ лучший мой,
Прости! Тебя неверный друг покинет.
Теснясь в рядах прислуженцев властей,
Иду тропой заманчивых сетей.
Что ждет меня в пути, где под туманом
Свет истины не различишь с обманом?
Куда, слепец, неопытный слепец,
Я набреду? Где странствию конец?
Как покажусь я перед трон мишурный
Владычицы, из своенравной урны
Кидающей подкупленной рукой
Дары свои на богомольный рой,
Толпящийся с кадилами пред нею?
Заветов я ее не разумею, —
Притворства чужд и принужденья враг,
От юных дней ценитель тихих благ.
В неловкости, пред записным проворством
Искусников, воспитанных притворством,
Изобличит меня мой каждый шаг.
И новичок еще в науке гибкой:
Всем быть подчас и вместе быть ничем

И шею гнуть с запасною улыбкой
Под золотой, но тягостный ярем;
На поприще, где беспрестанной сшибкой
Волнуются противников ряды,
Оставлю я на торжество вражды,
Быть может, след моей отваги тщетной
И неудач постыдные следы.
О мой халат, как в старину приветный!
Прими тогда в объятия меня.
В тебе найду себе отраду я.
Прими меня с досугами, мечтами,
Венчавшими весну мою цветами.
Сокровище благ прежних возврати;
Дай радость мне, уединясь с тобою,
В тиши страстей, с спокойною душою
И не краснев пред тайным судиею,
Бывалого себя в себе найти.
Согрей во мне в холодном принужденье
Остывший жар к благодеяньям муз,
И гений мой, освободясь от уз,
Уснувшее разбудит вдохновенье.
Пусть прежней вновь я жизнью оживу
И, сладких снов в волшебном упоенье
Переродясь, пусть обрету забвенье
Всего того, что видел наяву.

21 сентября 1817
Остафьево

ЦВЕТЫ

Спешите в мой прохладный сад,
Поклонники прелестной Флоры!
Здесь всюду манит ваши взоры
Ее блистающий наряд.

Спешите красною весной
Набрать цветов как можно боле:
Усей цветами жизни поле! —
Вот мудрости совет благой.

По вкусам, лицам и годам
Цветы в саду своем имею;

Невинности даю лилею,
Мак сонный — приторным мужьям,

Душистый ландыш полевой —
Друзьям смиренным Лизы бедной,
Нарцис несчастливый и бледный —
Красавцам, занятым собой.

В тени фиалка, притаясь,
Зовет к себе талант безвестный;
Любовник встретит мирт прелестный,
Спесь барскую надутый князь.

Дарю иную госпожу
Пучком увядших пустоцветов,
Дурманом многих из поэтов,
А божьим деревом ханжу.

К льстецам, прислужникам двора,
Несу подсолнечник с поклоном;
К временщику иду с пионом,
Который был в цвету вчера;

Злых вестовщиц и болтунов
Я колокольчиком встречаю;
В тени от взоров сокрываю
Для милой розу без шипов.

1817?

УХАБ

Над кем судьбина не шутила,
И кто проказ ее не раб?
Слепая приговор скрепила —
И с бала я попал в ухаб!

В ухабе сидя, как в берлоге,
Я на досуге рассуждал
И в свете, как и на дороге,
Ухабов много насчитал.

Ухабист путь к столице счастья,
Но случай будь на облучке —
Ни-ям не бойся, ни ненастья!
Засни — проснешься, сон в руке!

Тебя до места, друг убогий,
Достоинство не довезет:
Наедет случай — и с дороги
Как раз в ухаб тебя столкнет.

Чем груза более в поклаже,
Чем выше ход твоих саней,
Тем путь опасней! Яма та же
В смиренных розвальнях сносней!

Рифмач! Когда в тебе есть совесть,
В чужие сани не садись:
Ты Фаэтона вспомни повесть
И сесть в ухаб поберегись!

Иной по Липецкому тракту
Доехать к Талии хотел,
Но с первого он сбился акту,
В ухаб попался и — засел.

Февраль 1818

* * *

Иссохлось бы перо твое бесплодно,
Засу́хою скончались бы листы,
Но помогать бедам искусству сродно:
В желчь зависти перо обмо́кнешь ты —
И сызнова на месяц-два свободно
С него польются клеветы.

1818

* * *

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
Нам кланяться развалинам бесплодным
Пальмиры древней иль Афин?
Нет, лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин.
Оставим славы дым поэтам сумасбродным:
Я не поэт, я дворянин».

Конец сентября или начало октября 1818

ТОЛСТОМУ

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твердый камень!
В волненье страсти — легкий лист!
Куда ж меня нелегкий тащит
И мой раздутый стих таращит,
Как стих того торговца од,
Который на осьмушку смысла
Пуд слов с прибавкой выдает?
Здесь муза брода не найдет:
Она над бездною повисла.
Как ей спуститься без хлопот
И как, не дав толчка рассудку
И не споткнувшись на пути,
От нравственных стихов сойти
Прямой дорогою к желудку?
Но, впрочем, я слыхал не раз,
Что наш желудок — чувств властитель
И помышлений всех запас.
Поэт, политик, победитель —
Все от него успеха ждут:
Судьба народов им решится;

В желудке пища не сварится —
И не созреет славный труд;
Министр объелся: сквозь дремоту
Секретаря прочел работу —
И гибель царства подписал.
Тот натощак бессмертья ищет,
Но он за драмой в зубы свищет —
И свет поэта освистал.
К тому же любопытным ухом
Умеешь всем речам внимать;
И если возвышенным духом
Подчас ты унижаешь знать,
Зато ты граф природный брюхом
И всем сиятельным под стать!
Ты знаешь цену Кондильяку,
В Вольтере любишь шуток дар
И платишь сердцем дань Жан-Жаку,
Но хуже ль лучших наших бар
Ценить умеешь кулебяку
И жирной стерляди развар?
Ну, слава богу! Пусть с дороги
Стихомаранья лютый бес
Кидал меня то в ров, то в лес,
Но я, хоть поизбивши ноги,
До цели наконец долез.
О кухне речь — о знаменитый
Обжор властитель, друг и бог!
О, если, сочный и упитый,
Достойным быть мой стих бы мог
Твоей щедроты плодовитой!
Приправь и разогрей мой слог,
Пусть будет он, тебе угодный,
Душист, как с трюфлями пирог,
И вкусен, как каплун дородный!
Прочь Феб! и двор его голодный!
Я не прошу себе венка:
Меня не взманит лавр бесплодный!
Слепого случая рука
Пусть ставит на показ народный
Зажиточного дурака —
Проситься в дураки не буду!
Я не прошусь закинуть уду
В колодезь к истине сухой:
Ложь лучше истины иной!

Я не прошу у благодати
Втереть меня к библейской знати
И по кресту вести к крестам,[1]
Ни ко двору, ни к небесам.
Просить себе того-другого
С поклонами я не спешу:
Мне нужен повар — от Толстого
Я только повару прошу!

19 октября 1818
Варшава

* * *

Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья!
Он не по нас! Галиматьи в нем нет!
В нем смелый ум, потомок просвещенья;
Есть жар, есть вкус, сей вечно юный цвет!
Но что нам в них? Он грации улыбкой
Был вдохновен, когда шутя писал,
И слог его, уступчивый и гибкой,
Живой Протей, все изменения брал.
Но что нам в том? Пусть яркий пламень казни
Венец творца и наш позор сожжет!
Но ты, дружок, ты чужд такой боязни!
Как сжечь тебя? Не загорится лед!

1818?

БЫЛЬ[2]

Был древний храм готического зданья,
Обитель сов, унынья и молчанья.
Узрел его художник молодой,
Постиг умом обилье средств, в нем скрытых,
Сломал ряд стен, уж временем подрытых,
И, чародей, испытанной рукой

---

[1] Смотри Лабзина.

[2] Сия быль написана лет за десять и лежала забытая в моих бумагах: 19 и 20 № «Московского вестника» привел мне ее на память и даст ей ныне цену новости и уместной случайности. Критика, подобная критике г-на Арцыбашева, «Московский вестник», который с коленопреклонением принимает ее и молит, как даяния, достойного себя; торжественное известие, сообщенное «Московским вестником», что наконец и г-н Каченовский собрался с силами и

На груде их, из их развалин новый
Чертог воздвиг. Величье, простота,
Искусство, вкус, красивость, чистота
Дивят глаза, и зодчий... Но суровый
Закон судьбы свершился и над ним.
Так решено: на всех не угодим!
И зодчий наш, причастный вечной славы,
Не избежал хулителей трудов.
Враги нашлись; но где ж? — в семействе сов.
Из теплых гнезд изгнанники, в дубравы
Они с стыдом пустились, и в дупла́х,
В досаде злой, в остервененье диком,
Совиный их ночной ареопаг
Труд зодчего позорил дерзким криком.

Язык отцов — тот устарелый храм;
Карамзина сравним с отважным зодчим;
С семьей же сов, друзья, и с прочим, прочим,
Кого и что сравнить — оставлю вам.

1818?

* * *

Наш свет — театр; жизнь — драма;
содержатель —
Судьба; у ней в руке всех лиц запас:
Министр, богач, монах, завоеватель
В условный срок выходит напоказ.
Простая чернь, отброшенная знатью,
Мы — зрители, и, дюжинную братью,
В последний ряд отталкивают нас.
Но платим мы издержки их проказ

готовится идти по следам г-на Арцыбашева; г-н Арцыбашев, критикующий слог и язык Карамзина; «Московский вестник», признающийся, что критика г-на Арцыбашева написана с «выходками, лично относящимися к Карамзину и писанными не с хладнокровием», но, несмотря на то, или, может быть, именно смотря на то, открывающий ей радушные объятия; союз, смешение и заговор сих имен в виду имени, заслуг и славы Карамзина — все это явление более смешное, нежели прискорбное для нашей литературной и народной чести. Тут нет повода к рассуждениям, к исследованиям, к ответам систематическим: тут один повод к осмеянию. *Сочинитель.*

И уж зато подчас, без дальних справок,
Когда у них в игре оплошность есть,
Даем себе потеху с задних лавок
За свой алтын освистывать их честь.

1818?

* * *

Для славы ты здоровья не жалеешь,
Но берегись, недолго до греха;
Над рифмою ты целый век потеешь,
А там как раз прозябнешь от стиха.

1818?

ПЕТЕРБУРГ
(ОТРЫВОК)
(1818 года)

Я вижу град *Петров* чудесный, величавый,
По манию Петра воздвигшийся из блат,
Наследный памятник его могущей славы,
Потомками его украшенный стократ!
Повсюду зрю следы великия державы,
И русской славою след каждый озарен.
Се *Петр*, еще живый в меди красноречивой!
Под ним полтавский конь, предтеча горделивый
Штыков сверкающих и веющих знамен.
Он царствует еще над созданным им градом,
Приосеня его державною рукой,
Народной чести страж и злобе страх немой.
Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,
Готовый пасть на них с отважной крутизны.
Бегут — и где они? — ⟨и⟩ снежные сугробы
В пустынях занесли следы безумной злобы.
Так, *Петр*! ты завещал свой дух сынам побед,
И устрашенный враг зрел многие Полтавы.
Питомец твой, громов метатель двоеглавый,

На поприще твоем расширил свой полет.
Рымникский пламенный и Задунайский твердый!
Вас здесь согражданин почтит улыбкой гордой.

Но жатвою ль одной меча страна богата?
Одних ли громких битв здесь след запечатлен?
Иные подвиги, к иным победам ревность
Поведает нам глас красноречивых стен, —
Их юная краса затмить успела древность.
Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало;
Могущество ума — мятеж стихий смиряло,
И мысль, другой Алкид, с трудов взыскала дань.
Ко славе из пелен Россия возмужала
И из безвестной тьмы к владычеству прешла.
Так ты, о дщерь ее, как манием жезла,
Честь первенства, родясь в столицах, восприяла.
Искусства Греции и Рима чудеса —
Зрят с дивом над собой полночны небеса.
Чертоги кесарей, сады Семирамиды,
Волшебны острова Делóса и Киприды!
Чья смелая рука совокупила вас?
Чей повелительный, назло природе, глас
Содвинул и повлек из дикия пустыни
Громады вечных скал, чтоб разостлать твердыни
По берегам твоим, рек северных глава,
Великолепная и светлая Нева?
Кто к сим брегам склонил торговли алчной крылья
И стаи кораблей, с дарами изобилья,
От утра, вечера и полдня к нам пригнал?
Кто с древним Каспием Бельт юный сочетал?
Державный дух Петра и ум Екатерины
Труд медленных веков свершили в век единый.
На Юге меркнул день — у нас он рассветал.
Там предрассудков меч и светоч возмущенья
Грозились ринуть в прах святыню просвещенья.
Убежищем ему был Север, и когда
В Европе зарево крамол зажгла вражда
И древний мир вспылал, склонясь печальной выей, —
Дух творческий парил над юною Россией
И мощно влек ее на подвиг бытия.
Художеств и наук блестящая семья
Отечеством другим признала нашу землю.
Восторгом смелый путь успехов их объемлю

И на рассвете зрю лучи златого дня.
Железо, покорясь влиянию огня,
Здесь легкостью дивит в прозрачности ограды,
За коей прячется и смотрит сад прохлады.
Полтавская рука сей разводила сад!
Но что в тени его мой привлекает взгляд?
Вот скромный дом, ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов державных!
Здесь мыслил Петр об нас. Россия! Здесь твой храм!
О, если жизнь придать бесчувственным стенам
И тайны царских дум извлечь из хладных сводов,
Какой бы мудрости тот глас отзывом был,
Каких бы истин гром незапно поразил
Благоговейный слух властителей народов!
Там зодчий, силясь путь бессмертию простерть,
Возносит дерзостно красивые громады.
Полночный Апеллес, обманывая взгляды,
Дарует кистью жизнь, обезоружив смерть.
Ваятели, презрев небес ревнивых мщенье,
Вдыхают в вещество мысль, чувство и движенье.
Природу испытав, Невтонов ученик
Таинственных чудес разоблачает лик
Иль с небом пламенным в борьбе отъемлет, смелый.
Из гневных рук богов молниеносны стрелы!
Мать песней, смелая царица звучных дум,
Смягчает дикий нрав и возвышает ум.
Здесь друг Шувалова воспел Елисавету,
И, юных русских муз блистательный рассвет,
Его счастливее — как русский и поэт —
Екатеринин век Державин предал свету.
Минервы нашей ум Европу изумлял:
С успехом равным он по свету рассылал
Приветствие в Ферней, уставы самоедам
Иль на пути в Стамбул открытый лист победам.
Полсветом правила она с брегов Невы
И утомляла глас стоустныя молвы.
Блестящий век! И ты познал закат условный!
И твоего певца уста уже безмолвны!
Но нам ли с завистью кидать ревнивый взгляд
На прошлые лета и славных действий ряд?
Наш век есть славы век, наш царь — любовь вселенной!
Земля узрела в нем небес залог священный,
Залог благих надежд, залог святых наград!
С народов сóрвал он оковы угнетенья,

С царей снимает днесь завесу заблужденья,
И, с кроткой мудростью свой соглася язык,
С престола учит он народы и владык;
Уж зреет перед ним бессмертной славы жатва!
Счастливый вождь тобой счастливых россиян!
В душах их раздалась души прекрасной клятва:
Петр создал подданных, ты образуй граждан!
Пускай уставов дар и оных страж — свобода.
Обетованный брег великого народа,
Всех чистых доблестей распустит семена.
С благоговеньем ждет, о царь, твоя страна,
Чтоб счастье давший ей дал и права на счастье!
«Народных бед творец — слепое самовластье», —
Из праха падших царств сей голос восстает.
Страстей преступных мрак проникнувши глубоко,
Закона зоркий взгляд над царствами блюдет,
Как провидения недремлющее око.
Предвижу: правды суд — страх сильных, слабых щит —
Небесный приговор земле благовестит.
С чела оратая сотрется пот неволи.
Природы старший сын, ближайший братьев друг
Свободно проведет в полях наследный плуг,
И светлых нив простор, приют свободы мирной,
Не будет для него темницею обширной.
Как искра под золой, скрывая блеск и жар,
Мысль смелая, богов неугасимый дар,
Молчанья разорвет постыдные оковы.
Умы воспламенит ко благу пламень новый.
К престолу истина пробьет отважный ход.
И просвещение взаимной пользы цепью
Тесней соединит владыку и народ.
Присутствую мечтой торжеств великолепью,
Свободный гражданин свободныя земли!
О царь! Судьбы своей призванию внемли.
И Александров век светилом незакатным
Торжественно взойдет на русский небосклон,
Приветствуя, как друг, сияньем благодатным
Грядущего еще не пробужденный сон.

Август 1818 — август 1819

ДАВНЫМ-ДАВНО

Давно ли ум с фортуной в ссоре,
А глупость — счастия зерно?
Давно ли искренним быть — горе,
Давно ли честным быть смешно?
Давно ль тридцатый год Изоре?
Давным-давно.

Когда Эраст глядел вельможей,
Ты, Фрол, дышал с ним заодно.
Вчера уж не в его прихожей
Вертелось счастья веретно;
Давно ль с ним виделся? — «О боже!
Давным-давно».

«Давно ль в ладу с здоровьем, силой
Честил любовь я и вино?» —
Раз говорил подагрик хилый;
Жена в углу молчала, но...
В ответ примолвил вздох унылый:
Давным-давно.

Давно ль знак чести на позорном
Лишь только яркое пятно,
Давно ль на воздухе придворном
Вдруг и тепло и студено
И держат правду в теле черном?
Давным-давно.

⟨1819⟩

ДВЕ СОБАКИ

«За что ты в спальне спишь, а зябну я в сенях?» —
У мопса жирного спросил кобель курчавый.
«За что? — тот отвечал. — Вся тайна в двух словах:
Ты в дом для службы взят, а я взят для забавы».

⟨1819⟩

БИТЫЙ ПЕС

Пес лаял на воров; пса утром отодрали —
За то, что лаем смел встревожить барский сон.
Пес спал в другую ночь; дом воры обокрали:
Отодран пес за то, зачем не лаял он.

⟨1819⟩

ДВА ЖИВОПИСЦА

В столицу съехались портретны мастера.
Петр плох, но с де́ньгами; соперник Рафаэлю —
Иван, но без гроша. От утра до утра
То женщин, то мужчин малюет кисть Петра;
Иван едва ли кисть и раз возьмет в неделю.
За что ж им от судьбы не равен так дележ?
Портрет Петра был льстив, портрет Ивана — схож.

⟨1819⟩

ДВА ЧИЖА

«О чем так тужишь ты? — чиж говорил чижу. —
Здесь в клетке во сто раз приятней жить, чем в поле».
— «Так, — молвил тот, — тебе, рожденному в неволе;
Но я, я волю знал, и я о ней тужу».

⟨1819⟩

ЧЕЛОВЕК И МОТЫЛЕК

Над мотыльком смеялся человек.
«Гость утренний! по чести, ты мне жалок! —
Он говорит. — Мгновенье — вот твой век!
И мотыльку могила — куст фиалок».
За годом год торопится вослед,
И старику отсчитано сто лет.
Час смерти бьет! Старик на смертном ложе,
Вздохнув, сказал: «И век — мгновенье тоже!»

⟨1819⟩

* * *

Вписавшись в цех зоилов строгих,
Будь и к себе ты судия.
Жуковский пишет *для немногих,*
А ты для одного себя.

Январь 1819

* * *

Чтоб полный смысл разбить в творениях певца,
Поодиначке в нем ты стих коварно удишь;
В бессмыслице ж своей тогда уверен будешь,
Когда прочтешь себя с начала до конца.

Январь 1819

* * *

Куда летишь? К каким пристанешь берегам,
Корабль, несущий по волнам
Судьбы великого народа?
Что ждет тебя? Покой иль бурей непогода?
Погибнешь иль прейдешь со славою к векам,
Потомок древних сосн, Петра рукою мощной
Во прах низверженных в степях, где Бельт полнощный,
Дивясь, зрел новый град, возникший средь чудес?
Да будет над тобой покров благих небес!

Мы видели тебя игрой сердитой влаги,
Грозой разбитый мачт конец твой предвещал;
Под блеском молний ты носился между скал,
Но силою пловцов, чад славы и отваги,
На якорь опершись, ты твердо устоял,
Недаром ты преплыл погибельные мели,

И тучи над тобой рассек приветный свет;
Обдержанный под бурей бед,
Незримым кормщиком ты призван к славной
цели.

Шести морей державный властелин,
Ты стой в лицо врагам, как браней исполин!
Давно посол небес, твой страж, орел двуглавый
На гордом флаге свил гнездо побед и славы.
Пускай почиет днесь он в грозной тишине,
Приосенив тебя своим крылом обширным!
Довольно гром метал ты в пламенной войне
От утренних морей к вечерней стороне.
Днесь путь тебе иной: теки к победам мирным!
Вселенною да твой благословится бег!
Открой нам новый мир за новым небосклоном!
Пловцов ты приведи на тот счастливый брег,
Где царствует в согласии с законом
Свобода смелая, народов божество;
Где рабства нет вериг, оков немеют звуки,
Где благоденствуют торговля, мир, науки
И счастие граждан — владыки торжество!

13 июня 1819

К В. А. ЖУКОВСКОМУ

(Подражание сатире III Депрео)

О ты, который нам явить с успехом мог
И своенравный ум и беспорочный слог,
В боренье с трудностью силач необычайный,
Не тайн поэзии, но стихотворства тайны,
Жуковский! от тебя хочу просить давно.
Поэзия есть дар, стих — мастерство одно.
Природе в нас зажечь светильник вдохновенья,
Искусства нам дают пример и наставленья.
Как с рифмой совладеть, подай ты мне совет.
Не ты за ней бежишь, она тебе вослед;
Угрюмый наш язык как рифмами ни беден,
Но прихотям твоим упор его не вреден,
Не спотыкаешься ты на конце стиха
И рифмою свой стих венчаешь без греха.

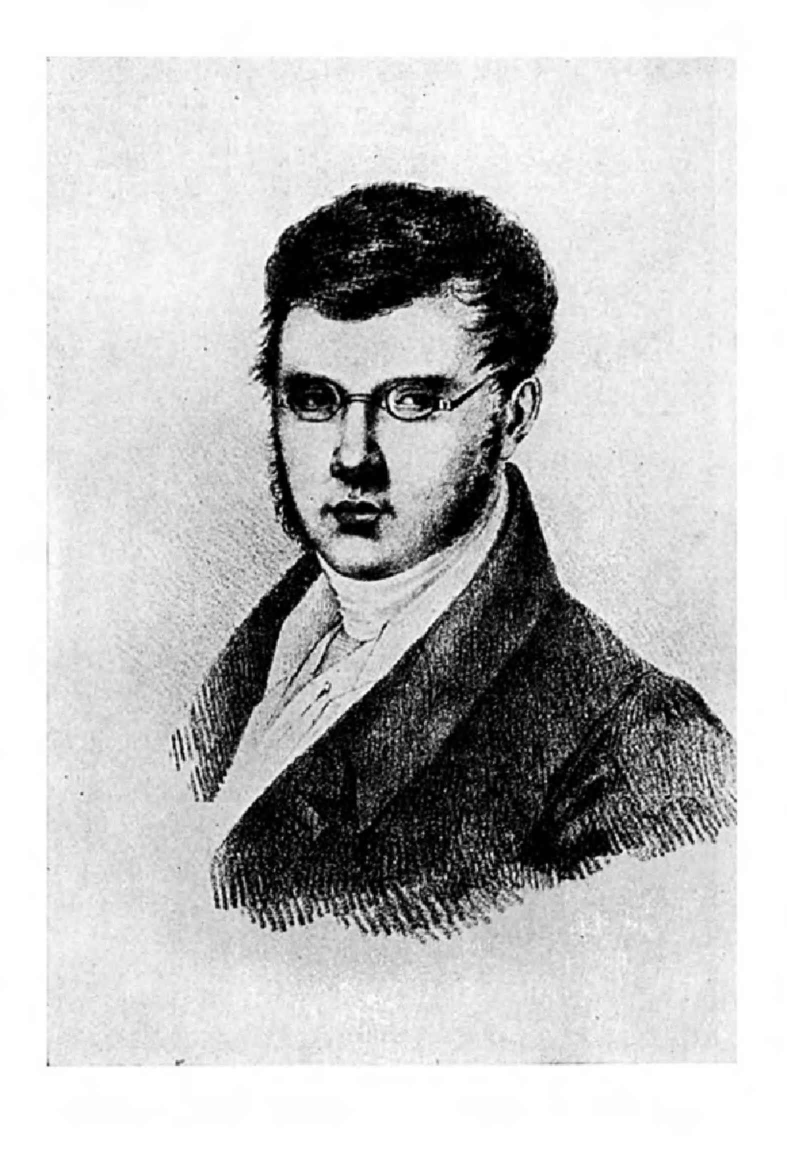
О чем ни говоришь, она с тобой в союзе
И верный завсегда попутчик смелой музе.
Но я, который стал поэтом на беду,
Едва когда путем на рифму набреду;
Не столько труд тяжел в Нерчинске рудокопу,
Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу
И рифму залучить к перу на острие.
Ум говорит одно, а вздорщица свое.
Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.
В стихах моих не раз, ее благодаря,
Трус Марсом прослывет, Катоном — раб царя,
И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет,
А рифма, надо мной ругаясь, мне перечит.
С досады, наконец, и выбившись из сил,
Даю зарок не знать ни перьев ни чернил,
Но только кровь во мне, спокоившись, остынет
И неуспешный лов за рифмой ум покинет,
Нежданная, ко мне является она,
И мной владеет вновь парнасский сатана.
Опять на пытку я, опять бумагу в руки —
За рифмой рифмы ждать, за мукой новой муки.
Еще когда бы мог я, глядя на других,
Впопад и невпопад сажать слова в мой стих;
Довольный счетом стоп и рифмою богатой,
Пестрил бы я его услужливой заплатой.
Умел бы, как другой, паря на небеса,
Я в пляску здесь пустить и горы и леса
И, в самый летний зной в лугах срывая розы,
Насильственно пригнать с Уральских гор морозы.
При помощи таких союзников, как встарь,
Из од своих бы мог составить рифм словарь
И Сумарокова одеть в покрове новом;
Но мой пужливый ум дрожит над каждым словом,
И рифма праздная, обезобразив речь,
Хоть стих и звучен будь, — ему как острый меч.
Скорее соглашусь, смиря свою отвагу,
Стихами белыми весь век чернить бумагу,
Чем слепо вклеивать в конец стихов слова,
И, написав их три, из них мараю два.
Проклятью предаю я, наравне с убийцей,
Того, кто первый стих дерзнул стеснить границей
И вздумал рифмы цепь на разум наложить.
Не будь он — мог бы я спокойно век дожить,

Забот в глаза не знать и, как игумен жирный,
Спать ночью, днем дремать в объятьях лени мирной.
Ни тайный яд страстей, ни зависти змея
Грызущею тоской не трогают меня.
Я Зимнего дворца не знаю переходов,
Корысть меня не мчит к брегам чужих народов.
Довольный тем, что есть, признательный судьбе,
Не мог бы в счастье знать и равного себе,
Но, заразясь назло стихолюбивым ядом,
Свой рай земной сменил я добровольным адом.
С тех пор я сам не свой: прикованный к столу,
Как древле изгнанный преступник на скалу
Богами брошен был на жертву хищной власти,
Насытить не могу ненасытимой страсти.
То оборот мирю с упрямым языком,
То выживаю стих, то строфу целиком,
И, силы истоща в страдальческой работе,
Тем боле мучусь я, что мучусь по охоте.
Блаженный Н⟨иколев⟩, ты этих мук не знал.
Пока рука пером водила, ты писал,
И полка книжная, твой знаменуя гений,
Трещит под тяжестью твоих стихотворений.
Пусть слог твой сух и вял, пусть холоден твой жар,
Но ты, как и другой, Заикину товар.
Благодаря глупцам не залежишься в лавке!
«Где рифма налицо, смысл может быть в неявке!» —
Так думал ты — и том над томом громоздил;
Но жалок, правилам кто ум свой покорил.
Удачный выбор слов невежде не помеха;
Ему что новый стих, то новая потеха.
С листа на лист, резвясь игривою рукой,
Он в каждой глупости любуется собой.
Напротив же, к себе писатель беспристрастный,
Тщась беспорочным быть, — в борьбе с собой всечасной.
Оправданный везде, он пред собой не прав;
Всем нравясь, одному себе он не на нрав.
И часто, кто за дар прославлен целым светом,
Тот проклинает день, в который стал поэтом.
Ты, видя подо мной расставленную сеть,
Жуковский! научи, как с рифмой совладеть.
Но если выше сил твоих сия услуга,
То от заразы рифм избавь больного друга!

Август 1819

СИБИРЯКОВУ

Рожденный мирты рвать и спящий на соломе,
В отечестве поэт, кондитор в барском доме!
Другой вельможам льстит, а я пишу к тебе,
Как смел, Сибиряков, ты, вопреки судьбе,
Опутавшей тебя веригами насилья, —
Отважно развернуть воображенью крылья?
И, званьем раб, душой — к свободе вознестись?
«Ты мыслить вздумал? Ты? Дружок! перекрестись, —
Кричит тебе сын тьмы, сиятельства наследник, —
Не за перо берись: поди надень передник;
Нам леденцы вкусней державинских стихов.
О век! Злосчастный век разврата и грехов!
Всё гибнет, и всему погибель — просвещенье:
С трудом давно ль скреплял в суде определенье
Приявший от небес дворянства благодать,
А ныне: уж и чернь пускается в печать!
Нет! нет! Дворянских глаз бесчестить я не буду.
Другой тебя читай: я чести не забуду.
Нам памятен еще примерный тот позор,
Как призрен был двором беглец из Холмогор.
Пожалуй, и тебе, в сей век столь ненавистный,
В вельможах сыщется заступник бескорыстный,
И мимо нас, дворян, как дерзкий тот рыбарь,
Ты попадешь и в честь, и в адрес-календарь».
Так бредит наяву питомец предрассудка
За лакомым столом, где тяжестью желудка
Отяжелела в нем пустая голова.
Тебя, Сибиряков! не тронут те слова.
Стыдя спесь общества, ты оправдал природу;
В неволе ты душой уразумел свободу,
И целью смелою начертанный твой стих
Векам изобличит гонителей твоих.
Свобода не в дворцах, неволя не в темницах;
Достоинство в душе — пустые званья в лицах.
Пред взором мудреца свет — пестрый маскерад,
Где жребием слепым дан каждому наряд;
Ходули подхватя, иной глядит вельможей,
А с маскою на бал он выполз из прихожей.
Сорви одежду! — пыль под мишурой честей,
И первый из вельмож последний из людей.
Природа не знаток в науке родословной
И раздает дары рукой скупой, но ровной.





Жалею я, когда судьбы ошибкой злой
Простолюдин рожден с возвышенной душой
И свойств изящных блеск в безвестности тускнеет;
Но злобою мой ум кипит и цепенеет,
Когда на казнь земле и небесам в укор
Судьба к честям порок возводит на позор.
Кто мыслит, тот могущ, а кто могущ — свободен.
Пусть рабствует в пыли лишь тот, кто к рабству
сроден.
Свобода в нас самих: небес святый залог,
Как собственность души, ее нам вверил бог!
И не ее погнет ярмо земныя власти;
Одни тираны ей: насильственные страсти.
Пусть дерзостный орел увяз в плену силка,
Невольник на земле, он смотрит в облака;
Но червь презрительный, отверженец природы,
Случайно взброшенный порывом непогоды
В соседство к небесам, на верх Кавказских гор
Ползет и в гнусный прах вперяет робкий взор.
И ты, Сибиряков, умерь прискорбья пени,
Хотя ты в обществе на низшие ступени
Засажен невзначай рождением простым,
Гордись собой! А спесь ты предоставь другим.
Пусть барин чванится дворянским превосходством,
Но ты довольствуйся душевным благородством.
Взгляни на многих бар, на гордый их разврат,
И темный жребий свой благослови стократ.
Быть может, в их чреде светильник дарованья
Потухнул бы в тебе под гнетом воспитанья.
Утратя бодрость чувств, заимствовал бы ты,
Быть может, праздность их и блажь слепой тщеты.
Ты стал бы, как они, в бесчувствии глубоком
На участь братиев взирать холодным оком
И думать, что творец на то и создал знать,
Чтоб кровью ближнего ей нагло торговать;
Что черни дал одни он спины, барству — души,
Как дал рога быку, а зайцу только уши;
Что жизнь он в дар послал для бар и богача,
Другим взвалил ее, как ношу на плеча;
И что всё так в благом придумано совете,
Чтоб был немногим рай, а многим ад на свете.
Счастлив, кто сам собой взошел на высоту:
Рожденный на верхах всё видит на лету;

Надменность или даль его туманит зренье,
За правду часто он приемлет заблужденье;
Обманываясь сам, страстями ослеплен,
Доверчивость других обманывает он.
Но ты страшись его завидовать породе,
Ты раб свободный, он — раб жалкий на свободе.

Август 1819

ПЕРВЫЙ СНЕГ

(В 1817-м году)

Пусть нежный баловень полуденной природы,
Где тень душистее, красноречивей воды,
Улыбку первую приветствует весны!
Сын пасмурных небес полуночной страны,
Обыкший к свисту вьюг и реву непогоды,
Приветствую душой и песнью первый снег.
С какою радостью нетерпеливым взглядом
Волнующихся туч ловлю мятежный бег,
Когда с небес они на землю веют хладом!
Вчера еще стенал над онемевшим садом
Ветр скучной осени и влажные пары
Стояли над челом угрюмыя горы
Иль мглой волнистою клубилися над бором.
Унынье томное бродило тусклым взором
По рощам и лугам, пустеющим вокруг.
Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг.
Пугалище дриад, приют крикливых вранов,
Ветвями голыми махая, древний дуб
Чернел в лесу пустом, как обнаженный труп,
И воды тусклые, под пеленой туманов,
Дремали мертвым сном в безмолвных берегах.
Природа бледная, с унылостью в чертах,
Поражена была томлением кончины.
Сегодня новый вид окрестность приняла
Как быстрым манием чудесного жезла;
Лазурью светлою горят небес вершины;
Блестящей скатертью подернулись долины,
И ярким бисером усеяны поля.
На празднике зимы красуется земля
И нас приветствует живительной улыбкой.
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;

Там, темный изумруд посыпав серебром,
На мрачной со́сне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары, и засверкали горы,
И солнца шар вспылал на своде голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сровнялся в берегах.
Забавы ожили; пренебрегая страх,
Сбежались смельчаки с брегов толпой игривой
И, празднуя зимы ожиданный возврат,
По льду свистящему кружатся и скользят.
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой, —
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательскому следу,
И довершает нож кровавую победу.
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров!
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,
Топоча хрупкий снег, нас по полю помчит.
Украшен твой наряд лесов сибирских данью,
И соболь на тебе чернеет и блестит.
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щек твоих свежей алеют розы
И лилия свежей белеет на челе.
Как лучшая весна, как лучшей жизни младость,
Ты улыбаешься утешенной земле.
О, пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!
Кто в тесноте саней с красавицей младой,
Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой,
Жал руку, нежную в самом сопротивленье,
И в сердце девственном впервый любви смятенья,
И думу первую, и первый вздох зажег,
В победе сей других побед прияв залог.
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга легкая, их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая

И жить торопится и чувствовать спешит!
Напрасно прихотям вверяется различным;
Вдаль увлекаема желаньем безграничным,
Пристанища себе она нигде не зрит.
Счастливые лета! Пора тоски сердечной!
Но что я говорю? Единый беглый день,
Как сон обманчивый, как привиденья тень,
Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный!
И самая любовь, нам изменив, как ты,
Приводит к опыту безжалостным уроком
И, чувства истощив, на сердце одиноком
Нам оставляет след угаснувшей мечты.
Но в памяти души живут души утраты.
Воспоминание, как чародей богатый,
Из пепла хладного минувшее зовет
И глас умолкшему и праху жизнь дает.
Пусть на омытые луга росой денницы
Красивая весна бросает из кошницы
Душистую лазурь и свежий блеск цветов;
Пусть, растворяя лес очарованьем нежным,
Влечет любовников под кровом безмятежным
Предаться тихому волшебству сладких снов! —
Не изменю тебе воспоминаньем тайным,
Весны роскошныя смиренная сестра!
О сердца моего любимая пора!
С тоскою прежнею, с волненьем обычайным,
Клянусь платить тебе признательную дань;
Всегда приветствовать тебя сердечной думой,
О первенец зимы, блестящей и угрюмой!
Снег первый, наших нив о девственная ткань!

Ноябрь 1819

ЖРЕЦ И КУМИР

(Басня)

Льстить любят многие; хвалить умеет редкой.
Не в меру похвала опасней брани едкой.
Усердья ложного подать ли образец?
В рассказ мой вслушайтесь: какой-то древний
жрец,
К кумиру своему излишне богомольный,
Так уж кадил ему, уж так ему кадил,
Что с ног до головы его он закоптил.

И полно? — Нет! и, тем уроком недовольный,
Так размахнулся раз, в пылу слепой руки,
Что он кадильницей расшиб его в куски.

Фортуны баловни! Кумиры черни зыбкой!
Любимцы срочные забывчивой молвы!
Не стрел вражды крутой, но лести гибкой,
Кадильниц берегитесь вы!..

1819

УНЫНИЕ

Уныние! Вернейший друг души!
С которым я делю печаль и радость,
Ты легким сумраком мою одело младость,
И расцвела весна моя в тиши.

Я счастье знал, но молнией мгновенной
Оно означило туманный небосклон,
Его лишь взвидел взор, блистаньем ослепленный,
Я не жалел о нем: не к счастью я рожден.

В душе моей раздался голос славы:
Откликнулась душа волненьем на призыв;
Но, силы испытав, я дум смирил порыв,
И замерли в душе надежды величавы.

Не оправдала ты честолюбивых снов,
О слава! Ты надежд моих отвергла клятву,
Когда я уповал пожать бессмертья жатву
И яркою браздой прорезать мглу веков!

Кумир горящих душ! Меня не допустила
Судьба переступить чрез твой священный праг,
И, мой пожравшая уединенный прах,
Забвеньем зарастет безмолвная могила.

Но слава не вотще мне голос подала!
Она вдохнула мне свободную отвагу,
Святую ненависть к бесчестному зажгла —
И чистую любовь к изящному и благу.

Болтливыя молвы не требуя похвал,
Я подвиг бытия означил тесным кругом;
Пред алтарем души в смиренье клятву дал:
Тирану быть врагом и жертве верным другом.

С улыбкою любви, в венках из свежих роз,
На пир роскошества влекли меня забавы;
Но сколько в нéктар их я пролил горьких слез,
И чаша радости была сосуд отравы.

Унынье! Всё с тобой крепило мой союз:
Неверность льстивых благ была мне поученьем;
Ты сблизило меня с полезным размышленьем
И привело под сень миролюбивых муз.

Сопутник твой, сердечных ран целитель,
Труд, благодатный труд их муки усыпил.
Прошедшего — веселый искупитель!
Живой источник новых сил!

Всё изменило мне! Ты будь не безответен!
С утраченным мое грядущее слилось;
Грядущее со мною разочлось,
И новый иск на нем мой был бы тщетен.

Сокровищницу бытия
Я истощил в одном незрелом ощущенье,
Небес изящное наследство прожил я
В неполном темном наслажденье.

Наследство благ земных холодным оком зрю.
Пойду ль на поприще позорных состязаний
Толпы презрительной соперником, в бою
Оспоривать успех, цель низких упований?

В победе чести нет, когда бесчестен бой.
Раскройте новый круг, бойцов сзовите новых,
Пусть лавр, не тронутый корыстною рукой,
Пусть мета высшая самих венков лавровых

Усердью чистому явит достойный дар!
И честолюбие, источник дел высоких,
Когда не возмущен грозой страстей жестоких,
Вновь пламенной струей прольет по мне свой жар.

Но скройся от меня, с коварным обольщеньем,
Надежд несбыточных испытанный обман!
Почто тревожишь ум бесплодным сожаленьем
И разжигаешь ты тоску заснувших ран?

Унынье! с коим я делю печаль и радость,
    Единый друг обманутой души,
Под сумраком твоим моя угасла младость,
Пускай и полдень мой прокрадется в тиши.

1819

* * *

Зачем Фемиды лик ваятели, пииты
С весами и мечом привыкли представлять?
Дан меч ей, чтоб разить невинность без защиты,
Весы — чтоб точный вес червонцев узнавать.

1810-е годы

* * *

Как мастерски пророков злых подсел
Рифмач, когда себя в печать отправил;
Им вопреки, он на своем поставил
И сотню од не про себя пропел:
В наборщиках читателей имел
И цензора одобрить их заставил.

1810-е годы

* * *

В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи,
Глаголом ни стиха наш лирик не убил.
Как жалко мне, что он частей и прочих речи,
        Как и глаголы, не щадил.

1810-е годы

* * *

Как «Андромахи» перевод
Известен стал у стикских вод,
И наших дней Прадон прославился и в аде.
«Зачем писать ему? — сказал Расин в досаде. —
Пускай бы он меня в покое оставлял,
Творения с женой другие б издавал».
Жена же, напроти́в, когда он к ней подходит,
Жалеет каждый раз, что он не переводит.

1810-е годы

* * *

Княжнин! К тебе был строг судеб устав,
И над тобой сшутил он необычно:
«Вадим» твой был сожжен публично,
А публику студит холодный твой «Росслав».

1810-е годы

* * *

Один Фаон, лезбосская певица,
Тебе враждой путь к морю проложил;
Другой Фаон, по смерти твой убийца,
Тебя в стихах водя́ных потопил.

1810-е годы

ОТЛОЖЕННЫЕ ПОХОРОНЫ

Холодный сон моей души
С сном вечности меня сближает;
В древесной сумрачной тиши
Меня могила ожидает.
Амуры! ныне вечерком
Земле меня предайте вы тайком!

К чему обряды похорон?
Жрецов служенье пред народом?
Но к грациям мне на поклон
Позвольте сбегать мимоходом.
Малютки! К ним хочу зайти,
Чтоб им сказать последнее *прости.*

О, как я вас благодарю!
Очаровательная радость!
Перед собой я вами зрю
Стыдливость, красоту и младость!
Теперь, малютки, спора нет,
От глаз моих сокройте днёвный свет,

Попарно с факелом в руке
Ступайте, я иду за вами!
Но отдохните в цветнике:
Пусть полюбуюсь я цветами!
Амуры! с Флорой молодой
Проститься мне в час должно смертный свой.

Вот здесь, под тенью ив густых,
Приляжем, шуму вод внимая;
В знак горести на ивах сих
Висит моя свирель простая.
Малютки! с Фебом, кстати, я
В последний раз прощусь здесь у ручья.

Теперь пойдем! Но, на беду,
Друзей здесь застаю пирушку, —
К устам моим в хмельном чаду
Подносят дедовскую кружку.
Хоть рад, хоть нет, но должно пить.
Малютки! мне друзей грешно сердить!

Я поклялся оставить свет
И помню клятву неизменну;
Но к вам доверенности нет!
Вы населяете вселенну,
Малютки! вашим ли рукам
На упокой пустить меня к теням?

Вооружите вы меня —
И к мрачному за Стиксом краю
Отправлюсь сам без страха я.

Но что, безумный, я вещаю?
Малютки! в свете жить без вас —
Не та же ль смерть, и смерть скучней
в сто раз?

Но дайте слово наперед
Не отягчать меня гробницей,
Пусть на земле моей цветет
Куст роз, взлелеянный денницей!
Тогда, амуры! я без слез
Пойду на смерть под тень душистых роз.

Постойте! Здесь глядит луна,
Зефир цветы едва целует,
Мирт дремлет, чуть журчит волна
И горлица любовь воркует.
Амуры! здесь, на стороне,
Покойный одр вы изготовьте мне!

Но дайте вспомнить! Так, беда!
Назад воротимся к Цитере.
В уме ли был своем тогда?
Забыл сказаться я Венере.
Амуры! к маменьке своей,
Прошу, меня сведите поскорей.

Смерть не уйдет, напрасен страх!
А может быть, Венеры взоры,
С широкой чашей пьяный Вакх,
Цевница Феба, розы Флоры,
Амуры! смерть велят забыть
И с вами вновь, мои малютки, жить.

1810-е годы

КНЯЖНИН И ФОНВИЗИН

У авторов приязнь со всячиной ведется.
«Росслав твой затвердил: „Я росс, я росс, я росс!“
А всё он невелик, когда же разрастется?» —
Фонвизин Книжнину дал шуточный запрос.
«Когда? — тот отвечал, сам на словцо удалый. —
Когда твой бригадир поступит в генералы».

⟨1820⟩

КАТАЙ-ВАЛЯЙ

(Партизану-поэту)

Какой-то умник наше тело
С повозкой сравнивать любил,
И говорил всегда: «В том дело,
Чтобы вожатый добрый был».
Вожатым шалость мне досталась,
Пускай несет из края в край,
Пока повозка не сломалась,
Катай-валяй!

Когда я приглашен к обеду,
Где с чванством голод за столом,
Или в ученую беседу,
Пускай везут меня шажком.
Но еду ль в круг, где ум с фафошкой,
Где с дружбой ждет меня Токай
Иль вдохновенье с женской ножкой, —
Катай-валяй!

По нивам, по коврам цветистым
Не тороплюсь в дальнейший путь:
В тени древес, под небом чистым
Готов беспечно я заснуть, —
Спешит от счастья безрассудный!
Меня, о время, не замай;
Но по ухабам жизни трудной
Катай-валяй!

Издатели сухих изданий,
Творцы, на коих Север спит,
Под вьюком ваших дарований
Пегас как вкопанный стоит.
Но ты, друг музам и Арею,
Пегаса на лету седлай
И к славе, как на батарею,
Катай-валяй!

Удача! Шалость! Правьте ладно!
Но долго ль будет править вам?
Заимодавец-время жадно
Бежит с расчетом по пятам!

Повозку схватит и с поклажей
Он втащит в мрачный свой сарай.
Друзья! Покамест песня та же:
Катай-валяй!

⟨1820⟩

ПОСЛАНИЕ К Т⟨УРГЕНЕВУ⟩ С ПИРОГОМ

Из Пёриге гость жирный и душистый,
Покинутый судьбы на произвол,
Ступай, пирог, к брегам полночи льдистой!
Из мест, где Ком имеет свой престол
И на народ взирает благосклонней,
Где дичь вкусней, и трюфли благовонней,
И пьяный Вакх плодит роскошный дол...
Иль, отложив балясы стихотворства
(Ты за себя сам ритор и посол),
Ступай, пирог, к Т⟨ургеневу⟩ на стол,
Достойный дар и дружбы и обжорства!
А ты, дитя, не тех угрюмых школ,
Где натощак воспитанный рассудок
К успехам шел через пустой желудок,
Но лучших школ прилежный ученик;
Ты, ревностный последник Эпикуру;
Ты, уголок между почетных книг
Оставивший поварни трубадуру,
Который нам за лакомым столом
Искусство есть преподавал стихом
И, *своего исполненный предмета,*
Похитил лавр обжоры и поэта, —
Ты, друг, прими в знак дружбы мой пирог,
Как древле был приемлем хлеб с солонкой.
Друзей сзови; но двери на замок
От тех гостей, которых запах тонкой,
Издалека пронюхав сочный дух,
И навыком уж изощренный слух,
Прослышавши позывный звон тарелок,
Ведут к столу, — вернее лучших стрелок
Лицо их, в дверь явясь как на заказ,
Вам говорит, который в доме час.

Честь велика, когда почетный барин
К нам запросто приходит есть хлеб-соль,
Но за столом нас от честей уволь:
Незваный гость досадней, чем татарин.
В пословицах народов ум живет,
А здесь и ум обеденных Солонов.
В гостиных нас закон приличий жмет,
Но за столом, чужд ига, враг забот,
Бросаю цепь стеснительных законов.
Чиновный гость иль приторный сосед
Вливает яд в изящнейший обед.
Нет! нет! Прошу, мне в честь и благодарность,
Одних друзей сзови на мой пирог:
Прочь знатного враля высокопарность
И подлеца обсахаренный слог!
Пусть старшинством того почтит пирушка,
У коего всегда порожней кружка
И с языка вздор острый, без затей,
Как блестки искр, срывается быстрей.
Ему воздай отличие верховно;
Но не деспóт, а общества глава
Над обществом пусть царствует условно
И делит с ним законные права.
Пусть, радуясь его правленью, каждый
Покорностью почтит властей дележ
И в свой черед балует прихоть жажды
И языка болтливого свербеж.
Уже мечтой я заседаю с вами,
Я мысленно перелетаю даль:
Я вижу свой прибор между друзьями;
Вином кипит сияющий хрусталь.
Пусть сбудется воображенья шаль;
Пусть поживлюсь мечтательной поимкой,
Когда судьбы жестокий приговор,
Мне вопреки, лишь только невидимкой
Дает присесть за дружеский прибор.
Но тот, кому я близок и заочно,
Пусть будет есть и пить за трезвый дух;
Нельзя умней придумать и нарочно:
Т⟨ургенев⟩ мой, ты будешь есть за двух!

6 января 1820
Варшава

* * *

Пусть остряков союзных тупость
Готовит на меня свой нож:
Против меня глупцы! — так что ж?
Да за меня их глупость.

Февраль 1820

ПОЖАР

Небрежностью людей иль прихотью судьбы
В один и тот же час, и рядом,
От свечки вспыхнули обои здесь; там на дом
Выкидывало из трубы!
«Чего же было ждать? — сказал советник зрелый,
Взирая на пожар. — Вам нужен был урок;
Я от такой беды свой домик уберег».
— «А как же так?» — спросил хозяин погорелый.
«Не освещаю в ночь, а в зиму не топлю».
— «О нет! Хоть от огня я ныне и терплю,
Но костенеть впотьмах здесь человек не сроден;
В расчетах прибыли ущербу место дам;
Огонь подчас во вред, но чаще в пользу нам,
А твой гробовый дом на то лишь только годен,
Чтоб в нем волков морить и гнезда вить сычам!»

Март 1820

* * *

Во имя хартии, свободы,
Всего, чего у нас nie ma, [1]
Что у людей одной породы
Зовется: наших дней чума,
Сей табакеркой либеральной
Я нос ваш антифеодальный
Хочу потешить и почтить.
Вам нечего себя лечить;
Но впрок ее употребляйте,
Молю я вас самим Христом,
Набив гишпанским табаком,

[1] Нет (польск.). — *Ред.*

Вы нюхать из нее давайте:
Всем староверческим носам
Невежественного раскола
И званья всякого и пола;
Всем двигающимся мощам
Сената, Английского клоба;
Всем губернаторам и виц,
Всем баричам в бегах из гроба
Иль из Обуховских больниц;
Всем представительным витиям
Всех предрассудков двух столиц;
Всем мелкотравчатым Батыям,
Крещеным нехристям; врагам
Завоеваний мысли смелой;
Друзьям привычки закоснелой:
Всем Траверсе по письменам
И всем Антонским по Совету;
Всем государственным совам,
Хранящим злость к дневному свету,
Всем государственным столбам
Одеревенелым в министерстве;
Всем государственным чинам,
Обабившимся в кавалерстве
И помрачившихся в звездах;
Всем государственным лакеям;
Всем первоклассным фалалеям
На государственных местах.
Попробуйте. Благим влияньем
Свершится чудо, может быть:
Авось удастся осветить,
Авось целительным чиханьем
Удастся их очистить мозг,
Который страх как сух и плоск
И страх как завалился сором.
Вы, кои мозговым запором
Совсем утратили чутье
И онемевшее бытье
Волочите под приговором
Судьбы, не слушающей нас:
О, отчихните в добрый час
Всю дрянь, что накопилась в вас,
И мы вам «Здравствуй!» грянем хором.

Ноябрь 1820
Варшава

НЕГОДОВАНИЕ

К чему мне вымыслы? К чему мечтанья мне
И нектар сладких упоений?
Я раннее прости сказал младой весне,
Весне надежд и заблуждений!
Не осушив его, фиал волшебств разбил;
При первых встречах жизнь в обманах обличил
И призраки принес в дань истине угрюмой;
Очарованья цвет в руках моих поблек,
И я сорвал с чела, наморщенного думой,
Бездушных радостей венок.
Но, льстивых лжебогов разоблачив кумиры,
Я правде посвятил свой пламенный восторг;
Не раз из непреклонной лиры
Он голос мужества исторг.
Мой Аполлон — негодованье!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.
Негодованье! Огонь животворящий!
Зародыш лучшего, что я в себе храню,
Встревоженный тобой, от сна встаю
И, благородною отвагою кипящий,
В волненье бодром познаю
Могущество души и цену бытию.
Всех помыслов моих виновник и свидетель,
Ты от немой меня бесчувственности спас;
В молчанье всех страстей меня твой будит
глас:
Ты мне и жизнь и добродетель!
Поклонник истины в лета,
Когда мечты еще приятны, —
Взывали к ней мольбой и сердце и уста,
Но ветер разносил мой глас, толпе невнятный.
Под знаменем ее владычествует ложь;
Насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
Бесстыдство председит в собрании вельмож.
Отцов народов зрел, господствующих страхом,
Советницей владык — губительную лесть;
Почетную главу посыпав скорбным прахом,
Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
Доступным торжищем — святыню правосудья,

Служенье истины — коварства торжеством,
Законы, правоты священные орудья, —
Щитом могущему и слабому ярмом.
Зрел промышляющих спасительным глаголом,
Ханжей, торгующих учением святым,
В забвенье бога душ — одним земным
престолам
Кадящих трепетно, одним богам земным.
Хранители казны народной,
На правый суд сберитесь вы;
Ответствуйте: где дань отчаянной вдовы?
Где подать сироты голодной?
Корыстною рукой заграбил их разврат.
Презрев укор людей, забыв небес угрозы,
Испили жадно вы средь пиршеских прохлад
Кровавый пот труда и нищенские слезы;
На хищный ваш алтарь в усердии слепом
Народ имущество и жизнь свою приносит;
Став ваших прихотей угодливым рабом,
Отечество от чад вам в жертву жертвы
просит.
Но что вам? Голосом алкающих страстей
Месть вопиющую вы дерзко заглушили;
От стрел раскаянья златым щитом честей
Ожесточенную вы совесть оградили.
Дни ваши без докук и ночи без тревог.
Твердыней, правде неприступной,
Надменно к облакам вознесся ваш чертог,
И непорочность, зря дней ваших блеск
преступный,
Смущаясь, говорит: «Где ж он? Где ж казни
бог?
Где ж судия необольстимый?
Что ж медлит он земле суд истины изречь?
Когда ж в руке его заблещет ярый меч
И поразит порок удар неотвратимый?»
Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сане
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?
Для вас отечество — дворец,
Слепые властолюбья слуги!
Уступки совести — заслуги!
Взор власти — всех заслуг венец!

Нет! нет! Не при твоем, отечество! зерцале
На жизнь и смерть они произнесли обет:
Нет слез в них для твоих печалей,
Нет песней для твоих побед!
Им слава предков без преданий,
Им нем заветный гроб отцов!
И колыбель твоих сынов
Им не святыня упований!
Ищу я искренних жрецов
Свободы, сильных душ кумира —
Обширная темница мира
Являет мне одних рабов.
О ты, которая из детства
Зажгла во мне священный жар,
При коей сносны жизни бедства,
Без коей счастье — тщетный дар, —
Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал
И звучным строем песней новых
Будил молчанье скал суровых
И слух ничтожных устрашал.
В век лучший вознесясь от мрачной сей юдоли,
Свидетель нерожденных лет —
Свободу пел одну на языке неволи,
В оковах был я, твой поэт!
Познают песнь мою потомки!
Ты свят мне был, язык богов!
И лиры гордые обломки
Переживут венцы льстецов!
Но где же чистое горит твое светило?
Здесь плавает оно в кровавых облаках,
Там бедственным его туманом обложило,
И светится едва в мерцающих лучах.
Там нож преступный изуверства
Алтарь твой девственный багрит;
Порок с улыбкой дикой зверства
Тебя злодействами честит.
Здесь власть в дремоте закоснелой,
Даров небесных лютый бич,
Грозит цепьми и мысли смелой,
Тебя дерзающей постичь.

Здесь стадо робкое ничтожных
Витии поучений ложных
Пугают именем твоим;
И твой сообщник — просвещенье
С тобой, в их наглом ослепленье,
Одной секирою разим.
Там хищного господства страсти
Последнею уловкой власти
Союз твой гласно признают,
Но под щитом твоим священным
Во тьме народам обольщенным
Неволи хитрой цепь куют.
Свобода! О младая дева!
Посланница благих богов!
Ты победишь упорство гнева
Твоих неистовых врагов.
Ты разорвешь рукой могущей
Насильства бедственный устав
И на досках судьбы грядущей
Снесешь нам книгу вечных прав,
Союз между гражда́н и троном,
Вдохнешь в царей ко благу страсть,
Невинность примиришь с законом,
С любовью подданного — власть.
Ты снимешь роковую клятву
С чела, поникшего земле,
И пахарю осветишь жатву,
Темнеющую в рабской мгле.
Твой глас, будитель изобилья,
Нагие степи утучнит,
Промышленность распустит крылья
И жизнь в пустыне водворит;
Невежество, всех бед виновник,
Исчезнет от твоих лучей,
Как ночи сумрачный любовник
При блеске утренних огней.
Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

Но мне ли медлить? Их и робкую их братью
Карающим стихом я ныне поражу;
На их главу клеймо презренья положу
И обреку проклятью.
Пусть правды мстительный Перун
На терпеливом небе дремлет,
Но мужественный строй моих свободных струн
Их совесть ужасом объемлет.
Пот хладный страха и стыда
Пробьет на их челе угрюмом,
И честь их распадется с шумом
При гласе правого суда.
Страж пепла их, моя недремлющая злоба
Их поглотивший мрак забвенья разорвет
И, гневною рукой из недр исхитив гроба,
Ко славе бедственной их память прикует.

Ноябрь 1820

ПОСЛАНИЕ К М. Т. КАЧЕНОВСКОМУ

Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил.
Как оный вечный огнь при алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет.
На нем чужой успех, как ноша, тяготеет;
Счастливца свежий лавр — колючий терн ему;
Всегда он ближнего довольством недоволен
И, вольный мученик, чужим здоровьем болен.
Где жертв не обрекла господству своему
Слепая зависть, дочь надменности ничтожной?
Известности боясь, змеею осторожной
Ползет, роняя вслед яд гнусной клеветы.
В шатрах, в дому царей, в уборной красоты
Свирепствует во тьме коварная зараза;
Но в мирной муз семье, средь всадников Пегаса
Господствует она свирепей во сто крат;
В Элизий скромных дев внесен мятежный ад.
Будь музы сестры, так! но авторы не братья;
Им с Каином равно на лбу печать проклятья
У многих врезала ревнивая вражда.
Достойным похвала — ничтожеству обида.

«Скучаю слушать я, как он хвалим всегда!» —
Вопрошенный, сказал гонитель Аристида.
Не зная, как судить, ничтожные бранят
И, понижая всех, возвыситься хотят.
От Кяхты до Афин, от Лужников до Рима
Вражда к достоинству была непримирима.
Она в позор желез от почестей двора
Свергает Миниха, сподвижника Петра,
И, обольщая ум Екатерины пылкой,
Радищева она казнит почетной ссылкой.
На Велисария дерзает меч простерть,
И старцу-мудрецу в тюрьме подносит смерть.
Внемлите, как теперь *пугливые невежды* [1]
Поносят клеветой высоких душ надежды.
На светлом поприще гражданского ума
Для них лежит еще предубеждений тьма,
Враги того, что есть, и новых бед пророки
Успехам наших дней старинных лет пороки
Дерзают предпочесть в безумной слепоте
И правдой жертвовать обманчивой тщете.
В превратном их уме свобода — своевольство!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли есть извечная межа,
И, к ней невежество приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.
«Заброшен я в пыли, как старый календарь, —
Его наперерыв читают чернь и царь;
Разнообразен он в роскошестве таланта —
Я сухостью сожжен бесплодного педанта.
Чем отомщу ему? Орудьем клеветы!» —
Сказал поденный враль и тискать стал листы.
Но может ли вредить ревнивый пустомеля?
Пусть каждый следует примеру Фонтенеля.
«Взгляни на сей сундук, — он другу говорил,
Которого враньем ругатель очернил. —
Он полон на меня сатир и небылиц,
Но в них я ни одной не развернул страницы».
Зачем искать чужих примеров? — скажешь ты,
Нас учит Карамзин презренью клеветы.

---

[1] Прекрасное выражение Ломоносова.

На вызов крикунов — со степени изящной
Сходил ли он в ряды, где битвой рукопашной
Пред праздною толпой, как жадные бойцы,
Свой унижают сан прекрасного жрецы?
Нет! Презря слабых душ корыстные управы,
Он мелкой личностью не затмевает славы;
Пусть скукой и враньем торгующий зоил,
Бессильный поражать плод зрелый зрелых сил,
Что день, под острие кладет тупого жала
Досугов молодых счастливые начала;
Пусть сей оценщик слов и в азбуке знаток
Теребит труд ума с профессорских досок,
Как поседевшая в углах архивы пыльной
Мышь хартии грызет со злостью щепетильной.
На славу опершись, не занятый молвой,
Он с площадным врагом не входит в низкий бой;
На рубеже веков наш с предками посредник,
Заветов опыта потомкам проповедник,
О суточных вралях ему ли помышлять?
Их жалкий жребий — чернь за деньги забавлять,
Его — в потомстве жить, взывая к жизни древность.
Ты прав. Еще пойму соперничества ревность:
Корнелию бы мог завидовать Расин,
Жуковский Байрону, Фонвизину Княжнин.
В безбрежных областях надоблачной державы
Орел не поделит с другим участка славы,
На солнце хочет он один отважно зреть;
Иль смерть, иль воздуха господство бессовместно,
И при сопернике ему под небом тесно.
У льва кровавый тигр оспоривает снедь.
Но кто, скажите мне, видал, чтоб черепаха
Кидалась тяжело с неловкого размаха
И силилась орлу путь к солнцу заслонить?
Нам должно бы умней тупых животных быть,
А каждый день при нас задорные пигмеи,
В союзе с глупостью, сообразя затеи,
Богатырей ума зовут на бой чернил,
Нахальством ополчась за недостатком сил.
Ошибки замечай: ошибки людям сродны;
Но в поучении пусть голос благородный
И благородство чувств показывает нам.
Ты хочешь исправлять, но будь исправен сам.
Уважен будешь ты, когда других уважишь.
Когда ж и правду ты языком злости скажешь,

То правды светлый луч, как в зеркале кривом,
Потускнет под твоим завистливым пером.
Случалось и глупцу отыскивать пороки,
Но взвесить труд ума лишь может ум высокий.
Насмешки резкие — сатиры личной зло:
Цветами увивал их стрелы Боало.
В ком нравиться есть дар, тот пусть один злословит.
Пчела и жалит нас, и сладкий мед готовит;
Но из вреда вредить комар досадный рад.
Докучного ушам, презренного на взгляд,
Его без жалости охотно давит каждый.
Слепцы! К чему ведет тоска завистной жажды,
Какой богатый плод приносит вам раздор?
Таланту блеск двойной, а вам двойной позор,
Успех есть общая достоинств принадлежность;
К нему вожатые — дар свыше и прилежность.
Врагов не клеветой, искусством победи;
Затми их светлый лавр, и лавр твой впереди:
Соревнованья жар источник дел высоких,
Но ревность — яд ума и страсть сердец жестоких.
Лишь древо здравое дать может здравый плод,
Лишь пламень чистый в нас таланта огнь зажжет.
Счастлив, кто мог сказать: «Друзей я в славе нажил,
Врагов своих не знал, соперников уважил.
Искусства нас в одно семейство сопрягли,
На ровный жребий благ и бедствий обрекли.
Причастен славе их, они моей причастны:
Их днями ясными мои дни были ясны».
Так рядом щедрая земля из влажных недр
Растит и гордый дуб и сановитый кедр.
Их чела в облаках, стопы их с адом смежны;
Природа с каждым днем крепит союз надежный,
И, сросшийся в один, их корень вековый
Смеется наглости бунтующих стихий.
Столетья зрят они, друг другом огражденны,
Тогда как в их тени, шипя, змеи презренны,
Междоусобных ссор питая гнусный яд,
Нечистой кровию подошвы их багрят.

1820

* * *

Василий Львович, милый! Здравствуй!
Я бью челом на Новый год!
Веселье, мир с тобою царствуй,
Подагру черт пусть поберет.
Пусть смотрят на тебя красотки,
Как зá двадцать смотрели лет,
И говорят — на зов твой ходки, —
Что не стареется поэт.
Пусть цедится рукою Вакха
В бокал твой лучший виноград,
И будешь пить с *Толстым*[1] без страха,
Что за плечами Гиппократ.
Пусть Феб умножит в двадцать первый
На рифмы у тебя расход
И кляп наложится Минервой
Всем русским Вральманам на рот.
Пусть Вестник, будто бы Европы,
По-европейски говорит
И розных глупостей потопы
Рассудка солнце осушит.
Пусть нашим цензорам дозволят
Дозволить мысли вход в печать;
Пусть баре варварства не холят
И не невежничает знать.
Будь в этот год, другим не равный:
Все наши умники умны,
Менандры невские забавны,
А Еврипиды не смешны,
Исправники в судах исправны,
Полковники не палачи,
Министры не самодержавны,
А стражи света не сычи.
Пусть щук поболе народится,
Чтоб не дремали караси;
Пусть белых негров прекратится
Продажа на святой Руси.
Но как ни будь я в слове прыток,
Всего нельзя спустить с пера;
Будь в этот год нам в зле убыток
И прибыль в бю́джете добра.

Конец 1820

---

[1] Который, между прочим, женился на своей цыганке.

* * *

Благословенный плод проклятого терпенья
За цену сходную он отдает в печать;
Но, к большей верности, зачем не досказать:
За цену, сходную с достоинством творенья.

(1821)

ПРЕЛЕСТИ ДЕРЕВНИ
(С французского)

Не раз хвалили без ума
Деревню, пристань всем весельям.
Затей в поэтах наших тьма;
Не знать цены их рукодельям —
И боже нас оборони!
Но, воспевая рощи, воды
И дикие красы природы,
Нередко порют дичь они!

Лесок распишут ли? Как раз
И вечный соловей поспеет!
Лужок расстелят? На заказ
И роза вечная алеет!
Не верь их песне — вдоль полей
Растут репейники с крапивой
И слышен галок хор крикливый
И хор индеек и гусей!

С собачкой стадо у реки:
Вот случай мне запеть эклогу!
Но что ж? — Бодаются быки,
А шавка мне кусает ногу!
Кто ж пастушок? Прямой пастух!
Под тяжестью густой овчинки
Он скрыпом хриплыя волынки
Немилосердно режет слух!

Сиянье томное луны
Влечет к задумчивой дремоте;
Но гонит прочь мечтаний сны
Лягушек кваканье в болоте.
Хочу заснуть без метафóр,

Но мне и в том успеха мало:
Комарий писк и мухи жало
На сон мой входят в заговóр!

Нет, воля ваша, господа!
Но деревенские забавы
Найду без лишнего труда,
Не отлучаясь от заставы.
Злой враль не тот же ли комар?
Репейники цветут в журналах,
Гусей встречаю в самохвалах,
А спесь индеек в спеси бар.

(1821)

НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ

1

Подлец, вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке.
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе
Он щеголяет ханжествóм.

2

Кутейкин, в рясах и с скуфьею,
Храм знаний обратил в приход,
И в нем копеечной свечою
Он просвещает наш народ.

Август 1821
Остафьево

МОСКВА 29-ГО ДЕКАБРЯ 1821 ГОДА

Благодарю вас за письмо,
Ума любезного трюмо,
О вы, которые издавна
Екатерина Николавна,
По-русски просто говоря,
А на грамматику смотря,
Так Николаевна — но что же?
Ведь русский стих, избави боже!

Какой пострел, какая шаль!
Ведь русский стих не граф Лаваль;
Он не стоит на курьих ножках.
Как слон на стопы опершись,
Его не сломишь, как ни рвись!
Что о собаках и о кошках
Пословицы нам говорят,
То скажем также с смыслом правым
И о стихах с рассудком здравым:
В них ненадолго виден лад,
В них мира нет, а перемирье;
Всё гладко кажется, а там
И вскочут глупости, как чирья
По краснопюсовым носам.
Вот вам пример, да и примерный, —
Я со́врал, как питомец верный,
Кому кормилец — Аполлон,
Тремя помноженный Антон,
Да на закуску Прокопович!
Здесь рифма мне Василий Львович!
Что вам могу сказать о нем?
Сидит с подагрой он вдвоем;
Но ваш Тургенев преподобный —
Ему подагры самой злобной
Еще убийственней сто раз:
Взялся его он в добрый час
Привесть в печатанную веру;
Но, христианскому примеру
Он следуя наоборот,
Закоренелый греховод,
Где б должно дунуть — в ус не дунул,
А там на Пушкина же плюнул,
Отрекшись от всех дел его.
Но, ради бога самого,
Скажите, Пушкин дьявол, что ли?
А здесь под рифму мне Горголи!
Он под перо мое скользнул,
Как пред несчастием кот черный!
Нет! нет! Я тут слуга покорный
И крикну разве: караул!
Да, кстати, сделав три поклона,
Я вас поздравлю с сыном Крона
Иль с Новым годом, всё равно!
Пусть жребий с счастьем заодно

Прядет в нем ваши дни из шелка,
Пусть прыткой жизни одноколка
По свежим бархатным лугам
Везет вас к пристани покойной!
И на заре и в полдень знойный
Пусть бережет вас добрый дух!
И не перечит вам дороги
Исподтишка на случай строгий,
Ни граф Хвостов с стихами вслух!

К ВДОВЕ С. Ф. БЕЗОБРАЗОВОЙ В ДЕРЕВНЮ

Что делает в деревне дальной
Совсем не сельская вдова?
Какие головы кружит в глуши печальной,
Хоть, может быть, и есть в селенье голова?
Где двор, блестящий двор вздыхателей любезных,
Хоть дворня и полна дворовых бесполезных
И крепостных рабов по милости судьбы
В России крепостной искать нам не со свечкой!
Но добровольные рабы,
Которые, гордясь цветочною уздечкой,
Накинутой на них любовью с красотой,
Предпочитают плен и вольности самой...
Их нет! Не красота душами там владеет:
Ее плохие барыши!
И ловко взятки брать с души
Один подьячий дар имеет!
Какая ссылка для вдовы,
Которой вдовствовать совсем бы не у места,
Для милой красоты, которая, как вы,
Вдова случайностью, но прелестью — невеста!
Как должен длиться скучный день!
Как медленно вертит бездейственная лень
Колеса тяжкие часов однообразных!
Там скука мрачная, владычица дней праздных,
На жизнь навесть должна безжизненную тень
И на окрестность мрак кладбища!
Есть книги — знаю я — уму, занятью пища;
Но книги — всё одни бездушные листы!
Есть зеркало, последняя отрада
Уединенной красоты;

Но в нем не вспыхнет жизнь от пламенного взгляда,
Как ни сиди пред ним, не дашь ему ума,
А только влюбишься в лице свое сама.
Нужнее воздуха красавице мужчины!
Желанье нравиться с ней вместе родилось;
Оно — вторая жизнь и нравственная ось,
На коей движутся все женские пружины.
Потомства женского отлив и образец,
Прабабка Ева нам быть может в том порукой:
В раю — уж, кажется, в раю ли знаться с скукой? —
Ей стало скучно под конец!
Явился змей! Подбитый Асмодеем,
Он с *яблочком* умел к ней хитро подойти,
И на безлюдии, чтоб время провести,
Шутя, кокетствовать она пустилась с змеем.
Таких чудес не видим в наши дни!
В наш бедный век остепенились змеи
И, позабыв любовные затеи,
Не донжуанствуют они!
Но яблока желудок женской
Переварить еще не мог:
Красавицам оно на память и в залог!
Что ж делает вдова в пустыне деревенской,
Где Евы яблоко бессильно на умы,
Где б первенством никто не предпочел Киприды
И где уездные Париды,
Боясь красавиц, как чумы,
Для яблок лучшего не знают назначенья,
Как впрок солить их для зимы?
Пора вам разорвать оковы заточенья
И бросить скучный плен, чтобы других пленять.
Оставьте вы леса медведям и соседам —
Они уж свыклися, но вам тут не под стать!
Столица вас зовет к забавам и победам,
И зов ее услышьте вы!
Любовь без вас глядит сироткой средь Москвы,
Блестящий храм ее — заброшенная келья!
И пылкие веселья
Печально вдовствуют в отсутствие вдовы!

15 ноября 1822
Москва

МУДРОСТЬ

(Басня)

Когда бессмертные пернатых разобрали,
Юпитер взял орла, Венере горлиц дали,
А бдительный петух был Мудрости удел.
Но бдительность его осталась без удачи:
Нашли, что он имел некстати нрав горячий,
Что неуступчив он, криклив и слишком смел.
А пуще на него все жаловались боги,
Что сам он мало спит и спать им не дает.
Минерве от отца указ объявлен строгий,
Что должность петуха сова при ней займет.

Что ж можно заключить из этой были-сказки? —
Что мудрецу верней быть мудрым без огласки.

⟨1823⟩

МОИ ЖЕЛАНИЯ

Пусть всё идет своим порядком
Иль беспорядком — всё равно!
На свете — в этом зданье шатком —
Жить смирно — значит жить умно.
Устройся ты как можно тише,
Чтоб зависти не разбудить;
Без нужды не взбирайся выше,
Чтоб после шеи не сломить.

Пусть будут во владенье скромном
Цветник, при ручейке древа,
Алтарь любви в приделе темном,
Для дружбы стул, а много — два;
За трапезой хлеб-соль простая,
С приправой ласк младой жены;
В подвале — гость с холмов Токая,
Душистый вестник старины.

Две-три картины не на славу;
Приют мечтанью — камелек
И, про домашнюю забаву,
Непозолоченный гудок;

Книг дюжина — хоть не в сафьяне.
Не рук, рассудка торжество,
И деньга лишняя в кармане
Про нищету и сиротство.

Вот всё, чего бы в скромну хату
От неба я просить дерзал;
Тогда б к хранителю-Пенату
С такой молитвою предстал:
«Я не прошу о благе новом;
Мое мне только сохрани,
И от злословца будь покровом,
И от глупца оброни».

⟨1823⟩

ЯЗЫК И ЗУБЫ

(Восточный аполог)

Один султан пенял седому визирю,
Что твердой стойкости он не имел во праве.
«За недостаток сей судьбу благодарю!
Им удержался я и в почести, и в славе, —
Сказал визирь ему, — и при дворе твоем
Средь частых перемен он был моим щитом.
Мне шестьдесят пять лет, — прибавил он
с улыбкой. —
Из твердых тех зубов, которые имел,
Ты видишь — редкий уцелел;
Но все их пережил один язык мой гибкой».

⟨1823⟩

МОЛОТОК И ГВОЗДЬ

«По милости твоей я весь насквозь расколот —
Кирпич пенял гвоздю, — за что такая злость?»
— «За то, что в голову меня колотит молот», —
Сказал с досадой гвоздь.

⟨1823⟩

ВОЛИ НЕ ДАВАЙ РУКАМ

Воли не давай рукам! —
Говорили наши предки;
Изменяли тем словам
Лишь тогда, как стрелы метки
Посылали в грудь врагам.

Мы смеемся старикам,
Мы не просим их советов;
По Парнасу, по судам,
От архонтов до поэтов,
Волю все дают рукам.

Волю беглым дав рукам,
Карп стихи, как сено, косит,
Пальцы с ртутью пополам,
В голове зато лишь носит
Он свинец на горе нам.

Загляни к Фемиде в храм:
Пусть слепа, да руки зрячи;
Знает вес давать вескам:
Гладит тех, с кого ждет дачи,
Бедных бьет же по рукам.

Но не всё ж злословить нам,
Живо в памяти народной,
Как в сенате, в страх врагам,
Долгоруков благородный
Смело волю дал рукам.

Мой Пегас под стать ослам,
Крыльев нет, не та замашка;
Жмут оглобли по бокам,
Лишь лягается бедняжка,
Крепко прибранный к рукам.

⟨1823⟩

БЫЛЬ, КОТОРАЯ СБУДЕТСЯ

Когда Красовского пресекла парка годы,
Того Красовского, который в жизни сам
Был паркою ума и мыслящей свободы,
Побрел он на покой к *Нелепости* во храм.
«Кто ты? — кричат ему привратники святыни,
Невежество и *Ханжество*. —
Яви! чем заслужил признательность богини?
Твой чин? Твой формуляр? Занятья? Мастерство?
Ответствуй перед нами!»
— «Я при Голицыне был цензор!» — молвил он.
И вдруг пред ним чета кладет земной поклон,
И двери растворились сами!

⟨1823⟩

* * *

Жужжащий враль, едва заметный слуху!
Ты хочешь выслужить удар моей руки?
Но знай: на ястребов охотятся стрелки;
А сам скажи: как целить в муху?

1823

ОТВЕТ ДРЕВНЕГО МУДРЕЦА

В больнице общей нам, где случай, врач-слепец,
Развел нас наобум и лечит наудачу,
Скажи, что делаешь, испытанный мудрец? —
«С безумными смеюсь, с страдающими плачу!»

⟨1824⟩

ТОГО-СЕГО

Того-сего пленительную смесь
Всегда люблю, везде желаю;
Однообразием скучаю,
И за столом прошу и здесь
Того-сего.

Старик Вольтер дар угождать имел
Царям, философам, повесам,
Он рассыпался мелким бесом
И кстати подносить умел
Того-сего.

Фирс жил в гостях; теперь домком живет.
Фирс, верно, получил наследство?
Нет! Он нашел вернее средство:
В суде устроился насчет
Того-сего.

Куда как пуст Лужницкого журнал!
Какой он тощий и тяжелый,
Ни то ни се в тетради целой,
Хотя он в ней и обобрал
Того-сего.

Смотрите: льстец в сенях у бар больших,
Вертится он, как флюгер гибкой,
Торгует вздохами, улыбкой,
Всегда придерживаться лих
Того-сего.

И сам Творец, дав волю процветать
Злым, добрым, хмелю и крапиве,
Хотел, чтоб на житейской ниве
Пришлося нам поиспытать
Того-сего.

⟨1824⟩

НЕДОВОЛЬНЫЙ

(С французского)

Каких нам благ просить от бога?
Фортуны? — Слишком быстронога,
Едва придет и пропадет!
Чинов? — За ними рой забот!
Высоких титлов? — Тщетны звуки!
Богатства? — Не запас от скуки!
С мешками будешь сам мешок!
Великодушия? — Порок

Воюет с ним открытой бранью!
Похвал? — Глупцам бывают данью!
Достоинств? — Зависти змея
Вопьется яростно в тебя!
Познаний? — В кладезе глубоком
Неверным и туманным оком
Не сыщешь дна, не видишь зги!
Любви? — Не уживешься с нею!
Жены? — Попытка в лотерею!
Друзей? — Опасные враги!
Вина? — Но грустно протрезвиться!
Роскошных яств? — В аптеках рыться!
Горячей крови? — Разожжет!
Холоднокровья? — Будешь лед!
Ума? — Вожатый ненадежный,
Болтун, подчас неосторожный!
Союза мудрости? — Она
Без зва под старость посещает,
Когда нам боле не нужна,
И каждый мудрецом бывает
С убытком счастья пополам!
Покоя? — И к монастырям
Ему заложена дорога! —
Каких же благ просить от бога?

‹1824›

ЧЕРТА МЕСТНОСТИ

Прочесть ли вам любовное посланье?
«Рад слушать вас!» — Прошу советов я!
Дом, где сидит владычица моя!
«Позвольте мне вам сделать замечанье:
Я б не сказал — сидит, да уж и дом,
Мне кажется, не ладит со стихом.
Не лучше ли: живет иль обитает
И дом сменить на храм или чертог?
Любовь во храм и хату претворяет,
К тому ж к стихам идет высокий слог!»
Так, спесь и мне наречья муз знакома;
Но здесь в стихе есть местная черта:
Несчастная младая красота
Сидит в стенах смирительного дома!

‹1824›

К ПРИЯТЕЛЮ

Пусть бестолковый свет толкует,
Нам толков праздных не унять;
Счастлив, кому дано судьбой о них не знать,
Умен, кто, зная, не тоскует.
Пусть добрый полотер ползком и на лету
Обшаркал начисто все крыльца бар почетных,
Чтоб сделаться с глупцов бессчетных
Глупцом в столице на счету;
Пускай Мизинцева в припадке
То в прозу, как в озноб, то на стихи, как в бред,
Кидает, словно в лихорадке,
От коей хины нет;
Пусть рыцарь классиков из азбучного класса,
Пусть сей журнальный Дон-Кишот
За образец ума — себя, а за Пегаса
Нам Россинанту выдает!
Сей умничай вничью, дурачься тот с успехом,
Иной, как колокол, будь и тяжел и пуст,
Иль сплетней городских будь он стоустым эхом,
В котором гласа нет без посторонних уст!
В устройстве общества и цех глупцов потребен;
В мирском быту полезны и они:
Со скуки б умерли здесь умники одни,
Глупцы смешат — а смех целебен!
Терпимость — мудрости порука и сестра.
Оставим мы взыскательность пустую;
Я на один порок могущий негодую,
Я на него храню гнев сердца и пера.
Но слабостям прощать я совестью обязан
И боле! Как бы им я сострадать не мог,
Как раб невольнику, который цепью связан,
Или рифмач без рук — танцмейстеру без ног!
Я слышу, говорят нередко:
«У каждого свой ум!» — Вранье, сударь! Вранье!
Скажите вы — и попадете метко:
У каждого чудачество свое!
Мы все с дурачеством, все с пятнышком родимым;
В оттенках каждого различие одно:
Здесь ярче — там бледней, в ком чуть бывает зримым —
А в ком и всё лицо — родимое пятно!

1813, ⟨1824⟩

* * *

Клеврет журнальный, аноним,
Помощник презренный ничтожного бессилья,
Хвалю тебя за то, что под враньем твоим
Утаена твоя фамилья!
С бесстыдством страх стыда желая согласить,
Ты доказал, вдвойне кривнув душою,
Что если рад себя бесчестить под рукою,
То именем своим умеешь дорожить.

1824

К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛИЗНЕЦАМ

Цып! цып! сердитые малютки!
Вам злиться, право, не под стать.
Скажите: стоило ль из шутки
Вам страшный писк такой поднять?
Напрасна ваших сил утрата!
И так со смехом все глядят,
Как раздраженные цыплята
Распетушились невпопад.

1824

* * *

Педантствуй сплошь, когда охота есть,
В глаза невежд кидай школярной пылью,
В цитатах весь старайся Рим известь,
Чтоб пособить природному бессилью;
Но не острись! Приемля вчуже боль,
Мы чувствуем, твои читая шутки,
Как на руке, над ними мучась сутки,
Тугим пером ты натрудил мозоль.

1824

КРОХОБОРАМ

Сорвавшейся с пера ошибкою моею
Живете, скромники, вы несколько уж лет;
Я вашей трезвости ценить пример умею
И каюсь, что с меня больших вам взяток нет;
Но критикам верней ваш навык хлебосольный,
И с вашего стола для жадных им потреб
От щедрой глупости, к несчастным сердобольной,
    Идет насущный хлеб.

1824 или 1825

* * *

Булгарин, убедясь, что брань его не жалит,
Переменил теперь и тактику и речь:
    Чтоб Грибоедова упечь,
Он Грибоедова в своем журнале хвалит.
Врагов своих не мог он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, подслужась, обсалит.

1824 или 1825

НАРВСКИЙ ВОДОПАД

Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной ревом
Господствуй, бурный исполин!

Жемчужною, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет от упорной сшибки
Волны, сразившейся с волной,
И влажный дым, как облак зыбкий,
Вдали их представляет бой.

Всё разъяренней, всё угрюмей
Летит, как гений непогод;
Я мыслью погружаюсь в шуме
Междоусобно-бурных вод.

Но как вокруг всё безмятежно
И, утомленные тобой,
Как чувства отдыхают нежно,
Любуясь сельской тишиной!

Твой ясный берег чужд смятенью,
На нем цветет весны краса,
И вместе миру и волненью
Светлеют те же небеса.

Но ты, созданье тайной бури,
Игралище глухой войны,
Ты не зерцало их лазури,
Вотще блестящей с вышины.

Противоречие природы,
Под грозным знаменем тревог,
В залоге вечной непогоды
Ты бытия приял залог.

Ворвавшись в сей предел спокойный,
Один свирепствуешь в глуши,
Как вдоль пустыни вихорь знойный,
Как страсть в святилище души.

Как ты, внезапно разразится,
Как ты, растет она в борьбе,
Терзает лоно, где родится,
И поглощается в себе.

Лето 1825
Ревель. Екатериненталь

О. С. ПУШКИНОЙ

Нас случай свел; но не слепцом меня
К тебе он влек непобедимой силой:
Поэта друг, сестра и гений милый,
По сердцу ты и мне давно родня.

Так, в памяти сердечной без заката
Мечта о нем горит теперь живей:
Я полюбил в тебе сначала брата,
Брат по сестре еще мне стал милей.

Удел его — блеск славы, вечно льстивой,
Но часто нам сияющий из туч;
И от нее ударит яркий луч
На жребий твой, в беспечности счастливый.

Но для него ты благотворней будь,
Свети ему звездою безмятежной;
И в бурной мгле отрадой, дружбой нежной
Ты услаждай тоскующую грудь.

7 августа 1825

К МНИМОЙ СЧАСТЛИВИЦЕ

Мне грустно, на тебя смотря;
Твоя не верится мне радость,
И розами твоя увенчанная младость
Есть дня холодного блестящая заря.

Нет прозаического счастья
Для поэтической души:
Поэзией любви дни наши хороши,
А ты чужда ее святого сладострастья.

Нет, нет — он не любим тобой;
Нет, нет — любить его не можешь;
В стихии спорные одно движенье вложишь,
С фальшивым верный звук сольешь в согласный строй;

Насильством хитрого искусства
Стесненная, творит природа чудеса,
Но не позволят небеса,
Чтоб предрассудков власть уравнивала чувства.

Сердцам избра́нным дан язык,
Непосвященному невнятный;
Кто в таинства его с рожденья не проник,
Тот не постигнет их награды благодатной.

Где в двух сердцах нет тайного сродства,
Поверья общего, сочувствия, понятья,
Там холодны любви права,
Там холодны любви объятья!

Товарищи в земном плену житейских уз,
Друг другу чужды вы вне рокового круга:
Не промысл вас берег и прочил друг для друга,
Но света произвол вам наложил союз.

Я знаю, ты не лицемеришь;
Как свежая роса, душа твоя светла;
Но, суеверная, рассудку слепо веришь
И сердце на его поруку отдала.

Ты веришь, что, как честь, насильственным обетом
И сердце вольное нетрудно обложить
И что ему под добровольным гнетом
Долг может счастье заменить!

О женщины, какой мудрец вас разгадает?
В вас две природы, в вас два спорят существа
В вас часто любит голова
И часто сердце рассуждает.

Но силой ли души иль слепотой почесть,
Когда вы жизни сей, дарами столь убогой,
Надежды лучшие дерзаете принесть
На жертвенник обязанности строгой?

Что к отреченью вас влечет? Какая власть
Вас счастья призраком дарит на плахе счастья?
Смиренья ль чистого возвышенная страсть,
Иль безмятежный сон холодного бесстрастья?

Вы совершенней ли, иль хладнокровней нас?
Вы жизни выше ли, иль, как в избранный камень
От Пигмальоновой любви, равно и в вас
Ударить должен чистый пламень?

Иль в тяжбе с обществом и с силою в борьбе,
Страшась испытывать игру превратных долей,
Заране ищете убежища себе
В благоразумье и неволе?

Умеренность — расчет, когда начнут от лет
Ум боле поверять, а сердце меней верить,
Необходимостью свои желанья мерить —
Нам и природы глас и опыта совет.

Но в возраст тот, когда печальных истин свиток
В мерцанье радужном еще сокрыт от нас,
Для сердца жадного и самый благ избыток
    Есть недостаточный запас.

    А ты, разбив сосуд волшебный
И с жизни оборвав поэзии цветы,
Чем сердце обольстишь, когда рукой враждебной
  Сердечный мир разворожила ты?

Есть, к счастью, выдержка в долине зол и плача,
Но в свет заброшенный небесный сей залог
Не положительный известных благ итог,
Не алгеброй ума решенная задача.

Нет, вдохновением дается счастье нам,
Как искра творчества живой душе поэта,
    Как розе свежий фимиам,
Как нега звучная певцу любви и лета.

И горе смертному, который в слепоте
Взысканьям общества сей вышний дар уступит
Иль, робко жертвуя приличью и тщете,
Земные выгоды его ценою купит.

    Мне грустно, на тебя смотря;
    Твоя не верится мне радость.
И розами твоя увенчанная младость
Есть дня холодного блестящая заря.

С полудня светлого переселенец милый,
Цветок, предчувствие о лучшей стороне,
К растенью севера привитый гневной силой,
Цветет нерадостно, тоскуя по весне.

Иль, жертва долгая минуты ослепленья,
Младая пери, дочь воздушныя семьи,
Из чаши благ земных не почерпнет забвенья
Обетованных ей восторгов и любви.

Любуйся тишиной под небом безмятежным,
Но хлад рассудка, хлад до сердца не проник;
В нем пламень не потух; так под убором снежным
Кипит невидимо земных огней тайник.

В сердечном забытьи, а не во сне спокойном,
Еще таишь в себе мятежных дум следы;
Еще тоскуешь ты о бурях, небе знойном,
Под коим зреют в нас душевные плоды.

Завидуя мученьям милым
И бурным радостям, неведомым тебе,
Хотела б жертвовать ты счастием постылым
Страстей волненью и борьбе.

Лето 1825

СТАНЦИЯ

(Глава из путешествия в стихах; писана 1825 года)

Sta viator!

Досадно слышать: «Sta viator!»
Иль, изъясняяся простей:
«Извольте ждать, нет лошадей», —
Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор
(Ему типун бы на язык!),
Сей речью ставит вас в тупик.
От этого-то русским трактом
Езда не слишком веселит;
Как скачешь — действие кипит,
Приедешь — стынет за антрактом.
Да и скакать — дождись пути.
Заметить должно мне в прибавку,
Чтобы точней в журнал внести
Топографическую справку, —
Дороги наши — сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль — проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Приезжим мало барыша;

Дорога, скажешь, хороша —
И вспомнишь стих: *для проходящих!*
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш *Мак-Адам* или *Мак-Ева* —
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым
Или когда поля проймет
Такая знойная засу́ха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.
Что ж делать? Время есть всему:
Гражданству, роскоши, уму.
Рукой степенной ход размерен:
Итог в успехах наших верен,
Пождем — и возрастет итог.
Давно ль могучий *Петр* природу,
Судьбу и смертных перемог,
Прошел сквозь мрак, сквозь огнь и воду
И следом богатырских ног
Давно ли вдоль и поперек
Протоптана его Россия?
Исполнятся судьбы земные,
И мы не будем без дорог.
Зато военную дорогу
Прокладывать умеем мы:
В Париже были, слава богу,
И, может, не боясь чумы,
Ни Магомета стражи райской,
За славной тенью Задунайской,
За тенью царственной жены
Мы доберемся до луны;
За греков молвим речь в Стамбуле
И меж собой, без дальних ссор,
Миролюбиво кончим спор,
Когда-то жаркий при Кагуле.

«Так лошадей мне нет у вас?»
— «Смотрите в книге: счет тут ясен».
— «Их в книге нет, я в том согласен;

В конюшне нет ли?» — «Тройка с час
Последняя с курьером вышла,
Две клячи на дворе и есть,
Да их хоть выбылыми счесть:
Не ходит ни одна у дышла».
— «А долго ли прикажешь мне,
Платя в избе терпенью дани,
Истории *тьму-таракани*
Учиться по твоей стене?»
— «Да к ночи кони придут, нет ли,
Тут их покормим час иль два.
Ей-ей, кружится голова;
Приходит жутко, хоть до петли!
И днем и ночью всё разгон,
А всего-навсего пять троек;
Тут как ни будь смышлен и боек,
А полезай из кожи вон!»

Стой, путник, стой! — что ж молвить больше,
Когда подвинуться нельзя?
Зачем не странствую я в Польше,
Мои любезные друзья!
Судьба по трактам европейским
(Что мне, признаться, очень жаль)
Меня не завозила вдаль.
Я только польским да еврейским
Почтовым ларам бил челом.
Как я ни рвался чувством жарким,
Как ни загадывал умом
Полюбоваться небом ярким
И мира светлой полосой,
Как я ни залетал мечтой
В мир божий из глуши далекой,
Где след мой темный, одинокой
Сугробом снежным занесен,
Как ни раскидывал сквозь сон,
Всегда обманчивый и краткий,
Своей кочующей палатки
Среди блестящих городов,
Среди базаров просвещенья,—
Но от латинских оных слов
Оглоблями воображенья

Я поворачивал домой
И жду: схвачу ли сон рукой?
О Польше речь была; но с речи
Бог весть зачем, бог весть куда
Сбиваюсь от горячей встречи
Нежданных мыслей. Господа!
Простите раз мне навсегда.
По Польше и езда веселье,
И остановка не внаклад:
Иной бы и зажиться рад,
Как попадет на новоселье,
Затем что пара бойких глаз,
Искусных в проволо́чке польской
(От коих он пылал и гас,
Был смел и робок в тот же час),
Так заведет дорогой скользкой,
Так закружит в нем дурь и хмель,
Что шуткой с первого присеста
Она его, не тронув с места,
Промчит за тридевять земель.
Так, помню польские ночлеги:
Тут есть для отдыха и неги
На что взглянуть, где лечь, что
съесть, —
Грешно б о наших речь завесть.
И чтоб не дать себя проклятью
Патриотических улик,
Патриотической печатью
Не лучше ли скрепить язык?
Певец, который ведал горе,
Сказал: «Nessun maggior dolore» —
И прочее; не прав ли он?
Смотрю на память с двух сторон:
Благоприятной и враждебной.
Она, как в древности кумир,
На ликах носит брань и мир.
То злобный дух, то друг волшебный,
Она нам в казнь или в любовь;
Иль дразнит благом, уж заочным,
Иль говорит: условьем срочным
Что было, может быть и вновь.
По крайней мере, память ныне,
Смотря приветливым лицом,
Мне светит в зе́ркальной святыне

Своим волшебным фонарем.
Голодный, стол окинув взглядом
И видя в ранних племенах
Живой обед со мною рядом
На двух и четырех ногах,
Голодный, видя к злой обиде,
Как по ногам моим со сна,
С испуга, в первобытном виде
Семейно жмется ветчина,
Я не грущу: пусть квас и молод,
А хлеб немного пожилой,
Я убаюкиваю голод
Надеждой, памяти сестрой.
Постясь за полдником крестьянским,
Отрадно мне себе сказать:
Я трюфли запивал шампанским,
Бог даст, и буду запивать.
Итак, ваш путевой нотарий,
Из русской почтовой избы
Вам польской почты инвентарий
Я подношу назло судьбы.
Жена иль дочка *комиссаржа*
Полячка, — словом всё сказал:
Тут и портрет и мадригал;
Притом цыплята, раки, спаржа,
Или технически скажу
И местность красок удержу:
«Kurczęta, raczki i szparagi»
(Чего не стерпит лист бумаги
И рифма под моим пером?),
Гитара на стене крестом
С оружьем старопольской славы,
Кумиры чести и забавы
Патриотической четы;
На окнах свежие цветы,
Сарматской флоры дар посильный;
Там в рамках за стеклом черты
Героев Кракова и Вильны,
На полке — чтенье красоты,
Роман трагическо-умильный
И с ним Дмушевского листы,
В которых летописец верный
С неутомимостью примерной
Изо дня в день, из часу в час

Ведет историю Варшавы,
На всё вперяя зоркий глаз:
Спектакли, выезды в заставы,
Продажа книг, побег собак,
Проказы, добрых дел примеры,
Волненье мод и атмосферы,
Движенья жизни — смерть и брак;
Движенья биржи — курс, банкруты;
Дела веков, дела минуты, —
Всё сгоряча в сырой листок
Передает печать прилежно,
Уездам и потомству впрок.
Как я заслушивался нежно
Тебя, варшавский вестовщик,
Когда в душе, во дни разлуки,
Будил замолкнувшие звуки
Словоохотный твой язык.
На голос дружного привета
Ответ созвучный я давал:
Поэзией была газета,
И над афишкой я мечтал.

Я волю дал широким перьям
Залетной памяти моей,
Мечтой коснулся я преддверьям
Чертогов прелестей и фей.
Влетел в Варшаву — и, бессильный,
Засел я в сети прежних дней.
Здесь тайна. Критик щепетильный,
Ты не поймешь моих речей.
«Umizgać się!» [1] — за это слово,
Хотя ушам оно сурово,
Я рад весь наш словарь отдать:
На нем хранится талисманом
Могущей прелести печать;
Обворожительным дурманом
Щекотит голову и грудь
Того, кто воздухом Варшавы
Был упоен когда-нибудь,
Кто из горнушек *Вейской кавы*
Пил нектар *медленной отравы*
Или в *Беляны* знает путь.

---

[1] Ухаживать (польск.). — *Ред.*

«Umizgać się!» — в сем слове милом,
Как в сердце, Польша вся живет
И в хороводе легкокрылом
Своих соблазнов рой влечет.
При этом слове я в Варшаве,
И сон минувший снится въяве:
При блеске свеч передо мной
Взвились, зажглись чета с четой,
Цепь вьется и мазурки знойной
Кипит и гаснет вихорь стройный
Под гул отрывистых смычков.
Или день праздничный: косцёлы
Пустеют; полдень: будто пчелы,
Из ульев набожных трудов,
Расправя крылья золотые,
Спешат святоши молодые.
Пестреют улицы, кипят;
Глазам раздолье и мученье,
Но средоточится волненье —
И рой за роем хлынул в сад.
В аллею сжался город тесный.
Вот в лицах старины мечты:
Вот сейм державный, сейм прелестный,
Вот *Посполита* красоты.
Здесь блещет знаменьем утешным
И мнений и одежд успех;
Чин с чином, с знатью скромный цех
Сравнялись равенством безгрешным
(Хотя оно и вводит в грех)
Пригожих лиц и ножек стройных,
Мой Пушкин, строф твоих достойных
И так обутых, что едва ль
Их обнажить любви не жаль.
Или в театре *народо́вом,*
Где окриляют польским словом
Патриотический порыв,
Стихи Немцевича забыв,
Глас старца, убежденья полный,
Которым движет и живит
Он зыбкого партера волны,
И увлекает и разит,
Смотрю я на другую сцену,
Где страсти действуют живьем,
Где в представлении немом

Актерам зрители на смену.
Тут *романтическая* связь:
Единства места не держась,
Из кресел в ложи и обратно
Огнем чуть зримым, перекатно
Живая нить игры живой
Завязкой тайною снуется,
А там развязкой распрядется,
Как следует, своей чредой.

Теперь для критики судейской
Словцо ученое: глагол
«Umizgać się», глагол житейской;
Ему нас учит женский пол.
Он жемчуг польского наречья,
Его понятья без увечья
В другой язык не передашь,
Как в словарях других ни рыться;
Faire la cour [1] и *волочиться*
Смешно напоминает блажь
Маркизов чопорного века
Иль заставляет заключить,
Что волокита должен быть
Или подагрик, иль калека.

Могло б досадно быть ушам,
Когда читатели-зоилы
Заво́пят: «Sta viator! Нам
Тащиться за тобой нет силы».
Но к притязаньям дерзких лиц
В нас, к счастью, самолюбье глухо,
И золотом, как у девиц,
Завешено поэта ухо.

Итак, пока нет лошадей,
Пером досужным погуляю...
. . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

В наш исследовательный и отчетливый век примечания, дополнения, указания нужны не только в путешествии, но и в сказке, в послании. На слово никому и ничему верить не хотят. Поэт во-

[1] Увиваться (фр.). — *Ред.*

лею или неволею должен быть педантом или Кесарем: писать комментарии на самого себя и на свои дела. Тем лучше: более случая поговорить, более бумаги в расходе и книги дороже. Нельзя и мне не следовать за потоком. Только признаюсь, не люблю стихов занумерованных: цифры и поэзия — пестрота, которая неприятно рябит в глаза. Пускай читатель даст себе труд отыскивать сам соотношения между стихами и примечаниями.

Эта глава путешествия точно писана за несколько лет. Sta viator! Стой, путник! — взято из латинской эпитафии.

В стихах всего высказать невозможно: часто говори не то, что хочешь, а что велит мера и рифма. В прозе я был бы справедливее к русским дорогам; сказал бы, что в некоторых губерниях они и теперь уже улучшаются, что петербургское шоссе утешительный признак государственной просвещенной роскоши и проч. Полустишие: *для проходящих* взято из прекрасной басни И. И. Дмитриева. По имени изобретателя называется *Макадам*, или по английскому произношению: *Мекедем*, новое устройство битой дороги, ныне в большом употреблении в Англии как в городах, так и по трактам.

Данте говорит:

Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...

то есть что *нет ничего горестнее, как вспоминать в бедствии о благополучном времени.* Россини придал всю поэзию своей музыки этим словам в опере «Отелло». В нотах его есть мрачность и глубокость Данта.

Описание польской станции не вымысел стихотворца и не ложь путешественника. На многих станциях я находил всё то, что описал; я мог бы подтвердить свои стихи выписками из своей дорожной, памятной книжки, но боюсь показаться уже чересчур педантом. Замечу только, что цыплята, раки и спаржа имеют точно какую-то национальность в польской кухне.

Дмушевский, варшавский актер, издавал в Варшаве ежедневную газету. По выезде своем из Варшавы я любил проходить наизусть по его листкам прежнее свое житье-бытье.

Не имея пред глазами Словаря *Линде*, не могу сказать, как переводит он польский глагол, приведенный мною; но если читатель дал себе труд прочитать стихи до конца, то он узнал смысл этого выражения, которое на польском языке имеет смысл обширный.

Wiejska Kawa — деревенский, сельский (хотя и внутри города) кофейный дом в Варшаве, весьма часто и всеми сословиями и по-

лами посещаемый. Кто видал в праздничный день на очаге его ряд кофейников и горнушек со сливками кипячеными, тот может вывесть экономико-политическое заключение, сколько Наполеонова антиколониальная система должна была быть вредна для Польши и горька для поляков, которых тогда поили цикорным кофе.

Кто-то отговаривал Вольтера от употребления кофе, потому что он яд. «Может быть, — отвечал он, — но видно медленный: я пью его более шестидесяти лет». Переложив этот ответ в *медленную отраву*, я сбит был рифмою: лучше было бы сказать: *медленный яд*. В повторении известных изречений должно сохранять простоту и точность сказанного. Утешаюсь тем, что примечание мое назидательнее хорошего стиха.

Беляны — монастырь на Висле близ Варшавы; тут в роще бывает блистательное гулянье, вроде наших гуляний 1-го мая.

По воскресеньям и праздничным дням после обедни собираются в саду Красицком.

Польский театр называется в Варшаве *народным*, или национальным, театром и в некотором отношении заслуживает сие имя, хотя драматическая польская литература имеет мало народности и, как наша, более слеплена по французскому образцу. Но и в самых подражаниях отделяется какой-то цвет отечественности. Если недостает народности в авторах, то много народности в партере. В Польше театр не то, что у нас, прививное увеселение; там он настоящая потребность народа. Там есть какой-то театральный патриотизм, согревающий представление. Некоторые родные слова возбуждают постоянно восторг рукоплесканий: одним словом, там есть театр.

Имя Немцевича знакомо и у нас. Поэт, историк, гражданин, семидесятилетнею жизнью своею он достиг до почетнейшего места в ряду своих современников и соотечественников. Хотя здесь упомянуто о нем и по шуточному поводу, но, платя ему дань уважения за характер его, за ум его, еще столь теплый, столь цветущий под холодом седин, и дань признательности за лестную его приязнь ко мне, сердце мое исполняет приятную и священную обязанность. Оговорку, похожую на эту, могу отнести вообще и к Варшаве. Если я себя хорошо выразил в стихах своих, то сквозь шутки должно пробиваться чувство благодарности и сердечной привязанности.

На замечание, что глава моя очень длинна, и то еще один отрывок, имею честь донести, что я с лишком семь часов просидел на станции в ожидании лошадей.

1825

ДВЕ ЛУНЫ

(Застольная песня)

Посмотрите, как полна
Златоликая луна!
Словно чаша круговая
Посреди ночных огней,
Словно скатерть голубая
Расстилается под ней.

Посмотрите, как светла
Чаша чистого стекла!
Златом гроздий благовонных
Как сияет нам она,
Полуночников бессонных
Беззакатная луна!

Хороша небес луна —
Но надежна ли она?
Нет, в красотке вероломной
Постоянства не найти:
То сидит за тучкой темной,
То убудет — и прости!

А застольная луна
Постоянно нам верна,
Всё по мере жажды краше
С погребов встает она:
Застраховано нам в чаше
Полнолуние вина.

Про небесную луну
Я и то упомяну:
На нее глаза таращишь,
Да и только! Как тут быть?
Но с небес ее не стащишь,
Но зубами не схватить.

А ручная-то луна
Словно нежная жена!
Так и льнет к губам любовно,
Как домашняя, своя!
В душу так и льется, словно
Закадышная, струя!

1825 (?)

⟨ДЕРЕВНЯ. ОТРЫВКИ⟩

1

Я слышу, слышу ваш красноречивый зов,
Спешу под вашу тень, под ваш зеленый кров,
Гостеприимные, прохладные дубровы!
С негодованьем рву постыдные оковы,
В которых суетность опутала меня;
Целебней воздух здесь, живей сиянье дня,
И жизнь прекраснее, и сердце безмятежней!
Здесь человек с собой беседует прилежней.
Степенней ум его и радостней мечты.
Здесь нет цепей, здесь нет господства суеты!
Ко счастью след открыв, наперсник верных таин —
Здесь мыслям, и делам, и времени хозяин —
Не принужден платить предубежденью дань
И в мятеже страстей вести с собою брань;
Мужаю бытием и зрею в полных силах,
Живительный огонь в моих струится жилах.
Как воздух, так и ум в людских оградах сжат:
Их всюду тяжкие препятствия теснят.
И думать и дышать равно в столицах душно!
В них мысль запугана, в них чувство малодушно,
Желания без крыл прикованы к земле
И жизнь как пламенник, тускнеющий во мгле!
В полях — сынов земли свободной колыбели —
Стремится бытие к первоначальной цели:
Отвагою надежд кипит живая грудь
И думам пламенным открыт свободный путь.
Под веяньем древес и беглых вод журчаньем
Спит честолюбие с язвительным желаньем.
В виду широких нив, в виду высоких гор,
Небес, раскинувших сияющий шатер,
Как низки замыслы тщеты высокомерной
И как смешон кумир, толпою суеверной
Взнесенный на плечах в ряды полубогов!
Как жалки и они, искатели оков,
Когда глядишь на них из области свободы.
Когда, уединясь в святилище природы,
Ты зришь, как в облаках купается орел,
А царь земли, как червь, смиренно топчет дол.
Я видел их вблизи, сих временных счастливцев,

Сих гордых подлецов и подлых горделивцев.
И чем польстит мне их мишурная судьба?
Пойду ль в толпе рабов почетного раба
Стезею почестей, уклончивой от чести,
Бесстыдною рукой кадить кадилом лести
Нелепым идолам попранных алтарей?
Пойду ль молить венков от ветреных судей,
Равно и в милости и в казни безрассудных?
Пойду ль искать ценой пожертвований трудных
Надежд обманчивых к обманчивым дарам
И счастья тень ловить по призрачным следам,
Когда оно меня рукой невероломной
Готово при́нять здесь под свой приют укромный?
О независимость! Небес первейший дар!
Храни в груди моей твой мужественный жар!
Он — пламенник души, к изящному вожатый:
Безропотно снесу даров судьбы утраты,
Но, разлучась с тобой, остыну к жизни я.
Рабу ли дорожить наследством бытия?
Страстей мятежных раб, корысти раб послушный,
Раб светских прихотей иль неги малодушной,
Равно унизил он свой промысл на земле.
Равно затмил печать величья на челе.

Здесь утром как хочу я сам располагаю,
Ни важных мелочей, ни мелких дел не знаю.
Когда послышу муз таинственный призыв
И вдохновенных дум пробудится порыв,
Могу не трепетать: нежданный посетитель
Чужого времени жестокий расточитель,
Не явится ко мне с вестями о дожде
Иль с неба на глупца свалившейся звезде.
Как часто три часа, не шевелясь со стула,
Злодей держал меня под пыткой караула
И холостой стрельбой пустых своих вестей.
Счастлив еще, когда, освободясь гостей
И светского ярма свалив с себя обузу,
Мог залучить я вновь запуганную музу
И, рифму отыскав под дружеским пером,
Стих сиротливый свесть с отставшим близнецом.

2

БАЙРОН

> Если я мог бы дать тело и выход из груди своей тому, что наиболее во мне, если я мог бы извергнуть мысли свои на выражение и, таким образом, душу, сердце, ум, страсти, чувство слабое или мощное, всё, что я хотел бы некогда искать, и всё, что ищу, ношу, знаю, чувствую и *выдыхаю*, еще бросить в одно слово, и будь это *одно* слово перун, то я высказал бы его; но, как оно, теперь живу и умираю, не расслушанный, с мыслью совершенно безголосною, влагая ее как меч в ножны...
>
> *«Чайльд Гарольд». Песнь 3, строфа XCVII*

Поэзия! Твое святилище природа!
Как древний Промефей с безоблачного свода
Похитил луч живой предвечного огня,
Так ты свой черпай огнь из тайных недр ея.
Природу заменить вотще труда усилья;
Наука водит нас, она дает нам крылья
И чадам избранным указывает след
В безвестный для толпы и чудотворный свет.
Счастлив поэт, когда он внял из колыбели
Ее таинственный призыв к заветной цели.
Счастлив, кто с первых дней приял, как лучший дар.
Волненье, смелый пыл, неутолимый жар;
Кто, детских игр беглец, объятый дикой думо.
Любил паденью вод внимать с скалы угрюмой,
Прокладывал следы в заглохшие леса,
Взор вопрошающий вперял на небеса
И, тайною тоской и тайной негой полный,
Любил скалы, леса, и облака, и волны.
В младенческих глазах горит души рассвет,
И мысли на челе прорезан ранний след,
И, чувствам чуждая, душа, еще младая,
Живет в предчувствии, грядущим обладая.

Счастлив он, сын небес, наследник высших благ!
Поведает ему о чуде каждый шаг.
Раскрыта перед ним природы дивной книга;
Воспитанник ее, он чужд земного ига;
Пред ним отверстый мир: он мира властелин!
Чем дале от людей, тем мене он один.
Везде он слышит глас, душе его знакомый:
О страшных таинствах ей возвещают громы,
Ей водопад ревет, ласкается ручей,
Ей шепчет ветерок и стонет соловей.
Но не молчит и он: певец, в пылу свободы,
Поэзию души с поэзией природы,
С гармонией земли гармонию небес
Сливает песнями он в звучный строй чудес,
И стих его тогда, как пламень окрыленный,
Взрывает юный дух, еще не пробужденный,
В нем зажигая жар возвышенных надежд;
Иль, как Перуна глас, казнит слепых невежд,
В которых, под ярмом презрительных желаний,
Ум без грядущего и сердце без преданий.
Таков, о Байрон, глас поэзии твоей!
Отважный исполин, Колумб новейших дней,
Как он предугадал мир юный, первобытный,
Так ты, снедаемый тоскою ненасытной
И презря рубежи боязненной толпы,
В полете смелом сшиб Иракловы столпы:
Их нет для гения в полете непреклонном!
Пусть их лобзает чернь в порабощенье сонном,
Но он, вдали прозрев заповедну́ю грань,
Насильства памятник и суеверья дань,
Он жадно чрез нее стремится в бесконечность!
Стихия высших дум — простор небес и вечность.
Так, Байрон, так и ты, за грань перескочив
И душу в пламенной стихии закалив,
Забыл и дольный мир, и суд надменной черни;
Стезей высоких благ и благодатных терний
Достиг ты таинства, ты мыслью их проник,
И чудно осветил ты ими свой язык.
Как страшно-сладостно в наречье, сердцу новом,
Нас пробуждаешь ты молниеносным словом
И мыслью, как стрелой Перунного огня,
Вдруг освещаешь ночь души и бытия!

Так вспыхнуть из тебя оно было готово —
На языке земном несбыточное слово,
То слово, где б вся жизнь, вся повесть благ
и мук
Сосредоточились в единый полный звук;
То слово, где б слились, как в верный отголосок,
И жизни зрелый плод, и жизни недоносок,
Весь пыл надежд, страстей, желаний, знойных дум,
Что создали мечты и ниспровергнул ум,
Что намекает жизнь и недоскажет время,
То слово — тайное и роковое бремя,
Которое тебя тревожило и жгло,
Которым грудь твоя, как Зевсово чело,
Когда им овладел недуг необычайный,
Тягчилась под ярмом неразрешенной тайны!
И если персти сын, как баснословный бог,
Ту думу кровную осуществить не мог,
Утешься: из среды души твоей глубокой
Нам слышалась она, как гул грозы далекой,
Не грянувшей еще над нашею главой,
Но нам вещающей о тайне страшной той,
Пред коей гордый ум немеет боязливо,
Которую весь мир хранит красноречиво!
Мысль всемогуща в нас, но тот, кто мыслит, слаб;
Мысль независима, но времени он раб.
Как искра вечности, как пламень беспредельный,
С небес запавшая она в сосуд скудельный,
Иль гаснет без вести, или сожжет сосуд.
О Байрон! Над тобой свершился грозный суд!
И, лучших благ земли и поздних дней достойный,
Увы! не выдержал ты пыла мысли знойной,
Мучительно тебя снедавшей с юных пор.
И гроб, твой ранний гроб, как Фениксов костер,
Благоухающий и жертвой упраздненный,
Бессмертья светлого алтарь немой и тленный,
Свидетельствует нам весь подвиг бытия.
Гроб, сей Ираклов столп, один был грань твоя,
И жизнь твоя гласит, разбившись на могиле:
Чем смертный может быть и чем он быть не в силе.

8

БИБЛИОТЕКА

В хранилище веков, в святыне их наследства,
Творцов приветствую, любимых мной из детства,
Путеводителей, наставников, друзей.
Их пламень воспалил рассвет души моей;
Обязан вкусом им, занятьем и забавой,
Быть может — как узнать? — обязан буду славой.
Вергилий, друг полей и благодетель их,
Любить их, украшать и петь твой учит стих.
Гораций, всех веков по духу современник,
Поэт всех возрастов, всех наций соплеменник,
Которому всегда довольны, в смех и в грусть,
И учатся еще, уж зная наизусть.
И жизнь исправил ты, и встретил смерть с улыбкой;
Мудрец незыблемый и царедворец гибкой,
Ты льстил не приторно, учил не свысока,
И время на тебе не тронуло венка,
Который соплели веселье и рассудок
Из сладострастных роз и вечных незабудок.
Кипящий Марциал, дурачеств римских бич!
Где ни подметил их, спешил стихом настичь;
И я тебе вослед наметываю руку
В безграмотную спесь и грамотную скуку.
Проперций и Тибулл, у коих в наши дни,
Педантам не во гнев, исхитил лавр Парни.
Андрей Шенье! [1] Певец и мученик свободы,
На плаху в жертву ты принес младые годы
И полное надежд грядущее принес,
Когда тиранов серп, во дни гражданских гроз,
Свирепо пожинал под жатвою кровавой
Всё, что грозило им иль доблестью, иль славой.
Так умирая, ты сказать со вздохом мог,
Что многого еще хранил в себе залог.

---

[1] Андрей Шенье, одна из прекраснейших жертв тирании Робеспьера и французского Конвента, кончил жизнь свою на плахе революционной два дни до низвержения Робеспьера и кровавого владычества, тяготевшего над Франциею. Готовясь на казнь, он, ударив себя в голову, сказал: «Однако же тут было что-то!» Вся поэтика его заключиться может в прекрасном его стихе из поэмы «Изобретение»:
Sur des pensées nouveaux faisons des vers antiques.
(Мы облекаем новые мысли в старые стихи).

Твой стих — неполный звук души в мечтах обильной.
Уныл и сладостен, как памятник умильный
Надежд, растерзанных под бурею судеб.
Феб древних алтарей и новых песней Феб
Животворят его согласным вдохновеньем.
По древним образцам романтик исполненьем,
Шенье! в трудах твоих решился бы тот спор,
Что к музам внес вражду междоусобных ссор
И вечно без конца, как подвиг Пенелопы,
Не довершен ни мной, ни «Вестником Европы».
Руссо, враг общества и человека друг,
Сколь в сердце вкрадчив к нам сердечный твой недуг!
Писатель-Бриарей! Колдун! Протей-писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
В руке твоей перо — сраженья острый меч.
Но, пылкий, не всегда умел его беречь
Для битвы праведной и, сам страстям покорный,
Враг фанатизма, был фанатик ты упорный.
Другим оставя труд костер твой воздвигать,
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать,
Вослед тебе идти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.
Как смертный ты блуждал, как гений ты парил
И в области ума светилом новым был.
Плутарховых времен достойная Коринна,
По сердцу женщина и по душе мужчина,
Философ мудростью и пламенем поэт,
Восторгов для тебя в нас недоступных нет,
Страстями движешь ты, умом, воображеньем;
Твой слог, трепещущий сердечным вдохновеньем,
Как отголосок чувств, всегда красноречив;
Как прихоть женщины, как радуги отлив,
Разнообразен он, струист и своенравен.
О, долго будешь ты воспоминаньем славен,
Коппет![1] где Неккеру, игре народных бурь
Блеснула в тишине спокойствия лазурь
И где изгнанница тревожила из ссылки
Деспóта чуткий ум и гнев, в порывах пылкий.
В сиянье, он робел отдельного луча
И, мир поработив владычеству меча,

[1] Коппет — поместье Неккера, в коем он кончил жизнь, ознаменованную блистательными и крупными переворотами политическими, и где славная дочь его укрывалась от опалы Наполеона.

С владычеством ума в совместничестве гордом
Он личного врага воюя в мненье твердом,
Державу мысли сам невольно признавал.
Осуществивший нам поэта идеал,
О Шиллер, как тебя прекрасно отражало
Поэзии твоей блестящее зерцало.
В тоске неведенья, в борьбе с самим собой,
Влечешь ли ты и нас в междоусобный бой
Незрелых помыслов, надежд высокомерных,
Ты возвращаешь ли в унынье чувств неверных,
На счастье данную,[1] сомнительный залог,
Который выплатить мир целый бы не мог;
Иль, гордыя души смирив хаос мятежный,
Мрак бури озаришь ты радугой надежной
И гласом сладостным, как звуком горних лир,
Врачуешь сердца скорбь и водворяешь мир
В стихию буйную желаний беспокойных,
Равно господствуешь ты властью песней стройных.

И вас здесь собрала усердная рука,
Законодателей родного языка,
Любимцев русских муз, ревнителей науки,
Которых внятные, живые сердцу звуки
Будили в отроке, на лоне простоты,
Восторги светлые и ранние мечты.
Вас ум не понимал, но сердце уж любило:
К вам темное меня предчувствие стремило.
Непосвященный жрец, неведомый себе,
Свой жребий в вашей я угадывал судьбе.
Ваш мерный глас мой слух пробудит ли случайно,
Ему, затрепетав, я радовался тайно.
Сколь часто, весь не свой, заслушивался я,
Как гула стройных волн иль песней соловья,
Созвучья стройных строф певца Елисаветы,
И слезы вещие, грядущих дум приметы,
В глазах смеющихся сверкали у меня,
И весь я полон был волненья и огня.
И ныне в возраст тот, как вкус верней и строже
Ценит, что чувствовал, когда я был моложе,
Умильно дань плачу признательности вам,
Ума споспешникам, прекрасного жрецам!

---

[1] «Resignation», стихотворение Шиллера.

К отечеству любовь была в вас просвещеньем.
К успехам сограждан пылая чистым рвеньем,
Как силою меча, могуществом пера
Герои мирные, сподвижники Петра,
На светлом поприще, где он, боец державный,
В борьбе с невежеством, настойчивой и славной,
Ум завоевывал и предрассудки гнал,
Стяжали вы венец заслуженных похвал.
Но многим ли из вас расцвел и лавр бесплодный?
Забывчивой молвой и памятью народной
Уважен, признан ли ваш бескорыстный труд?
К вам света хладного внимателен ли суд?
Не многих чистое, родное достоянье,
Нам выше светится во тьме благодеянье.
Наследовали мы ваш к пользе смелый жар
И свято предадим его потомкам в дар.
Пусть чернь блестящая у праздности в объятьях
О ваших именах, заслугах и занятьях
Толкует наобум и в адрес-календарь
Заглядывать должна, чтоб справиться, кто встарь
Был пламенный Петров, порывистый и сжатый,
Иль юной Душеньки певец замысловатый.
Утешьтесь! Не вотще в виду родной земли
Вы звезды ясные в окрестной тьме зажгли.

4

. . . . Ты, коего искусство
Языку нашему вложило мысль и чувство,
Под тенью здешних древ — твой деятельный ум
Готовил в тишине созданье зрелых дум!
Покорный истине и сердца чистой клятве,
Ты мудрость вопрошал на плодовитой жатве
Событий, опытов, столетий и племен
И современником минувших был времен.
Сроднившись с предками, их слышал ты, их видел,
Дружился с добрыми, порочных ненавидел,
И совести одной, поработив язык,
Ты смело поучал народы и владык.
О Карамзин! Ты здесь с любимыми творцами;
В душе твой образ слит с священными мечтами!
Родитель, на одре болезни роковой,
Тебе вверял меня хладеющей рукой
И мыслью отдыхал в страданиях недуга,

Что сын его найдет в тебе отца и друга.
О, как исполнил ты сей дружества завет!
Ты юности моей взлелеял сирый цвет.
О мой второй отец! Любовью, делом, словом
Ты мне был отческим примером и покровом.
Когда могу, как он, избрав кумиром честь,
Дань непозорную на прах отца принесть,
Когда могу, к добру усердьем пламенея,
Я именем отца гордиться, не краснея,
Кого как не тебя благодарить бы мог?
Так, ты развил во мне наследственный залог.
Ты совращал меня с стези порока низкой
И к добродетели, душе твоей столь близкой,
Ты сердце приучал — любовию к себе.
Изнемогаю ль я в сомнительной борьбе
С страстями? Мучит ли желаний едких жало?
Душевной чистоты священное зерцало —
Твой образ в совести — упрека будит глас.
Как часто в лживых снах, как свет рассудка гас
И нега слабостей господствовала мною,
Ты совести моей был совестью живою.
Как радостно тебя воображаю здесь!
Откинув славы чин и авторскую спесь,
Счастливый семьянин, мудрец простосердечный,
В кругу детей своих, с весною их беспечной
Ты осень строгих лет умеешь сочетать.
Супруга нежная, заботливая мать
Перед тобой сидит в святилище ученья,
Как добрый гений твой, как муза вдохновенья;
В твой тихий кабинет, где мир желанный ваш,
Где мудрость ясная — любви и счастья страж,
Не вхож ни глас молвы, ни света глас мятежный.
Труд — слава для тебя, а счастье — труд прилежный.
О! Если б просиял желанный сердцем день,
Когда ты вновь придешь под дружескую сень
Дубравы, веющей знакомою прохладой,
Сочтясь со славою, полезных дел наградой,
От подвига почить на лоне тишины!
О! Если б наяву сбылись надежды сны!
Но что я говорю, блуждающий мечтатель!
Своих желаний враг, надежд своих предатель,
Надолго ли, и сам в себе уединясь,
Я с светом разорвал взыскательную связь?

Быть может, день еще — и ветр непостоянный
Умчит неверный челн от пристани желанной!
Прохладный мрак лесов, игривый ропот вод!
Надолго ли при вас, свободный от забот,
Вам преданный, вкушал я блага драгоценны!
Занятья чистые, досуг уединенный,
Душ прояснившихся веселье и любовь!
Иль с тем я вас познал, чтобы утратить вновь?

1817, между 1821 и 1826

АЛЬБОМ

Альбом, как жизнь, противоречий смесь,
Смесь доброго, худого, пустословья:
Здесь дружбы дань, тут светского условья,
Тут жар любви, там умничанья спесь.
Изящное в нем наряду с ничтожным,
Ум с глупостью иль истинное с ложным —
Идей и чувств пестреет маскарад;
Всё счетом, всё в обрез и по наряду;
Частехонько ни складу нет, ни ладу:
Здесь рифм набор, а там пустой обряд.
Как в жизни, так не точно ль и в альбоме
Плоды души сжимает светский лед,
Под свой аршин приличье всех гнетет
И на цепи, как узник в желтом доме,
Которого нам видеть смех и жаль,
Иль тот зверок, что к колесу привязан,
В одном кругу вертеться ум обязан
И, двигаясь, не подвигаться вдаль?
Пусть отомстит мне пчел альбомных жало,
Но я еще сравненье им припас:
Поэзии и меда в жизни мало,
А в сих стихах и менее подчас.
К цветным листкам альбомов стих болтливый
Рад применить пестреющие дни:
Есть светлые, как радуги отливы,
Есть темные, померкшие в тени!
Как на веку день на день не придется
И будни вслед за праздником — равно
В альбоме то ж: здесь сердце улыбнется,
А там зевнет с рассудком заодно.

Иной листок для памяти сердечной
Дороже нам поэмы долговечной,
И день иной нам памятней, чем ряд
Бесплодных лет, что выдохлись, как чад.
Счастлив, кому, по милости фортуны,
Отсчитан день для сердца вечно юный!
Счастлив и тот, чей стих, любовь друзей,
Как сердца звук на сердце отзовется, —
Тот без молвы стотрубной обойдется
И без прислуг журнальных трубачей!
Боясь в дверях бессмертья душной давки,
Стремглав не рвусь к ступеням книжной лавки
И счастья жду в смиренном уголке.
Пусть гордый свет меня купает в Лете,
Лишь был бы я у дружбы на примете
И жив у вас на памятном листке.

⟨1826⟩

СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ

«День черный — *пятница*!» — кричит
Нам суевер, покорный страху,
И поверяет жизни быт
По брюсовскому альманаху.
Счастливцу каждый день хорош!
Но кто у счастья в черном теле,
По неудачам тот и сплошь
Сочтет семь пятниц на неделе.

«Уж был я в пятницу дурак!»
Как, будто в пятницу? «Как в ящик,
Меня упрятали впросак
Жена, приятель и приказчик!»
Мой друг, нейдет попытка в счет:
Бар многих вижу я отселе,
У коих дома круглый год
Твоих семь пятниц на неделе.

«Женюсь! Нет, путь женатых скользк.
Подам в отставку! Нет, ни слова!
В Париж поеду! Нет, в Тобольск!
Прочту Сенеку! Нет, Графова!» —

Так завсегда по колесу
Вертятся мысли в пустомеле,
Вот что зовется — на часу
Иметь семь пятниц на неделе.

Устроив флюгер из пера,
Иной так пишет, как подует:
У тех, на коих врал вчера,
Сегодня ножки он целует.
Флюгарин иль Фиглярин, тот
Набил уж руку в этом деле;
Он и семь совестей сочтет,
Да и семь пятниц на неделе.

У должников и знатных бар
Дню *ныне* — *завтра* не наместник:
День *завтра* часто очень стар,
И не упомнишь, чей ровесник;
Он день отменный, и сравню
Его я с первым днем в апреле:
Кто верит завтрашнему дню,
Тот знай семь пятниц на неделе.

«Эрнест в бреду: вдруг слезы льет,
Вдруг пляшет, то клянет, то молит,
То волоса с себя дерет,
То он их кудри вьет и холит!»
Сей бред по имени зови,
Когда слыхал о хитром Леле;
Эрнест влюблен, а у любви
Всегда семь пятниц на неделе.

Семь пирамид, семь мудрецов
И семь чудес нам древность славит,
Владыке снилось семь коров,
Рим семь холмов подошвой давит,
Семь городов входили в спор
О славной грекам колыбеле,
Да и везде как на подбор
Семь пятниц на одной неделе.

Пригнали в пятницу меня
К брегам попутные желанья;
Друзья, из буднишнего дня
Будь праздник светлого свиданья!

Играй вино на чистом дне,
Как кровь играет в юном теле!
О небо, век даруй ты мне
Таких семь пятниц на неделе.

⟨1826⟩

ЗАПРЕТНАЯ РОЗА

Прелестный цвет, душистый, ненаглядный,
Московских роз царица и краса!
Вотще тебя свежит зефир прохладный,
Заря златит и серебрит роса.
Судьбою злой гонимая жестоко,
Свой красный день ты тратишь одиноко,
Ты про себя таишь дары свои:
Румянец свой, и мед, и запах сладкой,
И с завистью пчела любви, украдкой,
Глядит на цвет, запретный для любви.
Тебя, цветок, коварством бескорыстным
Похитил шмель, пчеле и розе враг;
Он оскорбил лобзаньем ненавистным,
Он погубил весну надежд и благ.
Счастлив, кто, сняв с цветка запрет
враждебный,
Кто, возвратив *ее* пчеле любви,
Ей скажет: цвет прелестный! цвет
волшебный!
Познай весну и к счастью оживи!

⟨1826⟩

* * *

Кто будет красть стихи твои?
Давно их в Лете утопили;
Иль — их, забывшися, прочли,
Иль — прочитавши, позабыли!

⟨1826⟩

КОЛЯСКА

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Томясь житьем однообразным,
Люблю свой страннический дом,
Люблю быть деятельно-праздным
В уединенье кочевом.
Люблю, готов сознаться в том,
Ярмо привычек свергнув с выи,
Кидаться в новые стихии
И обновляться существом.
Боюсь примерзнуть сиднем к месту
И, волю осязать любя,
Пытаюсь убеждать себя,
Что я не подлежу аресту.
Прости, шлагбаум городской
И город, где всегда на страже
Забот бессменных пестрый строй,
А жизнь бесцветная всё та же;
Где бредят, судят, мыслят даже
Всегда по таксе цеховой.
Прости, блестящая столица!
Великолепная темница,
Великолепный желтый дом,
Где сумасброды с бритым лбом,
Где пленники слепых дурачеств,
Различных званий, лет и качеств
Кряхтят и пляшут под ярмом.
Не раз мне с дела и с безделья,
Не раз с унынья и с веселья,
С излишества добра и зла,
С тоски столичного похмелья
О четырех колесах келья
Душеспасительна была.
Хоть телу мало в ней простора,
Но духом на просторе я.
И недоступные обзора
Из глаз бегущие края,
И вольный мир воздушной степи,
Свободный путь свободных птиц,
Которым чужды наши цепи;
Рекой, без русла, без границ,
Как волны льющиеся тучи;
Здесь лес, обширный и дремучий,

Там море жатвы золотой —
Всё тешит глаз разнообразно
Картиной стройной и живой,
И мысль свободно и развязно
Сама, как птица на лету,
Парит, кружится и ныряет
И мимолетом обнимает
И даль, и глубь, и высоту.
И всё, что на душе под спудом
Дремало в непробудном сне,
На свежем воздухе, как чудом,
Всё быстро ожило во мне.
Несется легкая коляска,
И с ней легко несется ум,
И вереницу светлых дум
Мчит фантастическая пляска.
То по открытому листу,
За подписью воображенья,
Переношусь с мечты в мечту;
То на ночлеге размышленья
С собой рассчитываюсь я:
В расходной книжке бытия
Я убыль с прибылью сличаю,
Итог со страхом поверяю
И контролирую себя.

Так! Отъезжать люблю порою,
Чтоб в самого себя войти,
И говорю другим: прости! —
Чтоб поздороваться с собою.
Не понимаю, как иной
Живет и мыслит в то же время,
То есть живет, как наше племя
Живет, — под вихрем и грозой.
Мне так невмочь двойное бремя:
Когда живу, то уж живу,
Так что и мысли не промыслить;
Когда же вздумается мыслить,
То умираю наяву.
Теперь я мертв, и слава богу!
Таюсь в кочующем гробу,
И муза грешному рабу
Приулыбнулась на дорогу.

Глупцы! Не миновать уж вам
Моих дорожных эпиграмм!
Сатиры бич в дороге кстати:
Им вас огрею по ушам,
Опричники журнальной рати,
С мечом гусиным по бокам.
Писать мне часто нет охоты,
Писать мне часто недосуг:
Ум вянет от ручной работы,
Вменяя труд себе в недуг;
Чернильница, бумага, перья —
Всё это смотрит ремеслом;
Сидишь за письменным столом
Живым подобьем подмастерья
За цеховым его станком.
Я не терплю ни в чем обузы,
И многие мои стихи —
Как быть? — дорожные грехи
Праздношатающейся музы.
Равно движенье нужно нам,
Чтобы расторгнуть лени узы:
Люблю по нивам, по горам
За тридевять земель, как
в сказке,
Летать за музой по следам
В стихоподатливой коляске;
Земли не слышу под собой,
И только на толчке, иль в яме,
Или на рифме поупрямей
Опомнится ездок земной.
Друзья! Посу́дите вы строже
О неоседлости моей:
Любить разлуку точно то же,
Что не любить своих друзей.
Есть призрак правды в сей посылке;
Но вас ли бегаю, друзья,
Когда по добровольной ссылке
В коляске постригаюсь я?
Кто лямку тянет в светской службе,
Кому та лямка дорога,
Тот и себе уже и дружбе
Плохой товарищ и слуга.
То пустослова слушай сказки,
То на смех сердцу и уму

Сам дань плати притворной ласки
Бог весть кому, бог весть к чему;
Всю жизнь окрась в чужие краски,
И как ни душно, а с лица
С начала пытки до конца
Ты не снимай обрядной маски.
Учись, как труженик иной,
Безмолвней строгого трапписта,
С колодой вечных карт в руках
Доигрывает роберт виста
И роберт жизни на крестах;
Как тот в бумагах утопает
И, Геркулес на пустяки,
Слонов сквозь пальцы пропускает,
А на букашке напирает
Всей силой воли и руки.
Приписанный к приличьям в крепость,
Ты за нелепостью нелепость
Вторь, слушай, делай и читай
И светской барщины неволю
По отмежеванному полю
Беспрекословно исправляй.
Где ж тут за общим недосугом
Есть время быть с собой иль
с другом;
Знакомый песнью нам, пострел
Смешным отказом гнать умел
Заимодавцев из прихожей;
Под стать и нам его ответ,
И для самих себя нас тоже
Как ни спросись, а дома нет!
По мне, ошибкой моралисты
Твердят, что люди эгоисты.
Где эгоизм? Кто полный *я*?
Кто не в долгу пред этим словом?
Нет, *я* глядит в изданье новом
Анахронизмом словаря.
Держася круговой поруки,
Среди *житейской* кутерьмы,
Забав, досад, вражды и скуки
Взаимно вкладчиками мы.
Мы, выжив *я* из человека,
Есть слово нынешнего века;

Всё *мы* да *мы*; наперечет
Все на толкучем рынке света
Судьбой отсчитанные лета
Торопимся прожить в народ.
Как будто стыдно поскупиться
И днем единым поживиться
Из жизни, отданной в расход.
Всё для толпы — и вечно жадной
Толпою всё поглощено.
Сил наших хищник беспощадный
Уносит нас волною хладной
Иль топит без вести на дно;
Дробь мелкой дроби в общей смете
Вся жизнь, затерянная в свете,
Как бурей загнанный ручей
В седую глубь морских зыбей,
Кипит, теснится, в сшибках
стонет,
Но, не прорезав ни следа,
В пучине вод глубоких тонет
И пропадает навсегда.
Но между тем как стихотворный
Скакун, заносчивый подчас,
Мой избалованный Пегас,
Узде строптиво-непокорный,
Гулял, рассудка не спросясь,
И по проселкам своевольно
Бесился подо мной довольно,
Прекрасным всадником гордясь.
Пегаса сродники земные,
Пегасы просто почтовые
Меня до почты довезли.
Да чуть и мне уж не пора ли
Свернуть из баснословной дали
На почву прозы и земли!
Друзья! Боюсь, чтоб бег мой
дальный
Не утомил вас, если вы,
Простя мне пыл первоначальный,
Дойдете до конца главы
Полупустой, полуморальной,
Полусмешной, полупечальной,
Которой бедный Йорик ваш
Открыл журнал сентиментальный,

Куда заносит дурь и блажь
Своей отваги повиральной.
Все скажут: с ним двойной подрыв
И с ним что далее, то хуже;
Поэт болтливый, он к тому же
Как путешественник болтлив!
Нет, дайте срок: стихов разбега
Не мог сперва я одолеть,
Но обещаюсь присмиреть.
Теперь до нового ночлега
Простите... *(продолженье впредь)*.

(1826)

МОРЕ

Как стаи гордых лебедей,
На синем море волны блещут,
Лобзаются, ныряют, плещут
По стройной прихоти своей.
И упивается мой слух
Их говором необычайным,
И сладко предается дух
Мечтам, пленительным и тайным.

Так! Древности постиг теперь
Я баснословную святыню:
О волны! Красоты богиню
Я признаю за вашу дщерь!
Так, верю: родилась она
Из вашей колыбели зыбкой
И пробудила мир от сна
Своею свежею улыбкой.

Так, верю: здесь явилась ты,
Очаровательница мира!
В прохладе влажного сафира,
В стихии светлой чистоты.
Нам чистым сердцем внушены
Прекрасных таинств откровенья:
Из лона чистой глубины
Явилась ты, краса творенья.

И в наши строгие лета,
Лета существенности лютой,
При вас одних, хотя минутой,
Вновь забывается мечта!
Не смели изменить века
Ваш образ светлый, вечно юный,
Ни смертных хищная рука,
Ни рока грозного перуны!

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей девственной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь ближних не дымится в ней;
На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.

И если смертный возмутит
Весь мир преступною отвагой,
Вы очистительною влагой
Спешите смыть мгновенный стыд.
Отринутый из чуждых недр,
Он поглощаем шумной бездной;
Так пятна облачные ветр
Сметает гневно с сени звездной!

Людей и времени раба,
Земля состарилась в неволе;
Шутя ее играют долей
Владыки, веки и судьба.
Но вы всё те ж, что в день чудес,
Как солнце первое в вас пало,
О вы, незыблемых небес
Ненарушимое зерцало!

Так и теперь моей мечте
Из лона зе́ркальной пустыни
Светлеет лик младой богини
В прозрачно-влажной красоте.
Вокруг нее, как радуг блеск,
Вершины волн горят игривей,
И звучный ропот их и плеск
Еще душе красноречивей!

Над ней, как звезды, светят сны,
Давно померкшие в тумане,
Которые так ясно ране
Горели в небе старины.
Из волн, целующих ее,
Мне веют речи дивной девы;
В них слышно прежнее бытьё,
Как лет младенческих напевы.

Они чаруют и целят
Тоску сердечного недуга;
Как мировое слово друга,
Все чувства меж собой мирят.
В невыразимости своей
Сколь выразителен сей лепет:
Он пробудил в душе моей
Восторгов тихих сладкий трепет.

Как звучно льнет зефир к струнам,
Играя арфою воздушной,
Так и в душе моей послушной
Есть отзыв песням и мечтам.
Волшебно забывает ум
О настоящем, мысль гнетущем,
И в сладострастье стройных дум
Я весь в протекшем, весь
в грядущем.

Сюда, поэзии жрецы!
Сюда, существенности жертвы!
Кумиры ваши здесь не мертвы,
И не померкли их венцы.
Про вас поэзия хранит
Свои преданья и поверья;
И здесь, где море вам шумит,
Святыни светлыя преддверья!

Лето 1826

ХАРАКТЕРИСТИКА

Недаром, мимо всех живых и мертвецов,
Он русским гением пожалован в Париже:
Отделкой языка, сказать и я готов,
Он к Сумарокову из всех новейших ближе,
А творчеством, огнем и полнотой стихов
Он разве малым чем Хераскова пожиже.

1826

ТЕПЕРЬ МНЕ НЕДОСУГ

Делец пришел к начальнику с докладом,
Графиня ждет от графа денег на дом,
На бале граф — жену до петухов,
Бедняк — давно обещанного места,
Купец — долгов, невеста — женихов,
Пилад — услуг от верного Ореста;
Им всем ответ: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Но звать приди вельможу на пирушку,
Явись в приказ со вкладчиною в кружку,
Хвалить в глаза писателя начни
Иль подвергать соперников разбору,
Будь иль в ходу, иль ходокам сродни, —
Гость дорогой всегда, как деньги, в пору!
Не слышишь ты: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Чтоб улестить взыскательную совесть
И многих лет замаранную повесть
Хоть обложить в красивый переплет,
Ханжа твердит: «Раскаяться не поздно!»
Когда ж к нему раскаянье придет
И в злых делах отчета просит грозно,
Ответ ханжи: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Брак был для них венцом земного блага,
Их сопрягла взаимная присяга,
Их запрягла судьба за тот же гуж;

Нет года: брак не роз, уж терний жатва;
Жены ль вопрос, жену ли спросит муж:
«А где ж любовь, а где ж на счастье
клятва?»
Ответ как тут: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Когда возьмет меня запой парнасской
И явится схоластика с указкой,
Сказав мне: «Стих твой вольничать привык;
Будь он хоть пошл, но у меня в границах,
Смирись, пока пострела не настиг
Журнальный рунд деепричастий в лицах!»
Я ей в ответ: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг».

Есть гостья: ей всегда все настежь двери —
Враждебный дух иль счастливая пери
Въезжает в дом на радость иль на страх;
Как заскрыпит ее повозки полоз
У молодой беспечности в дверях,
Когда подаст она счастливцу голос,
Не скажешь ей: «Теперь мне недосуг,
А после ты зайди ко мне, мой друг!»

⟨1827⟩

ВЫДЕРЖКА

Мой ум — колода карт. «Вот вздор!
Но, знать, не первого разбора!» —
Прибавит, в виде приговора,
Журнальной партьи *матадор.*
Вам, господа, и книги в руки!
Но, с вашей легкой мне руки,
Спасибо вам, могу от скуки
Играть в *носки* и в *дураки.*

В моей колоде по мастям
Рассортированы все люди:
Сдаю я желуди, иль *жлуди*,
По вислоухим игрокам;
Есть *бубны* — славным за горами;

Вскрываю *вины* для друзей;
Живоусопшими творцами
Я вдоволь лакомлю *червей*.

На выдержку ль играть начну,
Трещит *банк* глупостей союзных,
И банкомет, из самых грузных,
Не усидит, когда загну;
Сменяются, берут с испуга
Вновь дольщиков в игру свою...
Бог помощь им топить друг друга,
А я их гуртом всех топлю.

Что мысли? Выдержки ума! —
А у кого задержки в этом? —
Тот засдается, век с лабетом
В игре и речи и письма;
Какой ни сделает попытки,
А глупость срежет на просак!
Он проиграется до нитки
И выйдет начисто дурак.

Вот партьи дамской игрочки,
Друзья, два бедные Макара:
На них от каждого удара
Валятся шишки и щелчки;
Один, с поблекшими цветами,
С *последней жертвой*, на мель
стал;
Тот мелом, белыми стихами,
Вписал свой проигрыш в журнал.

Игра честей в большом ходу,
В нее играть не всем здорово:
Играя на честно́е слово,
Как раз наскочишь на беду.
Тот ставит свечку злому духу,
Впрок не пойдет того казна,
Кто легкоумье ловит в *муху*,
Чтоб делать из нее слона.

Не суйтеся к большим тузам,
Вы мне под пару недоростки;
Игрушки кошке, мышке слезки —

Давно твердит рассудок нам;
Поищем по себе игорку,
Да игроков под нашу масть:
Кто не по силам лезет в *горку*,
Тот может и впросак попасть.

А как играть тому сплеча,
Кто заручился у фортуны;
Он лука натяни все струны
И бей все взятки сгоряча.
Другой ведет расчет, и строгий,
Но за бессчетных счастье бог,
И там, где умный *выйграл ноги*,
Там дурачок всех срезал с ног.

Бедняк, дурак и нам с руки,
Заброшенный в народной давке,
У счастья и у всех в отставке,
Клим разве мог играть в *плевки*;
Теперь он стер успехов губкой
Всё, чем обчелся в старину,
В игре коммерческой с прикупкой
Он вскрыл удачно на жену.

Друзья! Кто хочет быть умен,
Тот по пословице поступит:
Продаст он книги, карты купит;
Так древле нажил ум Семен.
Ум в картах — соглашусь охотно! —
В ученом мире видим сплошь:
Дом книгами набит, и плотно,
Да карт не сыщешь ни на грош.

Памфил, пустая голова!
Ты игроком себя не числи:
Не вскроешь ты на козырь мысли,
Как ни тасуй себе слова.
Не такова твоя порода,
Игрой ты не убьешь бобра:
Твой ум и полная колода,
Я знаю, но не карт игра.

‹1827›

К ИЛЛИЧЕВСКОМУ

И за письмо и за подарок
Стихами наскоро плачу.
Пред Фебом ты зажег огарок,
А не огромную свечу;
Но разноцветен он и ярок
И музе нашей по плечу;
Пылает он потешным блеском,
Подсыпан порохом слегка,
Звездой рассыпчатой со треском
Взрывается исподтишка
И мечет, за народным плеском,
Шутихи под нос дурака.
Пальбой огней своих потешных
Пугай глупцов и радуй нас;
Не кайся в шалостях безгрешных;
То поделом, то для проказ
И встречных ты и поперечных
Коли и в бровь и прямо в глаз.
Задорной музы собеседник,
Когда-то знал я твой язык.
Но нет! Ты мне не ученик,
А разве заживо наследник.

1827

1828 ГОД

Друзья! Вот вам из отдаленья
В стихах визитный мой билет,
И с Новым годом поздравленья
На много радостей и лет.
Раздайся весело будильник
На новой, годовой заре,
И всех благих надежд светильник
Зажгись на новом алтаре!

Друзья! По вздоху, полной чаше⟨й⟩
За старый год! И по тройной
За новый! Будущее наше
Спит в колыбели роковой.

Год новый! Каждый, новой страстью
Волнуясь, молит новых благ:
Кто рад испытанному счастью,
Кто от приволья ни на шаг.

Судьба на алчное желанье
В нас обрекла жрецов и жертв.
Желанье есть души дыханье:
Кто не желает, тот уж мертв.
Оно — в лампаде жизни масло;
Как выгорит — хоть выкинь прочь!
Жар и сиянье — всё погасло;
Зевнув, скажи: покойна ночь!

На всё тогда гляди бесстрастно
И чувство в *убылых* пиши;
Огнивой жизни бьешь напрасно
В кремень беспламенной души:
Не выбьешь искры вдохновенной,
Не бросишь звука в мертвый слух,
Во тьме святыни упраздненной,
Без жизни — жертвенник потух.

Во мне еще живого много,
И сердце полно через край;
Но опытность нас учит строго:
Иного про себя желай!
И так в признаньях задушевных
Я сердца не опорожню,
А из желаний ежедневных
Коё-что бегло начерню.

Будь в этот год — бедам помеха,
А на добро — попутный ветр;
Будь меньше слез, а боле смеха;
Будь всё на *ясном* барометр!
Будь счастье в скорби сердобольно;
Будь скорбь в смирении горда;
Будь торжество не своевольно,
А слабость совестью тверда.

Будь, как у нас бывало древле,
На православной стороне:

Друг и шампанское дешевле,
А совесть, ум и рожь — в цене.
Будь искренность не горьким блюдом;
В храм счастья — чистое крыльцо,
Рубли и мысли — не под спудом,
А сор и вздор — не налицо.

Будь в этот год, другим неравный,
Все наши умники — умны,
Мольеры русские забавны,
А Кребильоны не смешны.
Будь наши истины не сказки,
Стихи не проза, свет не тьма,
И не тенета ближних ласки,
И чувства не игра ума.

Назло безграмотных нахалов
И всех, кто только им сродни,
Дай бог нам более журналов:
Плодят читателей они.
Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо;
Где грамота — там просвещенье;
Где просвещенье — там добро.

Козлов и Пушкин с Боратынским!
Кого ж еще бы к вам причесть?
Дай вам подрядом исполинским,
Что день, стихов нам ставить десть!
А вам, поставщикам всех бредней
На мельницах поэм и од,
Дай муза рифмою последней
Вам захлебнуться в Новый год!

Дай бог за скрепой и печатью
Свершиться прочной мировой:
У пишущих — с капризной *ятью*,
У сердца — с гордой головой;
У отцветающих красавиц —
С красавицами в цвете дней;
У юридических пиявиц —
С поживкой тяжебных сетей.

Но как ни бегай рифмой прыткой,
Рифм ко всему прибрать нельзя.
К новорожденному попыткой
С одной мольбой пойдем, друзья:
Пусть всё худое в вечность канет
С последним вздохом декабря
И всё прекрасное проглянет
С улыбкой первой января.

Декабрь 1827

* * *

Двуличен он! Избави боже!
Напрасно поклепал глупца:
На этой откровенной роже
Нет и единого лица.

⟨1828⟩

ПОСЛАНИЕ К А. А. Б⟨АШИЛОВУ⟩
ПРИ ПОСЫЛКЕ ПОРТРЕТА

На каждом веке отпечаток
Каких-нибудь причуд в чести;
Одна стареется, в задаток
Спешит другая подрасти.
Державин, веку дав заглавье,
Сказал: *«Весь век стал бригадир»*.
Теперь заброшен на бесславье
Высокородия кумир,
И бригадирство не в помине;
Но в свой черед мы скажем ныне:
Литографирован весь мир.
Теперь кто только нос имеет
Посереди лица, тот сплошь
Его прославить не робеет,
Хотя будь нос и нехорош.
Не мудрено тут вывесть справку:
Взойти в кондитерскую лавку
Иль в лавку к Слёнину — кругом
Висят бессмертья кандидаты,

Кто с шпагою, а кто с пером,
А кто и так, из малой платы.
То своекоштный кандидат,
В рядах бессмертья рекрут вольный:
На камне, взятом напрокат,
Он камень свой краеугольный
Во храме славы основал
И в лица без лица попал.
Какие личные загадки
Археолóгам дальних дней!
И те, чьи рожи — опечатки
В живом издании людей,
Теперь благим изобретеньем
В свет изданы вторым тисненьем,
Хотя и первое внаклад.
Тем лучше! Выдумке я рад.
В наш век народность, повсеместность,
Молва и слава дешева;
И на всемирную известность
В наш век доступнее права.
Бывало, слава — монополья
Немногих лиц, немногих дел;
Теперь мы дождались раздолья,
И славу каждый подсмотрел.
Век литографий, пароходов,
Fac simile, *Записок* век!
В тебе и без больших расходов
Десятерится человек.
Сосредоточилось всё в мире,
Везде удобства и успех,
И жизнь, как дважды два четыре,
Задача легкая для всех.
Я рад, что мне судьбы велели
Родиться в выгодные дни,
Когда желанья ближе к цели
И тайны счастья не в тени.
Когда нет мер людским границам
И, мастерство благодаря,
Под стать неживописным лицам,
Литографирован и я.
Вы мой портрет иметь хотите,
Подарок этот в прибыль мне:
Не в памяти, так на стене
Мой образ дома утвердите.

Ценить умею эту честь
Умом и чувством непритворно
И своего лица покорно
Спешу вам экземпляр поднесть.
Мне извинительно пристрастье
К литографическим трудам,
Когда иметь я буду счастье
Быть и заочно близок к вам.
В ваш кабинет сей дар смиренный
Не много блеска принесет
И вам на ум ваш просвещенный
Высоких дум не наведет;
Он чародейством благосклонным
Не расщекотит головы,
Ни славы дымом благовонным,
Ни сладким запахом молвы.
Нет! Этот лоскуток бумажный,
Где личное мое клеймо,
Будь вам хоть акт и маловажный
Или заемное письмо
В моем воспоминанье нежном,
В желанье видеть, слышать вас,
И в уваженье, с дружбой смежном,
Когда мне в дружбе не отказ;
А что сей вексель не обманчив,
Порука вы: веселый нрав,
Ваш взор, который так приманчив,
И ум, так запросто лукав.
Всё, что сказал нелицемерно,
Пусть подтвердит вам мой портрет,
И я за скрепой сердца вслед
Прибавлю: с подлинником верно.

‹1828›

ЗИМНИЕ КАРИКАТУРЫ
(ОТРЫВКИ ИЗ ЖУРНАЛА ЗИМНЕЙ ПОЕЗДКИ В СТЕПНЫХ ГУБЕРНИЯХ. 1828)

1
РУССКАЯ ЛУНА

Русак, поистине сказать,
Не полунощник, не лунатик:
Не любит ночью наш флегматик
На звезды и луну зевать.

И если в лавках музы русской
Луной торгуют наподхват,
То разве взятой напрокат
Луной немецкой иль французской.

Когда ж в каникулы зимы
Горит у нас мороз трескучий,
И месяц в небе из-за тучи,
Наверно, мерзнет, как и мы.

«Теперь-то быть в дороге славно!» —
Подхватит тут прямой русак.
Да, черта с два! Как бы не так,
Куда приятно и забавно!

Нет, воля ваша, господа!
Когда мороз дерет по коже,
Мне теплая постель дороже,
Чем ваша прыткая езда.

2

КИБИТКА

Что за медвежие набеги
Сам-друг с медведем на спине?
Нет, нет, путь зимний не по мне:
Мороз, ухабы, вьюги, снеги.

А подвижной сей каземат,
А подвижная эта пытка,
Которую зовут: кибитка,
А изобрел нам зимний ад.

Неволя, духота и холод;
Нос зябнет, а в ногах тоска,
То подтолкнет тебя в бока,
То головой стучишь, как молот.

И всё, что небо обрекло
На сон вещественныя смерти,
Движеньем облекают черти
Страдальцу горькому назло.

Подушки, отдыха приюты,
Неугомонною возней
Скользят, вертятся под тобой,
Как будто в них бесенок лютый,

Иль шерстью с зверя царства тьмы
Набил их адский пересмешник,
И, разорвав свой саван, грешник
Дал ведьмам наволки взаймы.

И в шапке дьявол колобродит:
То лоб теснит, то с лба ползет,
То голова в нее уйдет,
То с головы она уходит.

Что в платье шов, то уж рубец,
В оковах словно руки, ноги,
Их снаряжая для дороги,
Твой камердинер был кузнец.

Дремота липнет ли к реснице,
Твой сон — горячки бред шальной:
То обопрется домовой
На грудь железной рукавицей;

То хочешь ты без крыл лететь,
То падаешь в пучину с моста,
То вдруг невиданного роста
Идет здороваться медведь;

То новый враг перед страдальцем:
С тетрадью толстой рифмодул
Стихами в петлю затянул,
Схватя за петлю мощным пальцем.

3

МЕТЕЛЬ

День светит; вдруг не видно зги,
Вдруг ветер налетел размахом,
Степь поднялася мокрым прахом
И завивается в круги.

Снег сверху бьет, снег прыщет снизу,
Нет воздуха, небес, земли;
На землю облака сошли,
На день насунув ночи ризу.

Штурм сухопутный: тьма и страх!
Компас не в помощь, ни кормило:
Чутье заглохло и застыло
И в ямщике и в лошадях.

Тут выскочит проказник леший,
Ему раздолье в кутерьме:
То огонек блеснет во тьме,
То перейдет дорогу пеший,

Там колокольчик где-то бряк,
Тут добрый человек аукнет,
То кто-нибудь в ворота стукнет,
То слышен лай дворных собак.

Пойдешь вперед, поищешь сбоку,
Всё глушь, всё снег, да *мерзлый пар.*
И божий мир стал снежный шар,
Где как ни шаришь, всё без проку.

Тут к лошадям косматый враг
Кувыркнется с поклоном в ноги,
И в полночь самую с дороги
Кибитка набок — и в овраг.

Ночлег и тихий и с простором:
Тут тараканам не залезть,
И разве волк ночным дозором
Придет проведать: кто тут есть?

4

УХАБЫ. ОБОЗЫ

Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,
    Какой свирепый ураган
Стоячей качкою, волнами без движенья
    Изрыл сей снежный океан?

Кибитка-ладия шатается, ныряет:
То вглубь ударится со скользкой крутизны,
То дыбом на хребет замерзнувшей волны
   Ее насильственно кидает.

Хозяйство, урожай, плоды земных работ,
В народном бю́джете вы светлые итоги,
Вы капитал земли стремите в оборот,
Но жаль, что портите вы зимние дороги.

На креслах у огня, не хуже чем Дюпень,
Движенья сил земных я радуюсь избытку;
Но рад я проклинать, как попаду в кибитку,
Труды, промышленность и пользы деревень.

Обозы, на Руси быть *зимним судоходством* [1]
Вас русский бог обрек, — и милость велика:
Помещики от вас и с деньгой и с дородством,
Но в проезжающих болят от вас бока.

Покажется декабрь — и тысяча обозов
Из пристаней степных пойдут за барышом,
И путь, уравненный от снега и морозов,
   Начнут коверкать непутем;

   Несут к столицам ненасытным
Что целый год росло, а люди в день съедят:
Богатства русские под видом первобытным
Гречихи, ржи, овса и мерзлых поросят,

И сельских прихотей запас разнообразный,
Ко внукам бабушек гостинцы из села,
И городским властям невинные соблазны:
Соленые грибы, наливки, пастила.

Как муравьи, они копышатся роями,
Как муравьям, им счета не свести;
Как змии длинные, во всю длину пути
Перегибаются ленивыми хребтами.

---

[1] Подражание князю Потемкину, который называл жидов судоходством Польши.

То разрывают снег пронзительным ребром,
И застывает след, прорезанный глубоко;
То разгребают снег хвостом,
Который с бока в бок волочится широко.

Уж хлебосольная Москва
Ждет сухопутные флотильи,
В гостеприимном изобильи
Ее повыбились права.

Всю душу передав заботливому взору,
К окну, раз десять в день, подходит бригадир,
Глядит и думает: придет ли помощь в пору?
Задаст ли с честью он свой именинный пир?

С умильной радостью, с слезой мягкосердечья
Уж исчисляет он гостей почетных съезд,
И сколько блюд и сколько звезд
Украсят пир его в глазах Замоскворечья.

Уж предначертан план, как дастся сытный бой,
Чтоб быть ему гостей и дня того достойным;
Уж в тесной зале стол большой
Рисуется пред ним покоем беспокойным.

Простор локтям! — изрек французской кухни суд,
Но нам он не указ, благодарим покорно!
Друг друга поприжав, нам будет всем просторно;
Ведь люди в тесноте живут.

И хриплым голосом, и брюхом на виду
Рожденный быть вождем в служительских фалангах,
Дворецкий с важностью в лице и на ходу
Разносит кушанья по табели о рангах.

Дверь настежь: с торжеством, как витязь на щитах,
Толпой рабов осетр выносится картинно;
За ним, салфеткою спеленутую чинно,
Несут вдову Клико, согретую в руках.

Молю, в желанный срок да не придет обоз,
И за мои бока молю я мщенья! Мщенья!
А если и придет, да волей провиденья
День именин твоих днем будет горьких слез.

Испорченный судьбой, кухмистром и дворецким,
Будь пир твой в стыд тебе, гостям твоим во вред;
Будь гость, краса и честь пирам замоскворецким,
Отозван на другой обед!

Но если он тебя прибытьем удостоит,
Пусть не покажется ему твоя хлеб-соль
И что-нибудь нечаянно расстроит
Устроенный ему за месяц рокамболь.

1828

РУССКИЙ БОГ

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.

Бог грудей и <...> отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.

Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.

1828

* * *

Казалось мне: теперь служить могу,
На здравый смысл, на честь настало время
И без стыда несть можно службы бремя,
Не гнув спины, ни совести в дугу.
И сдуру стал просить я службы. «Дали?»
Да! черта с два! «Бог даст», — мне отвечали.
Обчелся я — знать, не пришла пора
Дать ход уму и мненьям ненаемным.
Вот так отнюдь нам, братцы, людям темным,
Нельзя судить о правилах двора.

Конец апреля 1828

* * *

Я Петербурга не люблю,
Но вас с трудом я покидаю,
Друзья, с которыми гуляю
И, так сказать, немножко пью.

Я Петербурга не люблю,
Но в вас не вижу Петербурга
И Шкурина, Невы Ликурга,
Я в вас следов не признаю.

Я Петербурга не люблю,
Здесь жизнь на вахтпарад похожа,
И жизнь натянута, как кожа
На барабане...

Апрель — июнь 1828

ЧЕРНЫЕ ОЧИ

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На́ небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы!

1828

ПРОСТОВОЛОСАЯ ГОЛОВКА

Простоволосая головка,
Улыбчивость лазурных глаз,
И своенравная уловка,
И блажь затейливых проказ —

Всё в ней так молодо, так живо,
Так не похоже на других,
Так поэтически-игриво,
Как Пушкина веселый стих.

Пусть спесь губернской прозы трезвой,
Чинясь, косится на нее,
Поэзией живой и резвой
Она всегда возьмет свое.

Она пылит, она чудесит,
Играет жизнью, и, шутя,
Она влечет к себе и бесит,
Как своевольное дитя.

Она дитя, резвушка, мальчик,
Но мальчик, всем знакомый нам,
Которого лукавый пальчик
Грозит и смертным и богам.

У них во всем одни приемы,
В сердца играют заодно:
Кому глаза ее знакомы,
Того уж сглазил он давно.

Ее игрушка — *сердцеловка*,
Поймает сердце и швырнет;
Простоволосая головка
Всех поголовно поберет!

Июль 1828

К НИМ

За что служу я целью мести вашей,
Чем возбудить могу завистливую злость?
За трапезой мирской, непраздноемый гость,
Не обойден ли я пирующею чашей?
Всмотритесь, истиной прочистите глаза:
Она утешит вас моею наготою,
Быть может, язвами, которыми гроза
Меня прожгла незримою стрелою.

И что же в дар судьбы́ мне принесли?
В раскладке жребиев участок был мне нужен.
Что? Две-три мысли, два-три чувства, не из дюжин,
Которые в ходу на торжищах земли,

И только! Но сей дар вам не был бы по нраву,
Он заколдован искони;
На сладость тайную, на тайную отраву
Ему подвластные он обрекает дни.

Сей дар для избранных бывает мздой и казнью,
Его ношу в груди, болящей от забот,
Как мать преступная с любовью и боязнью
Во чреве носит тайный плод.
Еще до бытия приял, враждой закона,
Он отвержения печать;
Он гордо ближними от их отринут лона,
Как бытия крамольный тать.

И я за кровный дар перед толпой краснею,
И только в тишине и скрытно от людей
Я бремя милое лелею
И промысл за него молю у алтарей.
Счастливцы! Вы и я, мы служим двум фортунам.
Я к вашей не прошусь; моя мне зарекла
Противопоставлять волненью и перунам
Мир чистой совести и хладный мир чела.

1828 или 1829

ТРИ ВЕКА ПОЭТОВ

Когда поэт еще невинен был,
Он про себя иль на ухо подруге,
Счастливец, пел на воле, на досуге
И на заказ стихами не служил.
Век золотой! Тебя уж нет в помине,
И ты идешь за баснословный ныне.
Тут век другой настал вослед ему.
Поэт стал горд, стал данник общежитью,
Мечты свои он подчинил уму,
Не вышнему, земному внял наитью
И начал петь, мешая с правдой ложь,
Высоких дам и маленьких вельмож.
Им понукал и чуждый, и знакомый;
Уж сын небес — гостинный человек:
Тут в казнь ему напущены альбомы,
И этот век — *серебряный был век.*

Урок не впрок: всё суетней, всё ниже,
Всё от себя подале, к людям ближе,
Поэт совсем был поглощен толпой,
И неба знак смыт светскою волной.
Не отделен поэт на пестрых сходках
От торгашей игрушек, леденцов,
От пленников в раскрашенных колодках,
От гаеров, фигляров, крикунов.
Вопль совести, упреки бесполезны;
Поэт заснул в губительном чаду,
Тут на него напущен *век железный*
С бичом своим, в несчастную чреду.
Лишился он последней благодати;
Со всех сторон, и кстати и некстати,
В сто голосов звучит в его ушах:
«Пожалуйте стихи в мой альманах!»
Бедняк поэт черкнет ли что от скуки —
За ним, пред ним уж Бриарей сторукий,
Сей хищник рифм, сей альманашный бес,
Хватает всё, и, жертва вечных страхов,
По лютости разгневанных небес,
Поэт в сей век — оброчник альманахов.

‹1829›

СЛЕЗЫ

Сколько слез я про́лил,
Сколько тайных слез
Скрыться приневолил
В дни сердечных гроз!

Слезы, что пробились,
Позабыты мной;
Чувства освежились
Сладкой их росой.

Слезы, что осели
На сердечном дне,
К язвам прикипели
Ржавчиной во мне.

‹1829›

СЛЕЗА

Когда печали неотступной
В тебе подымется гроза
И нехотя слезою крупной
Твои увлажатся глаза,

Я и в то время с наслажденьем,
Еще внимательней, нежней
Любуюсь милым выраженьем
Пригожей горести твоей.

С лазурью голубого ока
Играет зыбкий блеск слезы,
И мне сдается: перл Востока
Скатился с светлой бирюзы.

⟨1829⟩

ДОРОЖНАЯ ДУМА

Колокольчик однозвучный,
Крик протяжный ямщика,
Зимней степи сумрак скучный,
Саван неба, облака!
И простертый саван снежный
На холодный труп земли!
Вы в какой-то мир безбрежный
Ум и сердце занесли.

И в бесчувственности праздной,
Между бдения и сна,
В глубь тоски однообразной
Мысль моя погружена.
Мне не скучно, мне не грустно, —
Будто роздых бытия!
Но не выразить изустно,
Чем так смутно полон я.

⟨1830⟩

СВЯТОЧНАЯ ШУТКА

Скажите ж, видели ль вы черта?
Каков он? Немец иль русак?
Что на ноге его: ботфорта
Иль камер-юнкерский башмак?
Черноволос ли, белобрыс ли,
В усах ли, иль не дует в ус?
Что, каковы в нем чувства, мысли,
Что за приемы, речи, вкус?
Что от него вы переняли,
Иль не его ль учили вы?
Черт как ни черт, но всё едва ли
Хитрей он женской головы.
Черт хоть уж ладана боится,
И то одно спасенье есть;
Но кто от женщин защитится,
Но женщин как и чем провесть?
Сжигал я ладан перед ними,
Но сердце с ладаном прожег,
И я с убытками одними,
А откуриться всё не мог.
Что, говорил ли он стихами
Иль чертовщину прозой драл,
Не хуже, как и между нами,
Дерет ее иной журнал?
Он романтический прелестник
Или классический ворчун?
Кто сват его: Европы ль Вестник,
Или Онегин, наш шалун?
Что, всё ли он ума палата,
Или *старам стала глупам*?
Я с чертом жил запанибрата
В бедах и счастье пополам,
Меня он жаловал, мой милый,
Грешно мне укорить его,
Я крепок был под вражьей силой
И не страшился ничего.
Но ныне уж другое время:
С летами черт ко мне не тот,
И, по несчастью, злое семя,
Как прежде, цвета не дает.
Не говоря худого слова,
Черт хоть и добрая душа,

Но, как любви, ему обнова
Для перемены хороша.
Он с молодежью куролесит,
А нас морочит непутем,
И ныне бес меня лишь бесит
И дразнит ангельским лицом.

⟨1830⟩

ЛЕСА

Хотите ль вы в душе проведать думы,
Которым нет ни образов, ни слов, —
Там, где кругом густеет мрак угрюмый,
Прислушайтесь к молчанию лесов;
Там в тишине перебегают шумы,
Невнятный гул беззвучных голосов.

В сих голосах мелодии пустыни;
Я слушал их, заслушивался их,
Я трепетал, как пред лицом святыни,
Я полон был созвучий, но немых,
И из груди, как узник из твердыни,
Вотще кипел, вотще мой рвался стих.

⟨1830⟩

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Жизнь живущих неверна,
Жизнь отживших неизменна.
Жуковский

Поэзия воспоминаний,
Дороже мне твои дары
И сущих благ и упований,
Угодников одной поры.

Лишь верно то, что изменило,
Чего уж нет и вновь не знать,
На что уж время наложило
Ненарушимую печать.

То, что у нас еще во власти,
Что нам дано в насущный хлеб,
Что тратит жизнь — слепые страсти
И ум, который горд и слеп, —

То наше, как волна в пучине,
Скользящая из жадных рук,
Как непокорный ветр в пустыне,
Как эха бестелесный звук.

В воспоминаниях мы дома,
А в настоящем — мы рабы
Незапной бури, перелома
Желаний, случаев, судьбы.

Одна в убежище безбурном
Нам память мир свой бережет,
Пока детей своих с Сатурном
Сама в безумье не пожрет.

Кто может хладно, равнодушно
На дом родительский взглянуть?
В ком на привет его послушно
Живей не затрепещет грудь!

Влеченьем сердца иль случайно
Увижу стены, темный сад,
Где ненарушимо и тайно
Зарыт минувшей жизни клад, —

Я, как скупец, сурово хладный
К тому, чем пользуется он,
И только к тем богатствам жадный,
На коих тленья мертвый сон,

Я от минуты отрекаюсь,
И, охладев к тому, что есть,
К тому, что было, прилепляюсь,
Чтоб сердца дань ему принесть.

Ковчег минувшего, где ясно
Дни детства мирного прошли
И волны жизни безопасно
Над головой моей текли;

Где я расцвел под отчей сенью
На охранительной груди,
Где тайно созревал к волненью,
Что мне грозило впереди;

Где искры мысли, искры чувства
Впервые вспыхнули во мне
И девы звучного искусства
Мне улыбнулись в тайном сне;

Где я узнал по предисловью
Жизнь сердца, ряд его эпох,
Тоску, зажженную любовью,
Улыбку счастья, скорби вздох,

Всё, чем страстей живые краски
Одели после пестротой
Главы загадочной той сказки,
Которой автор — жребий мой.

Дом, юности моей преддверье,
Чем медленней надежд порыв,
Тем детства сердца суеверье
И давней памяти прилив

Меня к тебе уносит чаще;
Чем жизнь скупее на цветы,
Тем умилительней и слаще
Души обратные мечты.

Пусть в сей упра́здненной святыне
Нет сердцу образов живых,
И в отчем доме был бы ныне
Пришелец я в семье чужих;

Но неотъемлемый, душевный
Мой целый мир тут погребен,
Волненьем жизни ежедневной
Не тронут он, не возмущен.

Призванью памяти покорный,
Он возникает предо мной
С своей красою благотворной,
С своей лазурною весной,

С дарами на запас богатый,
Которых жизнь не сберегла,
И с тем и теми, коих траты
Душа моя пережила.

Как часто в распре своевольной
С судьбою, жизнью и собой,
Чтоб обуздать раздор крамольный
И ропот немощи слепой,

Покинув света хаос бурный,
Вхожу в сей тихий саркофаг
И мыслью вопрошаю урны,
Где пепел лет, друзей и благ.

Целебной скорбью, грустью нежной
Тогда очистясь, гаснет вдруг
Души то робкой, то мятежной
Обуревающий недуг.

Пробьются умиленья слезы,
Смиряя смутный пыл в груди;
Так в воспаленном небе грозы
Разводят свежие дожди.

Сближая в мыслях с колыбелью
Гробницы ближних и друзей,
Жизнь проясняется пред целью,
Которой не избегнуть ей.

Вчера, сегодня, завтра — звенья
Предвечной цепи бытия,
Которой в тьме недоуменья
Таятся чудные края.

Рожденье, смерть, из урны рока
С неодолимой быстриной,
Как волны одного потока,
Нас уносящие с собой,

Скорбь, радость, буря, ветр попутный
И всё, что испытали мы,
И всё, чем в нас надеждой смутной
Еще волнуются умы;

Всё то, что разнородным свойством,
Враждуя, развлекало нас,
Всё равновесия спокойством
Почиет в этот светлый час.

На той стезе, где означаем
Свои неверные следы,
Где улыбаемся, вздыхаем,
Подъемлем битвы и труды, —

До нас прошли, до нас сражались
В шуму падений и побед,
До нас невольно увлекались
Порывом дум, страстей и бед.

Одни надежды и сомненья,
Одни задачи бытия,
Которых тайные решенья,
Как недоступные края,

Обетованные мечтанью,
Но запрещенные уму,
Нас манят и во мзду исканью
Ввергают снова в хлад и тьму;

Одни веселья и печали
Нас и которых след остыл
Равно томили и ласкали
Средь колыбелей и могил.

Почтим же мы любовью нежной
До нас свершивших оный путь,
И мысль о них во мгле мятежной
Звездой отрадной нашей будь!

Когда ж придется нам, прохожим,
Доспехи жизни сбросить с плеч,
И посох странника отложим,
И ратоборца тяжкий меч, —

Пусть наша память, светлой тенью
Мерцая на небе живых,
Не будет чуждой поколенью
Грядущих путников земных.

⟨1830⟩

К ЖУРНАЛЬНЫМ БЛАГОПРИЯТЕЛЯМ

К чему, скажите ради бога,
Журнальный Марс восстал с одра
И барабанная тревога
Гусиных витязей пера?
К чему вы тяжко развозились,
За что так на меня озлились,
Мои нежданные враги,
Которых я люблю, как душу?
К чему с плеча и от ноги
Вы через влагу, через сушу,
Чрез влагу пресных эпиграмм,
Чрез сушу прозы вашей пыльной,
Несетесь по моим пятам
Ордой задорной и бессильной?
Спроситесь средств своих и сил,
Себя изведав, осмотритесь,
Одумайтесь, прохолодитесь
Хотя на льду своих чернил.
В вас две причины: хлад и пламень,
Пыл гнева и таланта лед;
Сей в гору сгоряча несет,
Тот сдуру тащит вниз, как камень.
Останьтесь в равновесном сне
И, чувствуя свою природу,
Не обжигайтесь на огне,
Когда вас так и тянет в воду.
И как идти вам на меня?
Неблагодарные! Не я ли
Из хаоса небытия
Вас вывел в жизнь! Вы прозябали,
Вы были мертвы. В добрый час
Не я ли в люди вывел вас
Из глазуновского кладбища,
Живых покойников жилища,
Где вас смертельный сон настиг
И где заглавья многих книг
Гласят в замену эпитафий,
Что тут наборщика рукой
На лобном месте типографий
Казнен иль тот, или другой.
Скажите, скольких мимоходом

Из вас я пóвил пред народом[1]
Под мой насмешливый свисток,
Взлелеял вас под шапкой пестрой
И скольких выкормил я впрок
На копьях эпиграммы острой?
Тогда вас только свет и знал,
В тени таившихся малюток,
Когда под качку резвых шуток
Мой стих вас на смех подымал.
Пигмея выровнил мой хлыстик,
А там под ним, другим в пример,
Свернувшийся в журнальный листик
Развился мелкий эфемер;
Задавленный под глыбой снежной
Своих комедий ледяных,
Иной ждал смерти неизбежной
И костенел уж, как свой стих;
Его отрыл я музой чуткой
И на ноги поднять успел
И раздражительною шуткой
Его оттер и отогрел.
Кто, на стихе моем повиснув,
Вскарабкавшись, с поэмой всплыл;
Кого, живой водою спрыснув,
Я от угара протрезвил.
Калек, замерзших и утопших,
Полуживых, полуусопших,
Слепых, хромых, без рук, без ног,
Расслабленных и слабоумных,
Сухоточных, опухлых, чумных, —
Я призрел всех, я всех сберег.
Без просьбы, без лицеприятья
Имеет вся меньшая братья
Заступника в лице моем:
В моей сатире хлебосольной
Заботой музы сердобольной
Открыт странноприимный дом.
Есть богадельня при больнице;
Дверь настежь: милости прошу,
И тотчас каждого в таблице
С отметкой имя запишу.

---

[1] См. «Песнь о полку Игореве».

И что ж? В угаре своеволья,
Забыв и долг, и честь, и связь,
Против опеки сердоболья
Больница буйно поднялась.

1830

ОСЕНЬ 1830 ГОДА

> Il faisait beau en effet. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ce beau soleil, ce ciel si pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul.
>
> *Le dernier jour d'un condamné* [1]

Творец зеленых нив и голубого свода!
Как верить тяжело, чтобы твоя природа,
Чтобы тот светлый мир, который создал ты,
Который ты облек величьем красоты,
Могли быть смертному таинственно враждебны;
Чтоб воздух, наших сил питатель сей
целебный,
Внезапно мог на нас предательски дохнуть
И язвой лютою проникнуть в нашу грудь;
Чтобы земля могла, в благом твоем законе,
Заразой нас питать на материнском лоне!

Как осень хороша! Как чисты небеса!
Как блещут и горят янтарные леса
В оттенках золотых, в багряных переливах!
Как солнце светится в волнах, на свежих нивах!
Как сердцу радостно раскрыться и дышать,
Любуяся кругом на божью благодать.

---

[1] В самом деле стояла прекрасная погода. Каким образом мрачная мысль могла бы возникнуть среди всех этих очаровательных впечатлений? Всё представлялось мне теперь в другом свете. Это прекрасное солнце, это ясное небо, этот прелестный цветок, всё стало белым и бледным, как саван. *Последний день приговоренного к смерти* (фр.). — *Ред.*

Средь пиршества земли, за трапезой осенней,
Прощальной трапезой, тем смертным драгоценней,
Что зимней ночи мрак последует за ней,
Как веселы сердца доверчивых гостей.

Но горе! Тайный враг, незримый, неизбежный,
Средь празднества потряс хоругвию мятежной.
На ней начертано из букв кровавых: Мор.
И что вчера еще увеселяло взор,
Что негу чистую по сердцу разливало:
Улыбчивых небес лазурное зерцало,
Воздушной синевы прозрачность, и лугов
Последней зеленью играющий покров,
И полные еще дыханьем благовонным
Леса, облитые как золотом червонным, —

Весь этот пышный храм, святилище красот,
Не изменившийся, сегодня уж не тот;
Не в радость пестрый лес и ярких гор вершина,
Печальным облаком омрачена картина:
Тень грозной истины лежит на ней. Она
В хладеющую грудь проникнула до дна.
Из истин истина единая живая,
Смерть воцарилась, жизнь во лжи изобличая,
И сердце, сжатое боязнью и тоской,
Слабеет и падет под мыслью роковой.

Не верьте небесам: им чувство доверялось,
Но сардонически и небо улыбалось.
Есть солнце на небе, а бедствует земля.
Сияньем праздничным одеяны поля,
И никогда пышней не зрелся нам мир божий,
Но светлых сих полей владетель и прохожий,
Земного царства царь, в владении своем,
Один под бич поник униженным челом,
Один, среди богатств цветущего наследства,
Он предан на земле в добычу зла и бедства.

Скорбь в разных образах грозит ему. В борьбе
С Протеем нет ему убежища в себе.
Один в минувшем он и в будущем несчастен,
Один предвидит зло и забывать не властен,

Один не страждущий, он страждет о других;
То слез своих родник, то в доле слез чужих;
Иль жертвой падает, иль из своих объятий
На лютый жертвенник он отпускает братий.
Во дни кровавые народных непогод,
Когда предускорён природы мерный ход,

Когда с небес падет карательная клятва
И смерти алчущей сторицей зреет жатва
Под знойной яростью убийственных страстей, —
Так в жертвах, преданных секирам палачей,
Последняя стоит в живой кончине страха
И очереди ждет, чтоб упразднилась плаха.
Отсрочка ей не жизнь, судьбы коварный дар;
И вместо, чтоб пресек в ней жизнь один удар,
Над нею смерть, свои удары помножая,
Страданий лестницей ведет на край от края.

1830

ХАНДРА
(Песня)

Сердца томная забота,
Безыменная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.

Не хочу и не умею
Я развлечь свою хандру:
Я хандру свою лелею,
Как любви своей сестру.

Ей предавшись с сладострастьем,
Благодарно помню я,
Что сироткой под ненастьем
Разрослась любовь моя;

Дочь туманного созвездья,
Красных дней и ей не знать,
Ни сочувствий, ни возмездья
Бесталанной не видать.

Дети тайны и смиренья,
Гости сердца моего
Остаются без призренья
И не просят ничего.

Жертвы милого недуга,
Им знакомого давно,
Берегут они друг друга
И горюют заодно.

Их никто не приголубит,
Их ничто не исцелит...
Поглядишь! хандра всё любит,
А любовь всегда хандрит.

⟨1831⟩

ТОСКА

В. И. Бухариной

Не знаю я — кого, чего ищу,
Не разберу, чем мысли тайно полны;
Но что-то есть, о чем везде грущу,
Но снов, но слез, но дум, желаний волны
Текут, кипят в болезненной груди,
И цели я не вижу впереди.

Когда смотрю, как мчатся облака,
Гонимые невидимою силой, —
Я трепещу, меня берет тоска,
И мыслю я: «Прочь от земли постылой!
Зачем нельзя мне к облакам прильнуть
И с ними вдаль лететь куда-нибудь?»

Шумит ли ветр? Мне на ухо души
Он темные нашептывает речи
Про чудный край, где кто-то из глуши
Манит меня приветом тайной встречи;
И сих речей отзывы, как во сне,
Твердит душа с собой наедине.

Когда под гром оркестра пляски зной
Всех обдает веселостью безумной,
Обвитая невидимой рукой,
Из духоты существенности шумной
Я рвусь в простор иного бытия,
И до земли уж не касаюсь я.

При блеске звезд в таинственный тот час,
Как ночи сон мир видимый объемлет
И бодрствует то, что не *наше* в нас,
Что *жизнь души* — а *жизнь земная* дремлет, —
В тот час один сдается мне: живу
И сны одни я вижу наяву.

Весь мир, вся жизнь загадка для меня,
Которой нет обещанного слова.
Всё мнится мне: я накануне дня,
Который жизнь покажет без покрова;
Но настает обетованный день,
И предо мной всё та же, та же тень.

⟨1831⟩

* * *

Фиглярин — вот поляк примерный,
В нем истинных сарматов кровь:
Смотрите, как в груди сей верной
Хитра к отечеству любовь.
То мало, что из злобы к русским,
Хоть от природы трусоват,
Он бегал под орлом французским
И в битвах жизни был не рад.
Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей —
Уж не поляк, уж наш писатель,
Уж русский, к сраму наших дней.
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал.

1831

ЕЩЕ ДОРОЖНАЯ ДУМА

Колокольчик, замотайся,
Зазвени-ка, загуди!
Пыль, волнуйся, подымайся,
Что-то будет впереди!

Не сидится мне на месте,
Спертый воздух давит грудь;
Как жених спешит к невесте,
Я спешу куда-нибудь!

Даль — невеста под фатою!
Даль — таинственная даль!
Сочетаешься с тобою —
И в жене невесту жаль!

(1832)

ПОРУЧЕНИЕ В РЕВЕЛЬ НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ КАРАМЗИНУ

Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!

Николай!
Слушай лай —
Моря вой, будто пса
На цепи, под скалой,
Что ворчит в час ночной,
Как дразня небеса!

Николай!
Окликай
Старика за меня
И седому хрычу —
Лысгачу-усачу
Молви: «Доброго дня!»

От души
Почеши
Мокрый ус, то-то страсть!
И погладь, и похоль,
Как заморщится голь,
Как запенится пасть.

Экой черт!
С борта в борт
Как начнет он хлестать
Корабли наподхват —
Затопить землю рад,
Небеса заплевать!

Если ж тих —
Как жених,
Как невеста-краса;
Улыбается он,
Сквозь задумчивый сон,
И глядит в небеса...

Светел, чист,
Серебрист,
Чуть волнуется грудь, —
Миловать бы его,
Целовать бы всего
И на нем бы заснуть!

Стонет он, —
А сей стон
Так душе постижим,
Звуки так хороши,
Что все звуки души
В песнь сливаются с ним!

Я стоял,
Я внимал
Этой музыке волн, —
И качалась душа
По волнам, чуть дыша,
Как на якоре челн.

А маяк?
Точно в мрак
Втиснут красный янтарь;

Позадернется вдруг
То запышет вокруг,
Как волшебный фонарь.

А скалы?
Как скулы
Этой пасти морской!
Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль!
Дай мне кисть, Рюисдаль,
Дай сравниться с тобой!

Чудный мир,
Вечный пир!
Бог с тобою, земля!
Я в соленой воде
Как в родимом гнезде —
Будто брат корабля!

⟨1832⟩

РАЗГОВОР 7 АПРЕЛЯ 1832 ГОДА

Графине Е. М. Завадовской

Нет-нет, не верьте мне: я пред собой лукавил,
Когда я вас на спор безумно вызывал;
Ваш май, ваш Петербург порочил и бесславил,
И в ваших небесах я солнце отрицал.

Во лжи речей моих глаза уликой были:
Я вас обманывал — но мог ли обмануть?
Взглянули б на меня, и первые не вы ли
К тому, что мыслю я, легко нашли бы путь?

Я Петербург люблю, с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной —
И с свежей зеленью младых его садов.

Я Петербург люблю, к его пристрастен лету:
Так пышно светится оно в водах Невы;
Но более всего как не любить поэту
Прекрасной родины, где царствуете вы?

Природы северной любуяся зерцалом,
В вас любит он ее величье, тишину,
И жизнь цветущую под хладным покрывалом,
И зиму яркую, и кроткую весну.

Роскошен жаркий юг с своим сияньем знойным
И чудно-знойными глазами жен и дев —
Сим чутким зеркалом их думам беспокойным,
В котором так кипят любви восторг и гнев.

Обворожительны их прелестей зазывы,
Их нега, их тоска, их пламенный покой,
Их бурных прихотей нежданные порывы,
Как вспышки молнии из душной тьмы ночной.

Любовь беснуется под воспаленным югом;
Не ангелом она святит там жизни путь —
Она горит в крови отравой и недугом
И уязвляет в кровь болезненную грудь.

Но сердцу русскому есть красота иная,
Сын севера признал другой любви закон:
Любовью чистою таинственно сгорая,
Кумир божественный лелеет свято он.

Красавиц северных он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей.

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана,
Улыбку свежих уст, в которой лести нет,
Величье стройное их царственного стана
И чистой прелести ненарушимый цвет.

Он любит их речей и ласк неторопливость,
И, в шуме светских игр приметные едва,
Но сердцу внятные — чувствительности живость
И, чувством звучные, немногие слова.

Красавиц северных царица молодая!
Чистейшей красоты высокий идеал!
Вам глаз и сердца дань, вам лиры песнь живая
И лепет трепетный застенчивых похвал!

1832

К СТАРОМУ ГУСАРУ

Эй да служба! Эй да дядя!
Распотешил старина!
На тебя, гусар мой, глядя,
Сердце вспыхнуло до дна.

Молодые ночи наши
Разгорелись в ярких снах;
Будто пиршеские чаши
Снова сохнут на губах.

Будто мы не устарели —
Вьется локон вновь в кольце;
Будто дружеской артели
Все ребята налице.

Про вино ли, про свой ус ли
Или прочие грехи
Речь заводишь — словно гусли,
Разыграются стихи.

Так и скачут, так и льются,
Крупно, звонко, горячо,
Кровь кипит, ушки смеются,
И задергало плечо.

Подмывает, как волною,
Душу грешника прости!
Подпоясавшись, с тобою
Гаркнуть, топнуть и пройти.

Черт ли в *тайнах идеала*,
В *романтизме* и *луне* —
Как усатый запевала
Запоет по старине.

Буйно рвется стих твой пылкий,
Словно пробка в потолок,
Иль *Моэта* из бутылки
Брызжет хладный кипяток!

С одного хмельного духа
Закружится голова,

И мерещится старуха,
Наша сверстница Москва.

Не Москва, что ныне чинно
В шапке, в теплых сапогах
И проводит дни *невинно*
На воде и *на водах,* —

Но Двенадцатого года
Веселáя голова,
Как сбиралась непогода,
А ей было трын-трава!

Но пятнадцатого года,
В шумных кликах торжества,
Свой пожар и блеск похода
Запивавшая Москва!

Весь тот мир, вся эта шайка
Беззаботных молодцов
Ожили, мой ворожайка!
От твоих волшебных слов.

Силой чар и зелий тайных
Ты из старого кремня
Высек несколько случайных
Искр остывшего огня.

Бью челом, спасибо, дядя!
Спой еще когда-нибудь,
Чтобы мне, тебе подладя,
Стариной опять тряхнуть.

1832
Петербург

ДВА РАЗГОВОРА В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

1

«Чем занимается теперь Гизо российской?»
— «Да, верно, тем же всё: какой-нибудь подпиской
На книгу новую, которую — бог даст —
Когда-нибудь и он напишет да издаст!»

«Пусть говорят, что он сплетатель скучных врак,
Но публики *никто, как он, не занимает*!»
— «Как, публики? Бог весть, кто вкус ее узнает?
    У публики — вот это *так*!»

1832

* * *

Надо помянуть, непременно помянуть надо
    Трех Матрен
    Да Луку с Петром.
Помянуть надо и тех, которые, например:
Бывшего поэта Панцербитера,
Нашего прихода честного пресвитера,
    Купца Риттера,
Резанова, славного русского кондитера,
Всех православных христиан города
                                        Санкт-Питера
    Да покойника Юпитера.
Надо помянуть, непременно надо:
Московского поэта Вельяшева,
Его превосходительство генерала Ивашева
И двоюродного братца вашего и нашего.
Нашего Вальтера Скотта Масальского,
Дона Мигуеля короля Португальского
И господина городничего города Мосальского.
Надо помянуть, помянуть надо, непременно надо:
Покойной Беседы члена Кикина,
Российского дворянина Боборыкина
И известного в Банке члена Аникина.
Надобно помянуть и тех, которые, например,
                                        между прочими:
Раба божия Петрищева,
Известного автора Радищева,
Русского лексикографа Татищева,
Сенатора с жилою на лбу Ртищева,
Какого-то барина Станищева,
Пушкина — не Мусина, не Онегинского,
                                        а Бобрищева,
Ярославского актера Канищева,
Нашего славного поэта шурина Павлищева,

Сенатора Павла Ивановича Кутузова-Голенищева
И, ради Христа, всякого доброго нищего.
Надо еще помянуть, непременно иадо:
Бывшего французского короля дисвитского,
Бывшего варшавского коменданта Левицкого
И полковника Квитского,
Американца Монрое,
Виконта Дарленкура и его Ипсибое
И всех спасшихся от потопа при Ное.
Музыкального Бетговена
И таможенного Овена,
Александра Михайловича Гедеонова.
Всех членов старшего и младшего дома Бурбонова
И супруга Беррийской неизвестного оного,
Камер-юнкера Загряжского,
Уездного заседателя города Ряжского
И отцов наших, державшихся вина фряжского,
Славного лирика Ломоносова,
Московского статистика Андроссова
И Петра Андреича князя Вяземского курносого,
Оленина стереотипа
И Вигеля Филиппова сына Филиппа.
Бывшего камергера Приклонского,
Г. Шафонского,
Карманный грош кн. Гр. Волконского
И уж Александра Македонского,
Этого не обойдешь, не объедешь. Надо
Помянуть... покойника Винценгероде,
Саксонского министра Люцероде,
Графиню вице-канцлершу Нессельроде,
Покойного скрыпача Роде,
Хвостова в анакреонтическом роде.
Уж как ты хочешь, надо помянуть:
Графа нашего приятеля Велегорского (что не
любит вина горского),
А по-нашему Велеурского,
Покойного пресвитера Самбурского,
Дершау, полицмейстера С.-Петербургского,
Почтмейстера гор. Василисурского.
Надо помянуть: парикмахера Эме,
Ресторатора Дюме,
Ланского, что губернатором в Костроме,
Доктора Шулера, умершего в чуме,

И полковника Бартоломе;
Повара али историографа Миллера,
Немецкого поэта Шиллера
И Пинети, славного ташеншпилера.
Надобно помянуть (особенно тебе): Арндта
Да англичанина Warnt'а.
Известного механика Мокдуано,
Москетти — московского сопрано
И всех тех, которые напиваются рано;
Натуралиста Кювье
И суконных фабрикантов города Лувье,
Французского языка учителя Жиля,
Отставного английского министра Пиля
И живописца-аматёра Киля.
Надобно помянуть:
        Жуковского-балладника
        И Марса, питерского помадника.
Надо помянуть
        Господ: Чулкова,
        Носкова,
        Башмакова,
        Сапожкова.
Да при них и генерала Пяткина
И князя Ростовского-Касаткина.

Март 1833

К ЯЗЫКОВУ

Я у тебя в гостях, Языков!
Я в княжестве твоих стихов,
Где эхо не забыло кликов
Твоих восторгов и пиров.
Я в Дерпте, павшем пред тобою!
Его твой стих завоевал:
Ты рифмоносною рукою
Дерпт за собою записал.
Ты русским духом, русской речью
В нем православья поднял тень
И русских рифм своих картечью
Вновь Дерпту задал Юрьев день.
Хвала тебе! Живое пламя
Ты не вотще в груди таил:

Державина святое знамя
Ты здесь с победой водрузил!
Ты под его широкой славой
Священный заключил союз:
Орла поэзии двуглавой
С орлом германских древних муз.
Он твой, сей Дерпт германо-российский!
По стогнам, в россказнях бесед
Еще грохочут отголоски
Твоих студенческих побед.
Ни лет поток, ни элементы
Тебе не страшны под венцом,
И будут поздние студенты
Здесь пить о имени твоем.

В Италии читай Вергилья,
В Париже Беранже читай:
Где музы оперились крылья,
Там на полет ее взирай.
Я здесь читал, твердил прилежно
И с полным наслажденьем вновь
Стихи, где стройно и мятежно
Волнуется твоя любовь,
Стихи, где отразились ярко
Твои студенческие дни,
Сквозь кои ты промчался жарко,
Как сквозь потешные огни,[1]
Стихи, где мужественным словом
Отозвалась душа твоя
В однообразье вечно новом,
Как все глаголы бытия.
Не слушайся невежд холодных,
Не уважай судей тупых:
Сочувствий тайных и свободных
В них не пробудит свежий стих.
К тебе их суд неблагосклонен,
Тем лучше: следственно, ты прав!
Один талант многосторонен,
Многоугодлив и лукав.

---

[1] ...Мы любовались
На товарищей, — они
Веселые разбегались
И скакали чрез огни.
Языков

Но чувство, брошенное скрытно
Залогом жизни в нашу грудь,
Всегда одно и первобытно,
Чем было, тем оно и будь!
Скажите мне: дыханье розы,
Рев бури, гул морской волны,
Веселья сердца, сердца слезы,
Улыбка первая весны,
В часы полночного молчанья
Звездами вытканная твердь,
Святые таинства созданья:
Рожденье, жизнь, любовь и смерть
И всё, что жизни нам дороже,
Чем нам дано цвести, скорбеть,
Не так же ль всё одно и то же,
Как было, есть и будет впредь?

Сентябрь 1833
Дерпт

К ГРАФУ В. А. СОЛЛОГУБУ

(В Дерпт)

Что делает, мой граф, красавица Эмилья?
Сгрустнулось мне по ней и хочется узнать,
Как, милая, она изволит поживать?
Как русским языком играет без усилья?
Как здравствуют ее красивые плеча —
Младого лебедя возвышенные крылья,
Глаза ее. души два светлые луча,
Уста с улыбкою, вдыхающей веселье,
И свежих жемчугов живое ожерелье,
Которыми ее унизаны уста,
И всё, что прелесть в ней, и всё, что красота?
Сей горделивый стан царицы сановитой
С беспечной простотой, с младенчеством чела,
По коим набожно Минервою-Харитой
Златая старина ее бы нарекла?
Но в наш железный век, в сей век холодной прозы,
Где светлых вымыслов ощипаны все розы,
Где веры нет к мечтам и мертвы чудеса,
Где разум всё сушит, где даже и на лире
Доказывать должны, что дважды два — четыре,

Где и поэзия, отвергнув небеса,
Чтоб не предать себя изгнанью и проклятью,
Благовествует нам гражданскою печатью,
И где, из красоты кумиров не творя,
Поэты, закрутив мечтам своим поводья,
Буквально держатся имен календаря
И скромно тащатся тропой простонародья.
Как родилась она некстати, боже мой!
Богиня лучших дней, она смиренно ныне
В уездном городке, как лилия в пустыне,
Цветет инкогнито дворянкой молодой!
Но в черством веке сем есть огненная младость,
В сосуд холодного и трезвого питья
Вливает хмель она и чары бытия —
Любви, поэзии и снов сердечных сладость!
Есть край; там, темный плащ закинув за плечо,
Питомец южных дум, на севере рожденный,
Студент и трубадур, с гитарой вдохновенной
Поет, и чувствует, и любит горячо.
У окон красоты, в часы ночной прохлады,
Приносит робко ей он в жертву серенады,
Смущая сладостно девические сны,
Вдыхает негу в них и юга, и весны.
Улыбка алая уста ее объемлет,
Душа бессонная любовной песне внемлет
И радуется ей, и безмятежный вздох
Из груди вырвался и на сердце заглох.
Сон поэтический! Волшебно с изголовья
Она несется в край мечты и баснословья,
И мыслью чистою — как с лилии роса
Иль на груди ее девическая лента —
Приветствует она влюбленный гимн студента,
Земную жизнь и мир забыв на полчаса.

(1834)

ЕЩЕ ТРОЙКА

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет
И хохочет, и визжит,

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто,
То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит
И аукается с ней,
Иль русалка тараторит
В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной
Поэтическая весть!
Много в ней и думы томной,
И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи,
Обогнул свое кольцо
И посыпал блеск зыбучий
Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? И отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нем ретиво рвется
В путь обратный или вдаль?
Встречи ль ждет он не дождется
Иль покинутого жаль?

Ждет ли перстень обручальный,
Ждут ли путника пиры
Или факел погребальный
Над могилою сестры?

Как узнать? Уж он далеко!
Месяц в облако нырнул,
И в пустой дали глубоко
Колокольчик уж заснул.

(1834)

ФЛОРЕНЦИЯ

Ты знаешь край! Там льется Арно,
Лобзая темные сады;
Там солнце вечно лучезарно
И рдеют золотом плоды.
Там лавр и мирт благоуханный
Лелеет вечная весна,
Там город Флоры соимянный
И баснословный, как она.

Край чудный! Он цветет и блещет
Красой природы и искусств,
Там мрамор мыслит и трепещет,
В картине дышит пламень чувств.
Там речь — поэзии напевы,
Я с упоеньем им внимал;
Но ничего там русской девы
Я упоительней не знал.

Она, и стройностью красивой,
И яркой белизной лица,
Была соперницей счастливой
Созданий хитрого резца.
Канова на свою Психею
При ней с досадой бы смотрел,
И мрамор девственный пред нею,
Стыдясь, завистливо тускнел.

На белом мраморе паросском
Ее чела, венцом из кос,
Переливалась черным лоском
Густая прядь густых волос.
И черным пламенем горела
Очей пылающая ночь;
И южным зноем пламенела
Младая северная дочь.

1834

РОЗА И КИПАРИС

Графине М. А. Потоцкой

Вот вы и я: подобье розы милой,
Цветете вы и чувством, и красой;
Я кипарис угрюмый и унылый,
Воспитанный летами и грозой.

И будет мне воспоминанье ваше,
Подобно ей, свежо благоухать;
При нем душе веселье будет краше,
При нем душе отраднее страдать.

Когда же вам сгрустнется и случайно
Средь ясных дней проглянет черный день —
Пускай мое воспоминанье тайно
Вас осенит, как кипариса тень.

1835
Villa d'Està (близ Тиволи)

* * *

Всё грустно, всё грустней, час от часу тяжелей,
Час от часу на жизнь темней ложится мгла,
На жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе
Любимых дум моих святая цель была.
Всё повод мне к слезам, все впечатленья полны
Тобой, одной тобой: подъятые тоской,
Теснятся ли к груди воспоминаний волны —
Всё образ твой, всё ты, всё ты передо мной,
Ты, неотступно ты! Грядущего ли даль
Откроется глазам пустынею безбрежной —
Ты там уж ждешь меня с тоскою безнадежной;
Пророчески тебя и в будущем мне жаль.

1835
Рим

KENNST DU DAS LAND?[1]

Kennst du das Land,
wo blüht Oranienbaum?[2]

Kennst du das Land, где фимиамом чистым
Упоены воздушные струи,
Где по холмам прохладным и тенистым
Весна таит сокровища свои?
Где негой роз и блеском их румянца
Ковры лугов пестреют и цветут
И где срослись и злато померанца,
И зелени душистый изумруд?

Kennst du das Land, где север смотрит югом,
Роскошно свеж, улыбчиво красив,
И светлый брег зеленым полукругом
Спускается на голубой залив?
Там всё цветет, там всё благоухает!
Счастливый мир волшебства и чудес!
И на душу там что-то навевает
Златые дни полуденных небес.

Kennst du das Land, гнездо орлов и грома,
Где бурь мирских безвестен ныне шум,
Где дышит мир, где ум и сердце дома
И есть простор порыву чувств и дум?
Там храм стоит, богам приют любимый
Пред алтарем искусства и наук;
Светло горит там пламенник, хранимый
Заботливым служеньем нежных рук!

Kennst du das Land, где пурпуром и златом
Сгорает день в блистательном венце
И, тихо дня любуяся закатом,
Красавица, с раздумьем на лице,
С мольбой в глазах, с улыбкой умиленья,
Душой глядит, как меркнет дня кумир?
И ангел ей несет благословенья,
Ей и земле даруя сладкий мир!

---

[1] Ты знаешь ли край? (нем.) — *Ред.*
[2] Ты знаешь ли край, где цветет померанцевое дерево? (нем.) — *Ред.*

Волшебная страна! Предместье рая!
Там день без туч, там радость без труда!
Там царствует богиня молодая,
Чужих небес прекрасная звезда!
В полночное созвездье закатившись,
Светло взошла над русскою землей,
И, с звездною семьею породнившись,
Она горит нам прелестью родной!

Dahin, dahin,[1] ⟨Жуковский⟩ наш Торквато!
Dahin, dahin, наш Тициан — Брюллов!
Там закипит в вас горячо и свято
Живой восторг возвышенных трудов!
Там мыслям есть гостеприимный гений
И есть привет фантазиям мечты!
Для лиры там есть муза вдохновений,
Для кисти есть харита красоты!

⟨1836⟩

ШУТКА

Графиня! То-то на просторе
Изъездили вы белый свет;
Знакомы суша вам и море,
Как бальный лаковый паркет.
Вы с вихрями вальсировáли
По рытвинам валов морских,
Когда вам бури бал давали
Под вой оркестров громовых.

Вы были в мире иноземцев,
В столпосмешенье языков,
И в царстве белокурых немцев
С оттенкой рыжих париков.
Вы были там, где вечный кнастер
Коптит умы и небеса
И каждый собеседник мастер
Отмалчиваться три часа.

[1] Туда, туда (нем.). — *Ред.*

Теперь вы человек ученый
И многое могли узнать;
Позвольте ж по причине оной
Два-три вопроса вам задать:
Скажите, в цветниках природы,
Где ваша странствует звезда,
Скажите — вкусны ль бутерброды
И благовонна ль резеда?

В той стороне, где Вертер жаркой,
И не один, найдется вновь,
Где между пивом и сигаркой
И бродит и горит любовь,
Скажите — многих ли баронов,
Князей с землей и без земли,
Немецких фофонов и фонов
По-русски вы с ума свели?

Стыдясь и глядя исподлобья,
Скажите прямо, в простоте —
Нашли ли где хоть тень подобья
Вы вашей русской красоте?
Я из берлоги вон ни пяди,
Не то что вы! Я домосед;
Так просветите, бога ради,
И дайте весть про белый свет.

⟨1836⟩

СИНОНИМЫ: ГОСТИНАЯ — САЛОН

Недоумением напрасно ты смущен:
Гостиная — одно, другое есть *салон.*
Гостиную найдешь в порядочном трактире,
Гостиную найдешь и на твоей квартире,
Салоны ж созданы для избранных людей.
Гостиные видал и ты, Видок-Фиглярин!
В *гостиной* можешь быть и ты какой-то барин,
Но уж в *салоне* ты решительно лакей.

Июнь 1836

ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА ОРЛОВСКОГО

Грустно видеть, Русь святая,
Как в степенные года
Наших предков удалая
Изнемечилась езда.

То ли дело встарь: телега,
Тройка, ухарский ямщик,
Ночью дуешь без ночлега,
Днем же — высунув язык.

Но зато как всё кипело
Беззаботным удальством!
Жизнь — копейка! Бей же смело,
Да и ту поставь ребром!

Но как весело, бывало,
Раздавался под дугой
Голосистый запевало,
Колокольчик рассыпной.

А когда на водку гривны
Ямщику не пожалеть,
То-то песни заунывны
Он начнет, сердечный, петь!

Север бледный, север плоский,
Степь, родные облака —
Всё сливалось в отголоски,
Где слышна была тоска.

Но тоска — струя живая
Из родного тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска.

Сердце сердцу весть давало
И из тайной глубины
Всё былое выкликало
И все слезы старины.

Не увидишь, как проскачешь,
И не чувствуешь скачков,
Ни как сердцем сладко плачешь,
Ни как горько для боков.

А проехать ли случится
По селенью в красный день?
Наш ямщик приободрится,
Шляпу вздернет набекрень.

Как он гаркнет, как присвистнет
Горячо по всем по трем,
Вороных он словно вспрыснет
Вдохновительным кнутом.

Тут знакомая светлица
С расписным своим окном;
Тут его душа девица
С подаренным перстеньком.

Поравнявшись, он немножко
Вожжи в руки приберет,
И растворится окошко,
Словно солнышко взойдет.

И покажется касатка,
Белоликая краса.
Что за очи! за повадка!
Что за русая коса!

И поклонами учтиво
Разменялися они,
И сердца в них молчаливо
Отозвалися сродни...

А теперь, где эти тройки?
Где их ухарский побег?
Где ты, колокольчик бойкий,
Ты, поэзия телег?

Где ямщик наш, на попойку
Вставший с темного утра,
И загнать готовый тройку
Из полтины серебра?

Русский ям молчит и чахнет,
От былого он отвык;
Русским духом уж не пахнет,
И ямщик уж — не ямщик.

Дух заморский и в деревне!
И ямщик, забыв кабак,
Распивает чай в харчевне
Или курит в ней табак.

Песню спеть он не сумеет,
Нет зазнобы ретивой,
И на шляпе не алеет
Лента девицы мило́й.

По дороге, в чистом поле
Колокольчик наш заглох,
И, невиданный дотоле,
Молча тащится, трёх-трёх,

Словно чопорный германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе.

Грустно видеть, воля ваша,
Как, у прозы под замком,
Поэтическая чаша
Высыхает с каждым днем!

Как всё то, что веселило
Иль ласкало нашу грусть,
Что сыздетства затвердило
Наше сердце наизусть,

Все поверья, всё раздолье
Молодецкой старины —
Подъедает своеволье
Душегубки-новизны.

Нарядились мы в личины,
Сглазил нас недобрый глаз,
И Орловского картины —
Буква мертвая для нас.

Но спасибо, наш кудесник,
Живописец и поэт,
Малодушным внукам вестник
Богатырских оных лет!

Русь былую, удалую
Ты потомству передашь:
Ты схватил ее живую
Под народный карандаш.

Захлебнувшись прозой пресной,
Охмелеть ли захочу
И с мечтой из давки тесной
На простор ли полечу —

Я вопьюсь в твои картинки
Жаждой чувств и жаждой глаз
И творю в душе поминки
По тебе, да и по нас!

Между 1832 и 1837

ТЫ СВЕТЛАЯ ЗВЕЗДА

Ты светлая звезда таинственного мира,
Когда я возношусь из тесноты земной,
Где ждет меня тобой настроенная лира,
Где ждут меня мечты, согретые тобой.

Ты облако мое, которым день мой мрачен,
Когда задумчиво я мыслю о тебе
Иль измеряю путь, который нам назначен
И где судьба моя чужда твоей судьбе.

Ты тихий сумрак мой, которым грудь свежеет,
Когда на западе заботливого дня
Мой отдыхает ум, и сердце вечереет,
И тени смертные снисходят на меня.

⟨1837⟩

Я ПЕРЕЖИЛ

Я пережил и многое, и многих,
И многому изведал цену я;
Теперь влачусь в одних пределах строгих
Известного размера бытия.

Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем всё ближе и темней;
Усталых дум моих полет стал низок,
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперед мечтою жадной,
Надежды глас замолк — и на пути,
Протоптанном действительностью хладной,
Уж новых мне следов не провести.
Как ни тяжел мне был мой век суровый,
Хоть житницы моей запас и мал,
Но ждать ли мне безумно жатвы новой,
Когда уж снег из зимних туч напал?
По бороздам серпом пожатой пашни
Найдешь еще, быть может, жизни след;
Во мне найдешь, быть может, след вчерашний,
Но ничего уж завтрашнего нет.
Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла
И что земля в глухих своих могилах
Безжалостно навеки погребла.

1837

НА ПАМЯТЬ

В края далекие, под небеса чужие
Хотите вы с собой на память перенесть
О ближних, о стране родной живую весть,
Чтоб стих мой сердцу мог, в минуты неземные,
Как верный часовой, откликнуться: Россия!
Когда беда придет иль просто как-нибудь
Тоской по родине заноет ваша грудь,
Не ждите от меня вы радостного слова;
Под свежим трауром печального покрова,
Сложив с главы своей венок блестящих роз,
От речи радостной, от песни вдохновенной
Отвыкла муза: ей над урной драгоценной
Отныне суждено быть музой вечных слез.
Одною думою, одним событьем полный,
Когда на чуждый брег вас переносят волны
И звуки родины должны в последний раз
Печально врезаться и отозваться в вас,

На память и в завет о прошлом в мире новом
Я вас напутствую единым скорбным словом,
Затем что скорбь моя превыше сил моих;
И, верный памятник сердечных слез и стона,
Вам затвердит одно рыдающий мой стих:
Что яркая звезда с родного небосклона
Внезапно сорвана средь бури роковой,
Что песни лучшие поэзии родной
Внезапно замерли на лире онемелой,
Что пал во всей поре красы и славы зрелой
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,
Который трепетом и сладкозвучным шумом
От сна воспрянувших пророческих ветвей
Вещал глагол богов на севере угрюмом,
Что навсегда умолк любимый наш поэт,
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.

1837

* * *

На радость полувековую
Скликает нас веселый зов:
Здесь с музой свадьбу золотую
Сегодня празднует Крылов.
На этой свадьбе — все мы сватья!
И не к чему таить вину:
Все заодно, все без изъятья,
Мы влюблены в его жену.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

И этот брак был не бесплодный!
Сам Феб его благословил!
Потомству наш поэт народный
Свое потомство укрепил.
Изба его детьми богата
Под сенью брачного венца;
И дети — славные ребята!
И дети все умны — в отца.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Мудрец игривый и глубокий,
Простосердечное дитя,
И *дочкам* он давал *уроки*,
И батюшек учил шутя.
Искусством ловкого обмана
Где и кольнет из-под пера:
Так *Петр кивает на Ивана*,
Иван кивает на Петра.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Где нужно, он навесть умеет
Свое волшебное стекло,
И в зеркале его яснеет
Суровой истины чело.
Весь мир в руках у чародея,
Все твари дань ему несут,
По дудке нашего Орфея
Все звери пляшут и поют.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Забавой он людей исправил,
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта — наша быль.
И не забудут этой были,
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.

Длись счастливою судьбою,
Нить любезных нам годов!

Здравствуй с милою женою,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Чего ему нам пожелать бы?
Чтобы от свадьбы *золотой*
Он дожил до *алмазной* свадьбы
С своей столетнею женой.
Он так беспечно, так досужно
Прошел со славой долгий путь,
Что до ста лет не будет нужно
Ему прилечь и отдохнуть.

Длись судьбами всеблагими,
Нить любезных нам годов!
Здравствуй с детками своими,
Здравствуй, дедушка Крылов!

Январь 1838

САМОВАР

Семейству П. Я. Убри

Отечества и дым нам сладок и приятен.
Державин

Приятно находить, попавшись на чужбину,
Родных обычаев знакомую картину,
Домашнюю хлеб-соль, гостеприимный кров,
И сень, святую сень отческих богов, —
Душе, затертой льдом, в холодном море света,
Где на родной вопрос родного нет ответа,
Где жизнь — обрядных слов один пустой обмен,
Где ты везде чужой, у всех — monsieur N. N.
У тихой пристани приятно отогреться,
И в лица ближние доверчиво всмотреться,
И в речи вслушаться, в которых что-то есть
Знакомое душе и дней прошедших весть.

Дни странника листам разрозненным подобны,
Их разрывает дух насмешливый и злобный;
Нет связи: с каждым днем всё сызнова живи,
А жизнь и хороша преданьями любви,

Сродством поверий, чувств, созвучьем впечатлений
И милой давностью привычных отношений.
В нас ум — космополит, но сердце — домосед:
Прокладывать всегда он любит новый след,
И радости свои все в будущем имеет;
Но сердце старыми мечтами молодеет,
Но сердце старыми привычками живет
И радостней в тени прошедшего цветет!
О, будь благословен, кров светлый и приютный,
Под коим как родной был принят гость минутный!
Где беззаботно мог он сердце развернуть
И сиротство его на время обмануть!
Где любовался он с сознаньем и участьем
Семейства милого согласием и счастьем
И видел, как цветут в безоблачной тиши
Младые радости родительской души;
Оттенки нежные и севера и юга,
Различьем прелестей и сходством друг на друга
Они любовь семьи и дому красота.
Одна — таинственна, как тихая мечта
Иль ангел, облаком себя полузакрывший,
Когда, ко праху взор и крылья опустивши,
На рубеже земли и неба он стоит
И, бедствиям земным сочувствуя, грустит.
И много прелести в задумчивости нежной,
В сей ясности, средь бурь житейских безмятежной,
И в чистой кротости, которыми она,
Как тихим заревом, тепло озарена!
Другая — радостно в грядущее вступая
И знающая жизнь по первым утрам мая,
На празднике весны в сиянье молодом
Свежеет розою и вьется мотыльком.
А третья — младший цвет на отрасли семейной.
Пока еще в тени и прелестью келейной
Растет и, на сестер догадливо смотря,
Ждет, скоро ль светлым днем взойдет ее заря?

У вас по-русски здесь — тепло и хлебосольно
И чувству и уму просторно и привольно;
Не дует холодом ни в душу, ни в плеча,
И сердце горячо, и печка горяча.
Хоть вы причислены к Германскому союзу,
Германской чинности вы сбросили обузу.

За стол не по чинам садитесь, и притом
И лишний гость у вас не лишний за столом.
Свобода — вот закон домашнего устава:
Охота есть — болтай! И краснобаю слава!
На ум ли лень найдет — немым себе сиди
И за́ словом в карман насильно не ходи!
Вот день кончается в весельях и заботах;
Пробил девятый час на франкфуртских воротах;
Немецкой публики восторг весь истощив,
Пропела Лёве ей последний свой мотив;
Уж пламенный Дюран оставил поле брани,
Где, рыцарь классиков, сражался он с Гернани,
И, пиво осушив и выкурив табак,
Уж Франкфурт, притаясь, надел ночной колпак.
Но нас еще влечет какой-то силой тайной
В знакомый тот приют, где с лаской обычайной
Вокруг стола нас ждет любезная семья.
Я этот час люблю — едва ль не лучший дня,
Час поэтический средь прозы черствых суток,
Сердечной жизни час, веселый промежуток
Между трудом дневным и ночи мертвым сном.
Все счеты сведены, — в придачу мы живем;
Забот житейских нет, как будто не бывало:
Сегодня с плеч слегло, а *завтра* не настало.
Час дружеских бесед у чайного стола!
Хозяйке молодой и честь, и похвала!
По-православному, не на манер немецкий,
Не жидкий, как вода или напиток детский,
Но Русью веющий, но сочный, но густой,
Душистый льется чай янтарною струей.
Прекрасно!.. Но один встречаю недостаток:
Нет, быта русского неполон отпечаток.
Где ж самовар родной, семейный наш очаг,
Семейный наш алтарь, ковчег домашних благ?
В нем льются и кипят всех наших дней преданья,
В нем русской старины живут воспоминанья;
Он уцелел один в обломках прежних лет,
И к внукам перешел неугасимый дед.
Он русский рококо, нестройный, неуклюжий,
Но внутренно хорош, хоть некрасив снаружи;
Он лучше держит жар, и под его шумок
Кипит и разговор, как прыткий кипяток.
Как много тайных глав романов ежедневных,
Животрепещущих романов, задушевных,

Которых в книгах нет — как сладко ни пиши!
Как много чистых снов девической души,
И нежных ссор любви, и примирений нежных,
И тихих радостей, и сладостно мятежных —
При пламени его украдкою зажглось
И с облаком паров незримо разнеслось!
Где только водятся домашние пенаты,
От золотых палат и до смиренной хаты,
Где медный самовар, наследство сироты,
Вдовы последний грош и роскошь нищеты, —
Повсюду на Руси святой и православной
Семейных сборов он всегда участник главный.
Нельзя родиться в свет, ни в брак вступить нельзя,
Ни «здравствуй!» ни «прощай!» не вымолвят друзья,
Чтоб, всех житейских дел конец или начало,
Кипучий самовар, домашний запевало,
Не подал голоса и не созвал семьи
К священнодействию заветной питии.
Поэт сказал — и стих его для нас понятен:
«Отечества и дым нам сладок и приятен»!
Не самоваром ли — сомненья в этом нет —
Был вдохновлен тогда великий наш поэт?
И тень Державина, здесь сетуя со мною,
К вам обращается с упреком и мольбою
И просит, в честь ему и православью в честь,
Конфорку бросить прочь и — самовар завесть.

29 декабря 1838
Франкфурт

БРАЙТОН

Сошел на Брайтон мир глубокий,
И, утомившись битвой дня,
Спят люди, нужды и пороки,
И только моря гул широкий
Во тьме доходит до меня.

О чем ты, море, так тоскуешь?
О чем рыданий грудь полна?
Ты с тишиной ночной враждуешь,
Ты рвешься, вопишь, негодуешь,
На ложе мечешься без сна.

Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,
Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий,
Перекликаются леса.

Но всё, о море! всё ничтожно
Пред жалобой твоей ночной,
Когда смутишься вдруг тревожно
И зарыдаешь так, что можно
Всю душу выплакать с тобой.

Конец 1838

ЛЮБИТЬ. МОЛИТЬСЯ. ПЕТЬ

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,
И упование того, что будет вновь;
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

⟨1839⟩

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

После зноя тихо дремлет
Прохлажденная земля;
Не такая ль ночь объемлет
Елисейские поля!

Тени легкие, мелькая,
В светлом сумраке скользят,
Ночи робко доверяя
То, что дню не говорят.

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

Блещут свежестью сапфирной
Небо, воздух и Нева,
И, купаясь в влаге мирной,
Зеленеют острова.
Вёсел мерные удары
Раздаются на реке
И созвучьями гитары
Замирают вдалеке.

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

Как над ложем новобрачной
Притаившиеся сны,
Так в ночи полупрозрачной
Гаснут звезды с вышины!
Созерцанья и покоя
Благодатные часы!
Мирной ночи с днем без зноя
Чудом слитые красы!

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

Чистой неги, сладкой муки
Грудь таинственно полна.
Чу! Волшебной песни звуки
Вылетают из окна.
Пой, красавица певица!
Пой, залетный соловей,
Сладкозвучная царица
Поэтических ночей!

Дышит счастьем,
Сладострастьем
Упоительная ночь!
Ночь немая,
Голубая,
Неба северного дочь!

(1840)

* * *

Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас.

Как много уж имян прекрасных
Она отторгла у живых,
И сколько лир висит безгласных
На кипарисах молодых.

Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло.

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждем,
С днем каждым сами умирая,
Пока не вовсе мы умрем.

Сыны другого поколенья,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Они, что любим, разлюбили,
Страстям их — нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут — нам уж не бывать!

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим как памятник надгробный
Среди обителей людских.

⟨1840⟩

ЕЩЕ ДОРОЖНАЯ ДУМА

Опять я на большой дороге,
Стихии вольной — гражданин,
Опять в кочующей берлоге
Я думу думаю один.

Мне нужны: это развлеченье,
Усталость тела, и тоска,
И неподвижное движенье,
Которым зыблюсь я слегка.

В них возбудительная сила,
В них магнетический прилив,
И жизни потаенной жила
Забилась вдруг на их призыв.

Мир внешний, мир разнообразный
Не существует для меня:
Его явлений зритель праздный,
Не различаю тьмы от дня.

Мне всё одно: улыбкой счастья
День обогреет ли поля,
Иль мрачной ризою ненастья
Оделись небо и земля.

Сменяясь панорамой чудной,
Леса ли, горы ль в стороне,
Иль степью хладной, беспробудной
Лежит окрестность в мертвом сне;

Встают ли села предо мною,
Святыни скорби и труда,
Или с роскошной нищетою
В глазах пестреют города!

Мне всё одно: обратным оком
В себя я тайно погружен,
И в этом мире одиноком
Я заперся со всех сторон.

Мне любо это заточенье,
Я жизнью странной в нем живу:
Действительность в нем — сновиденье,
А сны — я вижу наяву!

23 сентября 1841

РУССКИЕ ПРОСЕЛКИ

Скажите, знаете ль, честные господа,
Что значит русскими проселками езда?
Вам сплошь Европа вся из края в край знакома:
В Париже, в Лондоне и в Вене вы как дома.
Докатитесь туда по гладкому шоссе
И думаете вы, что так и ездят все,
И все езжали так; что, лежа, как на розах,
Род человеческий всегда езжал в дормёзах
И что, пожалуй, наш родоначальник сам
Не кто иной, как всем известный Мак-Адам.
Счастливцы (как бы к вам завербоваться в секту?),
Россию знаете по Невскому проспекту
До по симбирскому бурмистру, в верный срок
К вам привозящему ваш годовой оброк.

Вам жить легко. Судьба вам служит по контракту
И вас возить должна всё по большому тракту.
Для вас проселков нет. Всегда пред вами цель,
Хотя б вы занеслись за тридевять земель.
Нет, вызвал бы я вас на русские проселки,
Чтоб о людском житье прочистить ваши толки.
Тут мир бы вы другой увидели! Что шаг —
То яма, косогор, болото иль овраг.
Я твердо убежден, что со времен потопа
Не прикасалась к ним лопата землекопа.
Как почву вывернул, размыл и растрепал
С небес сорвавшийся сей водяной обвал,
Так и теперь она вся в том же беспорядке,
Вся исковеркана, как в судорожной схватке.
Дорога лесом ли? Такие кочки, пни,
Что крепче свой язык к гортани ты прильпни —
Не то такой толчок поддаст тебе, что ой-ли!
И свой язык насквозь прокусишь ты. Рекой ли
Дорога? Мост на ней уж подлинно живой:
Так бревна взапуски и пляшут под тобой,
И ты того и жди, что из-за пляски этой
К русалкам попадешь с бага́жем и каретой.
Есть перевоз ли? Плот такое уж гнилье,
Что только бабам мыть на нем свое белье.
Кому на казнь даны чувствительные нервы
(Недуг новейших дней), тому совет мой первый:
Проселком на Руси не ездить никогда.
Пройди сто верст пешком. Устанешь — не беда:
Зато ты будешь цел и с нервами в покое;
Не будет дергать их, коробить в перебое,
И не начнешь в сердцах, забыв и страх и грех,
Как Демон Пушкина, злословить всё и всех.
Опасность я видал, и передряг немало
На суше и водах в мой век мне предстояло.
Был Бородинский день, день жаркий, боевой,
Французское ядро визжало надо мной,
И если мирного поэта пожалело,
Зато хоть двух коней оно под ним заело.
Я на море горел, и сквозь ночную тьму
(Не мне бы тут стоять, а Данте самому),
Не сонный, наяву, я зрел две смерти рядом,
И каждую с своим широкозевным адом:
Один весь огненный и пышущий, другой —
Холодный, сумрачный, бездонный и сырой;

И оставалось мне на выбор произвольный
Быть гусем жареным иль рыбой малосольной.
Еще есть черная отметка на счету.
Двух паровозов, двух волканов на лету
Я видел сшибку: лоб со лбом они столкнулись,
И страшно крякнули, и страшно пошатнулись —
И смертоносен был напор сих двух громад.
Вот вам живописал я свой и третий ад.
Но это случаи, несчастье, приключенье,
А здесь — так быть должно, такое заведенье,
Порядок искони, нормальный, коренной,
Чтоб быть, как на часах, бессменно пред бедой,
И если выйдешь сух нечаянно от Сциллы,
То у Харибды ждать увечья иль могилы.
Проселки — ад земной; но русский бог велик!
Велик — уж нечего сказать — и наш ямщик.

Сентябрь 1841

ПРИ ПОДАРКЕ АЛЬБОМА

На память обо мне, когда меня не будет,
В альбом впишите:
«*Здесь* он был мне верный друг,
И *там* меня в своих молитвах не забудет,
И *там* он будет мой».
Потом, когда досуг
Украдкой даст вам час, чтобы побыть с собою,
На эти свежие и белые листы
Переносите вы свободною рукою
Дневную исповедь, отметки и мечты,
Свои невольные и вольные ошибки,
Надежды, их обман, и слезы, и улыбки,
И вспышки тайные сердечного огня,
И всё, что жизни сны вам на́ душу навеют,
Записывайте здесь живую повесть дня
И всё, что скажут вам, и то, чего не смеют
Словами вымолвить, но взор договорит,
И всё, что в вас самих таинственно молчит.
Но будьте искренны — нас искренность спасает...
Да не лукавит в вас ни чувство, ни язык,
И вас заранее прощеньем разрешает
Ваш богомол и духовни́к.

31 декабря 1841

КОМАР И КЛОП

Комар твой не комар, а разве клоп вонючий;
Комар — остряк, шалун, и бойкий и летучий,
Воздушная юла, крылатый бес, пострел;
Нет дома, нет палат, куда б он не влетел.
Со всеми и везде он нагло куролесит:
И дразнит, и язвит, и хоть кого так взбесит.
А то, что с нежною любовью создал ты,
Чтоб в чаде вылились отцовские черты,
Сей отпечаток твой и вывеска живая
Есть злая гадина, без крыльев и немая;
Ее разводит вонь, нечистота и тьма.
Сей дряни входа нет в опрятные дома,
А разве в грязную и подлую конуру,
Где производишь ты свою литературу.

1842

ЛИСТУ

Когда в груди твоей — созвучий
Забьет таинственный родник
И на чело твое из тучи
Снисходит огненный язык;

Когда, исполнясь вдохновенья,
Поэт и выспренний посол!
Теснишь души своей виденья
Ты в гармонический глагол —

Молниеносными перстами
Ты отверзаешь новый мир
И громозвучными волнами
Кипит, как море, твой клавир;

И в этих звуках скоротечных,
На землю брошенных тобой,
Души бессмертной, таинств вечных
Есть отголосок неземной.

Апрель 1842

НОЧЬ В РЕВЕЛЕ

Посвящается княгине Е. Н. Мещерской

1

Что ты, в радости ль, во гневе ль,
Море шумное, бурлишь
И, как тигр, на старый Ревель
Волны скалишь и рычишь?

Разыгрался зверь косматый,
Страшно на дыбы прыгнул,
Хлещет гривою мохнатой,
Ноздри влажные раздул.

Что за грозная картина,
Что за прелесть, что за страх!
Взвыла дикая пучина,
Вздрогнув в темных глубинах.

2

Что ж ты, море, так бушуешь?
Словно шабаш ведьм ночных!
Про кого ты там колдуешь
Ночью, в чане волн седых?

Про того ли про Кащея,
Что, не принятый землей,
Ждет могилы, сиротея,
Не мертвец и не живой.

Дней Петровых современник,
Взяли в плен его враги,
И по смерти всё он пленник
За грехи и за долги.

Ты поведай, скоро ль сбросит
Он курчавый свой парик
И земную цепь износит,
Успокоенный старик?

Вал за валом ты торопишь,
Стон за стоном издаешь,

Но о чем и что ты вопишь,
Уж никак не разберешь.

Молча, думою прилежной
Каждый звук я твой ловлю,
И тоски твоей мятежной
Я бессонницу делю.

В этих воплях и заклятьях
Есть таинственный язык;
Но, в земных своих понятьях,
Кто из смертных их проник?

3

Иль с Бригитой и Олаем
Ты, мешая быль и ложь,
Неумолкным краснобаем
Речи странные ведешь?

Про загадки, про затеи,
Битвы, игры и пиры
Богатырской эпопеи
Поэтической поры;

Про былые непогоды,
Про наезды, про разбой,
Про столетья, про народы,
Пережитые тобой.

Да, на радость и на горе,
На людские суеты,
Заколдованное море,
Вдоволь нагляделось ты.

Много сонмищ пировало
За трапéзою твоей,
Много ядер прожужжало
По стеклу твоих зыбей,

Много трупов, много злата,
Много бедствий и добра
Затопила без возврата
Равнодушных волн игра.

4

Да и ты, теперь опальный,
А когда-то боевой,
Ревель, рыцарь феодальный
Под заржавевшей броней,

Ты у моря тихо дремлешь
Под напевами волны,
Но сквозь сон еще ты внемлешь
Гул геройской старины.

Ты не праздно век свой прожил
И в руке держал булат;
То соседов ты тревожил,
То соседями был сжат.

Много бурь и много славы
Пало на главу твою;
О тебе не раз державы
Переведались в бою.

Смелый Карл и Петр могучий,
Разгоревшие враждой,
Как две огненные тучи,
Разразились над тобой.

Я люблю твоих обломков
Окровавленную пыль;
В них хранится для потомков
Благородных предков быль.

Эти язвы и седины —
Украшенье городов:
В них минувшего помины,
В них помазанье веков.

Ревель датский, Ревель шведский,
Ревель русский! — Тот же ты!
И Олай твой молодецкий
Гордо смотрит с высоты.

(1843)

* * *

На книгу с белыми листами
Всегда с раздумием смотрю:
То будущий их смысл пытливыми мечтами
Допрашивать хочу и голос им дарю,
То грусть меня берет при мысли, что нахально
Перо их чистое зерцало затемнит,
Что скорбь прольет на них слезу свою печально,
Что ложь их приторной улыбкой заклеймит.

⟨1844⟩

* * *

Уж не за мной ли дело стало?
Не мне ль пробьет отбой? И с жизненной бразды
Не мне ль придется снесть шалаш мой и орало
И хладным сном заснуть до утренней звезды?

Пока живется нам, всё мним: еще когда-то
Нам отмежует смерть урочный наш рубеж;
Пусть смерть разит других, но наше место свято,
Но жизни нашей цвет еще богат и свеж.

За чудным призраком, который всё нас манит
И многое еще сулит нам впереди,
Бежим мы — и глаза надежда нам туманит,
И ненасытный пыл горит у нас в груди.

Но вот ударит час, час страшный пробужденья;
Прозревшие глаза луч истины язвит,
И призрак — где ж его и блеск, и обольщенья? —
Он, вдруг окостенев, как вкопанный стоит.

С закрытого лица подъемлет он забрало —
И видим мы не жизнь, а смерть перед собой.
Уж не за мной ли дело стало?
Теперь не мне ль пробьет отбой?

⟨1845⟩

ХАВРОНЬЯ

Свинья в театр когда-то затесалась
И хрюкает себе — кому хвалу,
Кому хулу.
Не за свое взялась, хавронья; ты зазналась.
Театр не по тебе — ты знай свой задний двор,
Где, не жалея рыла,
Ты с наслажденьем перерыла
Навоз и сор.
Какой ты знаешь толк в искусстве, в песнопеньях?
Ушам твоим понять их не дано;
В твоих заметках и сужденьях
И брань и похвала — всё хрюканье одно.
В роскошный тот цветник, где в изобилье милом
По вкусам и глазам разбросаны цветы,
Незваная, с своим поганым рылом
Не суйся ты.
И в розе прелесть есть, и прелесть есть в лилее, —
Та яркостью берет, а эта чистотой.
Соперницы ль они? Одна ль другой милее?
Нет нужды! Радуйтесь и тою и другой.
Но мой совет цветам: гнать от себя хавронью
И хрюканьем ее себя не обольщать;
Она лишь может их обдать своею вонью
И грязною своей щетиной замарать.

⟨1845⟩

* * *

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный.
В живых ни одного он друга не найдет;
Зато, когда из лиц почетных кто умрет,
Клеймит он прах его своею дружбой грязной.
— Так что же? Тут расчет: он с прибылью двойной,
Презренье от живых на мертвых вымещает,
И, чтоб нажить друзей, как Чичиков другой,
Он души мертвые скупает.

Январь 1845

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

Я знал давно, что подл Фиглярин,
Что он поляк и русский сплошь,
Что завтра будет он татарин,
Когда б за то ему дать грош;
Я знал, что пошлый он писатель,
Что усыпляет он с двух строк,
Что он доносчик, и предатель,
И мелкотравчатый Видок;
Что на все мерзости он падок,
Что совесть в нем — истертый знак,
Что он душой и рожей гадок,
Но я не знал, что он дурак.
Теперь и в том я убедился:
Улика важная. Нахал,
Спасибо, сам проговорился
И в глупости расписку дал.
Сказал я как-то мимоходом,
И разве в бровь, не прямо в глаз,
Что между авторским народом
Шпионы завелись у нас;
Что там, где им изменит сила
С лица на недруга напасть,
Они к нему подходят с тыла
И за собою тащат в часть;
Что страшен их не бой журнальный,
Но что они опасны нам,
Когда жандарм или квартальный
В их эпиграммах пополам.
Ему смолчать бы, как смолчали
Другие, закусив язык.
Не все ж бы тотчас угадали,
Кто целью был моих улик.
Но он не вытерпел, *ответил*
И сдуру ясно доказал,
Что хоть в кого бы я ни метил,
А прямо в лоб ему попал.

1845

КАРИКАТУРА

Даром что из влажных недр
Словно гриб вскочил Петрополь,
Здесь — с востока древний кедр
И с полудня — стройный тополь.

Наши дачи хороши:
Живописные созданья!
Одного в них нет — души,
Жизни теплого дыханья.

Блещет жизнью, а мертво,
Всё насилье, не свобода,
Всё работа, мастерство,
Рукодельная природа.

Что-то словно лес кругом,
Что-то вроде солнца, что-то
Смотрит пестрым цветником,
А на деле — всё болото.

Загляденье близь и даль,
Всё Рюйсдалева картина!
Но Рюйсдаль, хоть и Рюйсдаль,
Не природа, а холстина.

Декорация для глаз,
Обольщенных чувств приманка:
Что лицем, то напоказ,
Но зато что за изнанка!

Светел день, но подождем —
Бог пока дает нам вёдро,
Что-то будет под дождем,
Как польются с неба вёдра!

Всё обхватит влажный мрак,
Полиняет, перемокнет,
И сбежит натертый лак,
И цветущий блеск поблекнет.

Киснет в слякоте, в воде
Всё, что было так роскошно,

И так гадко всё везде,
Что самим лягушкам тошно.

Каково же людям? Жаль,
Но пожди еще немножко,
И хваленый твой Рюйсдаль
Будет мокрою ветошкой.

30 августа 1845
Каменный остров

РИМ

Рим! Всемогущее, таинственное слово,
И вековечно ты, и завсегда ты ново!
Уже во тьме времен, почивших мертвым сном,
Звучало славой ты на языке земном.
Народы от тебя, волнуясь, трепетали,
Тобой исписаны всемирные скрижали;
И человечества след каждый, каждый шаг
Стезей трудов, и жертв, и опытов, и благ,
И доблесть каждую, и каждое стремленье
Мысль светлую облечь в высокое служенье,
Всё, что есть жизнь ума, всё, что души есть страсть, —
Искусство, мужество, победа, слава, власть —
Всё выражало ты живым своим глаголом,
И было ты всего великого симвóлом.
Мир древний и его младая красота
И возмужавший мир под знаменем креста,
С красою строгою и нравственным порядком,
Не на тебе ль слились нетленным отпечатком?
Державства твоего свершились времена;
Другие за тобой слова и имена,
Мирского промысла орудья и загадки,
И волновали мир, и мир волнуют шаткий.
Уж не таишь в себе, как в урне роковой,
Ты жребиев земли, покорной пред тобой,
И человечеству, в его стремленье новом,
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом.
В тени полузакрыт всемирный великан:
И форум твой замолк, и дремлет Ватикан.

Но избранным душáм, поэзией обильным,
И ныне ты еще взываешь гласом сильным.
Нельзя — хоть между слов тебя упомянуть,
Хоть мыслью по тебе рассеянно скользнуть,
Чтоб думой скорбною, высокой и спокойной
Не обдало души, понять тебя достойной.

(1846)

* * *

Наш век нас освещает газом
Так, что и в солнце нужды нет:
Парами нас развозит разом
Из края в край чрез целый свет.

А телеграф, всемирный сплетник
И лжи и правды проводник,
Советник, чаще злой наветник,
Дал новый склад нам и язык.

Смышлен, хитер ты, век. Бесспорно!
Никто из братии твоей,
Как ты, не рыскал так проворно,
Не зажигал таких огней.

Что ж проку? Свесть ли без пристрастья
Наш человеческий итог?
Не те же ль немощи, несчастья
И дрязги суетных тревог?

Хотя от одного порока
Ты мог ли нас уврачевать?
От злых страстей, от их потока
Нас в пристань верную загнать?

Не с каждым днем ли злость затейней,
И кровь не льется ль на авось,
В Америке, да и в Гольштейне,
Где прежде пиво лишь лилось?

Болезни сделались ли реже?
Нет, редко кто совсем здоров,
По-прежнему — болезни те же,
И только больше докторов.

И перестали ль в век наш новый,
Хотя и он довольно стар,
Друг другу люди строить ковы,
Чтобы верней нанесть удар?

И люди могут ли надежно
Своим день завтрашний считать,
От правды отличить, что ложно,
И злом добра не отравлять?

А уголовные палаты
Вложить в ножны закона меч?
От нот и грамот дипломаты
Чернил хоть капельку сберечь?

Нет! Так же часты приговоры,
Депешам так же счета нет:
И всё же не уймутся воры,
И мира не дождется свет.

Как ты молвой ни возвеличен,
Блестящий и крылатый век!
Всё так же слаб и ограничен
Тобой вскормленный человек.

Уйми свое высокомерье,
Не будь себе сам враг и льстец:
Надменность — то же суеверье,
А ты — скептический мудрец.

Как светоч твой нам ни сияет,
Как ты ни ускоряй свой бег,
Всё та же ночь нас окружает,
Всё тот же темный ждет ночлег.

Сентябрь 1841, 1848

ТРОПИНКА

Когда рассеянно брожу без цели,
Куда глаза глядят и не глядят,
И расстилаются передо мной
На все четыре стороны свободно
Простор, и даль, и небосклон широкой, —
Как я люблю нечаянно набресть
На скрытую и узкую тропинку,
Пробитую средь жатвы колосистой!
Кругом меня волнами золотыми
Колышется колосьев зыбких море,
И свежею головкой васильки
Мне светятся в его глубоком лоне,
Как яхонтом блистающие звезды.

Картиной миловидною любуясь,
Я в тихое унынье погружаюсь,
И на меня таинственно повеет
Какой-то запах милой старины;
Подъятые неведомою силой
С глубокого, таинственного дна,
В душе моей воспоминаний волны
Потоком свежим блещут и бегут;
И проблески минувших светлых дней
По лону памяти моей уснувшей
Скользят — и в ней виденья пробуждают.
Так в глубине небес, порою летней,
Когда потухнет ярко-знойный день,
Средь тьмы ночной зарница затрепещет,
И вздрогнет тьма, обрызганная блеском.

Таинственно во мне и предо мной
Минувшее слилося с настоящим;
И вижу ли иль только вспоминаю
И чувством ли иль памятью живу,
В моем немом и сладком обаянье
Отчета дать себе я не могу.

Мне кажется, что по тропинке этой
Не в первый раз брожу, что я когда-то
Играл на ней младенцем беззаботным,
Что юношей, тревог сердечных полным,
Влачил по ней тоскующие думы,

Незрелые и темные желанья,
И радости, и слезы, и мечты.
Передо мной не та же ль жатва зрела?
Не так же ли волнами золотыми
Она кругом, как море, трепетала,
И, яхонтом блистающие звезды,
Не те же ли светлели мне цветы?

О, как любовь твоя неистощима,
Как неизменно свежи, вечно новы
Дары твои, всещедрая природа!
В их роскоши, в их неге, в изобилье
Нет бедственной отравы пресыщенья,
И на одном твоем цветущем лоне
Не старится и чувством не хладеет
С днем каждым увядающий печально,
К утратам присужденный человек.
Едва к тебе с любовью прикоснешься,
И свежесть первобытных впечатлений
По чувствам очерствевшим разольется,
И мягкостью и теплотою прежней
Разнежится унылая душа.

Сердечные преданья в нас не гаснут, —
Как на небе приметно иль незримо
Неугасимою красою звезды
Равно горят и в вёдро и в ненастье,
Так и в душе преданья в нас не гаснут;
Но облака житейских непогод
От наших чувств их застилают мраком,
И только в ясные минуты жизни,
Когда светло и тихо на душе,
Знакомые и милые виденья
На дне ее отыскиваем мы.

И предо мной разодралась завеса,
Скрывавшая минувшего картину,
И всё во мне воскресло вместе с нею,
И всё внезапно в жизни и в природе
Знакомое значенье обрело.
И светлый день, купающийся мирно
В прозрачной влаге воздуха и неба,
И с тесною своей тропинкой жатва,
И в стороне младой сосновой рощей

Увенчанный пригорок — есть на всё
В душе моей сочувствие и отзыв;
И радостно, в избытке чувств и жизни,
Я упиваюсь воздухом и солнцем,
И с жадностью младенческой кидаюсь
На яркие и пестрые цветы.
Но этими цветами, как бывало,
Не стану я уж ныне украшать
Алтарь моих сердечных поклонений,
Из них венки не соплету кумирам
Моей мечты, слепой и суеверной,
Не обовью роскошным их убором
Веселой чаши дружеского пира:
Мои пиры давно осиротели,
И недопитые бокалы грустно
Стоят и ждут гостей уж безвозвратных.

Нет, ныне я с смиренным умиленьем
Вас принесу, любимые цветы,
На тихие могилы милых ближних,
Вас посвящу с признательною думой
Минувшему и памяти о нем.
В те редкие и тайные минуты,
Когда светло и тихо на душе
И милые, желанные виденья
Из сумраков вечерних восстают.

Август 1848
Лесная дача

СУМЕРКИ

Чего в мой дремлющий тогда
не входит ум?
Державин

Когда бледнеет день, и сумрак задымится,
И молча на поля за тенью тень ложится,
В последнем зареве сгорающего дня
Есть сладость тайная и прелесть для меня.
Люблю тогда один, без цели, тихим шагом,
Бродить иль пó полю, иль в роще над оврагом.
Кругом утихли жизнь и бой дневных работ;
Заботливому дню на смену ночь идет,



Nach der Natur gezeich v. F. v. Witzleben

Витцлебенъ, чудно ловко твой смелый карандашъ
Природу превзошелъ ей въ подражаньи ближнемъ
За старый подлинникъ и прежняго не дамъ,
А все любуются твоимъ удачнымъ спискомъ

КВяземский.

Дрезденъ. Мартъ. 1853



И словно к таинству природа приступила
И ждет, чтобы зажглись небес паникадила.

Брожу задумчиво, и с сумраком полей
Сольются сумерки немой мечты моей.
И только изредка звук дальний, образ смутный
По сонному уму прорежет след минутный
И мир действительный напомнит мне слегка.

Чу! Песня звонкая лихого ямщика
С дороги столбовой несется. Парень бойкой,
Поет и правит он своей задорной тройкой.
Вот тусклый огонек из-за окна мелькнул,
Тут голосов людских прошел невнятный гул,
Там жалобно завыл собаки лай нестройный —
И всё опять замрет в околице спокойной.

А тут нежданный стих, неведомо с чего,
На ум мой налетит и вцепится в него;
И слово к слову льнет, и звук созвучья ищет,
И леший звонких рифм юлит, поет и свищет.

Сентябрь 1848
Лесная дача

ЗИМА

В дни лета природа роскошно,
Как дева младая, цветет
И радостно денно и нощно
Ликует, пирует, поет.

Красуясь в наряде богатом,
Природа царицей глядит,
Сафиром, пурпуром, златом
Облитая, чудно горит.

И пышные кудри и косы
Скользят с-под златого венца,
И утром и вечером росы
Лелеют румянец лица.

И полные плечи и груди —
Всё в ней красота и любовь,
И ею любуются люди,
И жарче струится в них кровь.

С приманки влечет на приманку!
Приманка приманки милей!
И день с ней — восторг спозаранку,
И ночь упоительна с ней!

Но поздняя осень настанет:
Природа состарится вдруг;
С днем каждым всё вянет, всё вянет,
И ноет в ней тайный недуг.

Морщина морщину пригонит,
В глазах потухающих тьма,
Ко сну горемычную клонит,
И вот к ней приходит зима.

Из снежно-лебяжьего пуху
Спешит пуховик ей постлать,
И тихо уложит старуху,
И скажет ей: спи, наша мать!

И спит она дни и недели,
И по́лгода спит напролет,
И сосны над нею и ели
Раскинули темный намет.

И вьюга ночная тоскует
И воет над снежным одром,
И месяц морозный целует
Старушку, убитую сном.

Ноябрь 1848

ПЕСНЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО

В этот день дал бог нам друга —
И нам праздник этот день!
Пусть кругом снега и вьюга
И январской ночи тень —

Ты, Вьельгорский, влагой юга
Кубок северный напень!
Все мы выпьем, все мы вскроем
Дно сердец и кубков дно
В честь того, кого запоем
Полюбили мы давно!

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Он чудесный дар имеет
Всех нас спаивать кругом:
Душу он душою греет,
Ум чарует он умом
И волшебно слух лелеет
Упоительным стихом.
И под старость, духом юный,
Он всё тот же чародей!
Сладкой песнью дышат струны,
И душа полна лучей.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Нас судьбы размежевали,
Брошен он в чужой конец,
Но нас чувства с ним связали,
Но он сердцем нам близнец;
Ни разлуки нет, ни дали
Для сочувственных сердец.
Нежной дружбы тайной силой
И судьбе наперелом
В нас заочно — друг наш милый,
И мы жизнью сердца — в нем.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Тихо-радостной тоскою
В этот час объятый сам,
Может статься, он мечтою
К нам прильнул и внемлет нам
И улыбкой и слезою
Откликается друзьям!
Радость в нем с печалью спорит,
Он и счастлив и грустит,
Нашим песням молча вторит
И друзей благодарит.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Январь 1849

СТЕПЬЮ

(Июнь 1849)

Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочем;
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.

Степь широко на просторе
Поперек и вдоль лежнт,
Словно огненное море
Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнет на душный день
С неба ветерок крылатый,
Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола.
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.

С кровли аист долгоногой
Смотрит, верный домосед, —
Добрый друг семьи убогой,
Он хранит ее от бед.

Шагом, с важностью спокойной
Тащат тяжести волы;
Пыль метет метелью знойной,
Вьюгой огненной золы.

Как разбитые палатки
На распутии племен —
Вот курганы, вот загадки
Неразгаданных времен.

Пусто всё, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.

Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От нее в душе согретой
Свято теплится любовь.

Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы — матушка Россия,
Какова она ни есть.

НОЧЬ НА БОСФОРЕ

На луну не раз любовался я,
На жемчужный дождь светлых струй ея.
Но другой луны, но других небес
Чудный блеск раскрыл — новый мир чудес.
Не луну я знал — разве тень луны,
Красотам ночей я не знал цены.

Я их здесь узнал: здесь сказалось мне
Всё, что снится нам в баснословном сне.
Смотришь — ночь не ночь, смотришь — день не день;

Голубой зарей блещет ночи тень.
Разглядеть нельзя в голубой дали,
Где конец небес, где рубеж земли.

Вспыхнул свод небес под огнем лампад;
Всех красавиц звезд не обхватит взгляд,
И одна другой веселей горит
И на нас милей и нежней глядит.
Вот одна звезда из среды подруг
Покатилась к нам и погасла вдруг.

Чешуей огня засверкал Босфор,
Пробежал по нем золотой узор.
Средь блестящих скал великан утес
Выше всех чело и светлей вознес.
Кипарис в тени серебром расцвел,
И блестят верхи минаретных стрел.

Скорлупой резной чуть струю задев,
Промелькнул каик. Перл восточных дев
Невидимкой в нем по волнам скользит;
С головы до ног тканью стан обвит;
И, дремотой чувств услаждая лень,
Пронеслась она, как немая тень.

Золотые сны, голубые сны
Сходят к нам с небес на лучах луны.
Негой дышит ночь, что за роскошь в ней!
Нет, нигде таких не видать ночей,
И молчит она, и поет она,
И душе одной ночи песнь слышна.

1849

БОСФОР

У меня под окном, темной ночью и днем,
Вечно возишься ты, беспокойное море;
Не уляжешься ты, и, с собою в борьбе,
Словно тесно тебе на свободном просторе.

О, шуми и бушуй, пой и плачь и тоскуй,
Своенравный сосед, безумолкное море!
Наглядеться мне дай, мне наслушаться дай,
Как играешь волной, как ты мыкаешь горе.

Всё в тебе я люблю, жадным слухом ловлю
Твой протяжный распев, волн дробящихся грохот,
И подводный твой гул, и твой плеск, и твой рев,
И твой жалобный стон, и твой бешеный хохот.

Глаз с тебя не свожу, за волнами слежу:
Тишь лежит ли на них, нежно веет ли с юга —
Все слились в бирюзу, но, почуя грозу,
Что с полно́чи летит, — почернеют с испуга.

Всё сильней их испуг, и запрыгают вдруг,
Как стада диких коз по горам и стремнинам;
Ветер роет волну, ветер мечет волну,
И беснуется он по кипящим пучинам.

Но вот буйный уснул; волн смирился разгул,
Только шаткая зыбь всё еще бродит, бродит;
Море вздрогнет порой, как усталый больной,
Облегчившись от мук, дух с трудом переводит.

Каждый день, каждый час новым зрелищем нас
Манит в чудную даль голубая равнина:
Там, в пространстве пустом, в углубленье морском,
Всё — приманка глазам, каждый образ — картина.

Паруса распустив, как лего́к и красив
Двух стихий властелин, величавый и гибкой,
Бриг несется орлом средь воздушных равнин,
Змий морской, он скользит по поверхности зыбкой.

Закоптив неба свод, вот валит пароход,
По покорным волнам он стучит и колотит,
Огнедышащий кит, море он кипятит,
Бой огромных колес волны в брызги молотит.

Не под тенью густой, над прозрачной волной
Собирается птиц сребропёрая стая;
Все кружат на лету; то нырнут в высоту,
То, спустившись, нырнут, грустный крик испуская.

От прилива судов со всемирных концов
Площадь моря кипит многолюдным базаром;
Здесь и север, и юг, запад здесь и восток —
Все приносят оброк разнородным товаром.

Вот снуют здесь и там, против волн, по волнам,
Челноки, каики вереницей проворной;
Лиц, одежд пестрота, всех отродий цвета,
Кож людских образцы: белой, смуглой и черной.

Но на лоно земли сон и мраки сошли;
Только море не спит и рыбак с ним не праздный;
Там на лодках, в тени, загорелись огни, —
Опоясалась ночь словно нитью алмазной.

Нет пространству границ! Мыслью падаешь ниц —
И мила эта даль, и страшна бесконечность!
И в единый симвóл, и в единый глагол
Совмещается нам скоротечность и вечность.

Море, с первого дня ты пленило меня!
Как полюбишь тебя — разлюбить нет уж силы;
Опостылит земля, и леса, и поля,
Прежде милые нам, после нам уж не милы.

Нужны нам: звучный плеск, разноцветный твой блеск,
Твой прибой и отбой, твой простор и свобода;
Ты природы душа! Как ни будь хороша, —
Где нет жизни твоей — там бездушна природа!

1849

ПАЛЕСТИНА

Свод безоблачно синий
Иудейских небес,
Беспредельность пустыни,
Одиноких древес,
Пальмы, мáслины скудной
Бесприютная тень,
Позолотою чудной
Ярко блещущий день.

По степи — речки ясной
Не бежит полоса,
По дороге безгласной
Не слыхать колеса.

Только с ношей своею
(Что ему зной и труд),
Длинно вытянув шею,
Выступает верблюд.

Ладия и телега
Беспромышленных стран,
Он идет до ночлега,
Вслед за ним караван
Иль, бурнусом обвитый,
На верблюде верхом
Бедуин сановитый,
Знойно-смуглый лицом.

Словно зыбью качаясь,
Он торчит и плывет,
На ходу подаваясь
То назад, то вперед.
Иль промчит кобылица
Шейха с длинным ружьем,
Иль кружится, как птица,
Под лихим седоком.

Помянув Магомета,
Всадник, встретясь с тобой,
К сердцу знаком привета
Прикоснется рукой.
Полдень жаркий пылает,
Воздух — словно огонь;
Путник жаждой сгорает
И томящийся конь.

У гробницы с чалмою
Кто-то вырыл родник;
Путник жадной душою
К хладной влаге приник.
Благодетель смиренный!
Он тебя от души
Помянул, освеженный,
В опаленной глуши.

Вот под сенью палаток
Быт пустынных племен;
Женский склад — отпечаток
Первобытных времен.

Вот библейского века
Верный сколок: точь-в-точь
Молодая Ревекка,
Вафуилова дочь.

Голубой пеленою
Стан красивый сокрыт;
Взор восточной звездою
Под ресницей блестит.
Величаво-спокойно
Дева сходит к ключу,
Водонос держит стройно,
Прижимая к плечу.

В поле кактус иглистый
Распускает свой цвет.
В дальней тьме — каменистый
Аравийский хребет.
На вершинах суровых
Гаснет день средь зыбей
То златых, то лиловых,
То зеленых огней.

Чудно блещут картины
Ярких красок игрой.
Светлый край Палестины!
Упоенный тобой,
Пред рассветом, пустыней
Я несусь на коне
Богомольцем к святыне,
С детства родственной мне.

Шейх с летучим отрядом —
Мой дозор боевой;
Впереди, сзади, рядом
Вьется пестрый их рой.
Недоверчиво взгляды
Озирают вокруг:
Хищный враг из засады
Не нагрянет ли вдруг?

На пути, чуть пробитом
Средь разорванных скал,

Конь мой чутким копытом
По обломкам ступал.
Сон под звездным наметом;
Запылали костры;
Сон тревожит налетом
Вой шакалов с горы.

Эпопеи священной
Древний мир здесь разверст:
Свиток сей неизменный
Начертал божий перст.
На Израиль с заветом
Здесь сошла божья сень;
Воссиял здесь рассветом
Человечества день.

Край святой Палестины,
Край чудес искони!
Горы, дебри, равнины,
Дни и ночи твои,
Внешний мир, мир подспудный,
Всё, что было, что есть, —
Всё поэзии чудной
Благодатная весть.

И, в ответ на призванье,
Жизнь, горé возлетев,
Жизнь — одно созерцанье
И молитвы напев.
Отблеск светлых видений
На душе не угас;
Дни святых впечатлений,
Позабуду ли вас?

1850

ПРОЕЗД ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ В 1851 г.

Когда железные дороги
Избороздили целый свет
И колымажные берлоги —
«Дела давно минувших лет»,

Когда и лошадь почтовая —
Какой-то миф, как Буцефал,
И кучер, мумия живая,
Животным допотопным стал, —

Тогда, хандрою и недугом
Страдая, прячась от людей,
Я по шоссе тащился цугом
В рыдване прадедовских дней.

И, распростившись с брегом финским,
Я от родного рубежа
Петром Иванычем Добчинским
Достиг местечка Парижá.

Зато на станцию приеду —
Что за возня, за беготня?
Все смотрят, все ведут беседу
Про мой рыдван и про меня.

Я цель всеобщего вопроса:
Что за урод тут, что за черт?
Жандарм пришел, глядит он косо
И строго требует паспóрт.

Он весь встревожен: не везу ли
К карете пушки я тайком?
Не адский ли снаряд? И пули
В нем не набиты ли битком?

Не еду ль я мутить Вандею?
Коню троянскому под стать,
В карете, может быть, имею
Бивакирующую рать?

Из зависти к Наполеону
И чтоб потешить англичан,
Уж не Вандомскую ль колонну
Украл и сунул я в рыдван?

Жандарм пугливыми глазами
Бурбоном рад признать меня,
Хоть нос мой, знаете вы сами,
Совсем бурбонским не родня.

В сарае затерялась сбруя,
Все почтальоны на боку,
А кони, на траве пируя,
Давно в бессрочном отпуску.

Всё разбрелось, пришло в упадок;
И часто я полсуток жду,
Пока не приведут в порядок
Всю *дожелезную* езду.

Что шаг, то новая помеха,
И смех и горе! Вовсе нет!
Другим смешно, мне ж не до смеха,
Я жертвой всех дорожных бед.

Измучился Улисс несчастный;
Да и теперь, как вспомню я
О вашей «Франции прекрасной»,
Коробит и тошнит меня.

1851

МАСЛЕНИЦА НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Здравствуй, в белом сарафане
Из серебряной парчи!
На тебе горят алмазы,
Словно яркие лучи.

Ты живительной улыбкой,
Свежей прелестью лица
Пробуждаешь к чувствам новым
Усыпленные сердца.

Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица-душа,
Белоснежная лебедка,
Здравствуй, матушка зима!

Из-за льдистого Урала
Как сюда ты невзначай,
Как, родная, ты попала
В бусурманский этот край?

Здесь ты, сирая, не дома,
Здесь тебе не по нутру;
Нет приличного приема,
И народ не на юру.

Чем твою мы милость встретим?
Как задать здесь пир горой?
Не суметь им, немцам этим,
Поздороваться с тобой.

Не напрасно дедов слово
Затвердил народный ум:
«Что для русского здорово,
То для немца карачун!»

Нам не страшен снег суровый,
С снегом — батюшка-мороз,
Наш природный, наш дешевый
Пароход и паровоз.

Ты у нас краса и слава,
Наша сила и казна,
Наша бодрая забава,
Молодецкая зима!

Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир,
И блинами и настойкой
Закутит крещеный мир.

В честь тебе и ей Россия,
Православных предков дочь,
Строит горы ледяные
И гуляет день и ночь.

Игры, братские попойки,
Настежь двери и сердца!
Пышут бешеные тройки,
Снег топоча у крыльца.

Вот взвились и полетели,
Что твой сокол в облаках!
Красота ямской артели
Вожжи ловко сжал в руках;

В шапке, в синем полушубке
Так и смотрит молодцом,
Погоняет закадычных
Свистом, ласковым словцом.

Мать дородная в шубейке
Важно в розвальнях сидит,
Дочка рядом в душегрейке
Словно маков цвет горит.

Яркой пылью иней сыплет
И одежду серебрит,
А мороз, лаская, щиплет
Нежный бархатец ланит.

И белее и румяней
Дева блещет красотой,
Как алеет на поляне
Снег под утренней зарей.

Мчатся вихрем, без помехи
По полям и по рекам,
Звонко щелкают орехи
На веселие зубкам.

Пряник, мой однофамилец,
Также тут не позабыт,
А наш пенник, наш кормилец
Сердце любо веселит.

Разгулялись город, села,
Загулялись стар и млад, —
Всем зима родная гостья,
Каждый масленице рад.

Нет конца веселым кликам,
Песням, удали, пирам.
Где тут немцам-горемыкам
Вторить вам, богатырям?

Сани здесь — подобной дряни
Не видал я на веку;
Стыдно сесть в чужие сани
Коренному русаку.

Нет, красавица, не место
Здесь тебе, не обиход,
Снег здесь — рыхленькое тесто,
Вял мороз и вял народ.

Чем почтят тебя, сударку?
Разве кружкою пивной,
Да копеечной сигаркой,
Да копченой колбасой.

С пива только кровь густеет,
Ум раскиснет и лицо;
То ли дело, как прогреет
Наше рьяное винцо!

Как шепнет оно в догадку
Ретивому на ушко, —
Не поет, ей-ей, так сладко
Хоть бы вдовушка Клико!

Выпьет чарку-чародейку
Забубенный наш земляк:
Жизнь копейка! — Смерть-злодейку
Он считает за пустяк.

Немец к мудрецам причислен,
Немец — дока для всего,
Немец так глубокомыслен,
Что провалишься в него.

Но, по нашему покрою,
Если немца взять врасплох,
А особенно зимою,
Немец — воля ваша! — плох.

20 февраля 1853
Дрезден

* * *

Поздравить с пасхой вас спешу я,
И, вместо красного яйца,
Портрет курносого слепца
Я к вашим ножкам, их целуя,

С моим почтеньем приношу
И вас принять его прошу.
Гостинец мой не очень сладок, —
Боюсь, увидя образ мой,
Вы скажете: «Куда ты гадок,
Любезнейший голубчик мой!
Охота ж, и куда некстати,
С такою рожею дрянной
Себя выказывать в печати!»
Чухонский, греческий ли нос
Мне влеплен был? — Не в том вопрос.
Глаза ли мне иль просто щели
Судьбы благие провертели —
И до того мне дела нет!
Но если скажет мой портрет,
Что я вам предан всей душою,
Что каждый день и каждый час
Молю, с надеждой и тоскою,
Чтоб ваш хранитель-ангел спас
Вас от недуга и от скуки —
Сидеть и ждать, поджавши руки,
Сегодня так же, как вчера,
Когда помогут доктора;
Что я молю, чтобы с весною
Опять босфорской красотою
К здоровью, к радостям земли
Вы благодатно расцвели;
Молю, чтоб к Золотому Рогу
Вам случай вновь открыл дорогу,
Чтоб любоваться вновь могли
Небес прозрачных ярким блеском
И негой упоенным днем
Там, где в сиянье голубом
Пестреют чудным арабеском
Гор разноцветных шишаки,
Султанов пышные жилища,
Сады, киоски, и кладбища,
И минаретные штыки.
Там пред Эюбом живописным,
Венчаясь лесом кипарисным,
Картина чудной красоты
Свои раскинула узоры;
И в неге цепенеют взоры,
И нá душу летят мечты,

Там, как ваянья гробовые,
И неподвижно и без слов,
Накинув на себя покров,
Сидят турчанки молодые
На камнях им родных гробов.
Волшебный край! Шехеразады
Живая сказочная ночь!
Дремоты сердца и услады
Там ум не в силах превозмочь.
Там вечно свежи сновиденья,
Живешь без цели, наобум,
И засыпают сном забвенья
Дней прежних суетность и шум.
Когда всё то портрет вам скажет,
Меня чрезмерно он обяжет,
И я тогда скажу не ложь,
Что список с подлинником схож.

18 апреля 1853
Дрезден

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ

...А стих александрийский?..
Уж не его ль себе я залучу?
Извилистый, проворный, длинный, склизкий
И с жалом даже, точная змея;
Мне кажется, что с ним управлюсь я.
Пушкин. «Домик в Коломне»

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский,
Глагол наш великан плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, тяжелый на подъем,
И руки что шесты, и ноги что ходули,
В телодвижениях неловкий. На ходу ли
Пядь полновесную как в землю вдавит он —
Подумаешь, что тут прохаживался слон.
А если пропустить слона иль бегемота,
То настежь растворяй широкие ворота,
В калитку не пройдет: не дозволяет чин.
Иному слову рост без малого в аршин;
Тут как ни гни его рукою расторопной,
Но всё же не вогнешь в ваш стих четверостопный.

А в нашем словаре не много ль слов таких,
Которых не свезет и шестистопный стих?
На усеченье слов теперь пошла опала:
С другими прочими и эта вольность пала.
В златой поэтов век, в блаженные года,
Отцы в подстрижке слов не ведали стыда.
Херасков и Княжнин, Петров и Богданович,
Державин, Дмитриев и сам Василий Львович,
Как строго ни хранил классический устав,
Не клали под сукно поэту данных прав.
С словами не чинясь, так поступали просто
И Ше́кспир, и Клопшток, Камоэнс, Ариосто,
И от того их стих не хуже — видит бог, —
Что здесь и там они отсе́кли лишний слог.
Свободой дорожа, разумное их племя
Не изменило им и в нынешнее время.
Но мы, им вопреки, неволей дорожим:
Над каждой буквой мы трясемся и корпим
И, отвергая сплошь наследственные льготы,
Из слова не хотим пожертвовать ноты.
А в песнях старины, в сих свежих и живых
Преданьях, в отзывах сочувствий нам родных,
Где звучно врезались наш дух и склад народный,
Где изливается душа струей свободной,
Что птица божия, — свободные певцы
Счастливых вольностей нам дали образцы.
Их бросив, отдались мы чопорным французам
И предали себя чужеязычным узам.
На музу русскую, полей привольных дочь,
Чтоб красоте ее искусственно помочь,
Надели мы корсет и оковали в цепи
Ее, свободную, как ветр свободной степи.
Святая старина! И то сказать, тогда,
Законодатели и дома господа,
Не ведали певцы журнальных гог-магогов;
Им не страшна была указка педагогов,
Которые, другим указывая путь,
Не в силах за порог ногой перешагнуть
И, сидя на своем подмостке, всенародно
Многоглагольствуют обильно и бесплодно.
Как бы то ни было, но с нашим словарем
Александрийский стих с своим шестериком
Для громоздких поклаж нелишняя упряжка.
И то еще порой он охает, бедняжка,

И если бы к нему на выручку подчас
Хоть пару или две иметь еще в запас
(Как на крутых горах волами на подмогу
Вывозят экипаж на ровную дорогу),
Не знаю, как другим, которых боек стих
И вывезть мысль готов без нужды в подставных, —
Но стихоплетам, нам — из дюжинного круга,
В сих припряжных волах под стать была б услуга.
Известно: в старину российский грекофил
Гекзаметр древнего покроя обновил,
Но сглазил сам его злосчастный Третьяковский;
Там Гнедич в ход пустил, и в честь возвел
Жуковский.
Конечно, этот стих на прочих не похож:
Он поместителен, гостеприимен тож,
И многие слова, величиной с Федору,
Находят в нем приют благодаря простору.
Битв прежних не хочу поднять и шум и пыль;
Уж в óбщине стихов гекзаметр не бобыль:
Уваров за него сражался в поле чистом
И с блеском одержал победу над Капнистом.
Под бойкой стычкой их (дошел до нас рассказ)
Беседа, царство сна, проснулась в первый раз.
Я знаю, что о том давно уж споры стихли,
А все-таки спрошу: гекзаметр, полно, стих ли?
Тень милая! Прости, что дерзко и шутя
Твоих преклонных лет любимое дитя
Злословлю. Но не твой гекзаметр, сердцу милый,
Пытаюсь уколоть я эпиграммой хилой.
Гекзаметр твой люблю читать и величать,
Как всё, на чем горит руки твоей печать.
Особенно люблю, когда с слепцом всезрячим
Отважно на морях ты, по следам горячим
Улисса, странствуешь и кормчий твой Омир
В гекзаметрах твоих нас вводит в новый мир.
Там свежей древностью и жизнью первобытной
С природой заодно, в сени ее защитной
Всё дышит и цветет в спокойной красоте.
Искусства не видать: искусство — в простоте;
Гекзаметру вослед — гекзаметр жизнью полный.
Так, в полноводие реки широкой волны
Свободно катятся, и берегов краса,
И вечной прелестью младые небеса
Рисуются в стекле прозрачности прохладной;

Не налюбуешься картиной ненаглядной,
Наслушаться нельзя поэзии твоей.
Мир внешней красоты, мир внутренних страстей,
Рой помыслов благих и помыслов порочных,
Действительность и сны видений, нам заочных,
Из области мечты приветный блеск и весть,
Вся жизнь как есть она, весь человек как есть, —
В твоих гекзаметрах, с природы верных сколках
(И как тут помышлять о наших школьных толках?),
Всё отражается, как в зеркале живом.
Твой не читаешь стих, — живешь с твоим стихом.
Для нас стихи твои не мерных слов таблица:
Звучит живая речь, глядят живые лица.
Всё так! Но, признаюсь, по рифме я грущу
И по опушке строк ее с тоской ищу.
Так дети в летний день, преследуя забавы,
Порхают весело тропинкой вдоль дубравы,
И стережет и ждет их жадная рука
То красной ягодки, то пестрого цветка.
Так, признаюсь, мила мне рифма-побрякушка,
Детей до старости веселая игрушка.
Аукаться люблю я с нею в темноту,
Нечаянно ловить шалунью на лету
И по кайме стихов и с прихотью и с блеском
Ткань украшать свою игривым арабеском.
Мне белые стихи — что дева-красота,
Которой не цветут улыбкою уста.
А может быть, и то, что виноград мне кисел,
Что сроду я не мог сложить созвучных чисел
В гекзаметр правильный, — что, на мою беду,
Знать, к ямбу я прирос и с ямбом в гроб сойду.

7 мая 1853
Дрезден

НОЧЬЮ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ МЕЖДУ ПРАГОЮ И ВЕНОЮ

Прочь Людмила с страшной сказкой
Про полночного коня!
Детям будь она острасткой,
Но пугать ей не меня.

Сказку быль опередила
В наши опытные дни:
Огнедышащая сила,
Силам адовым сродни,

Нас уносит беспрерывно
Сквозь ущелья и леса,
Совершая с нами дивно
Баснословья чудеса.

И меня мчит ночью темной
Змий — не змий и конь — не конь,
Зверь чудовищно огромный,
Весь он пар, и весь огонь!

От него, как от пожара,
Ночь вся заревом горит,
И сквозь мглу, как божья кара,
Громоносный, он летит.

Он летит неукротимо,
Пролетит — и нет следа,
И как тени мчатся мимо
Горы, села, города.

На земле ль встает преграда —
Под землей он путь пробьет,
И нырнет во мраки ада,
И как встрепанный всплывет.

Зверю бесконечной снедью
Раскаленный уголь дан.
Грудь его обита медью,
Голова — кипучий чан.

Род кометы быстротечной,
По пространностям земным
Хвост его многоколечный
Длинно тянется за ним.

Бьют железные копыта
По чугунной мостовой.
Авангард его и свита —
Грохот, гул, и визг, и вой.

Зверь пыхтит, храпит, вдруг свистнет
Так, что вздрогнет всё кругом,
С гривы огненной он вспрыснет
Мелким огненным дождем,

И под ним, когда громада
Мчится бурью быстроты,
Не твоим чета, баллада:
«С громом зыблются мосты».

Мертвецам твоим, толпами
Вставшим с хладного одра,
Не угнаться вслед за нами,
Как езда их ни скора.

Поезд наш не оробеет,
Как ни пой себе петух;
Мчится — утра ль блеск алеет,
Мчится — блеск ли дня потух.

В этой гонке, в этой скачке —
Всё вперед, и всё спеша —
Мысль кружится, ум в горячке,
Задыхается душа.

Приключись хоть смерть дорогой,
Умирай, а всё лети!
Не дадут душе убогой
С покаяньем отойти.

Увлеченному потоком
Страшен этот, в тьме ночной,
Поединок с темным роком,
С неизбежною грозой.

Силой дерзкой и крамольной
Человек вооружен;
Ненасытной, своевольной
Страстью вечно он разжен.

Бой стихий, противоречий,
Разногласье спорных сил —
Всё попрал ум человечий
И расчету подчинил.

Так, ворочая вселенной
Из страстей и из затей,
Забывается надменный
Властелин немногих дней.

Но безделка ль подвернется,
Но хоть на́ волос один
С колеи своей собьется
Наш могучий исполин, —

Весь расчет, вся мудрость века —
Нуль да нуль, всё тот же нуль,
И ничтожность человека
В прах летит с своих ходуль.

И от гордых снов науки
Пробужденный, как ни жаль,
Он, безногий иль безрукий,
Поплетется в госпита́ль.

Май 1853

ПЕТР I В КАРЛСБАДЕ

Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный,
И здесь, средь гордых скал, твой образ
незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед.
Нам святы о тебе преданья вековые,
Жизнь русская тобой еще озарена,
И памяти твоей, Великий Петр, верна
Твоя великая Россия!

Май 1853

ЗОННЕНШТЕЙН

Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цветут,
По ребрам гор дубрава за дубравой,
За виллой вилла, летних нег приют.

Везде кругом из каменистых рамок
Картины блещут свежей красотой:
Вот на утес перешагнувший замок
К главе его прирос своей пятой.

Волшебный край, то светлый, то угрюмый!
Живой кипсек всех прелестей земли!
Но облаком в душе засевшей думы
Согнать, развлечь с души вы не могли.

Я предан был другому впечатленью, —
Любезный образ в душу налетал,
Страдальца образ — и печальной тенью
Он красоту природы омрачал.

Здесь он страдал, томился здесь когда-то,
Жуковского и мой душевный брат,
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.

Не для его очей цвела природа,
Святой глагол ее пред ним немел,
Здесь для него с лазоревого свода
Веселый день не радостью горел.

Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы,
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.

Но видел он, но ум его тревожил,
Что созидал ума его недуг;
Так, бедный, здесь лета страданья прожил,
Так и теперь живет несчастный друг.

Июль 1853
На пароходе

БАСТЕЙ

Что за бури прошли,
Что за чудо здесь было?
Море ль здесь перерыло
Лоно твердой земли?

Изверженье ли ада
Сей гранитный хаос?
На утесе — утес,
На громаде — громада!

Всё здесь глушь, дичь и тень!
А у горных подножий
Тих и строен мир божий,
Улыбается день;

Льется Эльба, сияя,
Словно зéркальный путь,
Словно зыбкую ртуть
Полосой разливая.

Рек и жизнь, и краса —
По волнам лодок стая
Мчится, быстро мелькая,
Распустив паруса.

Вот громадой плавучей
Пропыхтел пароход,
Неба яхонтный свод
Закоптил дымной тучей;

Бархат пестрых лугов,
Храмы, замки, беседки
И зеленые сетки
Виноградных садов;

Жатвы свежее злато,
Колыхаясь, горит;
Всё так чудно глядит,
Всё так пышно, богато!

Там — в игривых лучах
Жизни блеск, скоротечность;
Здесь — суровая вечность
На гранитных столпах.

1853

ВЕНЕЦИЯ

Город чудный, чресполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный,
Город — рознь всем городам!
Пешеходу для прогулки
Сотни мостиков сочтешь;
Переулки, закоулки, —
В их мытарствах пропадешь.

Вместо улиц — коридоры,
Где народ валит гуськом,
Зданья — мраморные горы,
Изваянные резцом.
Здесь — прозрачные дороги,
И в их почве голубой
Отражаются чертоги,
Строя город под водой.

Экипажи — точно гробы,
Кучера — одни гребцы.
Рядом — грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепья
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!

Здесь живое население
Меди, мрамора, картин,
И прошло их поколенье
Сквозь грозу и мрак годин.
Живо здесь бессмертьем славы
Племя светлых сограждан:
Сансовино величавый,
Тинторетто, Тициан,

Жиордано, Порденоне,
Гвидо-Рени, Веронез, —
Мир, зачавшийся в их лоне,
При австрийцах не исчез.
Торжествуя над веками
И над злобною враждой,

Он цветет еще пред нами
Всемогущей красотой.

Здесь лишь статуи да бюсты
Жизнь домашиюю ведут;
Люди — их жилища пусты —
Все на площади живут.
Эта площадь — их казйно,
Вечный раут круглый год:
Убрал залу Сансовино,
Крыша ей — небесный свод.

Здесь с факином правнук дожа,
Здесь красавиц рой блестит,
Взглядом нежа и тревожа
Двор подвластных волокит.
Вот аббат в мантилье черной,
В нем минувший быт и век;
Словно вышел из уборной
Принчипессы — имярек.

В круглой шляпке, с водоноском
Черноглазая краса;
Из-под шляпки черным лоском
Блещет тучная коса.
Здесь разносчиков ватага,
Разной дряни торгаши,
И что шаг — то побродяга,
Промышляющий гроши.

Тенор здесь хрипит рулады,
Там скрипит скрипач слепой
Так, что все оглохнуть рады,
Только б дать ушам покой.
Кофе пьют, едят *сорбети*
И, свою балуя лень,
Юга сча́стливые дети
Так проводят праздный день.

Здесь, как в пестром маскараде,
Разноцветный караван;
Весь восток в своем наряде:
Грек — накинув долиман,

Турок — феску нахлобуча,
И средь лиц из разных стран
Голубей привольных куча,
А тем паче англичан.

Все они несут под мышкой
Целый пук карандашей,
Телескоп с дорожной книжкой,
Проверяя всё по ней.
Дай им волю — и в Сан-Марко
Впишут, не жалея стен,
Святотатственно и марко
Длинный ряд своих имен.

Если ж при ночном светиле
Окуется серебром
Базилика, Кампаниле
И дворец, почивший сном,
И крылатый лев заблещет,
И спросонья, при луне,
Он крылами затрепещет,
Мчась в воздушной вышине,

И весь этот край лагунный,
Весь волшебный этот мир
Облечется ночью лунной
В злато, жемчуг и сафир;
Пред картиной этой чудной
Цепенеют глаз и ум —
И, тревоги многолюдной
Позабыв поток и шум,

Ты душой уединишься!
Весь ты зренье и любовь,
Ты глядишь и заглядишься,
И глядеть всё хочешь вновь,
И, всем прочим не в обиду, —
Красоту столиц земных,
Златовласую Киприду,
Дочь потоков голубых,

Приласкаешь, приголубишь
Мыслью, чувством и мечтой,

И Венецию полюбишь
Без ума и всей душой.
Но одно здесь спорит резко
С красотою здешних мест:
Наложил лихой тедеско
На Венецию арест.

Здесь, где дожей память славит
Вековечная молва,
Тут пятой Горшковский давит
Цепью скованного льва;
Он и скованный сатрапу
Страшен. Всё в испуге ждет:
Не подымет ли он лапу?
Гривой грозно ль не тряхнет?

Осень 1853

⟨ИЗ «ПОМИНОК»⟩

Поэтической дружины
Смелый вождь и исполин!
С детства твой полет орлиный
Достигал крутых вершин.

Помню я младую братью,
Милый цвет грядущих дней:
Отрок с огненной печатью,
С тайным заревом лучей

Вдохновенья и призванья
На пророческом челе,
Полном думы и мечтанья,
Крыльев наших на земле,

Вещий отрок, отрок славы,
Отделившись от других,
Хладно смотрит на забавы
Шумных сверстников своих.

Но гроза зажжет ли блеском
Почерневший неба свод,
Волны ль однозвучным плеском
Пробудятся в лоне вод;

Ветром тронутый, тоскуя
Запоет ли темный лес,
Как Мемнонова статуя
Под златым лучом небес;

За ветвистою палаткой
Соловей ли в тьме ночной,
С свежей негой, с грустью сладкой,
Изливает говор свой;

Взор красавицы ль случайно
Нежно проскользнет на нем, —
Сердце разгорится тайно
Преждевременным огнем;

Чуткий отрок затрепещет,
Молча сердце даст ответ,
И в младых глазах заблещет
Поэтический рассвет.

Там, где царскосельских сеней
Сумрак манит в знойный день,
Где над роем славных теней
Вьется царственная тень;

Где владычица полмира
И владычица сердец,
Притаив на лоне мира
Ослепительный венец,

Отрешась от пышной скуки
И тщеславья не любя,
Ум, искусства и науки
Угощала у себя;

Где являлась не царицей
Пред восторженным певцом,
А бессмертною Фелицей
И державным мудрецом.

Где в местах, любимых ею,
Память так о ней жива
И дней славных эпопею
Внукам предает молва, —

Там таинственные громы,
Словно битв далеких гул,
Повторяют нам знакомый
Оклик: Чесма и Кагул.

Той эпохи величавой
Блеск еще там не потух,
И поэзией и славой
Всё питало юный дух.

Там поэт в родной стихии
Стих златой свой закалил,
И для славы и России
Он расцвел в избытке сил.

Век блестящий переживший,
Переживший сам себя,
Взор, от лет полуостывший,
Славу юную любя,

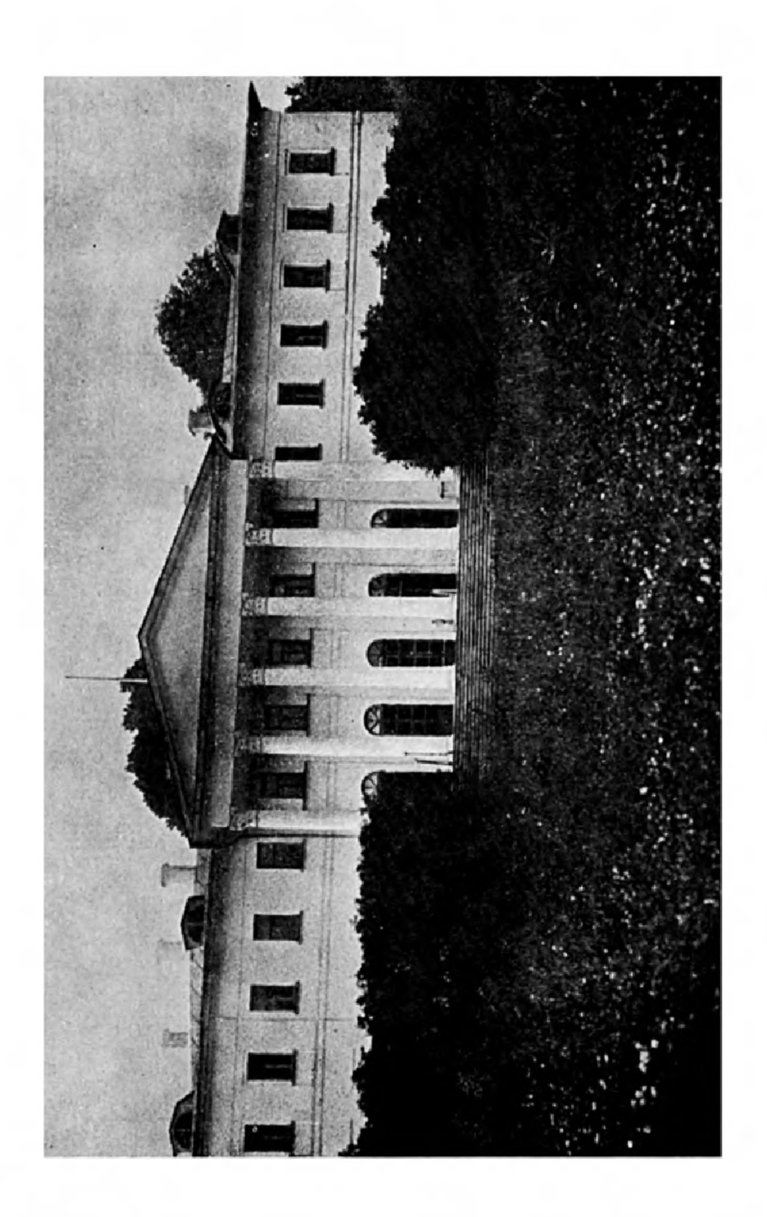
На преемнике цветущем
Старец-бард остановил,
О себе вздохнув, — в грядущем
Он певца благословил.

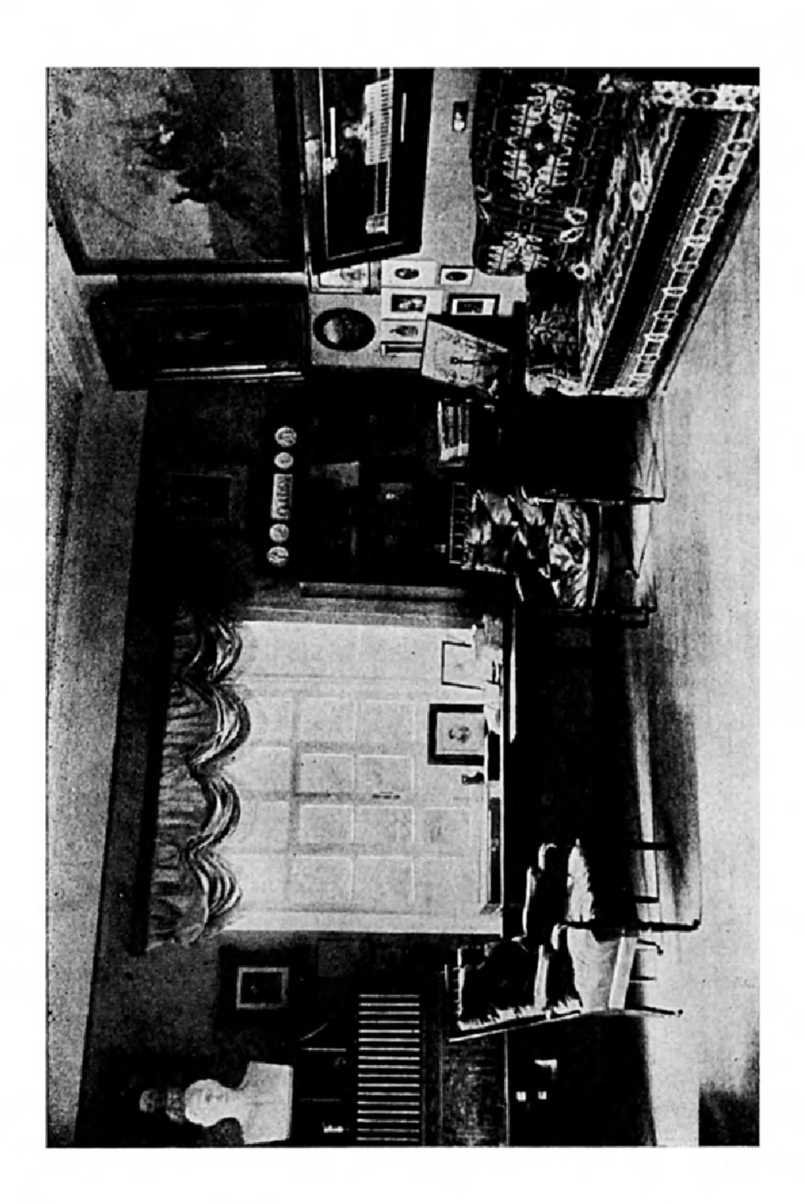
Брата обнял в нем Жуковский,
И с сочувствием родным,
С властью, нежностью отцовской
Карамзин следил за ним...

Как прекрасно над тобою
Утро жизни рассвело;
Ранним лавром, взятым с бою,
Ты обвил свое чело.

Свет холодный, равнодушный
Был тобою пробужден,
И, волшебнику послушный,
За тобой увлекся он.

Пред тобой соблазны пели,
Уловляя в плен сетей,
И в младой груди кипели
Страсти *Африки твоей*.





Ты с отвагою безумной
Устремился в быстрину,
Жизнью бурной, жизнью шумной
Ты пробился сквозь волну.

Но души не опозорил
Бурь житейских мутный вал;
За тебя твой гений спорил
И святыню отстоял.

От паденья, жрец духовный,
Дум и творчества залог —
Пламень чистый и верховный —
Ты в душе своей сберег.

Всё ясней, всё безмятежней
Разливался свет в тебе,
И всё строже, всё прилежней,
С обольщеньями в борьбе,

На таинственных скрижалях
Повесть сердца ты читал,
В радостях его, в печалях
Вдохновений ты искал.

Ты внимал живым глаголам
Поучительных веков,
Чуждый распрям и расколам
. . . . умов.

1854

ЭПЕРНЕ

Денису Васильевичу Давыдову

Икалось ли тебе, Давыдов,
Когда шампанское я пил
Различных вкусов, свойств и видов,
Различных возрастов и сил?

Когда в подвалах у Моэта
Я жадно поминал тебя,
Любя наездника-поэта,
Да и шампанское любя?

Здесь бьет Кастальский ключ, питая
Небаснословною струей;
Поэзия — здесь вещь ручная:
Пять франков дай — и пей и пой.

Моэт — вот сочинитель славный!
Он пишет прямо набело,
И стих его, живой и плавный,
Ложится нá душу светло.

Живет он славой всенародной;
Поэт доступный, всем с руки,
Он переводится свободно
На все живые языки.

Недаром он стяжал известность
И в школу все к нему спешат:
Его текущую словесность
Все поглощают нарасхват.

Поэм в стеклянном переплете
В его архивах миллион.
Гомер! Хоть ты в большом почете,
Чтó твой воспетый Илион?

Когда тревожила нас младость
И жажда ощущений жгла,
Его поэма, наша радость,
Настольной книгой нам была.

Как много мы ночей бессонных,
Забыв все тягости земли,
Ночей прозрачных, благосклонных
С тобой над нею провели.

Прочтешь поэму — и, бывало,
Давай полдюжину поэм!
Как ни читай — кажись, всё мало,
И зачитаешься совсем.

В тех подземельях гуляя,
Я думой ожил в старине.
Гляжу: биваком рать родная
Расположилась в Эперне.

Лихой казак, глазам и слуху,
Предстал мне: песни и гульба!
Пьют эпернейскую сивуху,
Жалея только, что слаба.

Люблю я русского натуру:
В бою он лев; пробьют отбой —
Весельчаку и балагуру
И враг всё тот же брат родной.

Оставя боевую пику,
Казак здесь мирно пировал,
Но за Москву, французам в пику,
Их погреба он осушал.

Вином кипучим с гор французских
Он поминал родимый Дон,
И, чтоб не пить из рюмок узких,
Пил прямо из бутылок он.

Да и тебя я тут подметил,
Мой бородинский бородач,
Ты тут друзей давнишних встретил,
И поцелуй твой был горяч.

Дней прошлых свитки развернулись,
Все поэтические сны
В тебе проснулись, встрепенулись
Из-за душевной глубины.

Вот край, где радость льет обильно
Виноточивая лоза;
И из очей твоих умильно
Скатилась пьяная слеза.

1838

ПРИПИСКА

Так из чужбины отдаленной
Мой стих искал тебя, Денис!
А уж тебя ждал неизменный
Не виноград, а кипарис.

На мой привет отчизне милой
Ответом скорбный голос был,
Что свежей братскою могилой
Дополнен ряд моих могил.

Искал я друга в день возврата,
Но грустен был возврата день,
И *собутыльника* и брата
Одну я с грустью обнял тень.

Остыл поэта светлый кубок,
Остыл и партизанский меч;
Средь благовонных чаш и трубок
Уж не кипит живая речь.

С нее не сыплются, как звезды,
Огни и вспышки острых слов,
И речь наездника наезды
Не совершает на глупцов.

Струей не льется вечно новой
Бивачных повестей рассказ
По льды Финляндии суровой,
Про огнедышащий Кавказ,

Про год, запечатленный кровью,
Когда, под заревом Кремля,
Пылая местью и любовью,
Восстала русская земля,

Когда, принесши безусловно
Все жертвы на алтарь родной,
Единодушно, поголовно
Народ пошел на смертный бой.

Под твой рассказ народной были,
Животрепещущий рассказ,
Из гроба тени выходили,
И блеск их ослеплял наш глаз.

Багратион — Ахилл душою,
Кутузов — мудрый Одиссей,
Сеславин, Кульнев — простотою
И доблестью муж древних дней!

Богатыри эпохи сильной,
Эпохи славной, вас уж нет!
И вот сошел во мрак могильный
Ваш сослуживец, ваш поэт!

Смерть сокрушила славы наши,
И смотрим мы с слезой тоски
На опрокинутые чаши,
На упраздненные венки.

Зову — молчит припев бывалый;
Ищу тебя — но дом твой пуст;
Не встретит стих мой запоздалый
Улыбки охладевших уст.

Но песнь мою, души преданье
О светлых, безвозвратных днях,
Прими, Денис, как возлиянье
На прах твой, сердцу милый прах!

1854

МАТРОССКАЯ ПЕСНЯ

Англичане, вы
Сгоряча Невы
Поклялись испить,
Нас взялись избить.

Море ждет напасть —
Сжечь грозит синица,
И на Русь напасть
Лондонская птица.

Честь мы воздаем
Английским матросам,
Но дать и вдвоем
Нелегко мат россам.

Любит свой Кронштадт
Наш морской Никола,
В нем морской наш штат
Знает богомола.

Бог оборони,
Пусть кричат они,
Что Кронштадт зажгут, —
Примемся за жгут.

И прогоним их,
Да прогоны с них
Мы же тут сдерем
На арак и ром.

Выходи, о рать,
Полно вам орать:
Тут не до *спичей*,
Пичканных речей.

Выставь свой народ
К нам ты на опушки,
И зажмут вам рот
Наши матки-пушки.

Зададим вам пир,
А тебя, вампир,
Адмирал Непир,
Ждет у нас не пир.

Ждет тебя урок,
Скрежет, плач и стон,
Скажешь: «Уж пророк
Этот Пальмерстон!

Он меня подбил,
Он же напоил
И победных сил
Спьяну насулил».

Вот тебе и хмель!
В голове шумело,
А очнись — эх, мель!
И всё дело село.

За цветной подвязкой
Сунулся ты к нам,
Но в той топи вязкой
Ты увязнешь сам.

Весна 1854

СОЗНАНИЕ

Владимиру Павловичу Титову

Я не могу сказать, что старость для меня
Безоблачный закат безоблачного дня.
Мой полдень мрачен был и бурями встревожен,
И темный вечер мой весь тучами обложен.
Я к старости дошел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил.
Начну ли проверять минувших дней итоги?
Обратно ль оглянусь с томительной дороги?
Везде развалины, везде следы утрат
О пройденном пути одни мне говорят.
В себя ли опущу я взор свой безотрадный —
Всё те ж развалины, всё тот же пепел хладный
Печально нахожу в сердечной глубине;
И там живым плодом жизнь не сказалась мне.
Талант, который был мне дан для приращенья,
Оставил праздным я на жертву нераденья;
Всё в семени самом моя убила лень,
И чужд был для меня созревшей жатвы день.
Боец без мужества и труженик без веры
Победы не стяжал и не восполнил меры,
Которая ему назначена была.
Где жертвой и трудом подъятые дела?
Где воли торжество, благих трудов начало?
Как много праздных дум, а подвигов как мало!
Я жизни таинства и смысла не постиг;
Я не сумел нести святых ее вериг,
И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей —
Как воину хоругвь дается в ратном поле, —
Безумно и грешно, чтобы вольней идти,
Снимая с слабых плеч, бросал я по пути.
Но догонял меня крест с ношею суровой;
Вновь тяготел на мне, и глубже язвой новой
Насильно он в меня врастал.
　　　　　　　　　　　　В борьбе слепой
Не с внутренним врагом я бился, не с собой;
Но промысл обойти пытался разум шаткой,
Но промысл обмануть хотел я, чтоб украдкой
Мне выбиться на жизнь из-под его руки
И новый путь пробить, призванью вопреки.
Но счастья тень поймать не впрок пошли усилья,
А избранных плодов несчастья не вкусил я.

И, видя дней своих скудеющую нить,
Теперь, что к гробу я всё ближе подвигаюсь,
Я только сознаю, что разучился жить,
Но умирать не научаюсь.

Лето 1854

РЯБИНА

Тобой, красивая рябина,
Тобой, наш русский виноград,
Меня потешила чужбина,
И я землячке милой рад.

Любуюсь встречею случайной;
Ты так свежа и хороша!
И на привет твой думой тайной
Задумалась моя душа.

Меня минувшим освежило,
Его повеяло крыло,
И в душу глубоко и мило
Дней прежних запах нанесло.

Всё пережил я пред тобою,
Всё перечувствовал я вновь —
И радость пополам с тоскою,
И сердца слезы, и любовь.

Одна в своем убранстве алом,
Средь обезлиственных дерев,
Ты вся обвешана кораллом,
Как шеи черноглазых дев.

Забыв и озера картину,
И снежный пояс темных гор,
В тебя, родную мне рябину,
Впился мой ненасытный взор.

И предо мною — Русь родная,
Знакомый пруд, знакомый дом;
Вот и дорожка столбовая
С своим зажиточным селом.

Красавицы, сцепивши руки,
Кружок веселый заплели,
И хороводной песни звуки
Перекликаются вдали:

«Ты рябинушка, ты кудрявая,
В зеленóм саду пред избой цвети,
Ты кудрявая, моложавая,
Белоснежный пух — кудри-цвет твои.

Убери себя алой бусою,
Ярких ягодок загорись красой;
Заплету я их с темно-русою,
С темно-русою заплету косой.

И на улицу на широкую
Выйду радостно на закате дня,
Там мой суженый черноокую,
Черноокую сторожит меня!»

Но песней здесь по околотку
Не распевают в честь твою.
Кто словом ласковым сиротку
Порадует в чужом краю?

Нет, здесь ты пропадаешь даром,
И средь спесивых винных лоз
Не впрок тебя за летним жаром
Прихватит молодой мороз.

Потомка новой Элоизы
В сей романтической земле,
Заботясь о хозяйстве мызы,
Или по-здешнему — *шале*,

Своим Жан-Жаком как ни бредит,
Свой скотный двор и сыр любя, —
Плохая ключница, не цедит
Она наливки из тебя.

В сей стороне неблагодарной,
Где ты растешь особняком,
Рябиновки злато-янтарной
Душистый нéктар незнаком.

Никто понятья не имеет,
Как благодетельный твой сок
Крепит желудок, душу греет,
Вдыхая сладостный хмелек.

И слава сахарной Коломны
В глушь эту также не дошла:
Сырам вонючим сбыт огромный,
А неизвестна пастила.

Средь здешних всех великолепий
Ты, в одиночестве своем,
Как роза средь безлюдной степи,
Как светлый перл на дне морском.

Сюда заброшенный случайно,
Я, горемычный как и ты,
Делю один с тобою тайно
Души раздумье и мечты.

Так, я один в чужбине дальной
Тебя приветствую тоской,
Улыбкою полупечальной
И полурадостной слезой.

2 ноября 1854
Веве

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСПОВЕДЬ

Сознаться должен я, что наши хрестоматы
Насчет моих стихов не очень тороваты.
Бывал и я в чести; но ныне век другой:
Наш век был детский век, а этот — деловой.
Но что ни говори, а Плаксин и Галахов,
Браковщики живых и судьи славных прахов,
С оглядкою меня выводят напоказ,
Не расточая мне своих хвалебных фраз.
Не мне о том судить. А может быть, и правы
Они. Быть может, я не дослужился славы
(Как самолюбие мое ни тарабарь)
Попасть в капитул их и в адрес-календарь,

В разряд больших чинов и в круг чернильной знати,
Пониже уголок — и тот мне очень кстати;
Лагарпам наших дней, светилам наших школ
Обязан уступить мой личный произвол.
Но не о том здесь речь: их прав я не нарушу;
Здесь исповедью я хочу очистить душу:
При случае хочу — и с позволенья дам —
Я обнажить себя, как праотец Адам.
Я сроду не искал льстецов и челядинцев,
Академических дипломов и гостинцев,
Журнальных милостынь не добивался я;
Мне не был журналист ни власть, ни судия;
Похвалят ли меня? Тем лучше! Не поспорю.
Бранят ли? Так и быть — я не предамся горю;
Хвалам — я верить рад, на брань — я маловер,
А сам? Я грешен был, и грешен вон из мер.
Когда я молод был и кровь кипела в жилах,
Я тот же кипяток любил искать в чернилах.
Журнальных схваток пыл, тревог журнальных шум,
Как хмелем, подстрекал заносчивый мой ум.
В журнальный цирк не раз, задорный литератор,
На драку выходил, как древний гладиатор.
Я русский человек, я отрасль тех бояр,
Которых удальство питало бойкий жар;
Любил я — как сказал певец финляндки Эды —
Кулачные бои, как их любили деды.
В преданиях живет кулачных битв пора;
Боярин-богатырь, оставив блеск двора
И сняв с себя узду приличий и условий,
Кидался сгоряча, почуя запах крови,
В народную толпу, чтоб испытать в бою
Свой жилистый кулак, и прыть, и мощь свою.
Давно минувших лет дела! Сиом баснословным
Угасли вы! И нам, потомкам хладнокровным,
Степенным, чопорным, понять вас мудрено.
И я был, сознаюсь, бойцом кулачным. Но,
«Журналов перешед волнуемое поле,
Стал мене пылок я и жалостлив стал боле».

Почтенной публикой (я должен бы сказать:
Почтеннейшей — но в стих не мог ее загнать) —
Почтенной публикой не очень я забочусь,
Когда с пером в руке за рифмами охочусь.

В самой охоте есть и жизнь, и цель своя
(В Аксакове прочти поэтику ружья).
В самом труде сокрыт источник наслаждений;
Источник бьет, кипит — и полон изменений:
Здесь рвется с крутизны потоком, там, в тени,
Едва журча, змеит игривые струи.
Когда ж источник сей, разлитый по кувшинам,
На потребление идет — конец картинам!
Поэзии уж нет; тут проза целиком!
Поэзию люби в источнике самом.

Взять оптом публику — она свой вес имеет.
Сей вес перетянуть один глупец затеет;
Но раздроби ее, вся важность пропадет.
Кто ж эта публика? Вы, я, он, сей и тот.
Здесь Петр Иванович Бобчи́нский с крестным братом,
Который сам глупец, а смотрит меценатом;
Не кончивший наук уездный ученик,
Какой-нибудь NN, оратор у заик;
Другой вам наизусть всего Хвостова скажет,
Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет
И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть;
Известный краснобай: язык — живая ртуть,
Но жаль, что ум всегда на точке замерзанья;
«Фрол Силич», календарь Острожского изданья,
Весь мир ему архив и мумий кабинет;
Событий нет ему свежей, как за сто лет,
Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке;
Минувшего циклоп, он с глазом на затылке.
Другой — что по́д носом, того не разберет
И смотрит в телескоп всё за сто лет вперед,
Желудочную желчь и свой недуг печальный
Вменив себе в призыв и в признак гениальный;
Иной на всё и всех взирает свысока:
Клеймит и вкривь и вкось задорная рука.
И всё, что любим мы, и всё, что русским свято,
Пред гением с бельмом черно и виновато.
Там причет критиков, пророков и жрецов
Каких-то — невдомек — сороковых годов,
Родоначальников литературной черни,
Которая везде, всплывая в час вечерний,
Когда светилу дня вослед потьма сойдет,
Себя дает нам знать из плесени болот.

Так далее! Их всех я в стих мой не упрячу.
Кто под руку попал, тех внес я наудачу.
Вот вам и публика, вот ваше большинство.
От них опала вам, от них и торжество.
Всё люди с голосом, всё рать передовая,
Которая кричит, безгласных увлекая;
Всё люди на счету, всё общества краса.
В один повальный гул их слившись голоса
Слывут между людьми судом и общим мненьем.
Пред ними рад пребыть я с истинным почтеньем,
Но всё ж, когда пишу, скажите, неужель
В Бобчи́нском, например, иметь себе мне цель?
В угоду ли толпе? Из денег ли писать?
Всё значит в кабалу свободный ум отдать.
И нет прискорбней, нет постыдней этой доли,
Как мысль свою принесть на прихоть чуждой воли,
Как выражать не то, что чувствует душа,
А то, что принесет побольше барыша.
Писателю грешно идти в гостинодворцы
И продавать лицом товар свой! Стихотворцы,
Прозаики должны не бегать за толпой!
Я публику люблю в театре и на балах;
Но в таинствах души, но в тех живых началах,
Из коих льется мысль и чувства благодать,
Я не могу ее посредницей признать;
Надменность ли моя, смиренье ль мне вожатый —
Не знаю; но молве стоустой и крылатой
Я дани не платил и не был ей жрецом.

И я бы мог сказать, хоть не с таким почетом:
«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом».[1]
Безвыходно больной, в безвыходном бреду,
От рифмы к рифме я до старости бреду.
Отец мой, светлый ум вольтеровской эпохи,
Не полагал, что все поэты скоморохи;
Но мало он ценил — сказать им не во гнев —
Уменье чувствовать и мыслить нараспев.
Издетства он меня наукам точным прочил,
Не тайно ль голос в нем родительский пророчил,
Что случай — злой колдун, что случай — пестрый шут
Пегас мой запряжет в финансовый хомут

---

[1] «Au sortir du berceau je begayais des vers». Voltaire.
(«Едва выйдя из колыбели, я лепетал стихи». Вольтер (фр.).)

И что у Канкрина в мудреной колеснице
Не пятой буду я, а разве сотой спицей;
Но не могли меня скроить под свой аршин
Ни умный мой отец, ни умный граф Канкрин;
И как над числами я ни корпел со скукой,
Они остались мне тара́барской наукой...

Я не хочу сказать, что чистых муз поборник
Жить должен взаперти, как схимник иль затворник
Нет, нужно и ему сочувствие людей.
Член о́бщины, и он во всем участник с ней:
Ее труды и скорбь, заботы, упованья —
С любовью братскою, с желаньем врачеванья
Всё на душу свою приемлет верный брат,
Он ношу каждого себе усвоить рад,
И, с сердцем заодно, перо его готово
Всем высказать любви приветливое слово.
И славу любит он, но чуждую сует,
Но славу чистую, в которой пятен нет.
И я желал себе читателей немногих,
И я искал судей сочувственных и строгих;
Пять-шесть их назову — достаточно с меня,
Вот мой ареопаг, вот публика моя.
Житейских радостей я многих не изведал;
Но вместо этих благ, которых бог мне не дал,
Друзьями щедро он меня вознаградил,
И дружбой избранных я горд и счастлив был.
Иных уж не дочтусь: вождей моих не стало;
Но память их жива: они мое зерцало;
Они в трудах моих вторая совесть мне.
И вопрошать ее люблю наедине.
Их тайный приговор мне служит ободреньем
Иль оставляет стих «под сильным подозреньем».

Доволен я собой, и по сердцу мне труд,
Когда сдается мне, что выдержал бы суд
Жуковского; когда надеяться мне можно,
Что Батюшков, его проверив осторожно,
Ему б на выпуск дал свой цензорский билет;
Что сам бы на него не положил запрет
Счастливый образец изящности афинской,
Мой зорко-сметливый и строгий Боратынский;

Что Пушкин, наконец, гроза плохих писак,
Пожав бы руку мне, сказал: «Вот это так!»
Но, впрочем, сознаюсь, как детям ни мирволю,
Не часто эти дни мне падают на долю;
И восприемникам большой семьи моей
Не смел бы поднести я многих из детей;
Но муза и теперь моя не на безлюдьи,
Не упразднен мой суд, есть и живые судьи,
Которых признаю законность и права,
Пред коими моя повинна голова.
Не выдам их имен нескромным наговором,
Боюсь, что и на них посыплется с укором
Град перекрестного, журнального огня;
Боюсь, что обвинят их злобно за меня
В пристандержательстве моей опальной музы —
Старушки, связанной в классические узы, —
В смешном потворстве ей, в пристрастии слепом
К тому, что век отпел и схоронил живьем.
В литературе я был вольным казаком, —
Талант, ленивый раб, не приращал трудом,
Писал, когда писать в душе слышна потреба,
Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
И не давал себя расколам в кабалу,
И сам не корчил я вождя в своем углу...

1854?

* * *

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На вечереющий мой день
Отрады луч пролей ты вновь!

Порою невоздержных лет
Мы любим пыл и блеск страстей,
Но полурадость, полусвет
Нам на закате дня милей.

14 января 1855
Веве

* * *

Ночью выпал снег. Здорово ль,
Мой любезнейший земляк?
Были б санки да рысак —
То-то нагуляться вдоволь!

Но в пастушеском Веве
Не дается сон затейный,
И тоскуешь по Литейной,
По застывшей льдом Неве.

14 января 1855
Веве

* * *

Чуден блеск живой картины:
Ярко ло́снятся вершины,
Словно злато на огне;
Снег на них под солнцем рдеет,
Тонкий пар, струясь, алеет
И дымится в вышине.

Окаймившись горной цепью,
Озеро стеклянной степью
Бездыханно разлилось,
И плитами светозарно,
То багряно, то янтарно,
Раскалилось и зажглось.

Кто бы в слово, в образ чистый
Смело мог сей блеск струистый,
Жизнь и свежесть зачерпнуть?
Разве кистью — Айвазовский,
Разве б мог один Жуковский
В свой прозрачный стих вдохнуть.

Начало 1855

АНГЛИЧАНКЕ

Когда, беснуясь, ваши братья
На нас шлют ядры и проклятья
И варварами нас зовут, —
Назло Джон-Булю и французам,
Вы, улыбаясь русским музам,
Им дали у себя приют.

Вы любите напев их стройный,
Ум русский, светлый и спокойный,
Простосердечный и прямой.
Язык есть исповедь народа:
В нем слышится его природа,
Его душа и быт родной.

Крылова стих простой и сильный
И поговорками обильный
Вы затвердили наизусть;
Равно и Пушкина вам милы
Мечты, стих звучный, легкокрылый
И упоительная грусть.

Умом открытым и свободным
Предубежденьям лженародным
Не поддались вы на заказ
И, презирая вопли черни,
В наш лавр не заплетая терний,
Не колете нам ими глаз.

Вы любите свою отчизну,
Другим не ставя в укоризну,
Что и у них отчизна есть.
Вам, англичанке беспристрастной,
Вам, предрассудкам неподвластной, —
Признательность, хвала и честь.

Боясь, чтоб Пальмерстон не сведал
И вас за руссицизм не предал
Под уголовную статью,
Украдкой *варварскую* руку,
Сердечных чувств моих в поруку,
Вам дружелюбно подаю.

10 марта 1855
Веве

НА ПРОЩАНЬЕ

Я никогда не покидаю места,
Где промысл дал мне смирно провести
Дней несколько, не тронутых бедою,
Чтоб на прощанье тихою прогулкой
Не обойти с сердечным умиленьем
Особенно мне милые тропинки,
Особенно мне милый уголок.
Прощаюсь тут и с ними, и с собою.
Как знать, что ждет меня за рубежом?
Казалось мне — я был здесь застрахован,
Был огражден привычкой суеверной
От треволнений жизни ненадежной
И от обид насмешливой судьбы.
Здесь постоянно и однообразно,
День за день, длилось всё одно *сегодня*,
А там меня в дали неверной ждет
Неведенье сомнительного *завтра*,
И душу мне теснит невольный страх.
Как в гроб родной с слезами опускаем
Мы часть себя, часть лучшую себя,
Так, покидая теплое гнездо,
Пролетных дней приют богохранимый,
Сдается мне, что погребаю я
Досугов мирных светлые занятья,
И свежесть чувств, и деятельность мысли —
Всё, чем я жил, всё, чем жила душа.

Привычка мне дана в замену счастья.
Знакомое мне место — старый друг,
С которым я сроднился, свыкся чувством,
Которому я доверяю тайны,
Подъятые из глубины души
И недоступные толпе нескромной.
В среде привычной ближе я к себе.
Природы мир и мир мой задушевный —
Один с своей красой разнообразной
И с свежей прелестью картин своих,
Другой — с своими тайнами, глубоко
Лежащими на недоступном дне, —
Сливаются в единый строй сочувствий,
В одну любовь, в согласие одно.
Здесь тишина, и целость, и свобода.

Там между *мною*, внутренним и внешним,
Вторгается насильственным наплывом
Всепоглощающий поток сует,
Ничтожных дел и важного безделья.
Там к спеху всё, чтоб из пустого — важно
В порожнее себя переливать.
Когда мой ум в халате, сердце дома,
Я кое-как могу с собою ладить,
Отыскивать себя в себе самом
И быть не тем, во что нарядит случай,
Но чем могу и чем хочу я быть.
Мой *я* один здесь цел и ненарушим,
А там мы два разрозненные *я*.

О, будь на вас благословенье свыше,
Сень рощей, мир полей и бытия!
Да, с каждым летом всё ясней, всё тише,
На запад свой склоняясь, жизнь моя
Под вашею охраной благосклонной
К урочной цели совершает путь,
И вечер мирный, свежий, благовонный
Даст от дневных тревог мне отдохнуть.

Люблю я наш обычай православный;
В нем тайный смысл и в нем намек есть явный;
Недаром он в почтенье у отцов,
Поднесь храним у нас в среде семейной:
Когда кто в путь отправиться готов,
Присядет он в тиши благоговейной,
Сосредоточится в себе самом
И, оградясь напутственным крестом,
Предаст себя и милых ближних богу,
А там бодрей пускается в дорогу.

Не все ль мы странники? Не всем ли нам
В путь роковой идти всё тем же следом?
Сегодня? Завтра? День тот нам неведом,
Но свыше он рассчитан по часам.
Как ни засиживаться старожилу,
Как на земле он долго ни гости,
Нечаянно пробьет поход в могилу,
И редко кто готов в тот путь идти.
Волнуемым житейскою тревогой,

Нам, отсталы́м от братьев, прежде нас
Отшедших в путь, — и нам уж близок час.
Не лучше ль каждому пред той дорогой
Собраться с духом, молча, одному
Сойти спокойно в внутреннюю келью
И дать остыть житейскому похмелью
И отрезвиться страстному уму.

Осень 1855
Лесная дача

БЕРЕЗА

Средь избранных дерев — береза
Не поэтически глядит;
Но в ней — душе родная проза
Живым наречьем говорит.

Милей всех песней сладкозвучных —
От ближних радостная весть,
Хоть пара строк собственноручных,
Где сердцу много что прочесть.

Почтовый фактор — на чужбине
Нам всем приятель дорогой;
В лесу он про́сек, ключ — в пустыне,
Нам проводник в стране чужой.

Из нас кто мог бы хладнокровно
Завидеть русское клеймо?
Нам здесь и ты, береза, словно
От милой матери письмо.

1855?

БАДЕН-БАДЕН

Люблю вас, баденские тени,
Когда чуть явится весна
И, мать сердечных снов и лени,
Еще в вас дремлет тишина;

Когда вы скромно и безлюдно
Своей красою хороши
И жизнь лелеют обоюдно
Природы мир и мир души.

Кругом благоухает радость,
И средь улыбчивых картин
Зеленых рощей блещет младость
В виду развалин и седин.

Теперь досужно и свободно
Прогулкам, чтенью и мечтам:
Иди — куда глазам угодно,
И делай, что захочешь сам.

Уму легко теперь — и груди
Дышать просторно и свежо;
А всё испортят эти люди,
Которые придут ужо.

Тогда Париж и Лондон рыжий,
Капернаум и Вавилон,
На Баден мой направив лыжи,
Стеснят его со всех сторон.

Тогда от Сены, Темзы, Тибра
Нахлынет стоком мутных вод
Разнонародного калибра
Праздношатающийся сброд:

Дюшессы, виконтессы, леди,
Гурт лордов тучных и сухих,
Маркиз Г***[1], принцесса В***[2], —
А лучше бы не ведать их;

И кавалеры-апокрифы
Собственноручных орденов,
И гофкикиморы, и мифы
Мифологических дворов;

---

[1] Глаголь. — *Ред.*
[2] Веди. — *Ред.*

И рыцари слепой рулетки
За сбором золотых крупиц,
Сукна зеленого наседки,
В надежде золотых яиц;

Фортуны олухи и плуты,
Карикатур различных смесь:
Здесь — важностью пузырь надутый,
Там — накрахмаленная спесь.

Вот знатью так и пышет личность,
А если ближе разберешь:
Вся эта личность и наличность —
И медный лоб, и медный грош.

Вот разрумяненные львицы
И львы с козлиной бородой,
Вот доморощенные птицы
И клев орлиный наклейной.

Давно известные кокетки,
Здесь выставляющие вновь
Свои прорвавшиеся сетки
И допотопную любовь.

Всех бывших мятежей потомки,
Отцы всех мятежей других,
От разных баррикад обломки
Булыжных буйных мостовых.

Все залежавшиеся в лавке
Невесты, славы и умы,
Все знаменитости в отставке,
Все соискатели тюрьмы.

И Баден мой, где я, как инок,
Весь в созерцанье погружен,
Уж завтра будет — шумный рынок,
Дом сумасшедших и притон.

1855?

* * *

Поскупясь, судьба талана
Не дала мне на зубок:
Всюду поздно или рано,
Всё некстати, всё не впрок
Прихожу и затеваю;
Ничего не начинаю
После дождичка в четверг,
А как раз сажусь в дорогу
Перед дождичком в четверг.
Я занес в Женеву ногу
И судьбы не опроверг:
Вот подуло *черной бизой*
С неба, тучами, как ризой,
Облаченного кругом.
Горы все под капюшоном,
И над озером и Роном
Волны прыщут кипятком.
Не далась мне и Женева.
Не всходил на верх Салева
По следам Карамзина;
Не видал, хоть из окна,
Живописного Монблана —
Гор царя и великана.
Скрылся он вовнутрь тумана:
У царя приема нет.
И не знает ваш поэт,
Как, подъемлясь горделиво
На престоле из сребра,
Богом созданное диво,
Блещет Белая гора.

1855?

* * *

Дивлюсь всегда тому счастливцу,
Который, чуждый всех забот,
Как подобает горделивцу,
Самоуверенно живет,

Случайной жизнью, как хозяин,
Распоряжаться он привык,
Нет для него в ней темных таин,
Что ставят часто нас в тупик.

Он книгу жизни вскользь толкует,
Всё в ней ему как *б-а — ба*;
Он словно сам ее диктует,
И пишет набело судьба.

Нет места в нем раздумью, горю,
Нет места внутренней борьбе,
Пловец, он доверяет морю,
А пуще верит сам себе.

Идет вперед, отвагой полный,
Надменно выдвигая грудь,
А жизнь — уступчивые волны,
Пред ним широкий, гладкий путь.

Мудрец он, зоркий и глубокой?
Нахал ли, путник ли слепой,
Который с крутизны высокой
Не чует бездны под собой?

В недоуменье пребываю:
Благоговеть ли перед ним
Иль сожалеть о нем? Не знаю,
Мне сей вопрос неразрешим.

Но как различны в нас понятья,
Наш взгляд на жизнь и взгляд его:
Мы ощупью, меньшая братья,
Впотьмах бредем, страшась всего.

Что шаг — в виду Харибды, Сциллы,
Что шаг — Иракловы столбы;
Всегда под роковою силой
Мы внешних случаев рабы.

Вот хоть бы я: давно и даже
Давно за срок и зауряд
С житейской лямкой я на страже,
А всё же я плохой солдат.

И виноград и лавр мне зелен;
Не раз прострелен был насквозь,
А всё еще я не обстрелян
И не привык твердить: небось.

Напротив, в скуке обоюдной,
В кругу безвыходном верчусь
И в вечной распре с жизнью трудной
Боюсь себя, ее боюсь.

При ясном дне тревогой тайной
Я чую в небе облака,
Мне в каждой радости случайной
Грозит зародышем тоска.

1856?

* * *

Остафьево,
26 октября 1857

Приветствую тебя, в минувшем молодея,
Давнишних дней приют, души моей Помпея!
Былого след везде глубоко впечатлен —
И на полях твоих, и на твердыне стен
Хранившего меня родительского дома.
Здесь и природа мне так памятно знакома,
Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я,
На что ни посмотрю — всё быль, всё жизнь моя.
Весь этот тесный мир, преданьями богатый,
Он мой, и я его. Все блага, все утраты,
Всё, что я пережил, всё, чем еще живу, —
Всё чудится мне здесь во сне и наяву.
Я слышу голоса из-за глухой могилы;
За милым образом мелькает образ милый...
Нет, не Помпея ты, моя святыня, нет,
Ты не развалина, не пепел древних лет, —
Ты всё еще жива, как и во время óно:
Источником живым кипит благое лоно,
В котором утолял я жажду бытия.
Не изменилась ты, но изменился я.
Обломком я стою в виду твоей нетленной
Святыни, пред твоей красою неизменной,

Один я устарел под ношею годов.
Неузнанный вхожу под твой знакомый кров
Я, запоздалый гость другого поколенья.
Но по тебе года прошли без разрушенья;
Тобой любуюсь я, какой и прежде знал,
Когда с весной моей весь мир мой расцветал.
Всё те же мирные и свежие картины:
Деревья разрослись вдоль прудовой плотины,
Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд —
Немая летопись о безымянной битве;
Белеет над прудом пристанище молитве,
Дом божий, всем скорбям гостеприимный дом.
Там привлекают взор, далече и кругом,
В прозрачной синеве просторной панорамы,
Широкие поля, селенья, божьи храмы,
Леса, как темный пар, поемные луга
И миловидные родные берега
Извилистой Десны, Любучи молчаливой,
Скользящей вдоль лугов струей своей ленивой.
Здесь мирных поселян приветливый погост.
Как на земле была проста их жизнь, так прост
И в матери-земле ночлег их. Мир глубокой.
Обросший влажным мхом, здесь камень одинокой
Без пышной похвалы подкупного резца;
Но детям памятно, где тлеет прах отца.
Там деревянный крест, и тот полуразрушен;
Но мертвым здесь простор, но их приют не душен,
И светлая весна ласкающей рукой
Дарит и зелень им, и ландыш полевой.
Везде всё тот же круг знакомых впечатлений.
Сменяются ряды пролетных поколений,
Но не меняются природа и душа.
И осень тихая всё так же хороша.
Любуюсь грустно я сей жизнью полусонной, —
И обнаженный лес без тени благовонной,
Без яркой зелени, убранства летних дней,
И этот хрупкий лист, свалившийся с ветвей,
Который под ногой моей мятется с шумом, —
Мне всё сочувственно, всё пища тайным думам,
Всё в ум приводит мне, что осень и моя
Оборвала цветы былого бытия.
Но жизнь свое берет: на молодом просторе,
В дни беззаботные, и осень ей не в горе.

Остафьево. 21 окт.: 1857,

Приветствую тебя, в минувшем молодея,
Давнишних дней приют, души моей Помпея!
~~[illegible]~~
Минувшего следы везде глубоко впечатлены
И на [illegible] и на твердынях стен,
Хранилищах [illegible] родительского дома.
Здесь и природа мне так [illegible]-знакома
Здесь с каждым деревом сроднился, сросся я.
На что ни посмотрю, вся быль вся жизнь моя.
Вот этот [illegible] мир, предания былые,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Отважных мальчиков веселая орда
Пускает кубари по зеркалу пруда.
Крик, хохот. Обогнать друг друга каждый ищет,
И под коньками лед так и звенит и свищет.
Вот ретивая песнь несется вдалеке:
То грянет удалью, то вдруг замрет в тоске,
И светлым облаком на сердце тихо ляжет,
И много дум ему напомнит и доскажет.
Но постепенно дня стихают голоса.
Серебряная ночь взошла на небеса.
Всё полно тишины, сиянья и прохлады.
Вдоль блещущих столбов прозрачной колоннады
Задумчиво брожу, предавшись весь мечтам;
И зыбко тень моя ложится по плитам —
И с нею прошлых лет и милых поколений
Из глубины ночной выглядывают тени.
Я вопрошаю их, прислушиваюсь к ним —
И в сердце отзыв есть приветам их родным.

* * *

Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано,
А у него уж тут и химик, и сопрано,
И врач, и педагог, разноплеменный сбор,
С задачей шахматной ученый Филидор,
Заморский виртуоз, домашний самоучка,
С старушкой бабушкой молоденькая внучка;
И он на них вперит свой неподвижный взгляд
Рассеянно, из двух спросить любую рад,
Которая должна в балет порхнуть Жизелью,
Которой на покой дать в богадельне келью?
Поэт, и сказочник, и новый драматург,
Пред тем чтоб на себя накликать Петербург,
Новорожденных чад ему на суд приносит
И детям на зубок его вниманья просит.
Несостоятельный журнальный Фигаро,
Желающий свое осеребрить перо,
С проектом Верхолет, воздушных замков зодчий,
Простроил он давно на них запас свой отчий,
И ловит по рукам пятьсот рублей взаймы,
Чтоб верный миллион нажить к концу зимы;

Крушеньем преданный враждебных волн прибою,
Уязвленный людьми, обманутый судьбою,
Кого постигла скорбь, кого людская злость,
Тут у него в дому уже почетный гость;
Все ищут близь него движенья и защиты,
И настежь дверь его и сердце всем открыты;
Наш друг ни от чего, ни от кого не прочь,
Всем ближним близок он, и всем готов помочь.

Разносторонний ум и вместе специальный,
И примадонне он, и бабке повивальной
Все тайны ремесла готов преподавать,
Как будто б сам рожден он петь и повивать.

Рассеянность его была не беспредельной,
В ином был человек и он отменно дельный.
Сочти все дни его: как верный часовой,
Он в жизнь не опоздал минутой ни одной
На дело доброе, где ум брал сердце в долю,
На лакомый обед, где мог покушать вволю;
Педант, он не давал в делах и на пиру
Напрасно остывать ни супу, ни добру.

От ранних лет его поэзия вскормила
И юный чуткий слух с созвучьями сроднила.
Был некогда ему Державин опекун,
А Батюшков поздней игрой волшебных струн
Приветствовал его, младого трубадура,
Счастливым баловнем Эрато и Амура.

Кудрявый трубадур стал, нам подобно, стар,
И свежих роз венок, Киприды милый дар,
С кудрями времени рукой свирепо скошен,
И вместо роз — парик на лысине взъерошен.
Но молодость души, но чувства нежный свет
Благоухали в нем под стужей поздних лет.
Всем возрастам умом и нравом одногодок,
В сенате мудрецов, средь юношеских сходок,
В кругу младых красот он был душой бесед,
И вечер без него не вечер был; обед,
Не скрашенный его застольным вдохновеньем,
Был сух и на душу ложился пресыщеньем...

1857?

(ИЗ «ОЧЕРКОВ МОСКВЫ»)

Твердят: ты с Азией Европа,
Славянский и татарский Рим,
И то, что зрелось до потопа,
В тебе еще и ныне зрим.

В тебе и новый мир, и древний;
В тебе пасут свои стада
Патриархальные деревни
У Патриаршего пруда.

Строенья всех цветов и зодчеств,
А надписи на воротах —
Набор таких имен и отчеств,
Что просто зарябит в глазах.

Здесь чудо — барские палаты
С гербом, где вписан знатный род;
Вблизи на курьих ножках хаты
И с огурцами огород.

Поэзия с торговлей рядом;
Ворвался Ма́нчестер в Царьград,
Паровики дымятся смрадом, —
Рай неги и рабочий ад!

Кузнецкий мост давно без кузниц —
Парижа пестрый уголок,
Где он вербует русских узниц,
Где он сбирает с них оброк.

А тут, посмотришь, — Русь родная
С своею древней простотой,
Не стертая, не початая,
Как самородок золотой,

Русь в кичке, в красной душегрейке,
Она, как будто за сто лет,
Живет себе на Маросейке,
И до Европы дела нет.

Всё это так — и тем прекрасней!
Разнообразье — красота:
Быль жизни с своенравной басней;
Здесь хлам, там свежая мечта.

Здесь личность есть и самобытность,
Кто я, так *я*, не каждый *мы*,
Чувств подчиненность или скрытность
Не заморозила умы.

Нет обстановки хладно-вялой,
Упряжки общей, общих форм;
Что конь степной, здесь каждый малый
Разнуздан на подножный корм.

У каждого свои причуды
И свой аршин с своим коньком,
Свой нрав, свой толк и пересуды
О том, о сем и ни о чем.

Москва! Под оболочкой пестрой
Храни свой самородный быт!
Пусть Грибоедов шуткой острой
Тебя насмешливо язвит,

Ты не смущайся, не меняйся,
Веками вылитая в медь,
На Кремль свой гордо опирайся
И, чем была, тем будь и впредь!

Величье есть в твоем упадке,
В рубцах твоих истертых лат!
Есть прелесть в этом беспорядке
Твоих разбросанных палат,

Твоих садов и огородов,
Высоких башен, пустырей,
С железной мачтою заводов
И с колокольнями церквей!

Есть прелесть в дружбе хлебосольной
Гостеприимных москвичей,
В их важности самодовольной,
В игре невинных их затей.

Здесь повсеместный и всегдашний
Есть русский склад, есть русский дух,
Начать — от Сухаревой башни
И кончить — сплетнями старух.

17 мая 1858

АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ ИВАНОВУ

Я видел древний Иордан.
Святой любви и страха полный,
В его евангельские волны,
Купель крещенья христиан,
Я погружался троекратно,
Молясь, чтоб и душа моя
От язв и пятен бытия
Волной омылась благодатно.

От оных дум, от оных дней,
Среди житейских попечений,
Как мало свежих впечатлений
Осталось на душе моей!
Они поблекли под соблазном
И едким холодом сует:
Во мне паломника уж нет,
Во мне, давно сосуде праздном.

Краснею, глядя на тебя,
Поэт и труженик-художник!
Отвергнув льстивых муз треножник
И крест единый возлюбя,
Святой земли жилец заочный,
Ее душой ты угадал,
Ее для нас завоевал
Своею кистью полномочной.

И что тебе народный суд?
В наш век блестящих скороспелок,
Промышленных и всяких сделок,
Как добросовестен твой труд!
В одно созданье мысль и чувство,
Всю жизнь сосредоточил ты;
Поклонник чистой красоты,
Ты свято веровал в искусство.

12 П. А. Вяземский

В избытке задушевных сил,
Как схимник, жаждущий спасенья,
Свой дух постом уединенья
Ты отрезвил, ты окрилил.
В искусе строго одиноком
Ты прожил долгие года
И то прозрел, что никогда
Не увидать телесным оком.

Священной книги чудеса
Тебе явились без покрова,
И над твоей главою снова
Разверзлись в славе небеса.
Глас вопиющего в пустыне
Ты слышал, ты уразумел —
И ты сей день запечатлел
С своей душой в своей картине.

Спокойно лоно светлых вод;
На берегу реки — Предтеча;
Из мест окрестных, издалече,
К нему стекается народ;
Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя божий путь,
Народ зовет он к покаянью.

А там спускается с вершин
Неведомый, смиренный странник:
«Грядет он, господа избранник,
Грядет на жатву божий сын.
В руке лопата; прйдет время,
Он отребит свое гумно,
Сберет пшеничное зерно
И в пламя бросит злое семя.

Сильней и впереди меня
Тот, кто идет вослед за мною;
Ему — припав к ногам — не стою
Я развязать с ноги ремня.
Рожденья суетного мира,
Покайтесь: близок суд. Беда
Древам, растущим без плода:
При корне их лежит секира».

Так говорил перед толпой,
В недоуменье ждавшей чуда,
Покрытый кожею верблюда
Посланник божий, муж святой.
В картине, полной откровенья,
Всё это передал ты нам,
Как будто от Предтечи сам
Ты принял таинство крещенья.

30 июня 1858

ДРУГУ СЕВЕРИНУ

От детских лет друзья, преданьями родные,
    На опустевшем поле боевом,
Мы, уцелевшие от боя часовые,
    Стоим еще с тобою под ружьем.
Теченьем волн своих нас время разлучило;
Когда же сердце в нас подернется тоской
И тень вечерняя сменяет дня светило,
        Мы окликаемся с тобой.

20 сентября 1858
Карловары

ЖЕЛАНИЕ

Не искушай меня без нужды...
Боратынский

Как в беззащитную обитель
Вошедший нагло тать ночной,
Желанье, хитрый искуситель,
Довольно ты владело мной.

Протей, всегда разнообразный,
Во все приманки красоты,
Во все мечты, во все соблазны
Волшебно облекалось ты.

Меня влекло ты, уносило,
Как там рассудок ни грози;
Вдали всё так казалось мило,
Всё было приторно вблизи.

Довольно раб твой безоружный
Тебе игралищем служил.
В душе усталой и недужной
Уж нет порывов, нет уж сил.

Давно твое их точит жало,
Давно исчерпан ключ страстей;
Мою ты алчность раздражало,
Но пищи не давало ей.

Всегда искал я целей новых
И не достиг ни до одной;
Ценою опытов суровых
Я дослужился на покой.

Но смертный слаб, он малодушен,
Он суеверен, — вновь могу
Невольно быть тебе послушен,
Тебе, любезному врагу.

Мне страшно думать, что, безумный,
Желать еще способен я,
Что в море, под погодой шумной,
Моя сорвется ладия.

Молю: улыбкой вероломной
Не растравляй заснувших ран,
Не вызывай из бездны темной
Снов, обличивших свой обман.

Бесплодны будут заклинанья;
Отстань, не искушай меня;
В одном отсутствии желанья
Хочу провесть остаток дня.

28 ноября 1858
Ницца

ДОРОГОЮ

Я на себя сержусь и о себе горюю.
Попутал грех меня оставить сень родную,
Родных привычек нить прервать, пуститься в путь,
Чтоб тёмно где-нибудь искать чего-нибудь.

Счастливый уголок моей уютной дачи,
Досуг — я променял на почтовые клячи,
На душную тюрьму, на мальпост: то-то пост
И пытка! Скорчен в крюк мой перегнутый рост,
Торчу я кое-как на беспокойной лавке;
Кажись, я и один, а тесно, словно в давке,
Прет в спину, в ноги прет — и божьего раба
Так гонит день и ночь почтовая гоньба,
Уж тут не до еды. К тому ж и слава богу! —
Затем что нечего и есть во всю дорогу.
Тем лучше! Заодно — страдать, так уж страдай,
А между тем хоть сыт, хоть нет, но пыль глотай.

И это мы зовем в литературном слоге:
Свободной птичкою блаженствовать в дороге.
Блаженство хоть куда! Грешно сказать, что ад;
Чистилищем назвать искус я этот рад,
Когда б гостиницы немного были чище,
А не ручных зверков любимое жилище.

Дойдет ли до того затейливый наш век,
Который много снял оков с нас и опек,
Чтоб перебрасывать и нас по телеграфу
В Неаполь из Москвы, из Петербурга в Яфу?
Дотоле ни на шаг из дому никуда.
С поэзией своей приелась мне езда.
Что может быть милей родимого гнезда,
Стола рабочего и кабинетных кресел,
Где дома, без колес и без паров и весел,
На коврик-самолет вскочив, как Ариэль,
Летим себе легко за тридевять земель.
Довольно землю я изъездил, а с порога
Виднеется вблизи другая мне дорога,
Которою меня отправят на погост:
А там и этого еще тесней мальпост.

1858?

ВЕЧЕР В НИЦЦЕ

По взморью я люблю один бродить, глазея.
Особенно мила мне тихая пора,
Когда сгорает день, великолепно рдея
Под пурпурным огнем небесного костра.

Уж замер гам толпы, шум жизни, визг шарманок,
Пустеет берег: он очищен, он заснул;
И пеших англичан, и конных англичанок
Последний караван уж в город повернул.

В прозрачном сумраке всё постепенно тонет,
Утих мятежных волн междоусобный бой;
И только изредка чуть вздрогнет, чуть простонет
За зыбью зыбь, волна за сонною волной.

Куда рассеянно ни поведу глазами,
Везде волшебный ряд пленительных картин:
Там берег Франции красуется горами
И выпуклой резьбой узорчатых вершин.

На оконечности приморского изгиба,
Где каменная грудь дает отпор волнам,
Вот свой маяк зажгла красивая Антиба —
В пустыне столб огня кочующим пловцам.

И здесь ему в ответ святого Иоанна
Маяк вонзил во тьму свой пламень подвижной —
То вспыхнет молнией из дальнего тумана,
То пропадет из глаз падучею звездой.

Так манит нас звезда надежды, то светлея,
То спрятавшись от нас, то улыбаясь вновь;
Так дева робкая, пред юношей краснея,
Желает выразить и скрыть свою любовь.

10 февраля 1859

ФЕРНЕЙ

Гляжу на картины живой панорамы.
И чудный рисунок и чудные рамы!
Не знаешь — что горы, не знаешь — что тучи;
Но те и другие красою могучей
Вдали громоздятся по скатам небес.

Великий художник и зодчий великой
Дал жизнь сей природе, красивой и дикой,

Вот радуга пышно сквозь тучи блеснула,
Широко полнеба она обогнула
И в горы краями дуги уперлась.

Любуюсь красою воздушной сей арки:
Как свежие краски прозрачны и ярки!
Как резко и нежно слились их оттенки!
А горы и тучи, как зданья простенки,
За аркой чернеют в глубокой дали.

На ум мне приходит владелец Фернея:
По праву победы он, веком владея,
Спасаясь под тенью спокойного крова,
Владычеством мысли, владычеством слова,
Царь, волхв и отшельник, господствовал здесь.

Но внешнего мира волненья и грозы,
Но суетной славы цветы и занозы,
Всю мелочь, всю горечь житейской тревоги,
Талантом богатый, покорством убогий,
С собой перенес он в свой тихий приют.

И, на горы глядя, спускался он ниже:
Он думал о свете, о шумном Париже;
Карая пороки, ласкал он соблазны;
Царь мысли, жрец мысли, свой скипетр
алмазный,
Венец свой нечестьем позорил и он.

Паря и блуждая, уча и мороча,
То мудрым глаголом гремя иль пророча,
То злобной насмешкой вражды и коварства,
Он, падший изгнанник небесного царства,
В сосуд свой священный отраву вливал.

Страстей возжигатель, сам в рабстве
у страсти,
Не мог покориться мирительной власти
Природы бесстрастной, разумно-спокойной,
С такою любовью и роскошью стройной
Пред ним расточавшей богатства свои.

Не слушал он гласа ее вдохновений:
И дня лучезарность, и сумрака тени,

Природы зерцала, природы престолы,
Озера и горы, дубравы и долы —
Всё мертвою буквой немело пред ним.

И, Ньютона хладным умом толкователь,
Всех таинств созданья надменный искатель,
С наставником мудрым душой умиленной
Не падал с любовью пред богом вселенной,
Творца он в твоpенье не мог возлюбить.

А был он сподвижник великого дела:
Божественной искрой в нем грудь пламенела;
Но дикие бури в груди бушевали,
Но гордость и страсти в пожар раздували
Ту искру, в которой таилась любовь.

Но бросить ли камень в твой пепел остылый,
Боец, в битвах века растративший силы?
О нет, не укором, а скорбью глубокой
О немощах наших и в доле высокой
Я, грешника славы, тебя помяну!

1859

* * *

Послушать: век наш — век свободы,
А в сущность глубже загляни —
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.

У них два веса, два мерила,
Двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе дается власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.

У них на всё есть лозунг строгой
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.

Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.

Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.

Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантаторов беда;
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда!

Свобода — превращеньем роли —
На их условном языке
Есть отреченье личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике;

Быть попугаем однозвучным,
Который, весь оторопев,
Твердит с усердием докучным
Ему насвистанный напев.

Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.

16 мая 1860

ДОМ ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА

Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был ра́д,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует;
Пред старшими был горд заслуженным почетом:
Он шел прямым путем и вывел честным счетом
Итог своих чинов и почестей своих.
Он правильную жизнь и правильный свой стих
Мог выставить в пример вельможам и поэтам,
Но с младшими ему по чину и по летам
Спесь щекотливую охотно забывал;
Он ум отыскивал, талант разузнавал,
И где их находил — там, радуясь успеху,
Не спрашивал: каких чинов они иль цеху?

Но настежь растворял и душу им, и дом.
Заранее в цветке любуяся плодом,
Ласкал он молодежь, любил ее порывы,
Но не был он пред ней низкопоклонник льстивый,
Не закупал ценой хвалебных ей речей
Прощенья седине и доблести своей.
Вниманьем ласковым, судом бесстрастно-строгим
Он был доступен всем и верный кормчий многим.
Зато в глупцов метка́ была его стрела!
Жужжащий враль, комар с замашками орла,
Чужих достоинств враг, за неименьем личных;
Поэт ли, образец поэтов горемычных;
Надутый самохвал, сыгравший жизнь вничью,
Влюбленный по уши в посредственность свою
(А уши у него Мидасовых не хуже);
Профессор ли вранья и наглости к тому же;
Пролаз ли с сладенькой улыбкою ханжи;
Болтун ли, вестовщик, разносчик всякой лжи;
Ласкатель ли в глаза, а клеветник заочно, —
Кто б ни задел его, случайно иль нарочно,
Кто б ни был из среды сей пестрой и смешной,
Он каждого колол незлобивой рукой,
Болячку подсыпал аттическою солью —
И с неизгла́димой царапиной и болью
Пойдет на весь свой век отмеченный бедняк
И понесет тавро: подлец или дурак.

Под римской тогою наружности холодной,
Он с любящей душой ум острый и свободный
Соединял; в своих он мненьях был упрям,
Но и простор давать любил чужим речам.
Тип самобытности, он самобытность ту же
Не только допускал, но уважал и вчуже;
Ни пред собою он, ни пред людьми не лгал.
Власть моды на дела и платья отвергал:
Когда все были сплошь под черный цвет одеты,
Он и зеленый фрак, и пестрые жилеты
Носил; на свой покрой он жизнь свою кроил.
Сын века своего и вместе старожил,
Хоть он Карамзина предпочитал Шишкову,
Но тот же старовер, любви к родному слову,
Наречием чужим прельстясь, не оскорблял
И русским русский ум по-русски заявлял.

Притом, храня во всем рассудка толк и меру,
Петрова он любил, но не в ущерб Вольтеру,
За Лафонтеном вслед он вымысла цветы,
С оттенком свежести и блеском красоты,
На почву русскую переносил удачно.
И плавный стих его, струящийся прозрачно,
Как в зеркале и мысль и чувство отражал.
Лабазным словарем он стих свой не ссужал,
Но кистью верною художника-поэта
Изящно подбирал он краски для предмета:
И смотрят у него, как будто с полотна,
Воинственный *Ермак* и *Модная жена*.

Случайно ль заглянусь на дом сей мимоходом —
Скользят за мыслью мысль и год за дальним годом.
Прозрачен здесь поток и сумрак дней былых:
Здесь память с стаею заветных снов своих
Свила себе гнездо под этим милым кровом;
Картина старины, всегда во блеске новом,
Рисуется моим внимательным глазам,
С приветом ласковым улыбке иль слезам.

Как много вечеров, без светских развлечений,
Но полных прелести и мудрых поучений,
Здесь с старцем я провел; его живой рассказ
Ушам был музыка и живопись для глаз.
Давно минувших дней то Рембрандт, то Светоний,
Гражданских доблестей и наглых беззаконий
Он краской яркою картину согревал.
Под кисть на голос свой он лица вызывал
С их бытом, нравами, одеждой, обстановкой;
Он личность каждую скрепит чертою ловкой
И в метком слове даст портрет и приговор.

Екатерины век, ее роскошный двор,
Созвездие имен сопутников Фелицы,
Народной повести блестящие страницы,
Сановники, вожди, хор избранных певцов,
Глашатаи побед Державин и Петров —
Всё облекалось в жизнь, в движенье и в глаголы.

То, возвратясь мечтой в тот возраст свой веселый,
Когда он отроком счастливо расцветал
При матери, в глазах любовь ее читал,

И тайну первых дум и первых вдохновений
Любимцу своему поведал вещий гений, —
Он тут воспоминал родной дубравы тень,
Над светлой Волгою горящий летний день,
На крыльях парусов летящие расшивы,
Златою жатвою струящиеся нивы,
Картины зимние и праздники весны,
И дом родительский, святыню старины,
Куда издалека вторгалась с новым лоском
Жизнь новая, а с ней слетались отголоском
Шум и событья дня, одно другому вслед:
То задунайский гром румянцовских побед,
То весть иных побед миролюбивой славы,
Науки торжество и мудрые уставы,
Забота и плоды державного пера,
То спор временщиков на поприще двора,
То книга новая со сплетнею вчерашней.
Всю эту жизнь среды семейной и домашней,
Весь этот свежий мир поэзии родной,
Еще сочувственный душе его младой,
Умевшей сохранить средь искушений света
Всю впечатлительность и свежесть чувств
поэта, —
Всё помнил он, умел всему он придавать
Блеск поэтический и местности печать.
Он память вопрошал, и живописью слова
Давал минувшему он плоть и краски снова.

То, Гогарта схватив игривый карандаш
(Который за десять из новых не отдашь),
Он, с русским юмором и напрямик с натуры,
Из глупостей людских кроил карикатуры.
Бесстрастное лицо и медленная речь,
А слушателя он умел с собой увлечь,
И поучал его, и трогал — как придется,
Иль сó смеху морил, а сам не улыбнется.
Как живо памятны мне эти вечера:
Сдается, старца я заслушался вчера.

Давно уж нет его в Москве осиротевшей!
С ним светлой личности, в нем резко уцелевшей,
Утрачен навсегда последний образец.
Теперь все под один чекан: один резец

Всем тот же дал объем и вес; мы променяли
На деньги мелкие — старинные медали;
Не выжмешь личности из уровня людей.
Отрекшись от своих кумиров и властей,
Таланта и ума клянем аристократство;
Теперь в большом ходу посредственности братство:
За норму общую — посредственность берем,
Боясь, чтоб кто-нибудь владычества ярем
Не наложил на нас своим авторитетом;
Мы равенством больны и видим здравье в этом.
Нам душно, мысль одна о том нам давит грудь,
Чтоб уважать могли и мы кого-нибудь;
Все говорить спешим, а слушать не умеем;
Мы платонической к себе любовью тлеем,
И на коленях мы — но только пред собой.

В ином и поотстал наш век передовой,
Как ни цени его победы и открытья:
В науке жить умно, в искусстве общежитья,
В сей вежливости форм изящных и простых,
Дававшей людям блеск и мягкость нравам их,
Которая была, в условленных границах, —
Что слог в писателе и миловидность в лицах;
В уживчивости свойств, в терпимости, в любви,
Которую теперь гуманностью зови;
Во всем, чем общество тогда благоухало
И, не стыдясь, свой путь цветами усыпало,
Во всем, чем встарь жилось по вкусу, по душе,
Пред старым — новый век не слишком
в барыше.
Тот разговорчив был: средь дружеской беседы
Менялись мыслями и юноши и деды,
Одни с преданьями, плодами дум и лет,
Других манил вперед надежды пышный цвет.
Тут был простор для всех и возрастов, и мнений
И не было вражды у встречных поколений.

Так видим над Невой, в прозрачный летний день,
Заката светлого серебряная тень
Сливается в красе, торжественной и мирной,
С зарею утренней на вышине сафирной:
Здесь вечер в зареве, там утро рассвело.
И вечер так хорош, и утро так светло,

Что радости своей предела ты не знаешь:
Ты провожаешь день, ты новый день встречаешь,
И любишь дня закат, и любишь дня рассвет, —
И осень старости, и вёсну юных лет.

1860

ДРУЗЬЯМ

Я пью за здоровье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней.

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких
Средь чуждых сердцам их людей.

В мой кубок с вином льются слезы,
Но сладок и чист их поток;
Так с алыми — черные розы
Вплелись в мой застольный венок.

Мой кубок за здравье не многих,
Не многих, но верных друзей,
Друзей неуклончиво строгих
В соблазнах изменчивых дней;

За здравье и ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Почивших в могилах немых.

⟨1861⟩

* * *

Год Новый встретя с беспристрастьем,
Как день всем прочим дням под стать,
Вас с Новым годом, с новым счастьем
Я не намерен поздравлять.

Я счастью новому не верю;
Нет, счастье не случайный цвет:
Оно есть плод; ценю и мерю
Его я полнотою лет.

Оно растет и созревает
Не по часам, а по годам,
И тем святей благоухает,
Чем дольше присмотрелось нам.

Сроднясь с привычкою сердечной,
Нам счастье давностью милей;
Привычка в жизни скоротечной,
Она дает оседлость ей.

Привычка — русло, где спокойно,
Как волны, льются наши дни
И где всегда светло и стройно
Возобновляются они.

Нет счастья без привычки милой,
И в счастье верить мудрено,
Когда родных преданий силой
Не освещается оно.

Напрасно алчною тревогой
Мятется ненасытный свет;
Мы тесною идем дорогой:
Двум счастьям в жизни места нет.

(1861)

* * *

Кто — в человеке видит дрянь,
Кто — на алтарь его возводит.
Нелепый суд! Он переходит
И тут и там рассудка грань.

Ум легкомыслен и упорен,
В сужденьях скор и слишком смел.
Нет, человек не так-то бел,
Да и опять не так-то черен.

Оттенок множество для глаз;
Нет в людях краски безусловной;
Добра не чужд иной виновный,
И праведник грешит семь раз.

Не мудрствуя замысловато,
Спрошу не в честь и не в упрек:
Не сероват ли человек,
Как наше небо сероватo?

(1861)

* * *

С тех пор как упраздняют будку,
Наш будочник попал в журнал
Иль журналист наш не на шутку
Присяжным будочником стал.

Так или эдак — как угодно,
Но дело в том, что с этих пор
Литература всенародно
Пустилась в уличный дозор.

На площади ль случится драка,
Буян ли пьяный зашумит,
Иль без намордника собака
По переулку пробежит,

Воришка обличился ль в краже,
Иль заподозрен кто-нибудь —
От литераторов на страже
Ничто не может ускользнуть.

За шум, бывало, так и знают,
Народ на съезжую ведут.
Теперь в *журнальную* сажают:
Там им расправа, там и суд.

(1861)

СТАРОСТЬ

> Qui n'a pas l'ésprit de son âge,
> De son âge a tout le malheur.
>
> *Voltaire*[1]

Беда не в старости. Беда
Не состарéться с жизнью вместе;
Беда — в отцветшие года
Ждать женихов седой невесте.

Беда душе веселья ждать
И жаждать новых наслаждений,
Когда день начал убывать
И в землю смотрит жизни гений;

Когда уже в его руке
Светильник грустно догорает
И в увядающем венке
Остаток листьев опадает.

Вольтер был прав: несчастны мы,
Когда не в уровень с годами,
Когда в нас чувства и умы
Не одногодки с сединами.

⟨1861⟩

БЕССОННИЦА

В тоске бессонницы, средь тишины ночной,
Как раздражителен часов докучный бой.
Как молотом кузнец стучит по наковальной,
Так каждый их удар, тяжелый и печальный,
По сердцу моему однообразно бьет,
И с каждым боем всё тоска моя растет.
Часы, «глагол времен, металла звон» надгробный,
Чего вы от меня с настойчивостью злобной
Хотите? Дайте мне забыться. Я устал.
Кукушки вдоволь я намеков насчитал.

---

[1] Кто не соответствует духу своего возраста — испытывает все бедствия этого возраста. *Вольтер* (фр.). — *Ред.*

Я знаю и без вас, что время мимолетно;
Безостановочно оно, бесповоротно;
Тем лучше! И кому, в ком здравый разум есть,
Охота бы пришла жизнь сызнова прочесть?
Но, скучные часы моей бессонной пытки,
В движениях своих куда как вы не прытки,
И, словно гирями крыло обременя,
Вы тащитесь по мне, царапая меня.
И сколько диких дум, бессмысленных, несвязных,
Чудовищных картин, видений безобразных,
То вынырнув из тьмы, то погружаясь в тьму,
Мерещится глазам и грезится уму!
Грудь давит темный страх и бешеная злоба,
Когда змеи ночной бездонная утроба
За часом час начнет прожорливо глотать,
А сна на жаркий одр не сходит благодать.
Тоска бессонницы, ты мне давно знакома;
Но всё мне невтерпеж твой гнет, твоя истома,
Как будто в первый раз мне изменяет сон,
И крепко-накрепко был застрахован он;
Как будто по ночам бессонным не в привычку
Томительных часов мне слушать перекличку;
Как будто я и впрямь на всероссийский лад
Спать богатырским сном всегда и всюду рад,
И только головой подушку чуть пригрею —
Уж с *Храповицким* речь затягивать умею.

(1861)

БИТВА ЖИЗНИ

Когда припомню я и жизнь, и всё былое,
Рисуется мне жизнь — как поле боевое,
Обложенное всё рядами мертвых тел,
Средь коих я один как чудом уцелел.
Дружиной бодрою, отважной молодежью
Мы рано вышли все в поход, на волю божью.
У каждого был жезл фельдмаршальский в суме,
У каждого — своя победа на уме,
У каждого — свои надежды, цель и радость;
Доверчиво судьбу опрашивала младость.
Но скоро ворвалась смерть в юный наш отряд.
Сплошной сомкнули мы разорванный свой ряд

И, скорбью помянув утраченного брата,
Самонадеянно, уда́лые ребята
И каждый о себе беспечный, шли вперед,
Бегом — на крутизну, потоком — вплавь и вброд.
Мы песнью боевой весь воздух оглашали.
Задачи бытия восторженно решали
Горячие сердца и смелые умы.
Но полдень наступил, и оглянулись мы:
Уж многих наших нет, и лучших нет из братий;
Смерть выхватила их из дружеских объятий
Внезапно, в золотой поре цветущих сил,
Когда их зрелый дух так плодороден был!
Тут робкий взгляд — вперед и на себя — печальный
Вперили мы: хладел тот пыл первоначальный,
Которым наша грудь кипела, а наш ум
Насытиться не мог в тревоге смелых дум.
Стал небосклон темней и путь как будто у́же,
В угасших днях друзей и наши гасли вчуже;
А всё еще редел, простреленный насквозь,
Строй — некогда стена, теперь — разбитый врозь.
Когда же зорю мы пробили в час молитвы,
Нас налицо два-три сошлись на поле битвы.
Стал недочет и в тех, оставшихся... Поздней
Оплакивал один я всех моих друзей.

⟨1861⟩

ВЕЧЕР

Прелестный вечер! В сладком обаянье
Душа притихла, словно в чудном сне.
И небеса в безоблачном сиянье,
И вся земля почила в тишине.

Куда б глаза пытливо ни смотрели,
Таинственной завесой мир одет,
Слух звука ждет — но звуки онемели;
Движенья ищет взор — движенья нет.

Не дрогнет лист, не зарябится влага,
Не проскользнет воздушная струя;
Всё тишь!.. Как будто в пресыщенье блага
Жизнь замерла и не слыхать ея.

Но в видимом бездейственном покое
Не истощенье сил, не мертвый сон:
Присущны здесь и таинство живое,
И стройного могущества закон.

И молча жизнь кругом благоухает,
И в неподвижной красоте своей
Прохладный вечер молча расточает
Поэзию без звуков, без речей.

И в этот час, когда, в тени немея,
Всё, притаясь, глубокий мир хранит
И тихий ангел, крыльями чуть вея,
Землей любуясь, медленно парит, —

Природа вся цветет, красуясь пышно,
И, нас склоня к мечтам и забытью,
Передает незримо и неслышно
Нам всю любовь и душу всю свою.

9 июля 1861
Петергоф

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД ЗИМОЮ

1

С улыбкою оледенелой
Сошла небес суровых дочь,
И над землей сребристо-белой
Белеет северная ночь.

Давно ль здесь пестротою чудной
Сапфир, рубин и бирюза
Сливались с тенью изумрудной,
Чаруя жадные глаза?

Зимы покров однообразный
Везде сменил наряд цветной,
Окован сад броней алмазной
Рукой волшебницы седой.

В дому семьи осиротелой,
Куда внезапно смерть вошла,
Задернуты завесой белой
С златою рамой зеркала.

Так снежной скатертью печальной
Покрыты и объяты сном
И озеро с волной зерцальной,
И луг с цветным своим ковром.

Природа в узах власти гневной,
С смертельной белизной в лице,
Спит заколдованной царевной
В своем серебряном дворце.

2

Но и природы опочившей
Люблю я сон и тишину:
Есть прелесть в ней, и пережившей
Свою прекрасную весну.

Есть жизнь и в сей немой картине,
И живописен самый мрак:
Деревьям почерневшим иней
Дал чудный образ, чудный лак.

Обрызгал их холодным блеском
Своих граненых хрусталей,
Он вьется ярким арабеском
Вдоль обезлиственных ветвей.

Твой Бенвенуто, о Россия,
Наш доморощенный мороз
Вплетает звезды ледяные
В венки пушисто-снежных роз.

Кует он дивные изделья
Зиме, зазнобушке своей,
И наряжает в ожерелья
Он шею, мрамора белей.

3

Когда наступит вечер длинный,
Объятый таинством немым,
Иду один я в сад пустынный
Бродить с раздумием своим.

И много призрачных видений
И фантастических картин
Мелькают, вынырнув из тени
Иль соскочив с лесных вершин.

Они сшибаются друг с другом
И, налетев со всех сторон,
То нежат лаской, то испугом
Тревожат мыслей чуткий сон.

А между тем во тьме безбрежной
Оцепенело всё кругом,
В волшебном царстве ночи снежной,
В саду, обросшем серебром.

Но в этой тишине глубокой,
Питающей дремоту дум,
Местами слышен одинокой
Переливающийся шум.

Под хладной снежной пеленою
Тень жизни внутренней слышна,
И, с ка́мней падая, с волною
Перекликается волна.

22 ноября 1861
Царское Село

НИК⟨ОЛАЮ⟩ АРКАД⟨ЬЕВИЧУ⟩ КОЧУБЕЮ

Венеция прелесть, но солнце ей нужно,
Но нужен венец ей алмазов и злата,
Чтоб всё, что в ней мило, чтоб всё, что так южно,
Горело во блеске без туч и заката.

Но звезды и месяц волшебнице нужны,
Чтоб в сумраке светлом, чтоб ночью прозрачной
Серебряный пояс, нашейник жемчужный
Сияли убранством красы новобрачной.

А в будничном платье под серым туманом,
Под плачущим небом, в тоске дожденосной
Не действует прелесть своим талисманом,
И смотрит царица старухой несносной.

Не знаешь, что делать в безвыходном горе.
Там тучи, здесь волны угрюмые бродят,
И мокрое небо, и мутное море
На мысль и на чувство унынье наводят.

Под этим уныньем с зевотой сердечной,
Другим Робинсоном в лагунной темнице,
Сидишь с глазу на глаз ты с *Пятницей* вечной,
И тошных семь пятниц сочтешь на седмице.

Тут вспомнишь, что метко сказал Завадовский,
До прозы понизив морскую красотку:
«Здесь жить невозможно, здесь город таковский,
Чтоб в лавочку сбегать — садися ты в лодку».

27 октября 1863
Венеция

* * *

Совсем я выбился из мочи!
Бессонница томит меня,
И дни мои чернее ночи,
И ночь моя белее дня.

Днем жизни шум надоедает,
А в одиночестве ночей
Во мне досаду возбуждает
Сон и природы, и людей.

Ночь вызывает злые мысли,
Чувств одичалость, горечь дум;
Не перечислишь, как ни числи,
Всё, что взбредет в мятежный ум.

Ночь злой наушник, злобный Яго,
Цедит он в душу яд тайком.
Вы говорите: жизнь есть благо, —
Что ж после назовете злом?

1863?

* * *

Tout m'afflige et me nuit
et conspire à me nuire.
Racine[1]

Всё в скорбь мне и во вред. Всё в общем заговоре
Мне силится вредить и нанести мне горе.
Сдается, что судьбой я отдан с давних пор
Ее чиновникам под мелочной надзор,
Что каждому из них особым порученьем
Дано за мной следить и с злобным ухищреньем,
Чего б ни пожелал, что делать ни начну,
Всё мне в беду зачесть иль ставить мне в вину.
От сих лазутчиков, усердных и прилежных,
Невидимых всегда и всюду неизбежных,
Укрыться не могу: их тяжкая рука,
То явно, то в тиши таясь, исподтишка,
Царапиной, щелчком или ударом грома, —
Мне чуется во всем и на́ людях, и дома,
Где с глазу на́ глаз я с собой назаперти
Хотел бы в самого себя от них уйти.
Иль я игрок плохой, иль жизнь игра плохая,
Но всё я в дураках, внаклад себе играя,
То в картах *синглетон*, то на бильярде *кикс*.
Так к лучшему идет всё в лучшем нашем мире,
Где для меня успех — всё неизвестный *x*,
А неудача сплошь — как *дважды два четыре*.

1863?

---

[1] Всё меня огорчает и мне вредит, и всё в заговоре, чтобы мне вредить. *Расин* (фр.). — *Ред.*

* * *

«Зачем вы, дни?» — сказал поэт.[1]
А я спрошу: «Зачем вы, ночи?»
Зачем ваш мрак сгоняет свет
И занавешивает очи?

И так жизнь наша коротка,
И время годы быстро косит,
А сон из этого клочка
Едва ль не треть еще уносит.

Счастливцу — сон? Он у него
Часы блаженства похищает,
А на лету и без того
Он их так мало насчитает.

Счастливцу сон — разрыв со всем,
Чем сердце радостью дышало:
Как мертвый, слеп он, глух и нем,
Души как будто не бывало!

Смерть называют вечным сном,
А в здешнем — временно мертвеем.
Зачем нам спать, когда потом
Мы вдоволь выспаться успеем?

Когда б я с счастьем был знаком,
О, как бы сон я ненавидел:
На клад мой, на святыню в нем
Я посягателя бы видел.

Страдальцу сон же не с руки,
Средь тяжких дум, средь грозных мраков,
На одр недуга и тоски
Не сыплет он прохладных маков.

Весь мутный ил, которым дни
Заволокли родник душевный,
Из благ — обломки их одни,
Разбитые волною гневной, —

---

[1] Боратынский.

Всплывает всё со дна души
В тоске бессонницы печальной,
Когда в таинственной тиши,
Как будто отзыв погребальный,

Несется с башни бой часов;
И мне в тревогу и смущенье
Шум собственных моих шагов
И сердца каждое биенье,

Ум весь в огне; без сна горят
Неосвежаемые очи,
Злость и тоска меня томят...
И вопию: «Зачем вы, ночи?»

1863 или 1864

SANTA ELENA[1]

Giardini publici[2] в виду Святой Елены
Напоминают иам мирских судеб измены.
Когда Наполеон победною рукой
Сей сад завоевал у пропасти морской
И мирный по себе потомству след оставил,
Который пережил всё то, чем он прославил
И кровью обагрил торжественный свой путь,
Когда в нем жаждою властолюбивой грудь
Горела и ничто ее не утоляло;
Счастливец, перед кем всё в мире трепетало,
Людьми и царствами игравший дерзкий мот, —
Предвидеть мог ли он, что на пустыне вод
Его, изгнанника, другая ждет Елена,
Где он познает скорбь и униженье плена?
Когда в его саду его деревьев шум
К мечтам о днях былых склоняет сонный ум
И остров, для него зловещий, мне предстанет —
С ним вместе он и сам, чудесный муж, воспрянет
В величии своем и в немощи своей,
Владыка гением и раб своих страстей,

[1] Святая Елена (ит.). — *Ред.*
[2] Общественный сад (ит.). — *Ред.*

Герой и полубог великой эпопеи,
Пред кем бледнеть должны Ахиллы и Энеи!
Мне грустно за него — как мог и он упасть?
Любимцу промысл дал уменье и власть
На пользу и добро создать порядок новый
И зданью положить надежные основы,
Стихий общественных уравновесив бой, —
А он развалины оставил за собой.
Что нажил он мечом — мечом он тем же прожил:
Народы раздражил, мир бурями встревожил
И вихрем пламенным, который вызвал он,
Сам на пустынную скалу был занесен!
Царь, дважды изгнанный своим народом верным,
Который, спохватясь, с раскаяньем примерным
Опальный прах его на дальнем рубеже
В отчизну перенес под песни Беранже!
И, вновь воспламенясь к вождю посмертной страстью,
Тень, имя, звук его облек державной властью!
Да, песней тех не будь, да, Беранже не пой —
И ваш Наполеон, отшедший на покой,
Остался б на скале и после смерти узник;
Не вспомнили б о нем ни маршалы, ни блузник.
Но ловкой выходкой удачного певца
Французские умы, французские сердца,
Под обаянием и магнетизмом песни,
Давно умершему сказали: «Ты, воскресни!»
И ожил их мертвец, воскрес Наполеон:
Освистанный в живых, в легенде вырос он, —
Легенду смелую вновь плотью облепили
И за́ сорок годов назад перескочили.

Прав старый Депрео, хоть ныне брошен в пыль:
«Француз, шутник в душе, дал миру водевиль».
И впрямь. Вся быль, весь блеск, весь шум его на свете —
Трагический припев в комическом куплете,
Или в трагическом — комический конец.
Сей милый трубадур, сей боевой певец,
Поющий в светлый день и в мрачную годину,
Всё в песню преложил, и даже гильотину,
Которую, остря едва ль не чересчур,
Родил и расплодил всё тот же балагур.

1863 или 1864

* * *

Пожар на небесах — и на воде пожар.
Картина чудная! Весь рдея, солнца шар,
Скатившись, запылал на рубеже заката.
Теснятся облака под жаркой лавой злата;
С землей прощаясь, день на пурпурном одре
Оделся пламенем, как Феникс на костре.

Палацца залились потоком искр златых,
И храмов куполы, и кампанилы их,
И мачты кораблей, и пестрые их флаги,
И ты, крылатый лев, когда-то царь отваги,
А ныне, утомясь по вековой борьбе,
Почивший гордым сном на каменном столбе.

Как морем огненным, мой саламандра-челн
Скользит по зареву воспламененных волн.
Раздался колокол с Сан-Марко и с Салуте —
Вечерний благовест, в дневной житейской смуте
Смиренные сердца к молитве преклоня,
Песнь лебединая сгорающего дня!

1863 или 1864

* * *

«Per obbedir la»,[1] что ни спросишь —
На всё готовый здесь ответ:
Ну, словно власть в руке ты носишь
Вертеть, как хочешь, целый свет.

Поутру спросишь о погоде:
«Per obbedir la, хороша».
Спроси о бедности в народе:
«Per obbedir la, нет гроша».

Какая вонь у вас в канале!
«Per obbedir la, вонь и есть».
Бог деток дал тебе, Пасквале?
«Per obbedir la, дочек шесть».

---

[1] С вашего разрешения (ит.). — *Ред.*

Я ночью слышал три удара:
«Per obbedir la, гром гремел».
Я видел зарево пожара:
«Per obbedir la, дом сгорел».

Давно ли, Беппо, ты уж вдовый?
«Per obbedir la, с год тому».
В дом не возьмешь ли женки новой?
«Per obbedir la, что ж, возьму».

Я слышал о твоей печали:
Разбойники вошли в твой дом?
«Per obbedir la, обокрали,
И я остался ни при чем».

Кто запрещает здесь спектакли?
«Per obbedir la, комитет».
Но комитет ваш не дурак ли?
«Per obbedir la, толку нет».

Ты не в ладах с своей женою,
Тебя измучила она?
«Признаться больно, а не скрою,
Per obbedir la, неверна».

Любовник есть у этой донны?
«Per obbedir la, даже три».
Что ж муж? «Per obbedir la, жены
Перехитрят, как ни смотри».

А буря барку потопила?
«Per obbedir la, и с людьми».
О, баста, баста, грудь изныла
От ваших слов, провал возьми!

Типун вам на язык, сороки,
С per obbedir la роковым.
Как, вонь, грабеж, пожар, пороки,
Беды с последствием своим,

Неверность жен, людей проказы
И то, что есть, и что прошло,
Про всё и обо всех рассказы,
Рожденье, смерть, и смех, и зло —

Всё ждет, как щучьего веленья,
Чтоб словом грянул я одним,
И всё падет без исключенья
Пред всемогуществом моим?!

Нет, отрекаюсь я от власти
И вместе от вопросов всех,
Чтоб сплетни все и все напасти
Не брать мне на душу, как грех.

1863 или 1864

* * *

Ни движенья нет, ни шуму
В этом царстве тишины;
Поэтическую думу
Здесь лелеют жизни сны.

Дни и ночи беззаботны,
И прозрачны ночь и день.
Всё — как призрак мимолетный,
Молча всё скользит, как тень.

Но в роскошной неге юга
Всюду чуешь скрытый гнев;
И сердито друг на друга
Дуются орел и лев.

Не дошло еще до драки:
Тишина перед грозой;
Но по небу ходят мраки
Над напуганной землей.

1863 или 1864

* * *

К лагунам, как frutti di mare,[1]
Я крепко и сонно прирос.
Что было — с днем каждым всё старей,
Что будет? Мне чужд сей вопрос.

---

[1] Моллюски (ит.). — *Ред.*

Сегодня второе изданье
Того, что прочел я вчера;
А завтра? Напрасно гаданье!
Еще доживу ль до утра?

А если дожить и придется,
Не сыщется новая цель:
По-прежнему мне приведется
Всё ту же тянуть канитель.

Спросите улитку: чего бы
Она пожелала себе?
Страстями любви или злобы
Горит ли, томится ль в борьбе?

Знакома ль ей грусть сожалений?
Надежда — сей призрак в тени?
И мучит ли жажда сомнений
Ее равнодушные дни?

И если ваш розыск подметит
В ней признак и смысл бытия,
И если улитка ответит, —
Быть может, ответ дам и я.

1863 или 1864

* * *

Прелестен вид, когда, при замиранье дня,
Чудесной краскою картину оттеня,
Всё дымкой розовой оденет пар прозрачный:
Громадных зданий ряд величественно-мрачный,
Лагуны, острова и высь Евгейских гор,
Которых снеговой, серебряный узор
Сияет вдалеке на темном небосклоне.
Как призрак всё глядит, и зыбь на влажном лоне,
Как марево глазам обманутым пловцов,
И город мраморный вдоль сжатых берегов,
И Невский сей проспект, иначе *Канал-гранде,*
С дворцами, перлами на голубой гирлянде,
Которая легко, с небрежностью струясь,
Вкруг стана стройного царицы обвилась.

Мир фантастический, причудливый, прелестный!
Кому твои мечты и таинства известны,
Кто мог уразуметь их сладостный язык,
Кто чувством в этот мир загадочный проник,
О, тот сокровища поэзии изведал!
И если чувств своих созвучью он не предал
И в том, что скажет он, им отголоска нет,
То всё ж в душе своей он был и есть поэт.

1863 или 1864

«ПО МОСТУ, МОСТУ»

Народная песня

Здесь нашу песенку невольно
Припомнишь: «По мосту, мосту».
Мостов раскинулось довольно
В длину, и вширь, и в высоту.

Назло ногам, назло коленям,
Куда, пожалуй, ни иди,
Всё лазишь по крутым ступеням,
А мост всё видишь впереди.

Иной из них глядит картинно:
Изящность в нем и легкость есть,
Но нелегко в прогулке длинной
Лезть, а спустившись, снова лезть.

Тут на ногах как будто гири,
В суставах чувствуешь свинец,
И каждый мост — мост dei sospiri, [1]
И мост одышки, наконец.

1863 или 1864

---

[1] Вздохов (ит.). — *Ред.*

ВЕВЕЙСКАЯ РЯБИНА

Внучке моей Кате Вяземской

1

Я отыскал свою рябину,
Которой песнь я посвятил,
С которой русскую кручину
Здесь на чужбине я делил.

В нарядном красном сарафане,
Под блеском солнечного дня,
Еще пышней, еще румяней
Глядит красавица моя.

Радушно-ласковым приветом
Мы молча обменялись с ней;
Красуясь пред своим поэтом,
С гостеприимством прежних дней,

И чем богата, тем и рада,
Спешит землячка мне поднесть
Кисть нам родного винограда,
Родных садов живую весть.

А я принес в ее поляны
Года увядшие мои,
И скорби новые, и раны
Незаживающей души.

2

Когда же на земле простынет
Мой след в молчанье гробовом
И время в сумрак отодвинет
То, что своим теперь зовем,

Не всё ж волной своей мятежной
Затопит быстрых дней поток,
Хоть в сердце ближних дружбой нежной
Мне отведется уголок.

В весельях юности беспечной
Подчас на самый светлый день
Тайком из глубины сердечной
Находит облачная тень.

В те дни, возлюбленная внучка,
Когда хандра на ум найдет
И память обо мне, как тучка,
По небу твоему мелькнет —

Быть может, думою печальной
Прогулку нашу вспомнишь ты,
И Леман яхонтно-зерцальный,
И разноцветных гор хребты,

Красивой осени картину,
Лазурь небес и облака,
Мою заветную рябину,
А с ней и деда-старика.

Октябрь 1864
Веве

КЛАДБИЩЕ

Где б ни был я в чужбине дальной,
Мной никогда не позабыт
Тот угол светлый и печальный,
Где тихий ангел погребальный
Усопших мирный сон хранит.

Оплакавший земной дорогой
Любви утрату не одну,
Созревший опытностью строгой,
Паломник скорбный и убогой,
Люблю кладбища тишину.

Мне так сочувственны могилы,
В земле так много моего,
Увядших благ, увядшей силы,
Что мне кладбище — берег милый,
Что мне приветлив вид его.

Предавшись думам несказанным,
И здесь я, на закате дня,
Спешу к местам обетованным,
К могилам чуждым, безымянным,
Но не безмолвным для меня.

Среди цветов в тени древесной,
Кладбище здесь — зеленый сад,
Нас не смущает давкой тесной
Гробниц и с спесью полновесной
Тщете воздвигнутых громад.

В виду — величество природы,
Твердыни вечных гор кругом,
И вечно подвижные воды,
То блеск небес, то непогоды
В прекрасном ужасе своем.

Вблизи — всё пепел да обломки,
Вся наша немощь в тле своей;
Близ предков улеглись потомки;
Могил молчанье и потемки —
Вот след непрочных наших дней.

Но здесь нагорное кладбище
Поближе к небу вознеслось,
Прозрачный воздух здесь и чище,
И дней минувших пепелище
Цветущей жизнью облеклось.

Здесь всё свежо, везде просторно,
Здесь словно ратный стан почил
По битве жаркой и упорной
И к ночи отдых благотворный
Бойцов и страсти умирил.

Ноябрь 1864
Веве

ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ ТЮТЧЕВУ

Твоя подстреленная птица
Так звучно-жалобно поет,
Нам так сочувственно певица
Свою тоску передает,

Что вчуже нас печаль волнует,
Что, песню скорби возлюбя,
В нас сердце, вторя ей, тоскует
И плачет, словно за себя.

Поэт, на язвы злополучья
Ты льешь свой внутренний елей,
И слезы перлами созвучья
Струятся из души твоей.

Декабрь 1864
Веве

* * *

Давно плыву житейским морем,
Не раз при мне вздымался вал,
Который счастьем или горем
Пловцов случайно заливал.

Но в красный день и под ненастьем
Не мог я хорошо понять,
Что люди признавали счастьем
И что способны горем звать.

Их поиски мне были чужды,
И чужды их забот плоды.
В их счастье не имел я нужды,
В их горе не видал беды.

Чужому мненью, словно игу,
Не подставлял я головы;
Как знал, читал я жизни книгу,
Но не со слов людской молвы.

Теперь, что с альфы на омегу
Я окончательно попал,
Теперь, что после бурь ко брегу
Несет меня последний вал,

Еще с толпою разнородней
Своим фарватером плыву,
И мнится мне, всё сумасбродней
Все люди бредят наяву.

Я прав иль нет? Не мне задачу
Решить, но с грустью сознаюсь:
О торжествах я часто плачу,
А над страданьями смеюсь.

1864?

ДОРОГОЮ

Были годы, было время —
Я любил пускаться в путь;
Дум домашних сброшу бремя
И лечу куда-нибудь.

Любо духом встрепенуться
И повыше от людей
Вольной птицей окунуться
В вольном воздухе полей.

Мчатся удалые кони,
Режут воздух на лету;
В этой ухарской погоне
И в мороз они в поту.

Тут коляски легкой качкой
Разыграется мечта,
И восторженной горячкой
Заглагольствуют уста.

Только звонко застрекочет
Колокольчик-стрекоза,
Рифма тотчас вслед наскочит,
Завертится егоза.

И пойдет тут перестрелка:
Колокольчик дробью бьет,
А воструха-скороспелка
Свой трезвон себе несет.

И под их скороговорку
Обаяньем ум обдаст.
Ну, ямщик, с горы на горку,
А на водку барин даст.

Нипочём мне дождь и вёдро,
Лето, осень иль зима;
Заезжал я даже бодро
В станционные дома —

Род сараев, балаганов,
Где содержат для гостей
Очень много тараканов,
Очень мало лошадей.

Ныне — старость одолела,
Прихотливее я стал;
С грустным увяданьем тела
И мой дух поприувял.

Нужен *кóмфорт* мне; добра же
Нет того здесь и примет,
Нет в российской жизни, даже
В словаре российском нет.

И на рифму нет улову,
Разбрелись двойчатки врозь,
Не пригонишь слово к слову —
Все ложатся вкривь и вкось.

1864?

* * *

Мне нужны воздух вольный и широкий,
Здесь рощи тень, там небосклон далекий,
Раскинувший лазурную парчу,
Луга и жатва, холм, овраг глубокий
С тропинкою к студеному ключу,
И тишина, и сладость неги праздной,
И день за днем всегда однообразный:
Я жить устал — я прозябать хочу.

1864?

ПОМИНКИ

Дельвиг, Пушкин, Боратынской,
Русской музы близнецы,
С бородою бородинской
Завербованный в певцы,

Ты, наездник, ты, гуляка,
А подчас и Жомини,
Сочетавший песнь бивака
С песнью нежною Парни!

Ты, Языков простодушный,
Наш заволжский соловей,
Безыскусственно послушный
Тайной прихоти своей!

Ваши дружеские тени
Часто вьются надо мной,
Ваших звучных песнопений
Слышен мне напев родной;

Наши споры и беседы,
Словно шли они вчера,
И веселые обеды
Вплоть до самого утра —

Всё мне памятно и живо.
Прикоснетесь вы меня,
Словно вызовет огниво
Искр потоки из кремня.

Дни минувшие и речи,
Уж замолкшие давно,
В столкновенье милой встречи
Всё воспрянет заодно, —

Дело пополам с бездельем,
Труд степенный, неги лень,
Смех и грусти за весельем
Набегающая тень,

Всё, чем жизни блеск наружный
Соблазняет легкий ум,
Всё, что в тишине досужной
Пища тайных чувств и дум,

Сходит всё благим наитьем
В поздний сумрак на меня,
И событьем за событьем
Льется памяти струя.

В их живой поток невольно
Окунусь я глубоко —
Сладко мне, свежо и больно,
Сердцу тяжко и легко.

1864?

* * *

Как свеж, как изумрудно мрачен
В тени густых своих садов,
И как блестящ, и как прозрачен
Водоточивый Петергоф.

Как дружно эти водометы
Шумят среди столетних древ,
Днем и в часы ночной дремоты
Не умолкает их напев.

Изгибистым, разнообразным
В причудливой игре своей,
Они кипят дождем алмазным
Под блеском солнечных лучей.

Лучи скользят по влаге зыбкой,
Луч преломляется с лучом,
И водомет под этой сшибкой
Вдруг вспыхнет радужным огнем.

Как из хрустальных ульев пчелы,
От сна подъятые весной,
И здесь, блестящий и веселый,
Жужжа, кружится брызгов рой.

Они отважно и красиво
То, прянув, рвутся в небеса,
То опускаются игриво,
И прыщет с них кругом роса.

Когда ж сиянья лунной ночи
Сады и воздух осребрят
И неба золотые очи
На землю ласково глядят,

Когда и воздух не струится,
И море тихо улеглось,
И всё загадочно таится,
И в мраке видно всё насквозь, —

Какой поэзией восточной
Проникнут, дышит и поет
Сей край Альгамбры полуночной,
Сей край волшебства и красот.

Ночь разливает сны и чары,
И полон этих чудных снов
Преданьями своими старый
И вечно юный Петергоф.

1865

СЛЕЗНАЯ КОМПЛЯНТА,[1] КИ ПЕ ТЕТР ВУ ФЕРА РИР[2]

Все женщины в прабабку Еву —
Хитрят во сне и наяву.
Он говорит: «Хочу в Женеву»,
Она в ответ: *«Не жене ву»*.[3]

То есть, пожалуйста, не суйтесь:
К чему женироваться вам?
Сидите дома, повинуйтесь
Своим дряхлеющим годам.

Вас видеть мне была б отрада,
Но если всё в расчет принять,
Быть может, я была бы рада
Вас к черту, ангел мой, прогнать.

---

[1] Complainte — жалоба (фр.). — *Ред.*
[2] Qui peut-être vous faira rire — которая, быть может, заставит вас посмеяться (фр.). — *Ред.*
[3] Ne gênez-vous — не затрудняйте себя (фр.) — *Ред.*

И так довольна я судьбою:
Ле мьё се ленеми дю бьян.[1]
Боюсь, меня стихов ухою
Замучите вы, как Демьян.

Он плачет, а она... хохочет
И говорит: «*Ле гран папа,*[2]
Всё о Женеве он хлопочет,
А я свое: „*Же не ве па*"».[3]

Декабрь 1865
С.-Петербург

* * *

Горжусь и радуюсь я вами,
И словом — счастье для меня,
Что мы, сочувствуя сердцами,
Еще к тому же и родня.

Но вечно что-то закорючкой
Глядит в моей лихой судьбе:
В вас рад я любоваться внучкой,
Но деду я не рад в себе.

1865?

* * *

Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум,
С которым я так много прожил
Бессонных, памятных ночей,
И слушал я, как плачет море,
Чтоб словно выплакать всё горе
Из глубины груди своей.

---

[1] Le mieux — c'est l'ennemi du bien — лучшее — враг хорошего (фр.) — *Ред.*
[2] Le grand papa — дедушка (фр.). — *Ред.*
[3] Je ne veux pas — не хочу (фр.). — *Ред.*

Не выразит язык земной
Твоих рыдающих созвучий,
Когда, о море, в тьме ночной
Раздастся голос твой могучий!
Кругом всё тихо! Ветр уснул
На возвышеньях Аюдага;
Ни человеческого шага,
Ни слов людских не слышен гул.

Дневной свой подвиг соверша,
Земля почила после боя;
Но бурная твоя душа
Одна не ведает покоя.
Тревожась внутренней тоской,
Томясь неведомым недугом,
Как пораженное испугом,
Вдруг вздрогнув, ты подъемлешь вой.

Таинствен мрак в ночной глуши,
Но посреди ее молчанья
Еще таинственней души
Твоей, о море, прорицанья!
Ты что-то хочешь рассказать
Про таинства природы вечной
И нам волною скоротечной
Глубокий смысл их передать.

Мы внемлем чудный твой рассказ,
Но разуметь его не можем;
С тебя мы не спускаем глаз
И над твоим тревожным ложем
Стоим, вперяя жадный слух, —
И чуем мы, благоговея,
Как мимо нас, незримо вея,
Несется бездны бурный дух!..

1867

ГОРЫ НОЧЬЮ

(Дорогою)

Морского берега стена сторожевая,
Дающая отбой бушующим волнам,
В лазурной глубине подошву омывая,
Ты гордую главу возносишь к облакам.

Рукой неведомой иссеченные горы,
С их своенравною и выпуклой резьбой!
Нельзя от них отвлечь вперившиеся взоры,
И мысль запугана их дикой красотой.

Здесь в грозной прелести могуществом и славой
Природа царствует с первоначальных дней;
Здесь стелется она твердыней величавой,
И кто помериться осмелился бы с ней?

Уж внятно, кажется, природа человеку
Сказала: здесь твоим наездам места нет,
Здесь бурям и орлам одним испóкон веку
Раздолье и простор! А ты будь домосед.

Но смертный на земле есть гость неугомонный,
Природы-матери он непослушный сын;
Он с нею борется, и волей непреклонной
Он хочет матери быть полный властелин.

Крамольный сын, ее он вызывает к бою;
Смельчак, пробил ее он каменную грудь,
Утесам он сказал: раздвиньтесь предо мною
И прихотям моим свободный дайте путь!

И с русской удалью, татарски-беззаботно,
По страшным крутизнам во всю несемся прыть,
И смелый лозунг наш в сей скачке поворотной:
To be or not to be — иль быть, или не быть.

Здесь пропасть, там обрыв: всё трынь-трава,
всё сказки!
Валяй, ямщик, пока не разрешен вопрос:
Иль в море выскочим из скачущей коляски,
Иль лбом на всем скаку ударимся в утес!

1867

* * *

Пора стихами заговеться
И соблазнительнице рифме
Мое почтение сказать:
На старости, уже преклонной,

Смешно и даже беззаконно
С собой любовницу таскать.

Довольно деток, слишком много,
Мы с нею по свету пустили
На произвол и на авось:
Одни, быть может, вышли в люди,
А многим — воля божья буди! —
Скончаться заживо пришлось.

Другие, что во время оно
Какой-то молодостью брали,
Теперь *глупам стала, старам*;
Настали новые порядки,
И допотопные двойчатки —
Кунсткамерский гиппопотам.

Крювье литературных прахов,
На них ссылается Галахов,
Чтоб тварям всем подвесть итог,
И вносит их не для почета,
А разве только так, для счета,
Он в свой животный некролог.

Пора с серьезностью суровой
И с прозой честной и здоровой
Вступить в благочестивый брак,
Остыть, надеть халат домашний
И, позабыв былые шашни,
Запрятать голову в колпак.

Прости же, милая шалунья,
С которой пир *медоволунья*
Так долго праздновали мы.
Всему есть срок, всему граница;
И то была весны певица
Верна мне до моей зимы.

Спасибо ей, моей подруге;
Моим всем прихотям к услуге
Она являлась на лету:
Блеснет нечаянной улыбкой,
К стиху прильнет уловкой гибкой,
Даст мысли звук и красоту.

А может быть, я ей наскучу,
Ее обман накличет тучу
На наши светлые лады;
Не лучше ль, хоть до слез и жалко,
С моей веселой запевалкой
Нам распроститься до беды?

Друг друга не помянем лихом:
С тобой я с глазу на́ глаз в тихом
Восторге радость знал вполне;
Я не был славолюбьем болен,
А про себя я был доволен
Твоими ласками ко мне.

1867?

* * *

Сфинкс, не разгаданный до гроба, —
О нем и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь.

Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил.

Сентябрь 1868

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

Графине М. Б. Перовской

Ждет тройка у крыльца; порывом
Коней умчит нас быстрый бег.
Смотрите — месячным отливом
Озолотился первый снег.

Кругом серебряные сосны;
Здесь северной Армиды сад:
Роскошно с ветви плодоносной
Висит алмазный виноград;

Вдоль по деревьям арабеском
Змеятся нити хрусталя;
Серебряным, прозрачным блеском
Сияют воздух и земля.

И небо синее над нами —
Звездами утканный шатер,
И в поле искрится звездами
Зимой разостланный ковер.

Он, словно из лебяжьей ткани,
Пушист и светит белизной;
Скользя, как челн волшебный, сани
Несутся с плавной быстротой.

Всё так таинственно, так чудно;
Глядишь — не верится глазам.
Вчерашний мир спит беспробудно,
И новый мир открылся нам.

Гордяся зимнею обновой,
Ночь блещет в светозарной тьме;
Есть прелесть в сей красе суровой,
Есть прелесть в молодой зиме,

Есть обаянье, грусть и нега,
Поэзия и чувств обман;
Степь бесконечная и снега
Необозримый океан.

Вот леший — скоморох мохнатый,
Кикимор пляска и игра,
Вдали мерещатся палаты,
Все из литого серебра.

Русалок рой среброкудрявый,
Проснувшись в сей полночный час,
С деревьев резво и лукаво
Стряхает иней свой на нас.

Ноябрь 1868
Царское Село

* * *

Тихие равнины
Ель, ветла, береза,
Северной картины
Облачная даль.

Серенькое море,
Серенькое небо,
Чуется в вас горе,
Но и прелесть есть.

Праздничным нарядом
Воздух, волны, горы,
Расцветая садом,
Облачает юг.

Вечным воскресеньем
Там глядит природа,
Вечным упоеньем
Нежится душа.

Будничные дети
Будничной природы,
Редко знаем эти
Праздничные дни.

День-деньской нам труден,
Жизнь не без лишений,
Темен кров наш, скуден
Наш родной очаг,

Но любовь и ласки
Матери, хоть бедной,
Детям — те же ласки,
Та же всё любовь.

В рубище убогом
Мать — любви сыновней
Пред людьми и богом
Та же друг и мать.

Чем она убоже,
Тем для сердца сына
Быть должна дороже,
Быть должна святей.

Грех за то злословить
Нашу мать-природу,
Что нам изготовить
Пиршеств не могла.

Здесь родных могилы;
Здешними цветами
Прах их, сердцу милый,
Усыпаем мы.

Не с родного ль поля
Нежно мать цветами
Украшала, холя
Нашу колыбель?

Всё, что сердцу мило,
Чем оно страдало,
Чем живет и жило,
Здесь вся жизнь его.

Струны есть живые
В этой тихой песне,
Что поет Россия
В сумраке своем.

Те родные струны
Умиляют душу
И в наш возраст юный,
И в тени годов;

Им с любовью внемлю,
Им я вторю, глядя
На родную землю,
На родную мать.

1869?

* * *

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться,
Остаться должен я при немощи своей.
Зачем, отжившему, живым мне притворяться?
Болезненный мой смех всех слез моих грустней.

23 декабря 1870

ЭПИТАФИЯ СЕБЕ ЗАЖИВО

Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя, как мертвого, оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.

6 января 1871
Висбаден

* * *

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

28 сентября 1871
Царское Село

ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА В ЛИВАДИЮ
(Осенью 1871 года)

Посвящается
Елисавете Дмитриевне Милютиной

Смотрю я вашим Аюдагом,
В берлоге, как медведь, сижу,
Иль медленно, медвежьим шагом
В саду пустынном я брожу.

Но, как медведю, ради скуки
Сосать мне лапу не под стать:
Мои так исхудали руки,
Что в них уж нечего сосать.

И ум, и сердце исхудали;
Побит морозом жизни цвет.
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.

Есть разве темное преданье
О светлой некогда судьбе,
На хладном гробе начертанье,
Поминки по самом себе.

Там, где сияньем, вечно новым,
Ласкается к вам южный день,
Вы помяните добрым словом
Мою тоскующую тень.

* * *

Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забытый каторжник на каторге земной?

Не я ли искупил ценой страданий многих
Всё, чем пред промыслом я быть виновным мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить *злопамятливый* бог?

12 июня 1872
Царское Село

* * *

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,
Вы бога знаете по книгам и преданьям,
А я узнал его по собственным страданьям
И, где отца искал, там встретил палача.

Всё доброе во мне, чем жизнь сносна была,
Болезнью лютою всё промысл уничтожил,
А тщательно развил, усилил и умножил
Он всё порочное и все зачатки зла.

Жизнь едкой горечью проникнута до дна,
Нет к ближнему любви, нет кротости в помине,
И душу мрачную обуревают ныне
Одно отчаянье и ненависть одна.

Вот чем я промыслом на старость награжден,
Вот в чем явил свою премудрость он и благость:
Он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне
в тягость,
Чтоб проклял я тот день, в который я рожден.

1872?

ГРАФУ М. А. К⟨ОРФУ⟩

С родного очага судьбиной
Давно отрезанный ломоть,
Закабален я был чужбиной
И осужден в ней дни молоть.

Как ни мелю, всё по-пустому:
Не перемелется мука,
Одну мякину да солому
Сбирает нехотя рука.

Между собой всё так похоже:
День каждый завтрашнему дню
Передает одно и то же,
И ночи ночь — тоску свою.

Бессонница, как ведьма злая,
И с нею дочь ее, хандра,
Ночь напролет надоедая,
Торчат у праздного одра.

И вы здоровья, силы свежей,
Как я, пришли сюда искать:
В нас немощь и недуги те же,
И сна чужда нам благодать.

Кажись, выносим труд немалый,
Чтоб только сном глаза сомкнуть,
Читаем русские журналы,
А всё не можем мы заснуть.

Такая, знать, у нас натура,
Что ни подушки, ни тюфяк,
Ни русская литература
Не убаюкают никак.

Досадно, тяжело и больно;
Так горемычный часовой
Стоит и слышит, как привольно
Весь стан храпит во тьме ночной.

Посмотришь, все благополучно
Спят русским сном от русских книг;
От них мне до зевоты скучно,
А сна не выжмешь ни на миг.

Судьба свела нас издалеча
В чужой и тихой стороне;
Будь в добрый час нам эта встреча!
Чего желать и вам, и мне?

«Царевичу младому Хлору»
Молюсь, чтоб, к нам он доброхот,
«Нас взвел на ту высоку гору,
Где без хлорала сон растет».

Август 1874
Гомбург

ОСЕНЬ 1874 ГОДА
(Гомбург. Октябрь)

Кокетничает осень с нами!
Красавица на западе своем
Последней лаской, последними дарами
Приманивает нас нежнее с каждым днем.

И вот я, волокита старый,
Люблю ухаживать за ней
И жадно допивать, за каплей каплю, чары
Прельстительной волшебницы моей.

Всё в ней мне нравится: и пестрота наряда,
И бархат, и парча, и золота струя,
И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда,
Которыми она обвешала себя.

И тем дороже мне, чем ближе их утрата,
Еще душистее цветы ее венка,
И в светлом зареве прекрасного заката
Сил угасающих и нега и тоска.

ЗАМЕТКИ

1

ПО ПОВОДУ СОВРЕМЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ВОПРОСА

Орангутанг ли наш Адам?
От обезьян идем ли мы?
Такой вопрос решать не нам:
Решат ученые умы.

В науке неуч и профан,
Спрошу: не больше ль правды в том,
Что вовсе не от обезьян,
А в обезьяны мы идем?

2

ПО ПОВОДУ КОМЕДИИ И ПУБЛИКИ

Combien faut-il de sots pour faire un public.
Chamfort[1]

Мы можем комика с победою поздравить:
Вся публика в восторге от него.
«А сколько же глупцов потребно для того,
Чтоб публику, по-вашему, составить?»

3

ПО ПОВОДУ НОВЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА

Есть слово модное и всем на вкус пришлось:
Все *игнорировать* пустились вкривь и вкось.
«Такого слова нет у Пушкина». — «Так что же?
Для нас уж Пушкин стар, давай нам помоложе.
Жуковский, Батюшков — всё это старина,
Всё школа старая времен Карамзина.
Мы игнорируем их книги и заслуги,
Ученья нового поклонники и слуги,
Мы пишем наобум и часто без ума;
Освободились мы от школьного ярма,

[1] Сколько нужно глупцов, чтобы составить публику. *Шамфор.* (фр.). — *Ред.*

Мы всё глядим вперед: учиться нам некстати,
Учиться некогда учителям печати.
Врожденных сил своих напрасно не губя,
Мы призваны других учить, а не себя.
Без лишнего труда ждет гения победа.
А все мы гении от *а* и вплоть до *z*.[1]
Когда же как-нибудь нет мысли налицо,
Пускаем в оборот мы новое словцо,
Мы любим щеголять слов чужеземных кражей,
Хоть языкам чужим и плохо учены».
— «Бог в помощь, господа! Прогресса вы сыны!
Лингвистики у вас нет в авторской поклаже,
Но *игнористикой* вы щедро снабжены:
Вы *игнорируете* даже,
Как вы, *в конце концов*, и жалки, и смешны!»

1874?

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Мудрец, или лентяй, иль просто добрый малый,
Но книги жизни он с вниманьем не читал,
Хоть долго при себе ее он продержал.
Он перелистывал ее рукою вялой,
Он мимо пропускал мудреные главы,
Головоломные для слабой головы;
Он равнодушен был к ее загадкам темным,
Которые она некстати иль под стать,
Как сфинкс, передает читателям нескромным,
Узнать желающим, чего не можно знать;
Не подводил в итог гадательных их чисел,
Пытливого ума не чувствовал тоски;
Нет, этот виноград ему всегда был кисел,
Он не протягивал к нему своей руки.
Простая жизнь его простую быль вмещает:
Тянул он данную природой канитель,
Жил, не заботившись проведать жизни цель,
И умер, не узнав, зачем он умирает.

Между 1873 и 1875

---

[1] Зета. — *Ред.*

* * *

Лукавый рок его обчел:
Родился рано он и поздно,
Жизнь одиночную прошел
Он с современной жизнью розно.

В нем старого добра был клад,
Родник и будущих стремлений;
Зато и был он виноват
У двух враждебных поколений.

«Воздвиг я памятник себе!» —
Не мог сказать он, умирая:
Он много выстрадал в борьбе,
Но та борьба была глухая.

К такой борьбе вниманья нет:
Кто в глубь души борцу заглянет?
Не перекрестится и свет,
Пока успеха гром не грянет.

И много непочатых сил
И втуне жатв за ним осталось,
Талант не в землю он зарыл,
Но в ход пустить не удавалось.

Бедняк не вовремя рожден,
Не вовремя он жил и умер;
И в лотерее жизни он
Попал на проигрышный нумер.

Между 1873 и 1875

* * *

Игрок задорный, рок насмешливый и злобный
Жизнь и самих людей подводит под сюркуп:
Способный человек бывает часто глуп,
А люди умные как часто неспособны!

Post scriptum

Вот, например, хотя бы грешный я:
Судьбой дилетантизм во многом мне дарован,
Моя по всем морям носилась ладия,

Но берег ни один мной не был завоеван,
И в мире проскользит бесследно жизнь моя.
Потомству дальнему народные скрижали
Об имени моем ничем не возвестят;
На дни бесплодные смотрю я без печали
И, что не славен я, в своем смиренье рад.
Нет, слава лестное, но часто злое бремя,
Для слабых мышц моих та ноша тяжела.
Что время принесет, пусть и уносит время:
И человек есть персть, и персть его дела.
Я всё испробовал от альфы до иоты,
Но, беззаботная и праздная пчела,
Спускаясь на цветы, не собирал я соты,
А мед их выпивал и в улей не сносил.
«День мой — век мой» — всегда моим девизом был,
Но всё же, может быть, рожден я не напрасно:
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий минутный голос мой.

1875?

* * *

На взяточников гром всё с каждым днем сильней
Теперь гремит со всех журнальных батарей.
Прекрасно! Поделом! К чему спускать пороку?
Хотя и то сказать: в сих залпах мало проку,
И, как ни жарь его картечью общих мест,
Кот Васька слушает да преспокойно ест.
Фонвизина слыхал, слыхал он и Капниста,
И мало ли кого? Но шиканья и свиста
Их колких эпиграмм не убоялся кот,
Он так же жирен всё и хорошо живет.
Конечно, к деньгам страсть есть признак ненавистный,
Но сами, господа, вы вовсе ль бескорыстны?
Не гнетесь ли и вы пред золотым тельцом?
И чисты ль вы рукой, торгующей пером?
Кто спорит! Взяточник есть человек презренный,
Но, сребролюбия недугом омраченный,
Писатель во сто раз презренней и того.
Дар слова — божий дар, — он в торг пустил его.

Свой благородный гнев, и скорбь, и желчь,
и слезы —
Всё ценит он, торгаш, по таксе рифм и прозы.
Сей изрекаемый над грешниками суд,
Сей проповедник наш, сей избранный сосуд,
Который так скорбит о каждой нашей язве,
Никак он не прольет целебной капли, — разве
За деньги чистые, чтобы купить на них
Чем утолить пожар всех алчностей своих.

1875?

* * *

Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит,
Чтоб жизнь в последние минуты расставанья
Мне в утешенье сказала: *до свиданья*,
Как *продолженье впредь* нам автор говорит.
Без лишних проводов до бесконечной дали
Пусть скажет жизнь: *прощай!* И поминай как звали.

Май 1876

ИЗ СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ «ХАНДРА С ПРОБЛЕСКАМИ»

1

Пью по ночам хлорал запоем,
Привыкший к яду Митридат,
Чтоб усладить себя покоем
И сном, хоть взятым напрокат.

Мне в тягость жить; хочу забыться,
Хочу не знать, что я живу,
Хочу от жизни отрешиться
И от всего, что наяву.

Ничтожества сон непробудный!
Затишье по тревожном дне!
Возмездьем будь за подвиг трудный,
За жизнь, столь тягостную мне.

2

И жизнь, и жизни все явленья
Мне чудятся, как в смутном сне,
Болезненно все впечатленья
Перерождаются во мне.

Скучаю прежним я весельем,
Сержусь на то, что я любил:
Недуг каким-то горьким зельем
Мои все чувства отравил.

Во мне идет с ожесточеньем
Борьба враждебных двух начал:
Ум не скудеет размышленьем,
Но воли нет, но дух упал.

Разумным и пытливым взором
Я на борьбу свою гляжу,
И сам, как вчуже, я дозором
За нею пристально слежу.

Себя сознательным упреком
Я порицанью предаю,
Но суд не действует уроком
На немощь и тоску мою.

В моем сознанье проку мало:
В нем бодрых сил не почерпнуть;
Оно лишь новое мне жало
И так в уя́звленную грудь.

Своих страданий раб послушный,
Не спорю с ними, не борюсь:
Нет, я, как воин малодушный,
Без боя в плен им отдаюсь.

3

Чувств одичалых и суровых
Гнездилище душа моя:
Я ненавижу всех здоровых,
Счастливцев ненавижу я.

В них узнаю свои утраты:
И мне сдается, что они —
Мои лихие супостаты
И разорители мои,

Что под враждебным мне условьем,
С лицом насмешливым и злым,
Они живут моим здоровьем
И счастьем, некогда моим.

4

ЗАГАДКА

Меня за книгу засадили,
С трудом читается она:
В ней смесь и вымысла, и были,
Плох вымысел, и быль скучна.

Как много в книге опечаток!
Как много непонятных мест!
Сил и охоты недостаток
Читать ее в один присест.

Пред догорающей лампадой
И в ожиданье темноты
Читаю с грустью и досадой
Ее последние листы.

Всё это опыт, уверяют,
Терпенья надобно иметь,
И в ободренье обещают,
Что будет продолженье впредь.

Благодарю! С меня довольно!
Так надоел мне первый том,
Что мне зараней думать больно,
Что вновь засяду на втором.

5

Я — прозябаемого царства:
Мне нужны воздух, солнце, тень,
На жизнь и все ее мытарства
Работать мне тоска и лень.

В юдоли сей трудов и плача
Заботы, жертвы и борьба —
Головоломная задача,
А голова моя слаба.

Скажу со скорбью и упреком:
Не приспособлен я к борьбе
И сотворен я человеком
Назло природе и себе.

Нет, я растительного царства,
Питаюсь теплым блеском дня;
А жизнь и все ее мытарства
Непроходимы для меня.

6

ЦВЕТОК

Зачем не увядаем мы,
Когда час смерти наступает,
Как с приближением зимы
Цветок спокойно умирает?

К нему природы благ закон,
Ему природа — мать родная:
Еще благоухает он,
Еще красив и увядая.

Его иссохшие листки
Еще хранят свой запах нежный,
Он дар нам памятной руки
В день слез разлуки безнадежной.

Его мы свято бережем
В заветной книге дум сердечных,
Как весть, как песню о былом,
О днях, так грустно скоротечных.

Для нас он памятник живой,
Хотя он жизнью уж не дышит,
Не вспрыснут утренней росой
И в полночь соловья не слышит.

Как с другом, с ним мы говорим
О прошлом, нам родном и общем,
И молча вместе с ним грустим
О счастье, уж давно усопшем.

Цветку не тяжек смертный час:
Сегодня нас он блеском манит,
А завтра нам в последний раз
Он улыбнется и завянет.

А нас и корчит, и томит
Болезнь пред роковой могилой,
Нам диким пугалом грозит
Успенья гений белокрылый.

Мертвящий холод в грудь проник,
Жизнь одичала в мутном взоре,
Обезображен светлый лик,
Друзьям и ближним в страх и горе.

А там нас в тесный гроб кладут,
Опустят в мраки подземелья
И сытной пищей предадут
Червям на праздник новоселья.

В предсмертных муках и в борьбе,
Неумолимой, беспощадной,
Как позавидую тебе,
Цветок мой милый, ненаглядный!

Будь ласковой рукой храним,
Загробным будь моим преданьем,
И в память мне друзьям моим
Еще повей благоуханьем.

7

Что выехал в Ростов.
Дмитриев

«Такой-то умер». Что ж? Он жил да был и умер.
Да, умер! Вот и всё. Всем жребий нам таков.
Из книги бытия один был вырван нумер.
И в книгу внесено, что «выехал в Ростов».

Мы все попутчики в Ростов. Один поране,
Другой так попоздней, но всем ночлег один:
Есть подорожная у каждого в кармане,
И похороны всем — последствие крестин.
А после? Вот вопрос. Как знать, зачем пришли мы?
Зачем уходим мы? На всем лежит покров,
И думают себе земные пилигримы:
А что-то скажет нам загадочный Ростов?

1876?

* * *

Куда девались вы с своим закатом ясным,
Дни бодрой старости моей!
При вас ни жалобой, ни ропотом напрасным
Я не оплакивал утраты юных дней.

Нет, бремя поздних лет на мне не тяготело,
Еще я полной жизнью жил;
Ни ум не увядал, ни сердце не старело,
Еще любил я всё, что прежде я любил.

Не чужды были мне налеты вдохновенья,
Труд мысли, светлые мечты,
И впечатлительность, и жертвоприношенья
Души, познавшей власть и прелесть красоты.

Как ветр порывистый ломает дуб маститый,
Так и меня сломил недуг.
Все радости земли внезапной тьмой покрыты
Во мне, и всё кругом опустошилось вдруг.

С днем каждым жизни путь темней и безнадежней,
Порвались струны бытия:
Страдающая тень, обломок жизни прежней,
Себя, живой мертвец, переживаю я.

Из жизни уцелеть могли одни мученья,
Их острый яд к груди прирос.
И спрашиваю я: где ж благость провиденья?
И нет ответа мне на скорбный мой вопрос.

Между 1874 и 1877

* * *

Жизнь наша в старости — изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже;

В них отпрыски пера, которому во дни
Мы светлой радости иль облачной печали
Свои все помыслы, все таинства свои,
Всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на нее легла тень скорби и беды,
Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной,
Сердечной памятью еще живет в утрате,
И утро свежее, и полдня блеск и зной
Припоминаем мы и при дневном закате.

Еще люблю подчас жизнь старую свою
С ее ущербами и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я холю свой халат с любовью и почетом.

Между 1874 и 1877

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Варианты приводятся согласно порядку стихов в основном тексте произведения. Под нумерацией строк (или строф) указывается источник варианта. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего варианта.

Милонову. По прочтении перевода его из Горация

автограф

Тогда, как уши нам терзают
Несносны крики сов, гагар,
И музы в наши дни страдают,
Как предки наши от татар,
Когда Шишков, Батый талантов,
Грозит смерть вкусу нанести,
Шихматов из морских сержантов
В Гомеры хочет перейти.
Когда Хвостов, Анастасевич,
Захаров, Шаховской, Станевич
И вся Батыева орда
Выходит на Парнас войною,
Ты, жрец счастливый муз, тогда,
С горящей пламенной душою
И лирой звонкой, золотой,
Невежд рой шумный оставляешь
И славу на пути встречаешь.
Идущий скромною стезей,
Счастливый путь, друг муз и граций,
Достигни пристани тайком,
И пусть наставник твой Гораций
Поделится с тобой венком.

Эпизодический отрывок из путешествия в стихах
Первый отдых Вздыхалова

загл. ПЕРВЫЙ ОТДЫХ ВЗДЫХАЛОВА

после 22 авториз. копия ранняя ред.

И на пути в уме усталом
Готовится он мадригалом
Насильно выпросить обед,
Бижу бежит с ним, лая, вслед;
К избе подходит и встречает
Он поселянку юных лет,
Платок свой алый расправляет,
Шага четыре отступает,
Молчит, вздыхает раза два
И к ней, кобенясь, обращает
Он следующие слова:
«Приветствую тебя стократно,
Гебея здешней стороны!
Твой обещает взор приятный
Гостеприимство старины.
В твоей руке, с долинным снегом,
С лилеей равной белизны,
Надежду видит дальним бегом
Изнеможденный пилигрим!
Будь добрым ангелом моим!
Не много мне для пищи нужно.
Ты с снисходительностью дружной
Изжарь мне пару голубиц
Да канареечных яиц
Мне всмятку изготовь отчасти!
И, сил утрату подкрепя,
Пойду путем-дорогой я,
Тебя вверяя щедрой власти
Богов, с незримой высоты
Хранителей и красоты,
И непорочности сердечной? ! .»

Но между тем как бесконечно
В лирическом жару своем
Нанизывал он стих с стихом,
Его Гебея тихомолком,
Не понимая речи толком,
Укрылась в избу от него,
Оставя в поле одного.
Напрасно с просьбою, с приветом
Стучит он долго в ворота,
Ему мяуканье ответом
В окно смотрящего кота.
Такой прием ему не диво:
У журналистов он подчас,
Как приносил им напоказ
И драгоценный и счастливый
Плод новых с Музою проказ —
Экспромтов дюжинный запас,

Читал себе красноречивый
На запертых дверях отказ.
Великодушно, терпеливо
Покорен он и в этот раз,
И он с душевной пустотою
Пошел, кивая головою,
Как ветром зыблемая ель;
И там, раскинувшись на луге,
Посвистывая на досуге,
От скуки стал щипать щавель.

На некоторую поэму

автограф
ранняя ред.

Кутузова рукой победной
От дерзких пришлецов Россия спасена,
Но от дурных стихов твоей поэмы бедной,
Ах! не спаслась она!

К партизану-поэту
(В 1814-м году)

загл. ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ

авториз. копия
поздняя ред.

Анакреон под доломаном,
Ты саблю с лирой сочетал,
Двойным в двух ратях партизаном
Ты стих и крест завоевал.

Носи любви и Марсу дани,
Со славой крепок твой союз,
Ты и любимец бога брани,
И счáстливый любовник муз.

Блестит почетная примета
На пламенной груди твоей:
Георгий на груди поэта
Красуется еще светлей.

Воинским соблазнясь примером,
Когда б Парнас давал кресты,
Златого Феба кавалером
Давно, конечно, был бы ты.

К партизану-поэту

2—3
авториз. копия

Не потаскушке той слепой,
Податливой и вдруг спесивой,

Когда? Когда?

строфа 2 автограф	Когда доверчивость в беседах Не будет глупость и беда, Чинов и чванства на обедах Не встретишь тяжкого следа Когда, когда?

К Батюшкову

перед 1 автограф первоначальный вар.	Певцу рукоплесканье И миртовый венок За новое посланье! А другу лобызанья И свиток мерных строк, Нескладное маранье; Щедротам богача Убогого дар тощий, Крикливого грача Ответ Орфею рощи!
между 163 и 164 авториз. копия позднейшая вставка	И ты простосердечный Приятель и поэт, При сединах беспечный Счастливец дев ⟨и⟩ лет, Доверчивый к надеждам, Назло судьбе своей Пел женщин и друзей, Но грозный враг невеждам, Назло подагры вечной...

Д. В. Давыдову

загл.	К ДАВЫДОВУ
вм. 28—43 автограф ранняя ред.	Ей места нет в походной ставке Непостоянных усачей. Будь счастлив с постояльцем новым! Но берегись, чтоб наконец Хозяином, к тебе суровым, Не очутился твой жилец. Иль, может быть, любовь и дружбу, Сих двух житейских побродяг, Ты презрел для небесных благ, Вступив в мистическую службу?

вм. 51—52 Но в клире набожных певцов,
Ковач благочестивых слов,
Псалтырь славянскую приемлешь

вм. 56—57 Пылает сатаны угодник,
Походов девственных певец,

вм. 62—68 Причастника единых граций
Ты променял во оны дни
На жития церковных дедов,
Постясь в монашеской сени.
Не знаешь жирных мясоедов,

вм. 71—86 И, следуя примерам общим,
Ханжишь, слывя живым усопшим,
С собой, с людьми и с божеством.
Или... но расстаюсь с пером!
Изобретательному гневу
И стихотворному напеву
Пора мне положить конец!
Ты будь гусар или чернец,
Любви отступник или жрец,
Или шалун неугомонный,
Иль сонный член беседы сонной, —

К Батюшкову

автограф первоначальная ред.

Мой друг! С полей амурам вслед
Погнались ласточки толпами;
Эол, предвестник сельских бед,
Шумя, парит под облаками.
Дриады скрылись по дуплам,
И разукрашенная Флора,
Воздушного не слыша хора,
В печали бродит по садам.
Спеши скорей в Москву, ленивец,
Счастливый баловень харит,
Парнаса, Пафоса любимец,
Спеши, философ-сибарит!
Тебя веселье призывает
И дружба с нежностью зовет!
А тот, кто зва их не внимает,
Тот счастья вечно не найдет!
Пока еще лелеет младость,
Повеселимся, милый мой!
Пускай венки плетет нам радость,
Пока не прибрала с клюкой
Плешивая дочь ада, старость,
С подагрой, с святцами в руках
Или с твореньями Шишкова,
С сухой площадкой на грудях
И с жалкой рожею Хвостова.

Ухаб

между строфами 5 и 6 автограф

Хоть выровнен паркет придворный,
Но встретишь ямы и на нем;
Простяк в них сядет, а проворный
Готов вскарабкаться ползком.

Коварный друг с улыбкой сладкой
Вам руку ласки подает,
А сам, того и жди, украдкой
Другой рукой в ухаб толкнет.

последняя строфа автограф, СО

Друзья! Для вас моя проказа!
Я приговора жду от вас:
С хребта крылатого Пегаза
В ухаб попал ли в добрый час?

«„Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин...»

автограф ранняя ред.

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
Мне кланяться развалинам бесплодным
Пальмиры, Трои иль Афин?
Пусть дорожит Парнаса гражданин
Воспоминаньем благородным;
Я не поэт, а дворянин
И лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин».

Петербург

между 24—25 авториз. копия ранняя ред.

И, может быть, при вас Кутайсов в цвете лет
В волненье бранных дум, постигнув ваш привет,
На славу жизнь обрек и меч на честь отчизны.
Мужей великих прах — училище гражда́н.
Но где ж Смоленский? Где целитель наших ран?
Потщимся отвратить потомства укоризны,
Да памятник ему воздвигнется средь нас!
Другие вознесли, а он Россию спас.
И славная чета ждет славного собрата.

вм. 25—37 автограф ранняя ред.

Но да предупредит признательность Отчизны
Потомков строгий суд и глас их укоризны!
Да новый памятник восстанет среди нас,
Еще свежа в сердцах Кутузова утрата;
Они прославили, а он Россию спас,
И славная чета ждет славного собрата.

вч. 59—61 авториз. копия

Под сенью тишины у нас рука устройства
Растила мирт наук и гордый лавр геройства.

вм. 79—90

Там зодчии, труды к столетьям тщась простреть,
Возносят к облакам красивые громады.
Рафáэл Северный, обманывая взгляды,
Дарует кистью жизнь, обезоружив смерть,
Ваятели, с небес похитив дивный пламень,
Вливают чувство в медь, вдыхают душу в камень.
Владычица сердец, наперсница богов
Потомству говорит с развалины гробов.

вм. 128—132

Несчастный раб земли, отвергнутый от братий,
В свободе примет мзду страдальческих занятий.

Катай-валяй

строфа 2 авториз. копия

Когда я приглашен к обеду
К надменному вельможе в дом
Или в ученую беседу,
Пускай везут меня шажком.
Но если еду на свиданье,
Где с другом ждет меня Токай
Иль граций милое собранье —
Катай-валяй!

29—31

Но, Феба и Беллоны крестник,
Пегаса смело ты седлай,
И к славе, удалой наездник,

строфа 5

Любовь! Вожатый мой, хранитель,
Молю, пребудь всегда со мной!
Но время, радостей губитель,
Несется нам вослед с косой.
Оно поймает и с дороги
Потащит в мрачный свой сарай.
Друзья! Пока хранят нас боги,
Катай-валяй!

Того-сего

строфа 4 авториз. копия

Рифмач Плаксин мне пук стихов читал
И легкой прозы пук тяжелой,
Ни то ни се в тетради целой,
А я, забывшись, в ней искал
Того-сего.

К приятелю

загл. К НЕЕЛОВУ

автограф ранняя ред.

Пускай, Неелов, свет толкует,
Его нам толков не унять, —
Счастлив, кому дано судьбой о них не знать,
Умен, кто, зная их, на них покойно плюет!
Пускай придворный полотер
Исшаркал город весь и двор,
Чтоб на пустой болван плюмаж поставить белый:
Болван из-под него выглядывает смело.
Дурак, что ни надень, всё тем же дураком:
На нем и сам венец дурацким колпаком.
Пускай рифмач назло рассудку
Шутя изволит сочинять,
А нам скучает не на шутку,
И придает векам послушная печать
Его творений сбор огромный!
Пускай Вздыхалов томный
Томит пастушек нежный слух,
Хвалы достоин он, я смело утверждаю —
В пастушеских стихах он пишет, как пастух.
Неелов! Никого ни в чем не осуждаю!
У всякого свой ум. Иль правильней еще:
У каждого дурачество свое!
Поверь, всё к лучшему судьбы определили,
И не сердись на глупости людей:
Глупцы подчас нам умников нужней,
Без них смеяться бы забыли!

⟨«Деревня». Отрывки⟩

1

после последнего ст. беловой автограф

Наперсница души! Владычица досуг!
О муза! Будь всегда мне благосклонный друг!
Здесь лучший твой приют; здесь область вдохновенья!
Оно любуется в тени уединенья:
Под сумраком живет в таинственных лесах
Иль в образе весны гуляет на лугах.
Оно перед зарей, в час распри тьмы с рассветом,
На высоте холмов беседует с поэтом
И учит постигать в сей полный таинств час
Священной тишины красноречивый глас.
Здесь всё — мечтанью жизнь, всё — размышленью пища!
Веселый вид полей и сельского кладбища
Мир поучительный и строгая краса!
На камни хладные нависли древеса!
Но утра беглый луч пересекает тени,

Как упованья свет трепещет в смертной сени!
И жизнь, среди гробниц с унынием дружась,
Со смертью познает таинственную связь.

3

Библиотека

вм. 45—52 Царь мысли! Вождь умов, Вольтер красноречивый,
Хотя в наш строгий век, в наш век благочестивый
И придает тебя проклятью благодать,
Но каюсь: я люблю с тобою рассуждать.
Для битвы праведной и завлеченный страстью,
Враг фанатизма, сам ты под его был властью.

Русский бог

Копия в арх. бр. Тургеневых

Бог ухабов, бог метелей,
Бог убийственных дорог,
Бог ночлегов без постелей,
Вот он, вот он — русский бог!

Бог холодных, бог голодных
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений бездоходных,
Вот он, вот он — русский бог!

Бог всех с Анною на шее,
Бог лакеев без сапог,
Бог служáщих, как лакеи,
Вот он, вот он — русский бог!

К глупым полон благодати,
К умным чересчур уж строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он — русский бог!

Бог пришельцев-иноземцев,
Преступивших наш порог,
Бог — в особенности — немцев:
Вот он, вот он — русский бог!

К ним

1—4 автограф

За что служу я вашей злобе целью?
Чему завидовать во мне?
Каким честям? Какой казне?
Какому из убранств Фортуны ожерелью?

9—12 Что в дар мне принесли судьбы?
Новорожденному дар на зубок не нужен;
Что? Две-три мысли! Два-три чувства не из дюжин,
От коих кормятся корыстные рабы.

Брайтон

загл. БЕССОННИЦА

после строфы 4 автограф ранняя ред.

И всё, что таинством объято,
Что глубоко запало в грудь,
Как в глубину земную злато,
Всё, чем душа цвела когда-то,
И ей отдастся где-нибудь,

Все радости и все печали,
Недуги сердца и любовь,
Которые в тени дремали,
При голосе твоем восстали
И душу взволновали вновь.

Так, ты не мертвая стихия!
В тебе таится жизни дух,
Но скудные слова земные
Молчат про таинства святые,
О коих ты глаголишь вслух.

«Наш век нас освещает газом...»

загл. НАШ ВЕК

автограф ранняя ред.

Наш век нас освещает газом
Так, что и солнцу не под стать;
Но жаль, что может лопнуть разом
И вспышкой нас с собой взорвать.

Наш век расчетливый и строгой,
Чтоб время за собой иметь,
Нас мчит железною дорогой
Так, что и мысли не поспеть.

Но если с колен сорвется
Огнекрылатый великан,
Кто головой с ним разочтется,
Кто посчастливей — парой ран.

Смышлен, хитер ты, век! Бесспорно,
Никто из братии твоей,
Как ты, не рыскал так проворно,
Не зажигал таких огней.

Где ж прок? Проверим без пристрастья
Наш человеческий итог:
Не та же ль немощь, те ж несчастья,
Не столько ж хлопот и тревог?

Как светоч нам твой ни сияет,
Как ты ни ускоряй свой бег,
Не та же ль ночь нас ожидает?
Не тот ли общий всем ночлег?

Алексадрийский стих

автограф набросок

Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский:
Ложится хорошо в него язык российский.
Есть долговязому где растянуться, сесть,
Где на просторе дух свободно перевесть.
Мы задыхаемся в стихах четверостопных
Под ношей наших слов, густых, нерасторопных,
И, мерке жертвуя дородным словарем,
Мы крохоборствуем в наследье родовом.

Эперне

после строфы 5 автограф набросок

На ложе пиршеств и свободы,
Когда мы юностью цвели,
Как много их в былые годы
С тобою мы перевели.

Зато, весь трепет и веселье,
Весь жажда, молча я проник
В сие глухое подземелье,
В сей поэтический тайник.

Сознание

после 40 автограф набросок

На радость я уж стар, на смерть еще я молод:
Обливший грудь мою осенней жизни холод
Не остудил в груди ключа горячих слез,
И хладный возраст мой не чужд тревожных гроз.

Рябина

между строфами 3 и 4 черновой автограф

Всё при тебе из тьмы воскресло:
Вот предо мной наш сельский дом,
В углу родительское кресло,
Здесь сад, там церковь за прудом.

[Когда] и живость и беспечность,
Дней детства светлая мечта,
И юность — сердца миг и вечность!
И строгих опытов лета.

«Моя вечерняя звезда...»

автограф ранняя ред.

Моя вечерняя звезда,
Моя последняя любовь!
На потемневшие года
Приветный луч пролей ты вновь!

Средь юных невоздержных лет
Мы любим блеск и пыл огня,
Но полурадость, полусвет
Теперь отрадней для меня.

Друзьям

авториз. копия ранняя ред.

4 В волненье изменчивых дней.

8 Одиноких средь чуждых людей.

вм. строф 3—5

Пью в память и братьям почившим,
Почившим на битве земной,
Земной свой обет совершившим,
Совершившим свой путь трудовой.

И льются с вином благодатным,
Благодатным радушьем — любовь,
Любовь и к друзьям безвозвратным,
И к тем, что могу встретить вновь.

В любви есть закон championing,
Упованья, священного нам:
Нам верится в утро свиданья,
Свиданья не здесь — то уж там.

Пью в здравие ближних далеких,
Далеких, но сердцу родных,
И в память друзей одиноких,
Одиноких в могилах своих.

«Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться...»

авториз. копия поздняя ред.

Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться,
В молчанье должен скорбь нести я до конца:
Отжившему, к чему живым мне притворяться?
Мой судорожный смех — кривлянье [паяца].

ИЗ СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ «ХАНДРА С ПРОБЛЕСКАМИ»

6

ЦВЕТОК

между строфами 8 и 9 РА

Страшна не смерть, а страшны нам
Ее обряд и обстановка,
Страданье днем и по ночам,
А там в путь дальний упаковка.

Предтечи смерти страшны нам,
Ее прислуга роковая...
. . . .
. . . .

вм. строфы 11

О, как завидую тебе
В предсмертной муке и борьбе
В час роковой и беспощадный,
Как я завидую тебе,
Цветок мой милый, ненаглядный!

7

автограф первоначальная ред.

«Кто выехал», а кто готовится в Ростов.
В том жизни нашей цель и жребий наш таков:
Тот выедет поздней, а этот часом ране,
Но подорожная у каждого в кармане.

Еще дней несколько, пожалуй пять-шесть лет, —
И то еще вопрос, дождусь ли их иль нет, —
И всё покончится, и место опустеет,
Где ныне дней моих светильник вечереет.

Плеснет ли на берег из недр морских волна?
Порвется ль где-нибудь отдельная струна
Средь стройной глубины напевов и созвучий?
В лесу засохший лист стряхнет ли дуб могучий

С себя? И без вести лист бедный пропадет?
Всё это никого в раздумье не введет.
Ни лесу темному, ни темной бездне моря
В такой утрате нет ни убыли, ни горя.

Раскинув широко ветвей своих навес,
По-прежнему шумит благоуханный лес,
В зеленом сумраке его пещеры свежей
Тишь и таинственность, и сон, и нега те же.

По-прежнему шумит морская глубина:
За рухнувшей волной горой встает волна,
А жизнь беспечная русалкой молодою
Поет и плещется прозрачною волною,

И, словно перлами, каких не даст Восток,
Обрызган кос ее и свежих роз венок.
И песнь ее звенит, то плачет, то хохочет,
А есть ли смерть иль нет — жизнь знать о том не хочет.



ПРИМЕЧАНИЯ

Обширное поэтическое наследие Вяземского было собрано и в большей своей части впервые увидело свет в четырех томах (3, 4, 11 и 12) Полного собрания сочинений (Т. 1—12. Спб., 1878—1896), изданных после смерти поэта. Несмотря на серьезные текстологические дефекты (цензурное купирование текстов, произвольный выбор редакций и заглавий и т. д.), оно до сих пор не имеет себе равного по масштабу библиографических разысканий и по количеству включенных в него стихотворений.

Научное издание Вяземского впервые было осуществлено В. С. Нечаевой («Избранные стихотворения». М.; Л., 1935). Многолетняя работа в Остафьевском архиве позволила составителю обнаружить несколько десятков новых текстов и восстановить цензурные изъятия в таких существенных для Вяземского стихотворениях, как «Петербург», «Послание к М. Т. Каченовскому», «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...» и др. Однако текстологические принципы этого издания не вполне отвечают современным требованиям: в соответствии с установками 1930-х гг. редактор отдавал предпочтение ранним рукописным редакциям перед печатными (к которым высказывалось известное недоверие) и пользовался списками так называемого «Нового рукописного сборника», неавторского и текстологически сомнительного.

Из последующих изданий следует особо отметить сборник «Стихотворения» Вяземского в Большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1958) под редакцией и с комментарием Л. Я. Гинзбург (текст подготовлен при участии И. И. Муравьевой). Составители этого авторитетного научного издания были первыми (после Нечаевой) и последними, кто обратился к рукописям стихотворений Вяземского. Иначе говоря, более четверти века тексты из него некритически перепечатывались в сборниках и поэтических антологиях, закрепляясь в читательском сознании и канонизируясь. Между тем два момента, связанные с выбором основного текста в издании 1958 г., вызывают серьезные возражения.

Прежде всего речь идет об источниках текста для стихотворений сборника «В дороге и дома» (ВДД). Указанный сборник, выпущенный М. Н. Лонгиновым в 1862 г., явился единственным прижизненным изданием стихотворений Вяземского, не считая мелких брошюр («К ружью», 1854; «Шесть стихотворений», 1855; «За границею», 1859). Опираясь на позднейшее указание поэта, что он

никакого «участия в этом издании не принимал, был за границею и хандрил, предоставляя Лонгинову выбирать и печатать, что хочет»,[1] составители сборника «Библиотеки поэта» не учитывали опубликованные в нем редакции стихотворений, печатая соответствующие тексты по предшествующим журнальным и альманашным публикациям, а за неимением их — по рукописям. Однако в архиве М. Н. Лонгинова (ПД, ф. 158) сохранилась наборная рукопись ВДД, существенную часть которой составляют авторизованные копии. Представленные же здесь тексты в списках, как правило, дублируются автографами, также находящимися в архиве издателя. О том, что состав и композиция ВДД продумывались автором, свидетельствуют списки «Оглавлений» сборника (ПД, ЦГАЛИ[2]) с пометами поэта, а также указания Вяземского для Лонгинова (о включении того или иного стихотворения в ВДД) на сохранившихся в архиве поэта (ЦГАЛИ, ГБЛ) трех рукописных сборниках 1855 г. И, наконец, имеется прямое указание П. И. Бартенева (причастного к изданию ВДД), что «это издание autorisé par l'auteur» и что поэт «сам занимался выбором и расположением стихотворений».[3]

Более подробно картина работы над сборником вырисовывается из переписки Вяземского с издателем (ПД, ЦГАЛИ). Из нее явствует, что на первом этапе поэт принимал активное участие в подготовке ВДД: он дважды приезжал в Москву для работы с Лонгиновым, присылал автографы и авторизованные копии отобранных стихотворений (они-то и сохранились в фонде Лонгинова); ему принадлежит название и композиция сборника. Переписка дает возможность установить, что в процессе работы существенно меняется авторский замысел издания. Если вначале оно носило публицистический оттенок и значительную часть книги составлял раздел стихотворных фельетонов «Заметки» (с этого раздела и начал складываться сборник), то в дальнейшем, по мере расширения других разделов, поэт задумывает превратить его в итоговое собрание своих стихотворений. В письме от 13 декабря 1861 г. он предлагает Лонгинову издать стихотворения в двух томах, дополнив ВДД ранними произведениями.[4] Но новому замыслу не суждено было осуществиться: болезнь вынудила Вяземского срочно прекратить работу над изданием. Высказанное поэтом через семнадцать лет недовольство составом сборника, вероятно, объясняется этими обстоятельствами.

Из истории подготовки ВДД становится очевидным, что собственно печатные тексты не отражают последней авторской воли: Вяземский не авторизовал наборную рукопись и не держал корректуру, а Лонгинов позволял себе некоторые редакторские вольности: правку заглавий, архаических падежных форм и т. д. Поэтому основным текстом для стихотворений сборника надо считать: 1) авторизованные копии в наборной рукописи; 2) автографы или

---

[1] Помета Вяземского 1878 г. на авторском экземпляре ВДД (ГБЛ); см. также: ПСС-1. С. LV—LVI. Употребленные здесь сокращения расшифрованы на с. 439—441.

[2] Об одном из них упоминает Нечаева (указ. соч. С. 573—574).

[3] Письмо к Я. К. Гроту от 10 ноября 1862 г. // ЛО ААН, ф. 137, оп. 3, № 55. Источник указан А. Л. Осповатом.

[4] ПД, № 23138. Л. 14.

авторизованные копии в других единицах фонда Лонгинова — в том случае, когда копии в наборной рукописи не авторизованы. По переписке Вяземского с издателем видно, что списки эти делались, как правило, самим Лонгиновым (с присланных поэтом рукописей) в последний момент перед сдачей в типографию, т. е. они не авторизованы и иногда дефектны за счет пропусков или неверного прочтения автографа (см. примеч. к стихотворениям «Рябина» и «Поскупясь, судьба талана...»); 3) только в том случае, когда в наборной рукописи текст отсутствует, следует обратиться к другому источнику: предшествующей публикации или авторизованной копии в указанных рукописных сборниках 1855 г., которые Лонгинов (судя по той же переписке) с согласия Вяземского иногда использовал для восполнения лакун наборной рукописи. Поскольку вкратце изложенная история сборника ВДД и перечисленные источники до сих пор не были известны, в издание 1958 г. оказался включен массив текстов, которые правомернее было бы отнести в раздел «Ранние редакции и варианты» (ср. опубл. в нем текст «Ухаба» с текстом наст. изд.).

Спорным в издании «Библиотеки поэта» является выбор текстов для некоторых стихотворений, не публиковавшихся при жизни Вяземского. Не вызывает возражения предпочтение, отданное здесь авторским рукописям перед посмертной (и подчас дефектной) публикацией их в Полном собрании сочинений. Однако при наличии альтернативы: автограф (даже черновой) или авторизованная копия — издатели выбирали первое, опираясь на распространенное представление об автографах, как наиболее авторитетных рукописных источниках. Между тем для текстов Вяземского подобная иерархия в большинстве случаев не правомерна, что объясняется спецификой работы поэта над текстами: доработка (а иногда и существенная переработка) стихотворения велась Вяземским не по автографу, а по авторизованной копии, которая в случае необходимости вновь перебеливалась копиистом (часто кем-нибудь из близких, напр. В. Ф. Вяземской), опять правилась и т. д. Последняя (но далеко не обязательная) стадия работы — внесение текста переписчиком в один из рукописных сборников. Таким образом, беловые копии (особенно в рукописном сборнике), выражающие последнюю авторскую волю, как правило, должны быть предпочтены автографу. Во всяком случае, вопрос выбора рукописного источника должен решаться с учетом истории текста, в противном случае в основной текст попадают ранние редакции, существенно отличающиеся от окончательных. Так, в издание «Библиотеки поэта» оказались включенными послание к Неелову, являющееся первоначальной редакцией опубликованного в 1825 г. стихотворения «К приятелю» (см. примеч. к нему, с. 481), ранний текст стихотворения «Карикатура» — «Наши дачи хороши...» (см. с. 506) и т. д.

Сложность в установлении истории текста представляло состояние Остафьевского архива (ЦГАЛИ): обработка этого огромного и богатейшего собрания рукописей была завершена лишь в 1970-е гг. Следует, однако, иметь в виду, что и сейчас далеко не все хранящиеся в нем творческие рукописи нашли отражение в описи и каталоге. В частности, пока выявлено незначительное количество стихотворных автографов при письмах Вяземского. Еще в большей мере это относится к эпистолярии поэта, хранящейся в других фондах и архивохранилищах. Недостаточно исследованы и альбомы светского и литературного окружения поэта.

В настоящее издание включена примерно пятая часть стихотворного наследия Вяземского, наиболее ярко отражающая его поэтическую индивидуальность. По сравнению с предыдущим сборником «Библиотеки поэта» корпус книги расширен за счет поздних текстов и ряда существенных для мировоззрения поэта стихотворений 1820-х гг., в основном обнаруженных в позднейшее время. Публикуемые тексты заново проверены по всем доступным рукописным и печатным источникам: для многих из них уточнены название и датировка, для некоторых — основной текст, адресат и первая публикация. Уточнения обоснованы в комментариях.

Материал расположен по хронологическому принципу. Даты указываются под текстом. При отсутствии данных для датировки в угловых скобках помещается дата публикации (уточненная по дате цензурного разрешения соответствующего печатного источника), т. е. дата, не позднее которой стихотворение было написано. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. В. С. Нечаева в указанном издании справедливо отметила, что издатели Полного собрания сочинений могли располагать не известными нам данными для датировки поздних стихотворений. Поэтому, при отсутствии каких-либо иных оснований, даты этого собрания принимались в качестве предположительных. Орфография и пунктуация приближены к современной, с сохранением стилистических особенностей языка поэта и эпохи. Авторские примечания приводятся в тексте без специальной оговорки. В отдел «Другие редакции и варианты» из большого массива стихотворных строк отобраны наиболее существенные.

В библиографической части примечаний приводятся лишь те печатные источники, в которых последовательно менялся текст. Простые перепечатки, а также сомнительные с точки зрения авторского участия издания здесь не фиксируются. Сразу после заглавия указывается первая публикация, затем через точку и двойной дефис — ступени изменения текста. Формулой «Вошло в...» вводится последняя прижизненная публикация, которая по оговоренным причинам не является источником основного текста (напр., ВДД). Формула «Печ. по...» применяется в тех случаях, когда текст воспроизводится (или восполняется) по рукописным источникам. Ссылка только на первую публикацию означает, что она же является и источником текста. В публикациях оговаривается отсутствие подписи или неполная подпись (криптоним). При составлении реального комментария частично использованы (с проверкой и уточнением фактологии) примечания Л. Я. Гинзбург, а также позднейшие находки М. И. Гиллельсона, Ю. М. Лотмана, С. С. Ланды и др. При составлении примечаний был предпринят также ряд специальных разысканий.

По сравнению с предыдущими изданиями значительно расширена текстологическая часть комментария. Перечень рукописных источников дается в последовательности переработки текста. Как это принято в изданиях «Библиотеки поэта», точный шифр при них не приводится, а указывается лишь имя фондообразователя и название архивохранилища, например: «арх. В. Ф. Одоевского (ГПБ)». Перечисленные в примечаниях стихотворные рукописи без всяких указаний на место хранения находятся в Остафьевском архиве (ЦГАЛИ, ф. 195). Ссылка при рукописном источнике только на архив означает, что он хранится в фонде Вяземского этого архивохранилища (ГПБ, ф. 167; ГБЛ, ф. 63). Автографы и авторизован-

ные копии представлены с максимальной на данном этапе полнотой и с минимальным описанием: указывается редакция или наличие вариантов (в тексте и заглавии), дат и авторских помет (неавторская правка и пометы приводятся в исключительных случаях). Из неавторизованных копий фиксируются списки, хранящиеся в архиве братьев Тургеневых (ПД, ф. 309), которые являются ценнейшим источником для реконструкции допечатных вариантов раннего творчества Вяземского (известно, что А. И. Тургеневу Вяземский посылал стихотворения сразу по завершении, а иногда и в «сыром» виде). Копии с печатных текстов в рукописных сборниках 1855 г. и в материалах к Полному собранию сочинений (ЦГАЛИ) указываются только тогда, когда они имеют авторскую правку и пометы. Следует особо оговорить отсутствие в комментарии ссылок на цитаты из писем и заметок Пушкина, многократно публиковавшихся в десятитомных изданиях поэта. Звездочка перед заглавием стихотворения в примечаниях отсылает к разделу «Другие редакции и варианты».

Список условных сокращений, принятых в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

А-1838 — «Альманах на 1838 год» / Изданный В. Владиславлевым. Спб., 1838.
Альб-1 — Альбом П. А. Вяземского, содержащий автографы его стихотворений и другие документы // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5079.
Альб-2 — Альбом П. А. Вяземского, состоящий из автографов и авторизованных копий стихотворений 1848—1874 гг. 43 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 889.
Б — «Благонамеренный».
ВДД — В дороге и дома: Собрание стихотворений князя П. А. Вяземского. М., 1862.
ВЕ — «Вестник Европы».
ВОЛРС — Вольное общество любителей российской словесности (Общество соревнователей просвещения и благотворения). Петербург.
ГБЛ — Рукописный отдел и Отдел редких книг Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Гиллельсон — М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969.
ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ЗГ — За границею: Корректурные листы из стихотворений князя П. А. Вяземского. Карлсруэ, 1859.
ЗК — П. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848) / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1963.
ИВ — «Исторический вестник».
Изд-1935 — П. А. Вяземский. Избранные стихотворения / Ред., статья и комментарий В. С. Нечаевой. М.; Л., 1935.
Изд-1958 — П. А. Вяземский. Стихотворения / Вступительная статья, подготовка текста и примечания Л. Я. Гинзбург. Л., 1958 (Б-ка поэта. БС).
Изд-1982 — П. А. Вяземский. Сочинения в двух томах: Т. 1: Стихо-

творения / Составление, подготовка текстов, вступительная статья и комментарий М. И. Гиллельсона. М., 1982.

ИОАН — «Известия II отделения имп. Академии наук». Спб., 1858. Т. 7.

ИОЛЯ — «Известия Отделения литературы и языка АН СССР».

ЛГ — «Литературная газета».

ЛН — «Литературное наследство».

ЛО ААН — Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР.

ЛПРИ — «Литературное прибавление к „Русскому инвалиду"».

М — «Москвитянин».

МТ — «Московский телеграф».

Н (Н-1833, Н-1834) — «Новоселье» / Альманах, издаваемый А. Смирдиным. Спб., 1833 и 1834.

НЛ — «Новости литературы».

НР — Наборная рукопись сборника стихотворений П. А. Вяземского «В дороге и дома» (М., 1862) // ПД, № 23514.

ОА (ОА-1, ОА-2 и т. д.) — «Остафьевский архив кн. Вяземских». Спб., 1899—1913. Т. 1—5.

ОЗ — «Отечественные записки».

ОЛРС — Общество любителей российской словесности при имп. Московском университете.

Отчет-1884 — «Отчет имп. Публичной библиотеки 1884 года». Спб., 1887.

Пантеон — «Пантеон русской поэзии, издаваемый Павлом Никольским». Спб., 1814. Ч. 1, кн. 2.

ПВ — «Санкт-Петербургский вестник».

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

ПЗ (ПЗ-1823, ПЗ-1824, ПЗ-1825) — Полярная звезда / Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Спб., 1823—1825.

ПК — «Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1979». Л., 1980.

ПСС (ПСС-1, ПСС-2 и т. д.) — Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Спб., 1878—1896. Т. 1—12.

РА — «Русский архив».

РВ — «Русский вестник».

РЛ — «Русская литература».

РМ — «Российский музеум».

РПЛ — «Русская потаенная литература XIX столетия: Отдел первый. Стихотворения» / С предисловием Н. П. Огарева. Лондон, 1861.

РС — «Русская старина».

РСб-1 — Рукописный сборник 1, состоящий из автографов и авторизованных копий стихотворений Вяземского 1812—1855 гг. 47 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 855.

РСб-2 — Рукописный сборник 2, состоящий из автографов и авторизованных копий стихотворений Вяземского 1810—1825, 1840 гг. 59 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 860.

РСб-3 — Рукописный сборник 3, состоящий из авторизованных копий стихотворений Вяземского 1821—1822 гг. 22 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 869.

РСб-4 — Рукописный сборник, состоящий из авторизованных копий стихотворений Вяземского 1814—1864, 1867 гг. 67 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 904.

РСб-5 — Рукописный сборник в 2-х частях, состоящий из автографов и авторизованных копий стихотворений Вяземского 1810—1825 гг. 87 лл. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 862.

РСб-1855(I) — Рукописный сборник 1855 г. Ч. 1 / Сост. В. И. Межов. Копии с печатных текстов, с пометами Вяземского. 224 лл. // ГБЛ, ф. 63, I.1.

РСб-1855(II) — Рукописный сборник 1855 г. Ч. 2 / Сост. В. И. Межов. Копии с печатных текстов, с пометами Вяземского. 501 с. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 891.

РСб-1855(III) — Рукописный сборник 1855 г. Ч. 3 / Сост. В. И. Межов. Копии с печатных текстов, с пометами Вяземского. 487 с. // ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 892.

РЭ — Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. / Вступительная статья Л. Ф. Ершова. Составление, подготовка текста и примечания В. Е. Васильева, М. И. Гиллельсона, Н. Г. Захаренко. Л., 1975 (Б-ка поэта. БС).

С — «Современник».

СН — «Старина и новизна».

СО — «Сын отечества».

СП — «Северная пчела».

СРС — Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих журналов / Изданное Василием Жуковским. М., 1811. Ч. 5.

ст. — стих.

СЦ (СЦ-1825, СЦ-1826 и т. д.) — Северные цветы / Собранные бароном Дельвигом. Спб., 1825—1832.

Тетр-Т — Тетрадь А. И. Тургенева, состоящая из копий стихотворений Вяземского 1810—1823 гг. 87 лл. // ПД, ф. 309, № 1032.

ТОЛРС — «Труды Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете».

Тургенев — Булгаковым — Письма Александра Тургенева к Булгаковым / Подготовка текста к печати, вступительная статья и комментарий А. А. Сабурова. М.; Л., 1939.

УЗ (УЗ-1840, УЗ-1841, УЗ-1842) — Утренняя заря / Альманах, изданный В. Владиславлевым. Спб., 1840—1842.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР.

ЦГИА — Центральный государственный исторический архив.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Послание к ⟨Жуковскому⟩ в деревню. ВЕ. 1808, № 19, подпись: К. П. В....ий, с пропуском ст. 22 и с искажением ст. 64 (исправлено по списку опечаток в том же номере ВЕ). Первое ст-ние Вяземского, появившееся в печати. На авторском экземпляре ВДД (с. 385) Вяземский пометил: «В послании почти все стихи сплошь и целиком переделаны Жуковским. Мне было тогда 16 лет» (ГБЛ). В «Историческом и критическом обозрении российских журналов» А. Ф. Воейков назвал ст-ние в числе произведений 1800—1810-х гг., которые «по важности содержания или прелести слога» заслуживают «особенного внимания просвещенных читате-

лей» (СО. 1821, № 1. С. 16, 18). *С своею милою приближишься к реке.* Отвечая на вопрос библиографа С. Д. Полторацкого, Вяземский в 1868 г. писал ему: «Подруга Жуковского в „Послании"... есть поэтическая вольность» («Новь». 1885, № 9. С. 93).

Объявление. ВЕ. 1810, № 11, подпись: ...В... Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5, с позднейшей авторской правкой, не доведенной до конца.

Быль в преисподней. ВЕ. 1810, № 11, подпись: ....В.... Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5; обе без загл., ранняя ред., с вар. ст. 3, 4 («Бобров» вм. «Бибрис»), 5—8. «Быль в преисподней» — вольное переложение шестистишья Вольтера (1752?) «Эпиграмма на смерть г-на Оба, племянника Фонтенеля» («Qui frappe-là? — dit Lucifer...»). Эта и следующая эпиграммы явились откликом на смерть поэта Семена Сергеевича Боброва (ок. 1767—1810), названного *Бибрисом* (от лат. bibere — пить) за его пристрастие к вину; они обе приведены в статье М. И. Невзорова «Живописные и философские отрывки из сочинений г. Боброва» с неодобрительным примеч.: «Г. сочинитель... истощает остроту разума своего насчет покойника, которого он, видно, не знал ни лично, ни сочинений его порядочно не читал» («Друг юношества». 1810, июнь. С. 64). *Певец ночей.* Боброву принадлежат мистико-аллегорические поэмы «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, бранопосных и мирных гениев России...» (1804) и «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» (1807—1809). *Шахматно-пегий гений* — парафраз двух ст. из поэмы Боброва «Херсонида» («Рассвет полночи», ч. 4, гл. 5), в которых описываются «аспиды» (змеи): «И выставляют пестру спину Иль шахматное пего чрево».

К портрету выспреннего поэта. ВЕ. 1810, № 11, под загл. «К портрету Бибриса», подпись: ...В... -- СРС, подпись: В. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три — без загл., с вар. ст. 1 («Бобров» вм. «Бибрис»). Об адресате см. примеч. к предыдущей эпиграмме. Многократно перепечатывалась в антологиях и хрестоматиях того времени.

Сравнение Петербурга с Москвой. РПЛ. В ПСС помещено только загл. ст-ния (под 1822 г.), с подстрочным примеч: «Шуточное стихотворение под этим заглавием никогда не предназначалось для печати и в оставленных покойным князем П. А. Вяземским сборниках и прочих бумагах не сохранилось» (ПСС-3. С. 289). Судя по документам ценз. ведомства, ст-ние было уже отпечатано в ПСС-3 и вынуто в корректуре по требованию цензора Н. А. Ратынского из-за «гривуазности» некоторых ст., «излишней смелости суждений» и намека в последнем ст. на «личность государя» («Литературная мысль». Пг., 1923. Кн. 2. С. 235). В арх. Вяземского имеется также копия с РПЛ, сделанная составителями ПСС, с купюрами (без замены точками) ст. 9, 15, 18—22, 33—37 и с пометой цензора: «Если бы напечатано было в таком виде, то заявление не было бы сделано». Кроме того, сохранились три копии ст-ния в других фондах: 1) список 1840-х гг. в арх. А. А. Александрова (ЦГАЛИ) — с вар. ст. 22 и с ошибочным указанием на авторство Д. В. Давыдова; 2) список 1856 г. в арх. С. Д. Полторацкого (ГБЛ) — под загл. «Москва и Петербург», без ст. 3—6, 16,

23—33, с вар. ст. 12 и 22 и с пометой Полторацкого: «Приписывается Вяземскому, но, кажется, не его, а впрочем, почему же и нет»; 3) список в арх. А. Ф. Кони (ПД) — под загл. «Различие между Москвою и Петербургом», без ст. 25—26, 33. В письме к П. И. Бартеневу от 22 октября 1869 г. Вяземский датировал ст-ние 1809—1810 гг. (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева); эта датировка уточняется фразой из письма Д. П. Северина Вяземскому от 2 февраля 1811 г.: «Стихи твои прекрасны... те, в которых ты сравниваешь Москву с Петербургом» (ЦГАЛИ). В начале 1820-х гг. список «Сравнения» был доставлен недоброжелателями поэта императору, и Александр I (через посредство Н. М. Карамзина) имел объяснение с Вяземским (ПСС-2. С. 95). *Княжнин* Александр Яковлевич (1771—1829) и *Ильин* Николай Иванович (1777—1823) — второстепенные драматурги; первый — сын Я. Б. Княжнина. *Хвостов* — см. о нем примеч. к следующему ст-нию. *Шатров* Николай Михайлович (1765/67—1841) — поэт, автор духовных песен и переложений псалмов; в дальнейшем член «Беседы любителей русского слова». *А кучер спит* — намек на императора Александра I. Возможно, концовка ст-ния написана была позже.

«Ага, плутовка мышь, попалась, нет спасенья!..». СРС, подпись: В. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три — с вар. ст. 4 («Хвостова» вм. «Графова»). Вольный перевод эпиграммы Брюзана де ля Мартиньера «Je te tiens souris téméraire...» (источник указан в статье: Томашевская Р. Р. К вопросу о французской традиции в русской эпиграмме // Поэтика. Л., 1926. Вып. 1). Направлена против Дмитрия Ивановича Хвостова (1756/57—1835), члена «Беседы любителей русского слова», поэта, баснописца (отсюда сопоставление с И. И. Дмитриевым).

Эпитафия. СРС, подпись: В. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5, без загл. Авториз. копия в РСб-1855(III), под загл. «Эпитафия российскому Диогену». Вероятно, в эпитафии речь идет о С. С. Боброве (см. о нем с. 442). Неоднократно перепечатывалась в антологиях того времени. *Диоген* (ок. 400 — ок. 325 до н. э.) — древнегреч. философ-киник; по преданию, жил в бочке.

«Тирсис всегда вздыхает...». СРС, подпись: В. Автограф — ранняя ред. («Оргон в стихах своих привык всегда вздыхать...»). Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5. *Тирсис* — вероятно, П. И. Шаликов (см. о нем с. 444).

* Милонову. По прочтении перевода его из Горация. ПСС-3. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с датой: «1811». Автограф — без загл., ранняя ред., в письме Вяземского Жуковскому от 16 марта (1811? г.) (ЦГАЛИ, арх. В. А. Жуковского). *Милонов* Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт, напечатавший в 1811 г. *перевод* второго эпода *Горация* «Похвала сельской жизни» (ВЕ. 1811, № 19. С. 180—182). В ответном послании Вяземскому «Сопоклонник Аполлона...» (1812) Милонов развивает основную тему наст. ст-ния — осмеяние стихотворцев, вошедших в только что основанную (1811) «Беседу любителей русского слова». *Один с поэмой вздорной.* Возможно, имеются в виду член «Беседы» С. А. Ширинский-Шихматов (1783—1837) и его поэма «Пожарский, Минин,

Гермоген, или Спасенная Россия» (1807), на которую Вяземский откликнулся эпиграммой:

Пожарским, Мининым и взрывом сил народных
От козней вражеских Россия спасена,
Но от стихов твоих, эпически негодных,
Ах! не спаслась она!

(переработанный вар. эпиграммы с другим адресатом и под загл. «На некоторую поэму» см. на с. 421). *Другой с комедией снотворной.* Скорее всего, речь идет о комедиографе А. А. Шаховском (см. о нем с. 454). *Батыева орда* — здесь: члены «Беседы».

Отъезд Вздыхалова. РА 1863, № 12, под рубрикой «Восемь старинных стихотворений». Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и две копии в Тетр-Т, полностью совпадающие между собой, под загл. «Выход Вздыхалова», с вар. ст. 10, 12, 19. Датируется по письму Батюшкова Гнедичу от апреля 1811 г.: «Посылаю тебе стихи князя Вяземского на Шаликова, который хотел ехать в Париж. Они очень остры и забавны. В этом роде у нас ничего нет смешнее». Приписка Вяземского: «Кроме, однако ж, „Леты" вашей, милостивый государь Константин Николаевич!» (Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1886. Т. 3. С. 121). Под именем *Вздыхалова* в ст-ниях Вяземского фигурирует князь Петр Иванович Шаликов (1767/68—1852) — поэт, журналист, автор сентиментальных путешествий, слащавость произведений которого вызывала насмешки и пародии арзамасцев. Ст-ние спровоцировало обмен эпиграммами между Шаликовым и Вяземским, о чем последний сообщает в письме Батюшкову от 7 декабря 1811 г.: «Вот ответ его (Шаликова) на мой „Отход Вздыхалова"»:

К НОВОМУ МИДАСУ

Родился Момом ты, в Мидасы захотел
И кошельком своим на рынке прогремел,
Желая тем прельстить своей подобны души!
Какой же вышел горький плод?
Гимен ослиные ему приставил уши
И на позорище пустил его в народ!

Хотя я этих стихов не понял и до сих пор еще не понимаю, однако, на всякий случай, отвечаю:

К СТАРОМУ ПЛЮГАВЦУ

Что мне плюгавцу отвечать?
Ни рук, ни языка не хочется марать»

(ПД, арх. К. Н. Батюшкова). О факте распространения ст-ния свидетельствует фраза из письма Ю. А. Нелединского-Мелецкого Вяземскому от июня 1814 г.: «К великому удовольствию государыни, я проговорил ей „С собачкой, с посохом, с лорнеткой..." и проч.» (РА. 1866, № 6. Стб. 886). *На шее с розовым платочком* — реальная деталь эксцентричного туалета Шаликова (см.: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 94). *Аглая* — журнал

Шаликова (1808—1812), главными сотрудниками которого были писатели Михаил Николаевич *Макаров* (1775/1779—1847) и Борис Карлович *Бланк* (1769—1825). *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор романа «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768). *Верн* де Люз Франсуа (1765—1834) — швейцарский писатель, автор книг «Сентиментальный путешественник, или Моя прогулка в Иверден» (1781) и «Сентиментальный путешественник во Франции при Робеспьере» (1799).

* Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова. МТ. 1827, № 10, без подп. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и две копии в Тетр-Т; все четыре — под загл. «Первый отдых Вздыхалова», ранняя ред. Основанием для предположительной датировки служит расположение текста ст-ния во всех указанных рукописях непосредственно за текстом «Отъезда Вздыхалова». В 1827 г., помещая ст-ние (в переработанном виде) на страницах МТ, Вяземский с помощью примеч., в котором фигурирует имя Булгарина *(Фиглярина)*, включает его в контекст современной полемики. *Вздыхалов* — П. И. Шаликов (см. о нем выше). *Бижу* — кличка комнатной собачки (по-французски — драгоценность). *Отдых в пользу* — загл сб. воспитанников Университетского благородного пансиона (М., 1804). *Стерн* — см. предыдущее примеч. *Йорик* — персонаж «Сентиментального путешествия» Стерна. *Селадон* — ставшее нарицательным имя героя романа «Астрея» (1607—1618) французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625). *Гебея* (Геба) (греч. миф.) — вечно юная дева, на пирах богов разносившая нектар. *Церера* (римск. миф.) — богиня земледелия. *Киферея* (греч. миф.) — одно из наименований Афродиты. *Канареечные яйца* — как «атрибут» Шаликова использовал А. Ф. Воейков в своем сатирическом «Парнасском адрес-календаре» (1818—1820). *Нежный журнал* — «Аглая» (см. предыдущее примеч.). *Марабу* — разновидность аиста. *Он съел свой гриб великодушно.* Съесть гриб — остаться ни при чем, опростоволоситься; великодушно — здесь: героически, стоически. *Бавкида* — в древнегреческом мифе о Филемоне и Бавкиде — добродетельная и гостеприимная женщина.

«Картузов другом просвещенья...». ПВ. 1812, № 5, подпись: В. З., под загл. «Друзья нынешнего века». -- Пантеон. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три с вар ст 1 («Кутузов» вм. «Картузов»). Направлено против поэта, масона, сенатора и попечителя (куратора) Московского университета Павла Ивановича Голенищева-Кутузова (1767—1829), прославившегося обскурантизмом, а также доносами на Карамзина. В 1804—1806 гг. Голенищев-Кутузов издавал журнал *«Друг просвещенья»*. В письме Батюшкову (без даты), содержащем просьбу опубликовать в ПВ эпиграммы, Вяземский заметил: «Особливо же на Кутузова. Эту бестию надобно всячески мучить. Малейший в нем порок есть то, что он дурной стихотворец. Такого человека жалеть не надобно . Всякое на него нападение есть жертва Истине и Добродетели» (ПД, арх. К. Н. Батюшкова).

К моим друзьям Ж⟨уковскому⟩, Б⟨атюшкову⟩ и С⟨еверину⟩. ПВ. 1812, № 8, подпись: К. В. Три авториз. копии:

1) в РСб-1, с датой в оглавлении: «1812» и авторской правкой; 2) в РСб-2, с той же датой, небольшой авторской правкой и пометой Жуковского (?): «Прекрасно»; 3) в РСб-5, рукою В. Ф. Вяземской. Копия в Тетр-Т, под загл. «К моим друзьям». Все четыре рукописных источника — ранняя ред. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, с раскрытыми Вяземским в загл. инициалами; под текстом авторская помета: «Писано в Вологде ночью 1812 г.». Ст-ние обращено к трем будущим арзамасцам. В письме А. И. Тургеневу от 7 ноября 1812 г. Вяземский отмечает, что стихи эти «вылились» из его души в минуту, когда он «более обыкновенного был удручен мрачными предчувствиями и горестными воспоминаниями» (ОА-1. С. 9). *Северин* Дмитрий Петрович (1792—1865) — дипломат и литератор-дилетант; дружба между ним и Вяземским завязалась в 1805 г., во время их обучения в Петербургском благородном пансионе патера Чижа; в 1812 г. Северин был в Мадриде в составе русской миссии. Осенью 1812 г. *Жуковский* находился в действующей армии (в штабе Кутузова), а *Батюшков* — в Нижнем Новгороде. *Один из вас в борьбах недуга.* Скорее всего, речь идет о Жуковском, который осенью 1812 г. лежал «больной в Вильне, один, без денег, без услуги», — как сообщал Вяземский А. И. Тургеневу (ОА-1. С 12).

Послание к Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года. ТОЛРС. М., 1816. Ч. 6. Автограф с пометами Жуковского и с последующей авторской правкой, из которой явствует, что с рядом замечаний Жуковского Вяземский согласился: ст. 27—30 вошли в основной текст в ред. Жуковского, а ст. 5, 10, 15, 19, 32, 34 исправлены с учетом его помет; со ст. 37 до конца текст отчеркнут Жуковским и на поле помета: «Прекрасно!»; в этой части автографа правки нет. Беловой автограф, с датой в подзаг.: «(1813)». Две авториз. копии в РСб-1 и РСб-5 и две копии в Тетр-Т. Все перечисленные рукописные источники — под загл. «К Жуковскому», ранняя ред. 26 мая 1816 г. ст-ние было прочитано автором на заседании ОЛРС. *Летит теперь, отмщеньем вдохновенный.* Вероятно, речь идет о Батюшкове, который в июле 1813 г. отправился в Германию догонять русскую армию.

К Тиртею славян. ПСС-3. -- Печ. по авториз. копии в РСб-5. Автограф — под загл. «К Тиртею Андреевичу», ранняя ред., с пометами Жуковского. Авториз. копия в РСб-1, с вар. и последующей авторской правкой, не доведенной до конца. Датируется по содержанию: ст-ние явилось откликом на смерть М. И. Кутузова. *Тиртей* (2-я пол. VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт; своими песнями поднимал боевой дух спартанцев во время 2-й Мессенской войны. Тиртеем славян Вяземский называет Жуковского, имея в виду его ст-ние «Певец во стане русских воинов», написанное в лагере под Тарутином (1812). *О, сколь тебе прекрасен перед строем* — парафраз посвященных Кутузову ст. из «Певца во стане русских воинов»: «О, сколь с израненным челом Пред строем он прекрасен!» *Внезапно смерть простерла ночи тень.* Кутузов, возглавивший в 1813 г. заграничный поход русской армии, умер 16 апреля 1813 г. в силезском городе Бунцлау. *Обвей свою ты кипарисом лиру.* С древнейших времен кипарис считался символом траура.

* На некоторую поэму. Б. 1821, № 10, помета: Варшава. Автограф — без загл., ранняя ред., в письме Вяземского

А. И. Тургеневу от 29 октября 1813 г. (ОА-1. С. 17). Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и две копии в Тетр-Т; все — без загл; на тексте в РСб-2 помета Вяземского: «Поэт или известный рифмач Грузинский». В эпиграмме речь идет о поэме А. Н. Грузинцева (1779—1840-е гг.) «Спасенная и победоносная Россия в девятомна-десять веке» (1813). *Батый* — здесь: Наполеон.

«Картузов — сенатор...». РА. 1866, № 3. Автограф; три авториз. копии в РСб-2, РСб-5 и РСб-1855(II); копия в Тетр-Т; все — с вар., в том числе: «Кутузов» вм. «Картузов». На копии в РСб-2 пометы: рукою Вяземского — «Ярославль», рукою Батюшкова (?) — «Несравненная эпиграмма». Направлена против П. И. Голенищева-Кутузова (см. с. 445). В письме от 19 декабря 1813 г. Д. В. Дашков сообщает Вяземскому: «Эпиграмма отправилась тотчас путешествовать по Петербургу под фирмою: „Из Катулла"... и я постараюсь доставить ее самому Картузову через какого-нибудь масона в полном собрании ложи. Ручаюсь вам, что скоро все здешние попугаи будут кричать из окошек: „Картузов — куратор!!!"» (РА. 1866, № 3. Стб. 491—492).

«Спасителя рожденьем...». «Искра». 1870, № 49, под загл. «Святки», дефектный текст с четырьмя дополнительными строфами и с ошибочным указанием на авторство Д. П. Горчакова. -- РА. 1896, № 7, анонимно, под загл. «Старинная сатира», без строф 12 и 21 и с ценз. заменой Спасителя — на амурчика, Марии — на Венеру, Девы — на няню и т. д. -- Печ. по копии в арх. бр. Тургеневых (впервые — Изд-1958) с пометами: «Стихи князя Вяземского. Писаны рукою А. И. Тургенева» и (вм. загл.) «На голос „De Jesus la naissance (рождение Иисуса)"» (ПД). Список в арх. Елагиных-Киреевских (ГБЛ), с вар. и без строфы 14, восходит к тому же источнику, что и предыдущая копия, где строфа 14 вписана позже (несколько строф из списка Елагиных опубл.: «Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина». М., 1955. Вып. 17. С. 127—128). Датируется по письму Жуковского Вяземскому от апреля — июля 1814 г. (уточнение датировки письма см.: Гиллельсон. С. 264), в котором адресат пишет: «Я слышал, что ты написал русский Noël, где множество злого остроумия. Поверь мне, что такого рода сочинения не сделают никогда чести и могут быть причиною несчастья... Признаюсь, меня жестоко огорчила эта пьеса...» (ЦГАЛИ). Ноэли (noëls) — в средневековой Франции духовные песни, прославляющие рождение Христа; с конца XVII в. ноэлями стали называть сатирические куплеты, сочинявшиеся к рождественским праздникам. В России ноэли сочиняли Д. П. Горчаков, Вяземский и Пушкин. «Спасителя рожденьем...» написано канонической для ноэлей восьмистрочной строфой с определенным чередованием шести-, восьми- и тринадцатисложных ст. О популярности ст-ния свидетельствуют строки из письма А. И. Тургенева Вяземскому от 18 сентября 1817 г.: «Когда речь зашла о почтенном имени вашем, то... одна из жертв вашего остроумия запела: „Мы, право, право, ничего" etc., etc. и дальнейшее объяснение не было уже нужно для слушателей» (ОА-1. С. 87). М. А. Дмитриев в мемуарах «Мелочи из запаса моей памяти» (М., 1869. С. 145) передает слух об объяснении Вяземского с императором Александром I по поводу этого ст-ния, но сам поэт в письме к П. И. Бартеневу от 22 октября 1869 г. поправляет Дмитриева и

приурочивает этот эпизод к ст-нию «Сравнение Петербурга с Москвой» (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева). *В лентах и в звездах.* При высших степенях орденов полагались определенная капитулом ордена лента и звезда. *Наш Неккер* — Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825), министр финансов (1810—1823); был известен гурманством, и от него, в частности, получила свое название гурьевская каша *(Я кашу лучше всех варю).* Неккер Жак (1732—1804) — министр финансов Франции накануне революции конца XVIII в. *Сподвижник знаменитый* — директор департамента внешней торговли Обресков Михаил Алексеевич (1754—1842). *Пестель* Иван Борисович (1765—1843) — генерал-губернатор Сибири, безнаказанно грабивший подвластный ему край; отличался очень маленьким ростом *(Сибирский лилипут)*; Пестель предпочитал жить в Петербурге, в частности для того, чтобы давать отпор попыткам разоблачения своих действий. *Несет министр... Суконный образец* — Козодавлев Осип Петрович (1754—1819), министр внутренних дел (1810—1819); с 1809 г. издавал официальную газету «Северная почта», где помещал многочисленные корреспонденции о развитии отечественных суконных мануфактур. *Березинский герой* — адмирал Чичагов Павел Васильевич (1767—1849); общественное мнение обвиняло его в медлительности наступления, которая позволила Наполеону в ноябре 1812 г. переправиться через реку Березину и тем самым избежать плена. *Витгенштейн* Петр Христианович (1769—1843) — фельдмаршал; после смерти Кутузова был назначен главнокомандующим русскими и прусскими войсками, но после неудачных сражений при Люцене и Бауцене освобожден с этого поста. *Рифмачами Давно приписан Рейн!* Вяземский намекает на пользовавшееся популярностью ст-ние Д. Хотяинцова «Песня солдата армии Витгенштейна» (СО. 1813. № 37 и отд. листовкой). *Приводит из Москвы полиции когорту* — Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826), московский главнокомандующий в 1812—1814 гг.; адресата этой строфы Вяземский раскрывает в письме П. И. Бартеневу от 2 ноября 1868 г. (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева). *Захаров* Иван Семенович (1754—1816) — писатель, один из председателей «Беседы». *Карабанов* Петр Матвеевич (1764/65—1829) — поэт и переводчик, автор торжественных од; член «Беседы». *Наш разживает хлев.* По евангельскому преданию, Христос родился в хлеву. *С поэмою холодной* — «Расхищенные шубы» (1811, 1815), ирои-комическая поэма А. А. Шаховского (см. о нем с. 454), в которой содержались полемические выпады против Карамзина и его сторонников. *Филарет* (в миру В. М. Дроздов; 1782—1867) — митрополит московский; в 1810-е гг. выдвинулся своими проповедями; *Боссюэт* (Боссюэ) Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель и проповедник, считался образцовым церковным оратором. *Князь Шахматный* — С. А. Ширинский-Шихматов (см. о нем с. 443); с шестнадцатилетнего возраста сблизился с А. С. Шишковым (см. о нем с. 451), под началом которого служил в Морском ученом комитете. *Хвостовы* — двоюродные братья Александр Семенович (1753—1820), поэт, переводчик, известный острослов, член «Беседы», и Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт, одописец, излюбленная мишень арзамасских пародий (см. с. 443); в копии А. И. Тургенева имя Александра Семеновича поставлено против ст. «Один с старинной шуткой», а Дмитрия Ивановича — против ст. «С мешком стихов другой». *За ними пара Львовых.* В тургеневской копии адресаты этой строки расшифрованы как Федор Петрович Львов (1766—1835/36) — критик и поэт.

и Павел Юрьевич Львов (1770—1825) — автор исторических и сельских повестей; оба Львова были членами «Беседы». *Трактат о воспитанье Приносит новый Локк.* Речь идет о «пятом» и «шестом» письмах из трактата «Письма из сожженной Москвы в Нижний-Новгород к другу» (СО. 1813, № 45, 46, 48) Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (1765—1851), члена «Беседы», автора переводов из *Горация*, знатока древних и новых языков; одно время был послом в Испании *(Гишпанье)*; его имя также расшифровывается на полях тургеневского списка; указанные письма посвящены проблемам современного воспитания и резко критикуют изучение математики, галломанию и вольтерьянство, которым заражены молодые люди. Локк Джон (1632—1704) — английский философ, занимавшийся вопросами педагогики. *Горчаков* Дмитрий Петрович (1758—1824) — поэт-сатирик, член «Беседы». *Похвальных ей стихов.* Подразумеваются поэмы Горчакова. *Я знаю, ты ругал меня.* Возможно, Вяземский намекает на не дошедшую до нас сатирическую поэму Горчакова, которую позже отождествляли с «Гавриилиадой» Пушкина; упоминание о ней см. в «Записках Селивановского» («Библиографические записки». 1858, № 17. С. 518—519). *Еров злодей присяжный.* Речь идет о писателе и переводчике Языкове Дмитрии Ивановиче (1773—1845), непременном секретаре Российской Академии; он доказывал бесполезность букв «ять» и «ер» и некоторые свои произведения печатал без них. В копии А. И. Тургенева на полях против ст.: «Языков тут сказал» — помета: «Он пишет без ъ».

К друзьям. РМ. 1815, № 2. Две авториз. копии в РСб-1 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три — с вар. ст. 30, 43 и 44. Основанием для датировки служат: упоминание в ст-нии собственного четверостишья (см. ниже), написанного в мае 1814 г., и дата ценз. разрешения РМ: «22 декабря 1814 г.». Ст-ние обращено к Жуковскому и Батюшкову, призывавших Вяземского к систематическому творческому труду, и является своего рода декларацией литературного дилетантизма. В ответном послании «К Вяземскому (Ответ на его послание к друзьям)», опубликованном в следующем номере РМ, Жуковский говорит о величии поэтического призвания и так характеризует Вяземского:

Ты, Вяземский, хитрец, хотя ты и поэт!
Проблему, что в тебе ни крошки дара нет,
Ты вздумал доказать посланьем,
В котором, на беду, стих каждый заклеймен
Высоким дарованьем!

Пени — упреки. *Воспел царя-героя.* Вяземский упоминает свое четверостишье «Надпись к бюсту императора Александра I», опубликованное в брошюре по случаю празднования взятия Парижа (М., 19 мая 1814). *Лже-Пиндары* — так названы одописцы, воспевавшие Александра I; Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор гимнов. *И мать счастливая увенчанного сына* — вдовствующая императрица Мария Федоровна (1759—1828), которая с одобрением отозвалась о «Надписи» Вяземского. *Рубан при одном стихе вошел в храм славы.* Вяземский подразумевает «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра Великого» (1770) Василия Григорьевича Рубана (1742—

1795) — одописца, переводчика, писателя и журналиста. *Гашпар* — герой поэмы «Расхищенные шубы», именем которого арзамасцы прозвали ее автора А. А. Шаховского. *Успехов просит ум, а сердце счастья просит.* Ст. вошел в анналы элегической поэзии; его, в частности, цитирует в письмах Батюшков (РЛ. 1970, № 1. С. 186). *Скюдери* Жорж (1601—1667) и его сестра Мадлена (1607—1701) — авторы многочисленных галантных ст-ний, пасторалей, пьес и романов в духе раннего классицизма.

Ответ на послание Василью Львовичу Пушкину. РМ. 1815, № 3. Автограф — без загл., с пометой в верхнем левом углу: «Пушкину В. Л.»; ст. 18 исправлен Жуковским (у Вяземского было: «Не ведаст врагов, шипящих вкруг него»). Две авториз. копии: в РСб-1 (с датой публикации: «1815» в оглавлении) и в РСб-5; копия в Тетр-Т; все три рукописных источника — под загл. «К В. Л. Пушкину» (под этим же загл. опубл. в ПСС-3). Датируется по ценз. разрешению РМ (22 декабря 1814 г.). Послание В. Л. Пушкина было опубликовано в предыдущем номере РМ. В нем автор сетовал по поводу судьбы истинных талантов, преследуемых невежественными «зоилами»; их жертвами стали Н. М. Карамзин, В. А. Озеров и сам В. Л. Пушкин. К стихотворной переписке Вяземского с В. Л. Пушкиным присоединился и Жуковский, обратившийся к ним с тремя посланиями, первое из которых было там же опубликовано (РМ. 1815, № 6. С. 257—261), а второе и третье — уже посмертно (РА. 1866, № 6. Стб. 863—869); второе из них содержит разбор настоящего «Ответа». *Ливий* Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк. *Не примечая их, наказывает он.* Карамзин твердо придерживался правила не отвечать в печати на выпады противников.

* К партизану-поэту. НЛ. 1823, № 2. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три — без подзаг., ранний вар. Авториз. копия в РСб-4, под загл. «Денису Давыдову», без подзаг., поздняя ред. с датой (вероятно, по памяти): «1815». Первое из дошедших до нас стихотворных обращений Вяземского к Денису Васильевичу Давыдову (1784—1839). Созданный здесь (как и в последующих посланиях) поэтический портрет лихого рубаки-поэта восходит к ходившим в списках «гусарским» стихам самого Давыдова. *Дуломан* (доломан) — гусарский мундир, расшитый шнурами. *Ты с лирой, саблей иль стаканом.* К последнему слову ст. в НЛ имеется примеч. издателя: «Поэт под сим словом разумеет острые шутки и веселость в дружеском пиру, умеренно приправленные тем напитком, который веселит сердце человека». *Георгия приятно зреть.* За подвиги в войне 1812 г. Давыдов был награжден орденом Георгия 4-й степени.

* К партизану-поэту. «Амфион». 1815, № 4. Две авториз. копии в РСб-1 и РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три — ранняя ред., в РСб-1 с датой (вероятно, публикации): «1815». Копия в арх. А. Ф. Воейкова (ЦГАЛИ), с вар. ст. 2—3. Датируется по содержанию: в ст-нии говорится о служебных неудачах Д. В. Давыдова, который, вернувшись в июне 1814 г. в Москву из заграничных походов, получил уведомление о якобы ошибочном производстве его в чин генерал-майора (за сражение под Бриеном); лишь в начале 1815 г. недоразумение разъяснилось. Таким образом, ст-ние относит-

ся ко второй половине 1814 — началу 1815 г. В письме к П. И. Бартеневу от 14 декабря 1873 г. Вяземский оценил это послание как «одно из удачных и удавшихся вдохновений» своих (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева). *Волшебница слепая* — Фортуна (римск. миф.), которая изображалась с повязкой на глазах. *Грудь... Не отливается игриво.* Давыдов многократно был обойден наградами за боевые отличия. *Не все быть могут* и т. д. Ст. процитированы А. С. Пушкиным в письме Вяземскому от 27 марта 1816 г. *А и* — марка шампанского. *Б(урцо)в* Алексей Петрович (ум. 1813) — гусарский поручик, сослуживец Давыдова по Белорусскому гусарскому полку, воспетый им в ст-ниях как своего рода двойник лирического героя; через призму посланий Давыдова современники воспринимали Бурцова как «величайшего гуляку и самого отчаянного забулдыгу из всех гусарских поручиков» (Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 74); по рассказам П. И. Бартенева (племянника Бурцова), он умер «вследствие пари, заключенного в пьяном виде. Наскакал со всего бегу на околицу и разбил себе череп» (Там же. С. 706); более достоверная версия смерти Бурцова (от тяжелого ранения) сообщена в дневнике его троюродного брата А. Н. Марина (см.: Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948. С. 485). *Арак* — водка из риса, сахара или изюма.

К подушке Филлиды. «Амфион». 1815, № 3. Авториз. копия в РСб-2, под загл. «К подушке», в сост. 14 строф, без подзаг., с эпиграфом: «Я терпеть не могу эту подушку» (рукою Батюшкова); под эпиграфом поздняя помета Вяземского: «Отмечено Батюшковым. В моих бессонницах часто вспоминал я этот эпиграф». *Киприда* (греч. миф.) — Афродита.

«Кто вождь у нас невеждам и педантам?..». Изд-1935. -- Печ. по автографу на листе с эпиграммами, написанными не позднее 1815 г. В автографе против ст. 3—4 рукою Жуковского написано: «Дурно, потому что несправедливо», а против ст. 5—6: «Не только несправедливо, но и дурно». Эпиграмма направлена против главы «Беседы», президента Российской Академии, адмирала Александра Семеновича *Шишкова* (1754—1841). *Зоил* (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ; имя его стало нарицательным для обозначения недоброжелательного, придирчивого критика. *Кто лексикон покрытых пылью слов.* О языковой полемике арзамасцев с «шишковистами» см. во вступит. статье.

К друзьям. РМ. 1815, № 9, подпись: В***. Автограф с пометами Жуковского и небольшой авторской правкой. Две авториз. копии: одна в РСб-2, с печ. текста, с датой: «1815» и с позднейшей авторской правкой в ст. 3, 25, не доведенной до конца, и с вар. ст. 13—16 на полях; вторая в РСб-5, с вар. ст. 15—16, 25.

* Когда? Когда? РМ. 1815, № 9, подпись: В***. Ранний автограф, без загл., с посвящением А. И. Тургеневу, без строфы 7 и с иной строфой 2; под текстом приписка Вяземского неизвестному лицу: «Конец последнего письма моего к Тургеневу подал мне мысль намарать стихи, которые ты прочел; хочу прибавить еще два-три куплета и отдать в „Музеум"». Три авториз. копии: 1) в РСб-2 (с датой: «1815»); 2) в РСб-5; 3) на отдельных листах (конец и начало в разных единицах хранения). Копия в Тетр-Т. Все четыре рукописных

источника под загл. «Когда?» и с вар. *Когда утихнут дни волненья.* По-видимому, речь идет о международных событиях 1812—1815 гг. *Неверных злобная орда* — члены «Беседы». *Звезда* — орденская.

Весеннее утро. «Амфион». 1815, № 10/11. Автограф с правкой и замечаниями Жуковского к ст. 7 и 11 (учтены Вяземским), к ст. 17 и 18 («очень хорошо») и с пометой в конце: «Превосходная пьеса à la Batuschkow». Две авториз. копии: одна в РСб-2. с датой в оглавлении: «[1815]» и с пометой неустановленного лица (к строфам 1 и 4): «Прекрасно!»; вторая в РСб-5, с вар. ст. 14 («сладострастья» вм. «упоений»). Две копии в Тетр-Т, с тем же вар. В арх. Вяземского (ЦГАЛИ) хранится также копия, сделанная «шишковистом» Я. И. Бардовским (1779 — после 1851), который в подстрочных примеч. дает с архаических позиций разбор лексики ст-ния. К разбору приложено послание Бардовского под загл. «Опыт, писанный в Москве в 1815 г.» («Помилуй, Вяземский, знакомец старый мой...»), в котором автор «Весеннего утра» обвиняется в безнравственности:

Мне кажется, и князь, как муж и как отец,
Не стал бы потакать, когда какой наглец
При нем же начал звать княгинюшку любезну,
Его жену, иль дочь, княжну, «под сень древесну»...
...Уверен я, что князь сего б не потерпел,
Зачем же сам другим «Весенне утро» спел?..
...Что ж должны чувствовать невинные девицы,
На коих падают столь гнусны небылицы?

Аргус (греч. миф.) — многоглазый великан, которого жена Зевса Гера приставила стражем к своей сопернице Ио; в переносном смысле — бдительный страж. *Дафна* — здесь: условное имя.

Вечер на Волге. СО. 1821, № 28. Вошло в ВДД, с вар. ст. 33, но в НР текста нет. Авториз. копия в арх. Жуковского (ЦГАЛИ) с его замечаниями, ранний вар. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, с авторской пометой: «Внести в Дорогу, так же как и „Утро на Волге"». Дата в подзаг. сомнительна и, возможно, поставлена по памяти, поскольку 19 октября 1815 г. датировано ответное послание Жуковского («Благодарю тебя, мой друг, за доставленье...»), содержащее разбор «Вечера на Волге». Впечатления Вяземского от волжских пейзажей, вероятно, связаны с поездками в его имение — село Красное (Костромской губ.). *Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин, И Дмитриев.* Все три поэта были уроженцами Поволжья; называя престарелого Державина «Нестором муз», Вяземский подчеркивает его роль патриарха русских поэтов. *Величья твоего певец-повествователь.* Речь идет о ст-нии И. И. Дмитриева «К Волге» (1794); ср. развернутую его оценку в статье Вяземского о Дмитриеве (ПСС-1. С. 131).

К подруге. ПСС-3. — Печ. по последнему слою правки на авториз. копии в РСб-1, с датой: «1815». Авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской — ранняя ред. (опубл.: Изд-1935. С. 79—84), с правкой и пометами Жуковского; на копии авторская помета: «Прошу прочесть, перечесть и все заметить, что покажется вам требующим поправки. Скажите мне, что думаете о конце. Можно ли так заключить или нужно ли напомнить о главной цели, от которой я

немного отошел. Впрочем, я кончил концом». Здесь же помета Жуковского: «Конец прекрасен». Против одних ст. Жуковский помечает: «Прекрасно!», «Превосходно!», другие предлагает заменить (большинство помет Жуковского воспроизведено в Изд-1958); ст. 6 и 90 (основного текста) Вяземский оставил в ред. Жуковского. Авториз. копия в РСб-5 и копия в Тетр-Т; обе близки к указанной ред. Начало ст-ния в ранней ред. Вяземский сообщил П. И. Бартеневу в письме от 1 ноября 1875 г. (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева). Послание обращено к жене поэта Вере Федоровне Вяземской (урожд. княжне Гагариной; 1790—1886). Известно письмо Батюшкова Вяземскому (1815) с разбором послания: «О милая подруга... Если б ты меня звал под свой кров и нанизал в разговоре столько эпитетов, то я, верно, бы не пошел. Бога ради, это поправь! Вобрази себе, что кров родной — этого довольно, а еще уединенный и простой; счастливый — этого мало, но еще — где счастье неизменно! Замени это живописными стихами... Я говорю, что ты здесь в первый раз поэт и не гоняешься за умом... Противоположность счастия домашнего с шумом и суетой света очень удачна... То, что ты говоришь о Жуковском, не очень счастливо... И что значит: „Наперсник ведьм и граций"? Ведьм! Не лучше ли фей? Перемени это. Конец весь прекрасен...» (Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1886. Т. 3. С. 312—313). Последнюю из предложенных Батюшковым поправок Вяземский учел при переработке ст-ния. *Бессмертный Клии сын.* В ранней ред. за этим ст. шла вычеркнутая строка, поясняющая, о ком идет речь: «Бессмертный Карамзин». *Как самый Громобой.* В этом и предыдущих ст. речь идет о Жуковском; Громобой — герой его баллады «Двенадцать спящих дев». *Цитерских битв.* Цитера — одно из наименований Афродиты. *Тибулл наш сладкогласный* — Батюшков; Вяземский поджидал его осенью 1815 г. из Каменец-Подольска в Остафьево; Тибулл (ок. 50—19 или 18 до н. э.) — римский элегический поэт. *Книда* — город в Малой Азии, где находился храм Венеры. *Тибур* — город близ Рима, в окрестностях которого находилась вилла Горация. *Эпикур* (342/341—271/270 до н. э.) — древнегреческий философ, по учению которого целью жизни является безмятежность духа и отсутствие страдания; в позднейшей трактовке ему приписывалась проповедь наслаждения жизнью.

Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги. 1—4 — ПСС-3. 5, 8 — Арапов П. Летопись русского театра. Спб., 1861 (неавторская публ.). 6, 7, 9 — РМ. 1815, № 12. -- Печ.: 6, 7, 9 по РМ; 1—5, 8 — по автографу цикла. Сохранилось много рукописных источников эпиграмм, как в виде разных по составу циклов, так и в разрозненном виде. Циклы: 1) Автограф, по которому печ. эпиграммы 1—5 и 8; без эпиграммы 7, эпиграмма 6 без загл., в эпиграмме 9 ст. 2 исправлен (было: «Хоть пью и опьюм по ночам»). 2) Авториз. копия в РСб-2, под загл. «Поэтический венок Шутовского», эпиграмма 9 вне цикла; пометы Жуковского: против эпиграммы 2: «Не хорошо», против эпиграммы 4: «Напрасно! „Полубарские затеи" — затеи остряка»; против эпиграммы 5 помета Вяземского: «„L'orphelin de Chine" — трагедия Вольтера, переведенная Шаховским», эпиграмма 1 с вар. ст. 4 («колкость» вм. «едкость»), эпиграмма 6 без загл. 3) Авториз. копия в РСб-5, без эпиграммы 2; эпиграмма 9 — вне цикла, остальные с теми же вар., что и в предыдущем цикле, откуда

скопированы и некоторые пометы Жуковского. Разрозненные источники: для эпиграммы 1 — автограф с пометой Жуковского: «Славно», с вар. ст. 1, 2 («Шаховского» вм. «Шутовского»; «псалтыря» вм. «словаря») и копия в Тетр-Т, с вар. ст. 4 («ковкость» вм. «едкость»); для эпиграммы 2 — автограф (ранняя ред.), с пометой Жуковского: «Дурен стиль»; для эпиграммы 6 — авториз. копия и копия в Тетр-Т; обе без загл., в копии Тургенева с вар. ст. 2 («от остряков» вм. «весельчаков»); для эпиграммы 7 — авториз. копия с пометой Жуковского: «Прекрасно!», автограф в письме Вяземского П. И. Бартеневу от 1876 г. (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева) и копия в Тетр-Т; для эпиграммы 8 — авториз. копия с пометой Жуковского: «Начало à la Baptiste ⟨очевидно, Ж.-Б. Руссо⟩. Конец слаб», и копия к Тетр-Т; для эпиграммы 9 имеются три авториз. копии (в том числе в РСб-2 и РСб-5) и копия в Тетр-Т; во всех — вар. ст. 7 («просвежиться» вм. «излечиться»). *Шутовской* — Александр Александрович Шаховской (1777—1846) — видный театральный деятель 1800—1810-х гг.; член «Беседы» и литературный враг Карамзина. В названии цикла иронически обыгрывается лавровый венок, которым был увенчан Шаховской на премьере своей комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды», состоявшейся 23 сентября 1815 г. В ней был высмеян Жуковский и задеты В. Л Пушкин и С. С. Уваров (подробнее см.: Гозенпуд А. А. А. А. Шаховской // Комедии. Стихотворения. Л., 1961. С. 33—38, 773—775). «Поэтический венок» был восторженно встречен членами «Арзамаса», о чем сообщал Вяземскому Д. В Дашков в письме от 26 ноября 1815 г. (РА. 1866, № 3. Стб. 500). 1. *Месяцеслов* — старинное наименование календаря. 2. *Трагедией ты зрителя смешишь*. Речь идет о скандальном провале единственной трагедии Шаховского «Дебора» (1810). 3. *Соседов ссорил*. Намек на комедию Шаховского «Ссора, или Два соседа» (1810). 4. *«Коварный»* (1804) и *«Новый Стерн»* (1805) — комедии Шаховского, осмеивающие поэтов-сентименталистов; в названии последней использована фамилия английского писателя Лоренса Стерна (см. с. 445). *«Полубарские затеи*, или Домашний театр» (1808) — комедия Шаховского, имевшая большой успех. 5. *Убийца сироты*. Постановку переделки Шаховским пьесы Вольтера «Китайская сирота» (1809) постигла полная неудача. 6. *Пени* — жалобы. 7. *Ты в «Шубах» Шутовской холодный*. Намек на поэму «Расхищенные шубы» (см. с. 448). *В «Водах» ты Шутовской сухой*. «Сухими водами» назвал комедию «Липецкие воды» Жуковский или С. С. Уваров, о чем Тургенев сообщил А. Я. Булгакову, с пометой «для Вяземского» (Тургенев — Булгаковым. С. 147). 8. *Торжественно сошел со сцены твой «Коварный»*. Поставленная в Петербурге 16 декабря 1804 г. комедия А. А. Шаховского «Коварный» была освистана зрителями.

«На степени вельмож Сперанский был мне чужд...». ОА-1. -- Печ. по автографу в письме Вяземского А И. Тургеневу от 22 ноября 1819 г., которое содержит следующее пояснение, имеющее в виду сделанный Сперанским (опубл. в 1819) перевод «Подражания Христу» Фомы Кемпийского: «Меня тошнит от Фомы Кемпийского, то есть от переводчика его. Я не прощаю людям, которые заставляют меня переменить о них мнение. Я этого человека хотел уважать. Знаешь ли стихи, которые вырвались у меня, проезжая мимо его новгородской деревни; он тогда уже библейничал...» (далее следует текст эпиграммы) (ОА-1. С. 358).

Направлена против государственного деятеля, инициатора либеральных преобразований Михаила Михайловича *Сперанского* (1772—1839), в 1812 г. сосланного из Петербурга в результате интриг придворных кругов. В ссылке Сперанский отошел от либеральных идей и сблизился с представителями официального мистицизма. Датировка эпиграммы между 1814—1816 гг. определяется крайними датами пребывания Сперанского в его новгородской деревне.

Обжорство. РА. 1866, № 3, под рубрикой «Литературные арзамасские шалости». Авториз. копия в специальной тетради, с загл. на обложке «Притчи российскими стихами. Пародии на притчи Д. И. Хвостова», без загл., с вар. «Эти притчи, — писал Вяземский в пояснительной заметке к публикации, — писаны в подражание, и сказать можно без хвастовства, довольно удачно, притчам графа Хвостова, особенно тем, которые заключаются в первом издании («Избранные притчи из лучших сочинений стихами... графа Дмитрия Хвостова». Спб., 1802)... Эта книга была нашею настольною и потешною книгою в Арзамасе» (РА. 1866, № 3. Стб. 478—479). В «Обжорстве» пародируется притча «Осел и рябина» Хвостова (1802).

К***. СО. 1816, № 16, подпись: В. Вошло в ПСС-3 и в Изд-1958 под загл. «К Огаревой». Авториз. копия в РСб-2, с пометой у загл. «Петербург», датой в оглавлении сб.: «1816» и с позднейшей авторской правкой ст. 3 («Язык богов» на «Поэзии»). Адресат раскрыт по копии в арх. Жуковского (ГПБ), озаглавленной «К Е. С. Огаревой», с вар. ст. 33 («Жуковского иль Батюшкова» — вм. «Мелецкого иль Дмитриева»), а также по списку С. Д. Полторацкого, где под текстом помета Вяземского: «Мое. Елисавете Сергеевне Огаревой» (ЦГАЛИ). Е. С. Огарева (урожд. Новосильцева, 1786—1870) — жена сенатора Н. И. Огарева, петербургская знакомая Вяземского; ей посвящали ст-ния И. И. Дмитриев и А. С. Пушкин. Датируется по времени пребывания Вяземского в Петербурге (февраль — март 1816). В послании отразилась арзамасская полемика с «Беседой», достигшая к 1816 г. своего апогея. *Гашпар* — см. с. 450. Вяземский иронически утверждает, что А. А. Шаховской в качестве автора комедий соперничает с меланхолическим английским поэтом Эдуардом *Юнгом* (1683—1765), а в качестве автора трагедий — с французским комедиографом Полем *Скарроном* (1610—1660), писавшем также поэмы в бурлескном роде. *Маковый венок* — символ сонливости (обыгрывается снотворное свойство маковых зерен). *Сей старец-юноша, певец Анакреон.* В этом и след. ст. речь идет о переводах Анакреона, изданных в 1801 г. И. И. Мартыновым (1771—1833). *Сафе нового Фаона бог привел.* По преданию, древнегреческая поэтесса Сафо (VII—VI вв. до н. э.) из-за неразделенной любви к юноше Фаону бросилась со скалы в море. Стихи Сафо переводил П. И. Голенищев-Кутузов (см. о нем с. 445); он же переводил «Сельское кладбище» английского поэта Томаса *Грея* (1716—1771). *Водой своих стихов Вольтера соль развел.* Речь идет о переводе трагедии Вольтера «Альзира» П. М. Карабановым (см. о нем с. 448). *Мелецкий* — Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1829), поэт, почетный член «Арзамаса».

К перу моему. ТОЛРС. М., 1816. Ч. 5. Правленный автограф (вторая часть текста — авториз. копия, рукою В. Ф. Вязем-

ской). Две авториз. копии в РСб-1 и РСб-5, первая из которых с датой: «1816» и последующей правкой, не учтенной в публикации. Копия в Тетр-Т. Все четыре рукописных источника с вар. разных ст. Корректурные листы (из СО?), с авторской правкой ст. 140 и 142. Ст-ние представляет вариацию на тему седьмой сатиры Буало. Было прочитано автором на публичном заседании ОРЛС 29 апреля 1816 г. Впервые эти «русские стихи Буало» упоминает А. С. Пушкин в письме Вяземскому от 27 марта 1816 г. О них говорится и в приписке Батюшкова на письме Вяземского А. И. Тургеневу от апреля 1816 г.: «Его „Послание к перу" никогда не умрет. О какой талант!» (ОА-1. С. 43). «Прекрасным» назвал послание и Н. И. Греч (СО. 1816, № 44. С. 224). Перепечатанное в СО (1821, № 18) и в антологии «Новое собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (Спб., 1822. Ч. 2), оно оказалось включенным в контекст полемики с ВЕ и фигурировало в эпиграмме А. И. Писарева «Куда размножились Парнасские уроды...» («Эпиграмма и сатира». М.; Л., 1931. С. 209). *Вздыхалов* — П. И. Шаликов (см. с. 444). *Какой-то доброхот Мидасовым со мной убором поделиться* — П. И. Шаликов, написавший эпиграмму «К новому Мидасу» (см. с. 444); Мидас (греч. миф.) — легендарный фригийский царь, который за невежественные суждения получил от Аполлона ослиные уши и скрывал их под колпаком. *В пеленках Аруэт стихами лепетал* — парафраз ст. (наст. изд., с. 333) из «Послания 37» Вольтера (наст. имя — Мари Франсуа Аруэ). *Смерть угрюмую стихами он встречал.* Вяземский отсылает к ст-нию Вольтера «Прощание с жизнью» (1778). *Несчастия от муз не отучили Тасса.* Итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595) по приказанию герцога Феррарского был объявлен сумасшедшим и заключен в госпиталь; во время семилетнего заключения и после освобождения продолжал писать. *Бавий* (I в. до н. э.) — римский поэт, противник Горация и Вергилия; его имя употреблялось как синоним поэта-завистника.

К овечкам. ПСС-3. -- Печ. по двум автографам, один из которых в РСб-5, другой в арх. А. С. Шишкова (ЦГИА). Авториз. копия в РСб-2, с датой: «1816» и последующей авторской правкой, не доведенной до конца. *Теокрит* (Феокрит) (кон. IV в. — 1-я пол. III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, создатель жанра идиллии.

* К Батюшкову. ПСС-3. -- Печ. по последнему слою правки на позднейшей авториз. копии в РСб-1; незавершенную строфу о В. Л. Пушкине, вписанную Вяземским на полях рукописи, см. в разделе «Другие редакции и варианты». Автограф — первоначальная ред., с дополнительным вводным фрагментом, делением на главы и с многочисленными пометами и правкой Жуковского, А. Ф. Воейкова и самого Вяземского (частично приведены в Изд-1935 и в Изд-1958). Авториз. копия с этого автографа — промежуточная ред., с рядом лексических замен, без вводного фрагмента и деления на главы, и близкие к ней копии в РСб-5 (с позднейшей правкой, приближающей текст к окончательному) и в Тетр-Т. Послание отражает воздействие «Моих пенат» Батюшкова (ср. «К подруге»): написано тем же астрофическим трехстопным хореем и варьирует те же темы (дружеского пира, противопоставления скромного домашнего счастья иллюзорным благам суетного света и т. д.). Датируется по содержанию: встреча арзамасцев в московском доме

Батюшкова могла произойти в 1816 г. *Крез* (VI в. до н. э.) — царь Лидии, владелец несметных сокровищ; в переносном значении: богач. *Тибурские рощи* — см. с. 453. *Друг Делии* — Тибулл (см. с. 453). *Староста Пафоса* — Анакреон, родившийся в *Теосе;* Пафос — название города на Кипре, славившегося храмом Афродиты. *Цицероны*. Вяземский называет именем римского оратора и государственного деятеля Марка Тулия Цицерона (106—43 до н. э.) выспренних, риторических поэтов. *Селадон* — см. с. 445. *Тупей* — взбитый хохол на голове. К этому ст. в автографе Вяземский сделал примеч.: «Батюшкова стих во „Видении на брегах Леты"». Речь идет о строке «Один, причесанный в тупей», которая в указанном ст-нии Батюшкова относится к поэту П. И. Шаликову. *Пиндар* — см. с. 449. *Расколом к смертной казни Приговоренный Вкус.* В автографе вм. «Расколом» — «Беседой». *Белева мирный житель* — цитата из послания Батюшкова «К Жуковскому» (1812), который в это время жил в имении Буниных Белевского уезда Тульской губернии. *Гораций-Эпиктет*. Соединением имен эпикурейца Горация и римского философа-стоика Эпиктета (ок. 50 — ок. 138 н. э.) Вяземский подчеркивает сочетание этих начал в личности и поэзии Жуковского (ср.: «Веселый, как Гораций, И сумрачный порой», с. 87). *С берега свободы* — Северин (см. с. 446) в 1814 г. вернулся из Англии. *Радклиф* Анна (1764—1823) — английская писательница, автор «готических романов». *Туло* — колчан. *Катулл* Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до н. э.) — римский поэт-лирик. *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — член «Арзамаса», в молодости либерал; впоследствии министр юстиции. *И комиков печальных Непримиримый враг* — намек на памфлет Блудова «Видение в какой-то ограде» (1815), в котором высмеивался А. А. Шаховской. *Слепая богиня* — Фортуна (греч. миф.).

* Д. В. Давыдову. Альм. «Урания». М., 1826. Черновой набросок («Ты наслаждайся с гостью новой. . .») в РСб-1. Автограф (опубл.: Изд-1935. С. 111—113), авториз. копия в РСб-5 и копия в Тетр-Т; все три источника — ранняя ред., под загл. «К Давыдову» и без подзаг. Авториз. копия в РСб-1, под тем же загл., с вписанным подзаг., та же ранняя ред. с последующей правкой, не доведенной до конца и дающей промежуточную ред. Ранняя ред., которую Вяземский собирался опубликовать в арзамасском журнале (Отчет-1884. С. 158, 2-я паг.), является памфлетом, гораздо более резко направленным против «Беседы» и официального мистицизма 1810-х гг., нежели печ. текст. Промежуточная ред. представляет собой попытку приспособить текст для печати: «мистическую» здесь заменено на «стоическую», «набожных» — на «нравственных» и т. д. Впоследствии Вяземский создал для печати другую (окончательную) ред., которая настолько отличается от ранней, что невозможно механически устранить из нее ценз. вар. *Давыдов! где ты?* В мае 1816 г. (этот месяц упоминается в тексте ст-ния) Давыдов был в Елисаветграде (подробнее даты его поездок в 1816 г. указаны В. Э. Вацуро в кн.: Давыдов Денис. Стихотворения. Л., 1984. С. 207). *Май два раза природу Зеленым бархатом постлал* — т. е. дважды наступила весна. В этих и следующих ст. пародируется стиль сентименталистов с его обязательными перифразами. *Упоительным мечтаньям.* 14 октября 1823 г. Пушкин писал Вяземскому по поводу «Кавказского пленника»: «Упоительным мечтам. Твоя от твоих: помнишь свое прелестное послание Давыдову?» *Клир* — со-

брание священнослужителей. *Перо Хераскова приемлешь.* Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, творчество которого Вяземский определял как «торжество посредственности» (ОА-2. С. 176. ср. ЗК. С. 55). *Душеньки певец* — Ипполит Федорович Богданович (1743—1803), автор поэмы «Душенька» (1799). *Теоса мудрый греховодник* — последователь Анакреона, уроженца Теоса. *Парни* Эварист (1753—1814) — французский поэт, особенно популярный в России рубежа XVIII—XIX вв. как автор эротических ст-ний и антиклерикальных поэм. *Не испугавшись Молиера* — намек на комедию Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1664), направленную против ханжей. *Бурцов* — см. с. 451.

К итальянцу, возвращающемуся в отечество. СО. 1821, № 27. Адресовано певцу-любителю Ратти, итальянскому подданному, попавшему в 1812 г. в плен и в 1815—1816 гг. проживавшему в России (адресат установлен в кн.: N. Kauchtschischwili. L'Jtalia nella vita e nell' opera di P. A. Vjazemskij. Milano, 1964. P. 5). О Ратти см. также: ПСС-2. С. 111; Тургенев — Булгаковым. С. 146; ОА-1. С. 32; ВЕ. 1875, № I. С. 244, 246—247.

Погреб. ВЕ. 1816, № 17/18, подпись: К. В—й. Авториз. копия в РСб-2, с датой в оглавлении: «1816», с вар. и небольшой авторской правкой; две копии в Тетр-Т, с вар., близкими к авториз. копии. *Когда ковша он славил дщерь* — отсылка к ст. из «Кружки» Державина (1777): «Ты дщерь великого ковша, Которым предки наши пили». *Мелецкий* — см. с. 455. *Шолье* Гильом (1636—1720) — французский поэт, представитель «легкой» поэзии. *Пиндар наш* — так, вероятно, именуется Ломоносов. *Шайка водопийц* — члены «Беседы»; в кличке содержится намек на загл. комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды» (см. с. 454).

«Когда беседчикам Державин пред концом...». ПСС-3. -- Печ. по автографу в РСб-2. Автограф с вар. ст. 1 («беседникам»). Датируется предположительно по году смерти Державина (1816). *Жилища своего не завещал в наследство.* При жизни Державина заседания «Беседы» происходили в его доме (современный адрес: наб. р. Фонтанки, 118). *Прочил им соседство.* По соседству с особняком Державина находилась старейшая в Петербурге Обуховская больница, в которой до 1856 г. содержались умалишенные.

Всякой на свой покрой. ПЗ-1823, с ценз. вар. ст. 14 («баснословье» вм. «богословье»). Вошло в антологию «Собрание новых русских стихотворений» (Спб., 1824. Ч. 1) — дефектный текст, с пропуском строфы 4. -- Печ. по ПЗ с восстановлением ст. 14 по авториз. копиям. Авториз. копия в РСб-5, две копии в Тетр-Т и копия в записной книжке Батюшкова «Чужое — мое сокровище» (ГПБ, арх. К. Н. Батюшкова), дающая основание для предположительной датировки 1817 г. (опубл.: Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1885. Т. 2. С. 293—294); все четыре — ранняя ред. Авториз. копия в РСб-2, с пометой: «Красное Село», с правкой, приводящей к окончательному тексту. Пародию на ст-ние (Н. А. Полевого?) под загл. «Иголки» см. в альм.: «Новый живописец общества и литературы». М., 1832. Ч. 2. С. 199. *Денис* — Д. И. Фонвизин; в ранней ред.:

«Хвастун», т. е. комедия Я. Б. Княжнина (1786). *Вралькин* (в ранней ред.: «Гашпар») — А. А. Шаховской. *Расколы* — литературные староверы «Беседы» (ср. с. 457).

Стол и постеля. Б. 1821. № 10, помета: Варшава, с вар. ст. 14. — «Невский альманах». Спб., 1825. Авториз. копия в РСб-2, с авторской правкой, приводящей к окончательному тексту. Две копии в Тетр-Т и копия в записной книжке Батюшкова 1817 г. «Чужое — мое сокровище» (ГПБ, арх. К. Н. Батюшкова; опубл.: Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1885. Т. 2. С. 294—295); все три — ранний вар. *Лель* (слав. миф.) — бог любви и весны. *Услад* — условное имя древнерусского воина.

* К Батюшкову. ТОЛРС. 1817. Ч. 7. Вошло в антологию «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (Спб., 1822. Ч. 5), с вар. ст. 7, 10, 14, 26, 31, 43, 47, 49, 50 (степень авторизации текста сомнительна: ст. 10 и 31 даны по раннему автографу, исправленному Вяземским после замечаний Жуковского). Автограф — первоначальная ред. в недатированном письме Батюшкову (ПД, арх. К. Н. Батюшкова). Авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской — ранний вар. с замечаниями Жуковского и правкой Вяземского (частично воспроизведены: Изд-1958; список здесь ошибочно назван автографом). Копия в Тетр-Т, с вар. Две авториз. копии в РСб-5 и РСб-1; последняя — с печ. текста с позднейшей авторской правкой ст. 4 («И разувенчанная» — на «А там развенчанная») и с загл. в оглавлении сборника «К Батюшкову в деревню». Послание было прочитано автором на заседании ОЛРС 23 февраля 1817 г. Первоначальная ред. датируется приблизительно 1814 г. Сообщая ее в недатированном письме Батюшкову, Вяземский писал: «У меня валялось в бумагах послание к тебе, начатое, но которое мне не совсем нравилось. Жуковский меня оживил, и я стану его продолжать» (ПД, арх. К. Н. Батюшкова). Судя по содержанию письма, речь идет о приезде в Москву Жуковского в январе 1815 г. Зимой 1814/1815 и 1816/1817 гг. Батюшков жил в своей деревне Хантоново (Новгородской губ.), что и послужило темой послания.

Доведь. ТОЛРС. 1817. Ч. 9. Автограф в письме Вяземского А. Н. Баранову и копия в арх. бр. Тургеневых (ПД); оба источника — ранняя ред. Две авториз. копии: в РСб-2 (с небольшой правкой), в РСб-5 (с вар.). Басня была прочитана В. Л. Пушкиным на заседании ОЛРС 23 февраля 1817 г. *Доведь* — шашка, прошедшая в дамки. *О доведи-временщики.* В период возвышения Аракчеева тема временщика звучала в высшей степени злободневно.

Устав столовой. Б. 1820. № 2, помета: Варшава. Автограф и копия в Тетр-Т, обе — под загл. «Столовый устав», без подзаг. и с вар. Датируется по фразе в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 5 сентября 1817 г.: «Смастерил я по следам Панара „Столовый устав“, который посылаю тебе» (ОА-1. С. 86). *Панар* Шарль Франсуа (1674—1765) — французский поэт и водевилист, член литературного «Общества погребка», для которого писал застольные песни, в том числе и ст-ние «Les lois de la table», послужившее для Вяземского образцом. *Отлика* — отличие. *Толстой* Федор Иванович — см. с. 462.

Прощание с халатом. СО. 1821, № 37. Авториз. копия в РСб-5 и копия в Тетр-Т; обе — под загл. «К халату», с вар. Автограф с датой: «Остафьево. 21 сентября 1817 года». Две копии рукою Пушкина (ПД); одна — фрагмент (ст. 1—12), другая — без ст. 117—120. В ст-нии отразились настроения Вяземского, связанные с назначением его на службу в Варшаву в августе 1817 г., куда поэт выехал лишь в феврале 1818 г. «При расставании моем с Москвою, — позже вспоминал он, — написал я... „Прощание с халатом"» (ПСС-1. С. XXXVIII). Ст-ние предназначалось для арзамасского журнала (Отчет-1884. С 158, 2-я паг.). Образ халата как символа беззаботности, материальной независимости и дилетантизма в определенной мере восходит к прозаической миниатюре Дидро «Сожаление о моем халате» (1772), которую впоследствии Вяземский перевел на русский язык (см.: Стефанович В. Французские просветители XVIII века в переводах Вяземского // РЛ. 1966, № 3. С. 88—89). В конце сентября поэт посылает ст-ние А. И. Тургеневу для чтения в «арзамасском ареопаге» (ОА-1. С. 88); последний 2 октября «прочел и восхитил» им «Арзамас» (Тургенев — Булгаковым. С. 161). *Хлыстовых бич.* О Д. И. Хвостове (прозвища — Хлыстов, Графов) см. с. 443. *Морфеев одр* — постель. *Трон... Владычицы* — Фортуны.

Цветы. ПЗ-1823. Автограф в арх. А. С. Шишкова (ЦГИА), с вар. ст. 14, и две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5. Основанием для предположительной датировки служит включение «Цветов» в план арзамасского журнала (Отчет-1884. С. 158, 2-я паг.). В ст-нии обыгрываются говорящие названия растений (типа *барская спесь*), их свойства (*мак* имеет снотворные свойства, *подсолнечник* поворачивается к солнцу и т. д.) и эмблематические значения: *лилия* — невинность, *ландыш* — преданная любовь, *нарцисс* — самовлюбленность, *мирт* — взаимная любовь, увенчивающаяся браком, *пион* — быстропроходящее счастье, *колокольчик* — болтливость (см., например: «Язык цветов, или Описание эмблематических значений, символов и мифологического происхождения цветов и растений с прибавлением стихотворений, написанных на цветы русскими поэтами». Спб., 1849; в изд. включено и настоящее ст-ние). *Лиза бедная* — героиня повести Карамзина «Бедная Лиза» (1792). *Роза без шипов* — цитата из оды Державина «Фелица» (1782), где этот образ, восходящий к сказке Екатерины II, символизирует добродетель.

* Ухаб. СО. 1821, № 42, подпись: К. В—ий, с иной строфой 7. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Авториз. копия в РСб-5 — ранняя ред. в составе десяти строф с эпиграфом: «Кибитка не Парнас. В. Л. Пушкин» (цитата из послания В. Л. Пушкина арзамасцам 1816 г.: «Я грешен. Видно, мне кибитка не Парнас...»). В СО Вяземский, вероятно, послал текст из девяти строф, так как его недоумение вызвало отсутствие в печ. тексте (состоящем из семи строф) двух, а не трех катренов. «Зачем „Сын" засыпал два куплета моего „Ухаба"? — спрашивал он А. И. Тургенева в письме от 7 ноября 1821 г. — Неужели и тут цензура отмежевала» (ОА-2. С. 224). Основой для НР послужили две авториз. копии: указанный ранний список в РСб-5 и копия в РСб-1855(II) (с печ. текста); на них сохранились следующие пометы Вяземского, сделанные для переписчика: на второй копии (из СО) зачеркнута последняя строфа и на поле поставлен знак «+», указывающий на присоединение строфы из раннего списка, а на нем, в свою очередь, отчеркнута по

полю строфа 8 («Иной по Липецкому тракту...»), которая и стала последней строфой основного текста (взамен зачеркнутой в СО). Историю создания ст-ния поэт рассказал в «Автобиографическом введении» к ПСС. Он выехал из Москвы в Варшаву, к месту службы, на рассвете после бала, который его теща давала в честь Александра I. «Этот крутой переворот из бальных платьев в дорожные, из блеска многолюдного праздника в дорожную повозку внушил мне тут же стихотворение „Ухаб"...» (ПСС-1. С. XL). Тем самым ст-ние датируется февралем 1818 г., когда Вяземский выехал в Варшаву. *Ты Фаэтона вспомни повесть* — т. е. не берись не за свое дело. Фаэтон (греч. миф.) — сын бога солнца Гелиоса; управляя колесницей отца, он не смог сдержать лошадей и едва не зажег землю; чтобы предотвратить катастрофу, Зевс поразил его ударом молнии. *Иной по Липецкому тракту* — намек на Шаховского и его комедию «Липецкие воды» (см. о ней с. 454).

«Иссохлось бы перо твое бесплодно...». ОА-I. — Печ. по двум идентичным автографам: в РСб-2 (с приписанной позже датой: «1819») и в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 26 сентября 1818 г. (ОА-I. С. 124). Направлено против М. Т. Каченовского (подробнее о полемике с ним см. в примеч. к «Посланию к М. Т. Каченовскому», с. 475). Посылая эпиграммы на Каченовского А. И. Тургеневу, Вяземский настойчиво просил отдать их в печать (там же) и начать тем самым литературную войну с ВЕ; однако они в печати не появились, вероятно, из-за возражений Жуковского, как явствует из фразы Вяземского в письме Тургеневу от 28 сентября 1818 г.: «Не слушайся Жуковского и напечатай мои эпиграммы» (там же. С. 126). И. И. Дмитриев тоже был недоволен ими. «Эпиграммы, хотя и недурны, но я от Вяземского привык ожидать большего», — писал он А. И. Тургеневу 17 октября 1818 г. (РА. 1867, № 7. Стб. 1097).

* «„Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин...». РА. 1866, № 3, под рубрикой «Литературные арзамасские шалости». Автограф — ранняя ред. (опубл. как основной текст в Изд-1935 и следующих) в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г. (ОА-I. С. 129). *Свиньин* Павел Петрович (1787—1839) — путешественник, писатель, издатель ОЗ; поместил в СО (1818, № 39. С. 3—34; № 40. С. 50—74) статью «Поездка в Грузино» (Грузино — имение Аракчеева) со следующими ст. в виде эпиграфа:

Я весь объехал белый свет:
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, —
Дивился многому умом,
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою,
И сожалел, что — не поэт!

Основанием для уточнения датировки служит дата ценз. разрешения СО со статьей Свиньина (24 сентября 1818 г.) и указ. письмо. Посылая свой эпиграмматический «перевод» этого льстивого эпиграфа А. И. Тургеневу, Вяземский с возмущением писал: «У вас под носом режут и грабят; Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи, и еще какие, а вы ни слова, как будто не ваше дело. Да

чего же смотрит Сверчок (А. С. Пушкин), полуночный бутошник? При каждом таком бесчинстве должен он крикнуть эпиграмму» (ОА-1. С. 130). По ценз. условиям эпиграмма не была напечатана и распространялась в списках. 10 августа 1826 г. Пушкин писал Вяземскому: «Да нет ли стихов... Вяземского, хоть эпиграмм? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: „Что нужды? — говорит расчетливый..." etc. Виноват! я самовольно сделал в ней перемены, перемешав стихи следующим образом: 1, 2, 3—7, 8—4, 5, 6. Не напечатать ли, сказав: „Нет, я в прихожую пойду путем доходным"; если цензура не пропустит осьмого стиха („Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин"), так и без него обойдемся; главная прелесть: „Я не поэт, а дворянин!.."». В окончательном тексте Вяземский использовал предложенную Пушкиным перестановку ст. *Выкланяться* — неологизм, заимствованный Вяземским у Фонвизина (см.: ПСС-5. С. 97).

Толстому. ПСС-3. -- ВДД, только ст. 1—11, с вар. -- Печ. по авториз. копии рукою В. Ф. Вяземской, с датой: «Октября 19-го, 1818 г. Варшава». Две авториз. копии: одна в РСб-5, под загл. «К графу Толстому», с авторской правкой ошибок копииста; вторая под загл. «Графу Толстому» в альбоме переписки Вяземского с Ф. И. Толстым. В письме от 30 октября 1818 г. А. И. Тургенев сообщал Вяземскому, что накануне получил от него «стихи Толстому» (ОА-1. С. 136), а в письме от 16 ноября В. Л. Пушкин уведомил Вяземского, что «вручил и прочел» их адресату (Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 224). Толстой откликнулся на послание письмом, где писал, что В. Л. Пушкин восхитился ст-нием «до поту лица своего; но это была бы похвала слабая, ибо несколько лет, как Васил(ий) Льв(ович) все потеет. Послание истинно прекрасно, как все, что родилось от пера твоего; т. е. куча ума, ядреные мысли, которые всегда служат отличительной чертой твоего таланта. Я крепко тебя благодарю» (ЦГАЛИ). *Толстой* Федор Иванович (1782—1846) — граф, приятель Вяземского, яркая, талантливая личность; дуэлянт, бретер, картежник, человек с романтической биографией; прозвище *«Американец»* получил после своего участия в кругосветном плавании адмирала И. Ф. Крузенштерна, во время которого был высажен (за буйное своеволие) на берег русской колонии в Северной Америке и, по слухам, посетил Алеутские острова. *Цыган.* Употребляя это слово, Вяземский намекал на беспорядочную жизнь Толстого, его наружность (Толстой был смугл и черноволос), пристрастие к цыганскому пению и кутежам с цыганами (впоследствии, в 1821 г. Толстой женился на цыганке Авдотье Максимовне Тугаевой). *Под бурей рока — твердый камень! В волненье страсти — легкий лист!* Эти строки Пушкин собирался взять эпиграфом к «Кавказскому пленнику», но передумал из-за ссоры с Толстым. *Зато ты граф природный брюхом.* Дом Толстого в Москве славился изысканными обедами. *Ты знаешь цену Кондильяку, В Вольтере любишь шуток дар И платишь сердцем дань Жан-Жаку.* На эти стихи Толстой в процитированном выше письме откликнулся следующей автохарактеристикой:

Ценю Вольтера остроту:
Подобен ум его Протею;
Талант женевца — прямоту,
Подчас о бедняках жалею.

Благоговею духом я
Пред важным мужем Кондильяком...
Скажу, морочить не любя:
Я более знаком с коньяком!

Кондильяк Этьен Бонно де (1715—1780) — французский философ-сенсуалист. Жан-Жак — Руссо. *Втереть меня к библейской знати.* Речь идет о находившемся под покровительством императора Библейском обществе (1813—1826), принадлежность к которому обеспечивала *«кресты»*, т. е. ордена, и продвижение по службе. На авторском экземпляре ВДД (с. 339) Вяземский написал по поводу напечатанного там фрагмента из ст-ния: «Начало послания моего к Толстому из Варшавы... между прочим, помню из этого послания следующие стихи (далее неточно цитируются ст. 74—76, 80 и 81). Эти стихи были написаны в самый разгар библейского общества. Библию обратили в орудие подлости и чиновнического честолюбия. Даже Сперанский в изгнании промышлял ею» (ГБЛ). *Лабзин* Александр Федорович (1766—1825) — писатель, ревностный член Библейского общества, масон.

«Ты прав! Сожжем, сожжем его творенья!..». НЛ. 1824, № 19, подпись. К. В—ий. Три авториз. копии, две из которых с вар. ст. 1: «Ты прав! Сожжем Карамзина творенья!» (опубл.: ПСС-3. С. 348), указывающим на литературного антагониста Карамзина М. Т. Каченовского, выступившего с грубыми нападками на него в ВЕ. *Протей* (греч. миф.) — божество, обладающее способностью принимать любой облик; в словоупотреблении того времени — символ многоликости и многообразия.

Быль. МТ. 1828, № 19. Черновой автограф, без загл., с вар. Авториз. копия, без загл., с последующей правкой, приближающей текст к публикации, и с набросками примеч. Автограф с примеч. в арх. С. П. Шевырева (ГПБ), послуживший наборной рукописью для МТ. Поводом для публикации ст-ния явилась печатавшаяся в «Московском вестнике» (1828, № 19/20. С. 287—318; № 21/22. С. 52—91; № 23/24. С. 254—285) статья Николая Сергеевича Арцыбашева (1773—1841) «Замечания на Историю государства Российского». (см. об этом в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 14 ноября 1828 г. — ОА-3. С. 182). В том же году возобновил свою критику Карамзина М. Т. Каченовский, опубликовав статью «О бельих лобках и куньих мордках» (ВЕ. 1828, № 13. С. 17—48). Антикарамзинскую позицию занял и редактор «Московского вестника» М. П. Погодин, поместивший в № 4 своего журнала статью «Нечто против мнения Н. М. Карамзина о начале Российского государства» и предисловие «От издателя» к статье Арцыбашева, которое цитируется в примеч. Вяземского (там же, 1828, № 19/20. С. 285—287). Все это побудило поэта опубликовать свой старый памфлет на противников Карамзина. Черновой автограф находится среди эпиграмм 1818 г., направленных против М. Т. Каченовского, что служит основанием для предположительной датировки басни 1818 г.; она согласуется с указанием Вяземского (в примеч.), что басня «написана лет за десять». «Быль» запомнилась современникам. В статье «Русская литература в 1844 году» Белинский пересказывает ее, вспоминая литературную борьбу вокруг имени Карамзина. Ст-ние вызвало также эпистолярные отклики Погодина, Арцыбашева и П. М. Строева (см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина. М., 1889. Т. 2. С. 244—256).

«Наш свет — театр; жизнь — драма; содержатель...». Альм. «Денница». М., 1830, с подзаг. «Из Ж.-Б. Руссо»,

в автоценз. ред. -- Печ. по автографу, который по местонахождению в рукописи можно предположительно датировать 1818 г. Авториз. копия с правкой, не доведенной до конца; к ст. 3 под текстом вписан автоценз. вар.: «Султан, Сатрап, Муфта, законодатель» вм. «Министр, богач, монах, завоеватель». Вольный перевод эпиграммы Ж.-Б. Руссо «Ce monde-ci n'est qu'une oeuvre comique».

«Для славы ты здоровья не жалеешь...». «Рецензент». 1821, № 26, 6 июля. Два автографа: один — ранняя ред. («Руфил, для славы ты здоровья не жалеешь...») в письме Жуковскому от 5 июля 1818 (?) г. (ЦГАЛИ, арх. В. А. Жуковского); второй — в РСб-2, с вар. ст. 3 («час» вм. «век»). Адресат, вероятно менявшийся от ранней к окончательной ред., не установлен.

* Петербург. ПЗ-1824, с ценз. изъятием всей второй половины текста (со ст. 103). -- Изд-1835, полностью, ранняя ред., по тексту «Нового сборника» (см. о нем.: там же. С. 58—59). -- Печ. по ПЗ с восполнением пропуска по авториз. копии в РСб-5 (без загл.) и с исправлением по ней опечатки в ст. 17. Кроме того, в восстановленную часть ст-ния, дошедшую до нас в ранней ред., введена переработка ст., сообщенная Вяземским А. И. Тургеневу в письме от 1 августа 1819 г. (ОА-1. С. 277—278): «вместо двух сухих прежних» строк он ввел пять наиболее радикально звучащих (ст. 128—132). В таком виде (контаминация нескольких источников) впервые опубл.: Изд-1958. Черновой автограф в «Записной книжке» 1818—1828 гг. — фрагмент начала с датой: «Краков. 7/19 августа 1818» (ЗК. С. 99—102), ранняя ред. Впервые Вяземский упоминает о «Петербурге» в письме А. И. Тургеневу от 24 августа 1818 г.: «Я на горах свободы такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет. Теперь — ни слова, но надеюсь скоро кончить и тогда пришлю тебе свой законосвободный (т. е. конституционный) и законоположительный восторг» (ОА-1. С. 116). 28 сентября ст-ние было закончено и отправлено Жуковскому (там же. С. 125). Из переписки Вяземского с Тургеневым 1818—1819 гг., в которой часто упоминается «Петербург», явствует, что ст-ние, широко расходившееся в списках, вызвало противоречивые толки. Жуковский отозвался о нем неодобрительно (там же. С. 161), а Н. И. Тургенев «восхищался» им «по многим причинам» (там же. С. 127). Наиболее благоприятный отзыв принадлежал В. Л. Пушкину, который в письме от 16 ноября 1818 г. писал: «Стихи твои на монументы петербургские — настоящий chef d'oeuvre» (Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 224). «Одним из лучших произведений» Вяземского признал ст-ние И. И. Дмитриев; в письме от 23 ноября 1818 г. он прислал поэту специальный стилистический разбор текста (СН. 1898, кн. 2. С. 130—131, 222—223). «Прекрасными стихами» назвал «Петербург» Карамзин в письме Вяземскому от 30 октября 1818 г. (СН. 1897, кн. 1. С. 65) и Батюшков в письме от ноября 1818 г. (Батюшков К. Н. Соч. Спб., 1886. С. 538). Сам поэт придавал особое значение «Петербургу», о чем свидетельствуют неоднократные переработки текста. Основная из них пришлась на август 1819 г. (ОА-1. С. 277), но небольшие изменения и дополнения поэт вносил и позже. 23 декабря 1823 г., сообщая Жуковскому последнюю правку (для А. А. Бестужева, которому 2 сентября 1823 г. через того же Жуковского был отправлен текст), Вяземский с удовлетворением замечает: «Право, кажется, стихи звон-

кие, а не бумажные» (РА. 1900, № 2. С. 192). Ценз. изъятие наиболее значимой части ст-ния возмутило Вяземского. 20 января 1824 г. он писал Бестужеву: «Вы поступили со мною беззаконно, выпустив меня на позор несчастным скопцом... Для выгоды книжки Вашей и моей предпочел бы я, если ничего моего не напечатали бы Вы, а сказали в особенном замечании, что из присланного кн. Вяземским ничего в этой книжке не печатается по некоторым обстоятельствам. Таковое замечание сделало бы фортуну мою и Вашей книжке» (РС. 1888, № 11. С. 323—324; ср.: ОА-3. С. 1). 28 января Бестужев отвечал Вяземскому: «Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку о „некоторых" причинах... А мы многое бы потеряли, если б отказались от такого наследства, как седьмая часть ваших стихов» (ЛН. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 213). *Се Петр.* Далее в тексте следует описание памятника Петру I М. Э. Фальконе («Медного всадника»). *Бегут — и где они?* Речь идет об отступлении армии Наполеона. *Питомец твой, громов метатель двоеглавый.* Двуглавый орел изображался на русском гербе. *Рымникский* — почетное наименование, присвоенное А. В. Суворову за победу над турками в 1789 г. при реке Рымник. *Задунайский* — почетное наименование, присвоенное П. А. Румянцеву за победы в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. *Алкид* (греч. миф.) — Геракл. *Дщерь ее.* Имеется в виду «дщерь» России — столица Петербург. *Сады Семирамиды* — «висячие сады» вавилонской царицы Семирамиды (наст. имя Шаммурат); считались одним из семи чудес света. *Острова Делбса и Киприды.* Делос — греческий остров, на котором находился знаменитый храм Аполлона и Артемиды. Культ богини Афродиты (Киприды) особо чтили в городе Пафосе (см. с 457) на острове Крит. *С древним Каспием Бельт юный сочетал.* Вяземский имеет в виду начатое при Петре I и законченное при Екатерине II строительство каналов, открывавших (через систему рек и озер, в том числе Неву и Волгу) важнейшее в XIX в. водное сообщение между Балтийским (Бельтом) и Каспийским морями. *Там предрассудков меч и светоч возмущенья.* Речь идет о событиях французской революции конца XVIII в. *Выя* — шея. *Полтавская рука сей разводила сад... Вот скромный дом.* Имеется в виду Летний сад, который в петровские времена был частью обширного парка; в саду был построен небольшой Летний дворец Петра. В письме Бестужеву от 2 сентября 1823 г. Вяземский просил откомментировать в ПЗ это место, что не было исполнено (РС. 1888, № 11. С. 317). *Апеллес* (2-я пол. IV в. до н. э.) — древнегреческий живописец. *Невтонов ученик* — Ломоносов (Невтон — И. Ньютон). *Из гневных рук богов молниеносны стрелы.* Ломоносов первым в России дал правильное физическое объяснение таким явлениям природы, как молния и гром. *Друг Шувалова воспел Елисавету.* Имеются в виду оды Ломоносова, посвященные Елизавете Петровне. Шувалов Иван Иванович (1727—1797) — вельможа, покровительствовавший Ломоносову. *Приветствие в Ферней.* Екатерина II переписывалась с Вольтером, в последние годы жизни обосновавшимся в Фернее (Швейцария). *В Стамбул открытый лист победам.* Подразумеваются победоносные войны, которые Россия вела с Турцией в 1768—1774 и 1787—1791 гг. *И твоего певца уста уже безмолвны.* Речь идет о Державине, скончавшемся в 1816 г. *Наш век есть славы век.* Начиная с этого и следующие, изъятые цензурой ст. (до конца ст-ния) содержат прямое обращение к Александру I. На авториз. копии

в РСб-1855(I) с печ. текста против загл. Вяземский пометил: «Отрывок из стихотворения, которое кончается воззванием к императору Александру I о даровании свободы крепостным и прочих льгот». *С народов сорвал он оковы угнетенья.* Речь идет о победе над Наполеоном. *С престола учит он народы и владык* — намек на ведущую роль Александра I в «Священном союзе». *Оратай* — пахарь.

Давным-давно. ПЗ-1824, с ценз. вар. ст. 21. -- Печ. с восстановлением этого ст. по двум авториз. копиям с печ. текста: одна в арх. С. Д. Полторацкого (ГБЛ), другая в РСб-1855(II), где против ст. 21 («Давно ли в воздухе притворном») имеется авторская помета: «Так сказано и напечатано для цензуры, а, разумеется, следует „придворном"» (аналогичное авторское примеч. см. в копии Полторацкого). Датируется по письму Вяземского от 10 января 1820 г., содержащему просьбу к А. И. Тургеневу отыскать в бумагах эту «песню» (ОА-2. С. 7). Положено на музыку М. Ю. Виельгорским (1824).

Две собаки. СО. 1819, № 47, помета: Варшава. Автограф с небольшой правкой, приводящей к окончательному тексту. На списке ст-ний, составленном С. Д. Полторацким, к этой и трем следующим басням Вяземский сделал приписку: «Все эти басни переведены с польского» (ЦГАЛИ). Ст-ние представляет собой перевод басни И. Красицкого «Dwa psy».

Битый пес. Два живописца. Два чижа. СО. 1819, № 47, помета: Варшава. Автографы трех ст-ний. Переводы басен И. Красицкого «Pan i pies», «Malarze», «Ptaszki w klatce».

Человек и мотылек. СО. 1819, № 48, подпись: Варшава. Автограф.

«Вписавшись в цех зоилов строгих...». Б. 1820, № 2, помета: Варшава. Два автографа: один в РСб-2, второй в письме А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. (ОА-1. С. 207); оба с вар. ст. 1. Посылая эту и следующую эпиграммы А. И. Тургеневу, Вяземский указал, что написал их «выезжая из Петербурга» (Там же. С. 206), где был в отпуске в январе 1819 г.; это позволяет ее датировать январем 1819 г. По предположению М. И. Гиллельсона, адресат эпиграммы — Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830), поэт и критик, который в конце 1818 г. на заседании ОЛРС выступил с нападками на баллады Жуковского (Изд-1982. С. 396). *Зоил* — см. с. 451. *Жуковский пишет для немногих* — намек на сб-ки ст-ний Жуковского «Для немногих» (1818).

«Чтоб полный смысл разбить в творениях певца...». Б. 1820, № 2, помета: Варшава. Два автографа: один в РСб-2, другой в письме Вяземского к А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. (ОА-1. С. 207), оба с вар. О датировке и возможном адресате см. в примеч. к предыдущему ст-нию.

«Куда летишь? К каким пристанешь берегам...». ОА-1. -- Изд-1935 (и последующие), под загл. «К кораблю», которое В. С. Нечаева заимствовала из письма Вяземского А. И. Тургеневу от 12 декабря 1820 г. (ОА-2. С. 120), содержащем просьбу

прислать копию ст-ния. -- Печ. по автографу в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 13 июня 1819 г. Написано по мотивам и под впечатлением оды Горация «O navis referant in mare.. ». Предваряя текст, Вяземский в указанном письме сообщал: «Только что успел накидать на бумагу. Я думаю, и Гораций так делал с Меценатом: посылал ему черное. Слушай!» И далее, после текста ст-ния: «Я еще сам не знаю, кончено оно или нет, хорошо или дурно... Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом» (ОА-1. С. 251—252). Ст-ние получило высокую оценку А. Х. Востокова (Там же. С. 258). *Корабль* — здесь: Россия. *Бельт* — Балтийское море. *Мы видели тебя игрой сердитой влаги.* Речь идет о событиях 1812 г. *Незримым кормщиком ты призван к славной цели.* В указ. письме А. И. Тургеневу Вяземский делает к этому ст. след. примеч.: «Министры, которые государя не видят, подумают, что я о нем говорю, но тебе скажу, что здесь разумею я провидение». *Шести морей державный властелин.* География России в начале XIX в. насчитывала шесть морей: Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское, Белое, или Северное (Северный Ледовитый океан), и Восточное (Тихий океан); последние два не членились на более мелкие водные бассейны и были малоизучены (см.: Зябловский Е. Ф. Новейшая география Российской империи... М., 1819. Ч. 1. С. 19—44).

К В. А. Жуковскому. СО. 1821, № 10, с ценз. купюрой в ст. 59 (см. ниже), ценз. смягчением ст. 24, 26 и 63 (см. об этом: ОА-2. С. 173) и с опечаткой в ст. 60. -- Печ. с восстановлением и исправлением указанных ст. по авториз. копии рукою В. Ф. Вяземской в арх. В. А. Жуковского (ГПБ), которая была выслана адресату через А. И. Тургенева (ОА-2. С. 163); опечатка исправлена по списку опечаток в СО (1821, № 11). Автограф — фрагмент ст. 1—5, с вар. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, с исправлением рукою Вяземского ценз. искажения ст. 24. *Подражание сатире III Депрео.* 7 августа 1819 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Этот обер-черт Жуковский! Письмо твое со стихами пришло в то самое время, когда я кончал подражание сатире Депрео к Мольеру о трудности рифмы, и мои стихи так мне огадились, что я не в силах продолжать» (ОА-1. С. 284). Об этом же автор сообщал в недатированном письме Жуковскому: «Теперь у меня на станке послание к тебе, то есть подражательный перевод сатиры Депрео о рифме» (ЦГАЛИ, арх. В. А. Жуковского). О трудностях рифмы речь идет не в третьей, а во второй сатире французского писателя Буало-Депрео Никола (1636—1711). *В боренье с трудностью силач необычайный.* Ст. использовал Пушкин в письмах Н. И. Гнедичу от 27 сентября 1822 г. и Вяземскому от 15 мая — июня 1825 г., при оценке творчества Жуковского. *В Нерчинске рудокопу.* Серебро-свинцовые и железные рудники под Нерчинском славились особо тяжелым трудом; для этих горных работ с 1704 г. была специально учреждена нерчинская каторга. *Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков.* По поводу этой строки имеется запись в «Дневнике» Пушкина от 3 апреля 1821 г.: «Читал сегодня послание Вяземского к Жуковскому. Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! „Кому был Феб из русских ласков“. Неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией». Комментарий позднего Вяземского к этой записи см.: ПСС-1. С. XLII. *Державин рвется в стих, а втащится Херасков* — переложение ст. Буало: «La raison dit Virgile et la rime Quinault» («Разум говорит — Вергилий,

а рифма — Кино»). Цитата отмечена Вяземским: ЗК. С. 43; ПСС-1. С. XLII. В письме от 9 марта 1821 г. А. И. Тургенев сообщал автору, что «цензура не пропустила» выражения «втащится Херасков» (ОА-2. С. 175; ср.: там же. С. 179); в журнальной ред. заменено на «а попадет Херасков». Оценку Вяземским Хераскова и Державина см. на с. 452, 458. *Катоном — раб царя.* В СО — автоцензурный вар. «льстец царя» (см.: ОА-2. С. 148). Катон Младший (Утический; 95—46 до н. э.) — республиканец, противник Цезаря, покончивший с собой после победы диктатора. *И, как игумен жирный.* В СО слово «игумен» изъято и заменено точками (о купировании ст. 59 см.: ОА-2. С. 148, 157); в примеч. к Изд-1958 и последующих предлагалось неверное восполнение купюры словом «Тургенев». *Я Зимнего дворца не знаю переходов.* В СО заменено на «Вельможеских палат» (ср. автоцензурный вар.: ОА-2. С. 148). *Как древле изгнанный преступник на скалу Богами брошен был на жертву хищной власти* — Прометей (греч. миф.). *Н⟨иколев⟩* Николай Петрович (1758—1815) — поэт, один из последних эпигонов сумароковской школы; негативную характеристику Николева см. в письме Вяземского А. И. Тургеневу этого времени (ОА-2. С. 176). *Заикин* Иван Иванович (ум. 1834) — петербургский книготорговец.

Сибирякову. ПСС-3. -- Печ. по авториз. копии, с датой: «1820». Ст-ние написано в августе 1819 г., о чем сообщает автор А. И. Тургеневу (ОА-1. С. 298). *Сибиряков* Иван Семенович (ум. 1848) — поэт-самоучка, крепостной кондитер рязанского губернского предводителя дворянства Д. Н. Маслова. В ТОЛРС (1818. Ч. 12. С. 86—93) появилась статья П. П. Свиньина «Природный русский стихотворец», с приложением ст-ний Сибирякова (перепеч.: ВЕ. 1818, № 23. С. 227—234; ОЗ. 1819. Ч. 2. С. 95—121). В архиве Вяземского сохранились документы, связанные с выкупом Сибирякова: приглашение к подписке, в которой поэт принял активное участие, и др. (частично опубл.: РА. 1873, № 4. Стб. 638—643, под рубрикой «Выкуп из крепостного состояния стихотворца Ивана Сибирякова»). В результате этих хлопот Сибиряков получил вольную. О его дальнейшей судьбе см. в автобиографии Вяземского (ПСС-2. С. XI) и в примеч. В. И. Саитова (ОА-1. С. 623—625). В конце августа, посылая ст-ние А. И. Тургеневу, Вяземский писал: «Меня рвет желчью стихотворной. Маслов был моим вдохновением, предводителем моим на Парнасе. Я писал горячо». В ответном письме от 2 сентября 1819 г. Тургенев сообщал, что читал послание брату Н. И. Тургеневу, который восхищался «родным ему чувством». И далее: «Вчера я читал княгине Г⟨олицыной⟩ стихи твои и был свидетелем Пушкина восхищения и ее одобрения... Пушкин бесится, что ты отнял у него такой богатый сюжет, а я этому рад; ибо он пересолил бы самое негодование» (ОА-1. С. 298, 302—304). *Мирты рвать.* В Древней Греции ветвями мирта украшали победителя в состязаниях и играх. *Беглец из Холмогор* — Ломоносов. *Адрес-календарь* — ежегодное издание (1765—1916), содержащее перечень должностных лиц Российской империи. *На позор* — здесь: на обозрение.

Первый снег. НЛ. 1822, № 24, с ценз. вар. ст. 64, 68. -- Печ. с восстановлением ст. 64, 68 по автографу, содержащему мелкие вар. и иные ст. 1—4, к которым здесь же сделана помета: «Смотри

в конце (в конце текста вписан переработанный, окончательный их вар.). 1 декабря 1821 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Красовский не пропускает восьми стихов твоих... о тесноте ног и прочее, и просит почтенного автора переменить и прочее. Я употребил хитрость, чтобы взбесить Красовского, и отдал стихи Воейкову, который уверен, что Бируков их пропустит без перемены...» (ОА-2. С. 230—231). В результате цензура изменила ст. 64 («Ревнивых не боясь, сидел рука с рукой» вм. «Ревнивых не боясь, сидел нога с ногой») и 68 («В победе чистыя любви прияв залог» вм. «В победе сей других побед прияв залог»); о замене ст. 68, который цензура сочла «безнравственным», А. И. Тургенев сообщил Вяземскому в письме от 15 декабря 1821 г. (Там же. С. 289). Эту ценз. историю Вяземский позже упомянул в своей жалобе на Красовского 1822 г. (РА. 1896, № 6. С. 294). Давая официальный ответ на запрос ценз. комитета, Красовский определил содержание ст-ния, как «описание младой красавицы, катающейся с мужчиною в тесных санях» (ЦГИА). Дата в подзаг., по-видимому, означает не время написания, а время изображенной прогулки. О замысле ст-ния впервые упоминает Батюшков в приписке к письму Вяземского А. И. Тургеневу от 5 октября 1816 г.: «Вяземский пишет элегию „Первый снег", которая не доживет до первого пути» (ОА-1. С. 55); во фразе содержится намек на незавершенность текста, первоначально предназначавшегося для арзамасского журнала (Отчет-1884. С. 158, 2-я паг.). 16 октября Вяземский писал Тургеневу: «Вчера отдал я Батюшкову все права на „Первый снег", а сам сижу при оттепели» (ОА-1. С. 57—58). Лишь три года спустя Вяземский вернулся к работе над ст-нием. 22 ноября 1819 г. он писал А. И. Тургеневу, посылая текст элегии: «Я в „Первый снег" влюблен, не придется ли на него оттепель в нашей критике». И далее: «Свой „Первый снег" писал я частью с воображения, но и с природы. У нас с неделю стоит зима и санная дорога...» (ОА-1. С. 357, 359). Элегии «Первый снег» и «Уныние» создали Вяземскому репутацию лирического поэта. 10 декабря А. И. Тургенев писал ему: «Давно уж ты таких свежих и полных стихов не писал, как „Первый снег". Есть стихи, которые врезываются в память и в сердце с первого раза» (ОА-1. С. 368); далее в письме дан стилистический разбор ст-ния. Высоко оценил элегию и Н. М. Карамзин в письмах от 17 декабря 1819 г. (где она фигурирует под загл. «Зима») и от 2 декабря 1822 г. (СН. 1897, кн. 1. С. 93 и 136). Пушкин посвятил «Первому снегу» восторженные строки в «Евгении Онегине» (гл. 5, строфа 3), а ст. *И жить торопится, и чувствовать спешит* взял эпиграфом к первой главе. О других цитатах и реминисценциях в творчестве Пушкина из ст-ния см.: Соколова К. И. Элегия П. А. Вяземского «Первый снег» в творчестве Пушкина // Проблемы пушкиноведения. Л., 1975. С. 67—86.

Жрец и кумир. СО. 1822, № 39. Посылая басню А. И. Тургеневу в письме от 28 ноября 1819 г. (автограф не сохранился), Вяземский писал: «Если какой-то покажется жестко Яценку ⟨цензору⟩, то поставь восточный: пускай эти восточники отдуваются за наших западников» (ОА-1. С. 364).

Уныние. СО. 1820, № 12, помета: Варшава. Автограф. Посылая «Уныние» А. И. Тургеневу 6 декабря 1819 г., Вяземский

писал: «Стихи мои — те же я: это род моей исповеди» (ОА-1. С. 367). В ответном письме от 17 декабря А. И. Тургенев, восторженно оценивая ст-ние, писал:

«Святую ненависть к бесчестному зажгла
И чистую любовь к изящному и благу, —

этими стихами можно зажечь любовь к поэзии и к поэту, который написал их. „Святая ненависть“ — прелестно!

Тирану быть врагом и жертве верным другом, —

я повторил эту клятву в сердце своем, когда прочел стих. Он в меня врезался, ибо чувство сродное его приняло» (ОА-1. С. 374—375). В апреле 1820 г. Пушкин писал Вяземскому: «Присылай нам своих стихов; они пленительны и оживительны. „Первый снег“ прелесть; „Уныние“ — прелестнее». Парафраз процитированного Тургеневым стиха («ко благу чистая любовь») встречается во второй главе «Евгения Онегина». «Уныние» дало повод П. В. Киреевскому в «Обозрении русской словесности 1829 года» поставить Вяземского-лирика выше Вяземского-сатирика («Денница». М., 1830. С. LII). Сам поэт в письме П. И. Бартеневу от 15 февраля 1871 г. так характеризует свою раннюю элегию: «Местами стихотворение тяжеловато. Но содержание имеет свою цену...» (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева).

«Зачем Фемиды лик ваятели, пииты...». Изд-1935. -- Печ. по авториз. копии в РСб-5. Авториз. копия в РСб-2 и две копии в Тетр-Т; все три — с вар.

«Как мастерски пророков злых подсел...». ПСС-3. -- Печ. по авториз. копии и идентичному автографу. Возможный адресат — Д. И. Хвостов (см. с. 443), напечатавший большое количество од, как отдельными изд-ми, так и в виде собрания (1801).

«В двух дюжинах поэм воспевший предков сечи...». ПСС-3. -- Печ. по авториз копии. Черновой автограф с правкой ст. 3. Адресат эпиграммы — Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837), поэт, член «Беседы», автор поэм «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», «Петр Великий» и «Песнь Россу, поразившему Галла и всех его союзников...». Предметом насмешек арзамасцев явилось, в частности, то обстоятельство, что Шихматов не употреблял глагольные рифмы.

«Как „Андромахи“ перевод...». ПСС-3. -- Печ. по автографу в альбоме С. А. Неелова (ГБЛ). Черновой автограф в арх. Батюшкова (ПД) — ранняя ред. (фототипически воспроизведен в Изд-1958). Авториз. копия в РСб-2 с авторской правкой, датированной 1822 г. и не доведенной до конца («Когда трагедии водяный перевод...»). В эпиграмме высмеивается Д. И. Хвостов, переводчик трагедии Расина *«Андромаха»* (1794; переизд.: 1811, 1815 и 1821). *Стикс* (греч. миф.) — река в царстве мертвых. *Прадон* Никола (1632—1698) — французский поэт и драматург, безуспешно соперничавший с Расином и ставший мишенью для эпиграмм.

«Княжнин! К тебе был строг судеб устав...». РА. 1874, № 2, под рубрикой: «Из старой записной книжки». Автограф в арх. Батюшкова (ПД), на том же листе, что и предыдущая эпиграмма, ранняя ред. (фототипически воспроизведен в Изд-1958). *Княжнин* Яков Борисович (1740 или 1742—1791) — поэт и драматург. *«Вадим» твой был сожжен публично.* Речь идет о трагедии Княжнина «Вадим Новгородский» (1789), вышедшей посмертно 1793 г. и по приказу Екатерины II конфискованной и сожженной. Проникнутая тираноборческими идеями, трагедия пользовалась популярностью в оппозиционных кругах 1810-х гг. *А публику студит холодный твой «Росслав».* Отзыв Вяземского о трагедии Княжнина «Росслав» (опубл. 1794) см. в его статье «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» (ПСС-1. С. 31).

«Один Фаон, лезбосская певица...». ПЗ-1823. Автограф и авториз. копия. Эпиграмма направлена против П. И. Голенищева-Кутузова (см. о нем с. 445), переводившего ст-ния древнегреческой поэтессы Сафо (изд. отд. кн. в 1805 г.). *Лезбосская певица.* Сафо жила на острове Лесбосе. *Тебе враждой путь к морю проложил.* См. примеч. к ст-нию «К***» (с. 455).

Отложенные похороны. ПСС-3. -- Печ. по авториз. копии в РСб-5. Авториз. копия в РСб-2 — тот же вар. с последующей правкой, не доведенной до конца. В ПСС датируется 1822 г., но, судя по стилистике и расположению текста в рукописи, ст-ние скорее относится к 1810-м гг. *Цитера* — Афродита *(Венера).*

Княжнин и Фонвизин. Б. 1820, № 2, помета: Варшава. Автограф, без загл. Авториз. копия, без загл., с вар. ст. 5. Использованный в ст-нии исторический анекдот встречается также в «Записной книжке» 1818—1828 гг. (ЗК. С. 18) и в исследовании Вяземского о Фонвизине (ПСС-5. С. 165). *Княжнин* — см. с. выше. *Росслав* — герой одноименной трагедии Княжнина. *«Бригадир»* — комедия Фонвизина (1769).

* Катай-валяй. Альм. «Альбом северных муз». Спб., 1828. Авториз. копия в РСб-5 и копия в Тетр-Т; обе — ранняя ред., без подзаг. Авториз. копия в РСб-2, с правкой, не доведенной до конца, но приближающей текст к публикации. Окончательный вар. строфы 2 Вяземский досылает Жуковскому, с просьбой «дать знать Бестужеву, чтобы переменил» (ЦГАЛИ, арх. В. А. Жуковского); следовательно, в начале 1820-х гг. Вяземский пытался опубликовать ст-ние в ПЗ. Датировка предположительна, на основании того, что ст-ние входит в так называемый «Новый сборник», охватывающий тексты Вяземского до 1820 г. (см.: Изд-1935. С. 544). Адресат — Д. В. Давыдов, о котором в строфе 4 говорится: «друг музам и Арею»; к его «Гусарскому пиру» (1804) восходит загл. и рефрен ст-ния (у Давыдова «качай-валяй»). *Фафошка* — вероятно, образовано от слова фофан (дурак, шут); здесь: дурачество, шутка. *Токай* — вино. *Арей* (греч. миф.) — бог войны.

Послание к Т⟨ургеневу⟩ с пирогом. СО. 1820, № 4, помета: Варшава. Автограф, без загл. с датой: «Варшава. Января 6-го 1820». Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, в загл.

рукою Вяземского вписано: «А. Тургеневу». 10 января 1820 г. Вяземский в письме спрашивал А. И. Тургенева: «Каков мой пирог и стихи пирожные?» 21 января Тургенев отвечал ему: «Спасибо за пирог, спасибо за стихи! Одно другого стоит, — и это лучшая похвала обжоры... Стихи твои... печатаются в „Сыне отечества“ под заглавием „Послание с пирогом“» (ОА-2. С. 7, 9—10). Ст-ние вызвало одобрительный отзыв И. И. Дмитриева. «Стихи... так же вкусны, как пёригордской пирог», — писал он А. И. Тургеневу 27 января 1820 г. (РА. 1867. № 7. Стб. 1118). *Пёриге* — город во Франции, славящийся изготовлением трюфелей и паштетов. *Ком* (греч. миф.) — бог пиров. *А ты, дитя, не тех угрюмых школ.* Под последователями угрюмых школ, очевидно, подразумеваются стоики, проповедовавшие бесстрастие и равнодушие к плотским наслаждениям. *Эпикур* — см. с. 453. *Поварни трубадур* — французский поэт Панар (см. о нем с. 459). *Искусство есть преподавал стихом.* Речь идет о ст-нии Панара «Законы стола». *Солон* (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — законодатель древних Афин; по преданию, причислен к семи мудрецам. *Шаль* — здесь: блажь.

«Пусть остряков союзных тупость...». СО. 1820, № 10, помета: Варшава. Автограф при письме А. С. Пушкину и А. И. Тургеневу от 19—20 февраля 1820 г., с пометой: «Вот „Сыну“» (ЦГАЛИ, арх. Пушкина; опубл.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 14).

Пожар. ОА-2. — Печ. по автографу (без загл.) в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 22 марта 1820 г.; здесь поэт просит озаглавить ст-ние «Пожар» и в шуточной форме выражает сомнение в возможности напечатать басню. Она, действительно, в печати не появилась.

«Во имя хартии, свободы...». «Пушкин и его время». Л., 1962. Вып. 1 (публикация С. С. Ланды), под загл. «⟨Табашное послание⟩». — Печ. по автографу в арх. бр. Тургеневых (ПД); на смежном листе имя адресата: «Николаю Ивановичу Тургеневу», с датой: «13 ноября 1820. Варшава». Послание сопровождало реальную табакерку с испанским нюхательным табаком. В письме А. И. Тургеневу от 10 ноября 1820 г. Вяземский писал, что приготовил для его брата «табакерку à la charte Touquet ⟨наподобие хартии Тукэ⟩ и послание» (ОА-2. С. 101). Ст-ние стилизует текст конституционных надписей на табакерках фирмы Тукэ, получивших широкое распространение во Франции в эти годы. В письме от 18 октября 1836 г. А. И. Тургенев, говоря о раннем творчестве Вяземского, упомянул послание, как наиболее «примечательное» и «по предмету и по адресу непозволительное» (ОА-3. С. 334). Резко отрицательную оценку ст-ние получило в письме С. И. Тургенева к братьям от 3 января 1821 г.: «Стихи... очень плохи. Он ⟨Вяземский⟩ рассказал довольно забавных мыслей о шпанском табаке. Из нее ⟨эпистолы⟩ можно бы сделать порядочный quatrain, но не более» («Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу». М.; Л., 1936. С. 489). Расхождение в оценке ст-ния характеризует различие политических установок братьев. Раздражение С. И. Тургенева, по мнению С. С. Ланды, вызвала «либеральная доктрина Вяземского» (Ланда С. С. Дух революционных преобразований...

М., 1975. С. 228). *Раскол* — здесь: ретрограды. *Английский клоб* — московский аристократический клуб. *Виц* — т. е. вице-губернаторам. *Обуховская больница* — см. с. 458. *Всем Траверсе по письменам И всем Антонским по Совету.* Вяземский намеренно путает роли члена Государственного совета, адмирала, маркиза Ивана Ивановича Траверсе (1754—1830) и члена ценз. комитета, председателя ОЛРС и ректора Московского университета (под эгидой которого выходил ВЕ) Антона Антоновича Прокоповича-Антонского (1762—1848). *Обабившимся в кавалерстве И помрачившимся в звездах.* Имеются в виду кавалеры орденов, при высших степенях которых полагалась звезда. *Фалалей* — самодовольный невежа.

Негодование. ПСС-3, с ценз. купюрой ст. 74—81, 104—107, 120—123, 140—145. -- Альм. «Литературная мысль». Пг., 1923. Кн. 2 (публикация С. Любимова) по корректуре ПСС, хранящейся в ценз. фонде (ЦГИА), с повторением опечаток и неточностей, в том числе в ст. 62, 110 (последние уточнены в статье: Паперно И. А., Лотман Ю. М. Вяземский — переводчик «Негодования» // «Ученые записки ТГУ». Тарту, 1975. Вып. 369. С. 129—130). -- Печ. по авториз. копии рукою В. Ф. Вяземской со следующими пометами и правкой автора: против ст. 29 — «нужно выправить», ст. 39 «Печальную» исправлено на «Почетную», ст. 73 «неоспоримый» исправлено на «неотвратимый». Две копии: текст одной почти идентичен описанному (кроме ст. 5, где «надежд» вм. «волшебств»); вторая — в РСб-3, с пометою копииста у загл.: «в Варшаве» и с вар. ст. 67 («Мгновенно» вм. «Надменно»), ст. 107 («и» вм. «я»), ст. 149 («поникшего к земле» вм. «поникшего земле»). Автограф двух фрагментов (ст. 81—89 и 93—115). Судя по документам ценз. ведомства, цензор Н. А. Ратынский, рассматривающий ПСС-3, счел возможным напечатать «Негодование» полностью, но сын поэта П. П. Вяземский, занимавший пост председателя петербургского комитета иностранной цензуры, самолично исключил 22 наиболее политически острых ст. («Литературная мысль». Пг., 1923. Кн. 2. С. 234). 13 ноября 1820 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Моя негодяйка (шутливо-конспиративное название «Негодования») добита; надобно еще два-три дни полежать ей под сукном, а там и в свет... Кажется, нигде столько души моей не было, как тут» (ОА-2. С. 102). 19 января 1821 г., после получения ст-ния (посланного 7 января), А. И. Тургенев отвечал: «„Негодование" — лучшее твое произведение. Сколько силы и души! .. Но как можешь ты думать, чтобы цензура нашего времени пропустила эту цензуру нашего времени и нас самих... Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте, переписать твое „Негодование". В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. „Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?"» (Там же. С. 140, 142; далее в письме содержится ряд стилистических замечаний; см. также разбор ст-ния в письме Тургенева от 26 января. — Там же. С. 145). 20 января 1821 г. Н. М. Карамзин писал Вяземскому: «Читал я „Негодование" без негодования, ибо в нем много прекрасного: но желал бы более истины, более души и менее декламации» (СН. 1897, кн. 1. С. 109). 2 февраля А. И. Тургенев сообщал Вяземскому: «Ко мне ездят слушать „Негодование", и я уже его вытвердил наизусть, но ни одной копии не

выдал и не выдам» (Там же. С. 153). 15 марта 1821 г. Вяземский посылает ст-ние Жуковскому, указывая, что «против этого списка многое переменено и выправлено» (этого раннего списка в арх. Жуковского не сохранилось). И далее: «Многое еще осталось выправить, но, слава богу, спешить не к чему» (РА. 1900, № 2. С. 183). Последняя фраза содержит намек на невозможность опубликовать текст. Об этом же писал варшавский знакомый поэта, переводчик и критик И. Ф. Фавицкий, давший высокую оценку ст-нию: «Какая прекрасная пьеса! Только же и страшная! Уж верно ты не увидишь ее печатной» (ЦГАЛИ; документ с авторским загл.: «Замечания Фавицкого в Варшаве на мое стихотворение „Негодование"»). Несмотря на усилия А. И. Тургенева, ст-ние получило хождение в списках. Намек на получение копии содержится в письме А. А. Бестужева Вяземскому от 13 октября 1823 г. (ЛН. 1956. Т. 60, кн. 1. С. 208). Списки наиболее политически острых фрагментов см. в альбоме В. Ф. Щербакова (ПД, арх. А. С. Пушкина) и Н. В. Путяты (ЦГАЛИ, арх. Н. В. Путяты). О распространении текста «Негодования» в кругу радикально настроенной молодежи сообщалось в анонимном доносе от 19 августа 1827 г.: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе „Негодование", служившей катехизисом заговорщиков» (Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 2. С. 388). Пытаясь отвести обвинения, содержащиеся в анонимных доносах, Вяземский в представленной Николаю I «Исповеди» писал: «Я написал его («Негодование») в самую эпоху борьбы или перелома мнений, и, разумеется, должно носить оно живой отпечаток мнений, которым я оставался предан и после их падения» (ПСС-2. С. 101; ср. оценку ст-ния в «Автобиографическом введении» — там же. С. XI). О распространении списков свидетельствует курьезный случай с публикацией в альм. «Северная звезда» (Спб., 1829) фрагмента из «Негодования» (ст. 94—97, 100—103, 108—111) в виде отдельного ст-ния под загл. «Элегия», с указанием на авторство Пушкина и с рядом существенных искажений. *Мой Аполлон — негодованье!* Перекличка этой строки с известным полустишием из первой сатиры Ювенала «Негодование рождает стих» отмечена в статье Ю. М. Лотмана «П. А. Вяземский и движение декабристов» («Ученые записки ТГУ». Тарту, 1960. Вып. 98. С. 90—91). *Зрел промышляющих спасительным глаголом* — намек на засилие мистических и религиозных обществ в последние годы царствования Александра I. *Я вижу подданных царя, Но где ж отечества граждане?* — парафраз слов Фонвизина из его «Рассуждения о непременных государственных законах» (1783). Ср. ст. 115 в ст-нии «Петербург»: «Петр создал подданных, ты образуй граждан!» (с. 121). *Свидетель нерожденных лет* — перевод реплики маркиза Позы из трагедии Шиллера «Дон Карлос»; более близка к подлиннику эта фраза в авторском переводе «Негодования» на французский язык (см.: Паперно И. А., Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 132). *Здесь плавает оно в кровавых облаках... Там нож преступный изуверства* — возможно, намек на убийство П.-А. Лувелем герцога Беррийского 13 февраля 1820 г. *Витии поучений ложных... Одной секирою разим.* Возможно, Вяземский имеет в виду М. Л. Магницкого и Д. П. Рунича — инициаторов разгрома Казанского и Петербургского университетов за «безбожие» (см. с. 477). *Там хищного господства страсти... Неволи хитрой цепь куют.* Ст. содержат

«оценку либеральных обещаний царя в 1818 г. в свете решений конгресса в Троппау-Лайбахе» (Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 99).

Послание к М. Т. Каченовскому. СО. 1821, № 2, с ценз. купюрами ст. 29—32, 43—48 (заменены отточием). — Печ. с восполнением купюр по автографу и авториз. копии; оба источника под загл. «К Михаилу Трофимовичу Каченовскому», причем автограф с пометами и правкой (ст. 39, 46, 54 и 108) Д. Н. Блудова (правка учтена при публикации в СО); указ. авториз. копия — без учета правки Блудова. Авториз. копия в РСб-1855(I), с печ. текста, с пометой Вяземского против отточия, после ст. 42: «Не знаю, где и отыскать не пропущенные ценсурою стихи». Об отсутствии их в списках поэт писал 1 апреля 1868 г. С. Д. Полторацкому («Новь». 1885, № 9. С. 93). Впервые купюры восполнены в Изд-1935. *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — историк, журналист, профессор Московского университета. Выступление Вяземского было вызвано грубыми нападками Каченовского на Н. М. Карамзина: в статье «К господам издателям „Украинского Вестника"» (ВЕ. 1818, № 13. С. 39—51) он издевательски охарактеризовал «Записку о достопамятностях Москвы», а в статье «От киевского жителя к его другу» критиковал «Историю...» (ВЕ. 1818, № 18. С. 122—127). Начало и конец послания — вольный перевод третьей части (под загл. «О зависти») трактата Вольтера «Рассуждение в стихах о человеке» (1738). См. подробнее: Стефанович В. Н. «Достойным похвала — ничтожеству обида...» // «Русская речь». 1972, № 6. С. 28—34. Впервые о замысле ст-ния Вяземский упоминает в письме А. И. Тургеневу от 31 августа 1818 г.: «У меня была мысль написать ему (Каченовскому)... послание о зависти, но черт знает, сижу как рак на песке» (ОА-1. С. 119). Судя по письму Вяземского к Дмитриеву, поэт вернулся к доработке ст-ния лишь в апреле 1820 г. (РА. 1866. № 11/12. Стб. 1701). 4 декабря 1820 г., отправляя А. И. Тургеневу законченное ст-ние, Вяземский писал: «Посылаю известное и дописанное „Послание" к негодяю... Приношу на жертву все стихи, которые ценсура не проглотит: пускай выставятся точки» (ОА-2. С. 113—114). Изъятие ст. 31—32 произвел сам Тургенев, чем вызвал недовольство Вяземского (Там же. С. 126, 130, 131—132), так как ст-ние потеряло политическое звучание и стало носить характер «эпистолы на личность». «Послание» наделало много шуму в литературной среде. 20 января 1821 г. Н. М. Карамзин писал Вяземскому: «Пишу... почти в сердце на вас за эпистолу к Каченовскому, хотя в ней и много прекрасных стихов. Вы знаете мой образ мыслей, весьма искренний. Я не имею нужды ни в защите, ни в мести, и если не врагам, то друзьям своим говорю от души: „Оставьте меня в покое"» (СН. 1897. кн. 1. С. 109). И. И. Дмитриев, напротив, в письме Вяземскому от 3 февраля 1821 г. приветствовал появление ст-ния (СН. 1898, кн. 2. С. 144—145). Восторженно откликнулся на послание В. Л. Пушкин. «Прекрасно! — писал он Вяземскому 19 января 1821 г. — Ты раздавил змею Каченовского и написал образцовое послание в стихах...» (Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 231). «Прекрасным», «почти несравненным» назвал послание Д. Н. Блудов (ОА-2. С. 127). Негативные оценки этого ст-ния и послания «К В. А. Жуковскому» см. в письмах М. Н. Загоскина от 16 апреля 1821 г. к М. Е. Лобанову (ИВ. 1880,

№ 8. С. 689—690) и Н. И. Гнедичу («Отчет имп. Публичной библиотеки на 1895 год». Спб., 1898, прилож. С. 42). Каченовский перепечатал ст-ние под загл. «Послание ко мне от кн. Вяземского» (ВЕ. 1821, № 2), снабдив его издевательскими примеч. В частности, примеч. к ст. 1 гласило: «Брагодарность издателям „С. О."! Поставив запятую и знак восклицательный, они отвели ругательство от меня и подозрение... от г-на Вяземского, которого выспренний гений, презирающий правила и грамматики и синтаксиса, легко мог просмотреть ничтожные знаки препинания» (пунктуация ст. 1 «Послания» позволяет воспринимать Каченовского как единомышленника, к которому автор обращается с осуждением «завистливого зоила»). Перепечатка ст-ния Каченовским положила начало кампании против Вяземского на страницах ВЕ: в № 5 этого же года здесь было опубликовано «Письмо к редактору» Ф. И. Яковлева, который обвинял Вяземского в литературном плагиате (в статье указывалось на близость «Послания» к рассуждению «О зависти» Вольтера), а в № 9 Каченовский напечатал ст-ние С. Т. Аксакова, направленное против Вяземского, под загл. «Послание к Птелинскому-Ульминскому» (фамилия образована от греч. и лат. перевода слова «вяз»). Откликаясь на эту литературную травлю, А. С. Пушкин писал Вяземскому 2 января 1822 г.: «Бранюсь с тобою за... послание к Каченовскому; как мог ты сойти в арену вместе с этим хилым кулачным бойцом — ты сбил его с ног, но он облил бесславный твой венок кровью, желчью и сивухой... Как с ним связываться — довольно было с него легкого хлыста, а не сатирической твоей палицы». Оценку современниками полемики вокруг послания см. в «Записках» К. А. Полевого (Спб., 1888. С. 106—108). В последние годы жизни сам поэт определил послание, как «несколько неприличное и заносчивое» (ПСС-2. С. XI). *Алтарь весталок.* В Древнем Риме весталки (жрицы богини Весты) поддерживали в храме священный огонь. *Элизий* (греч. миф.) — загробная страна вечного блаженства; здесь: приют муз. *Гонитель Аристида.* Следуя древним историкам (Плутарху, Корнелию Непоту), Вяземский трактует борьбу двух партий (демократической и аристократической) в древних Афинах, как личную вражду их вождей: архонта Аристида (540—467 до н. э.), прозванного «справедливым», и тщеславного полководца Фемистокла (ок. 525 — ок. 467 до н. э.), который добился изгнания Аристида из Афин. *Кяхта* — город в Бурятии. По предположению Ю. М. Лотмана, упоминание этого города содержит намек на судьбу А. Н. Радищева, написавшего в ссылке статью об экономическом значении Кяхты (Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // «Ученые записки ТГУ». Тарту. 1960. Вып. 98. С. 66). *Лужники* — в этой части Москвы жил Каченовский. *Миних* Бурхард Кристоф (1683—1767) — русский фельдмаршал, сосланный Елизаветой в Пелым по подозрению в заговоре. *Велисарий* (Велизарий) (ок. 504—565) — византийский полководец, подвергшийся опале императора Юстиниана, что породило легенду о его ослеплении (ср. упоминание Велизария как жертвы тирании в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 6 февраля 1820 г. — ОА-2. С. 15). *Старцу-мудрецу в тюрьме подносит смерть.* Речь идет о Сократе, который был осужден на смертную казнь (принял яд) по обвинению в оскорблении богов и развращении нравов. *Пугливые невежды* — цитата из первой главы поэмы Ломоносова «Петр Великий» (1756—

1761); это «счастливое выражение» Вяземский отметил и в записной книжке (ЗК. С. 30). *Фонтенель* Бернар (1657—1757) — французский писатель. *Хартии* — здесь: рукописи, манускрипты. *Корнелий* (Корнель) Пьер (1606—1684) — французский драматург. *Уважен будешь ты* и т. д. Ст. в слегка измененном виде замыкает статью Пушкина «О г-же Сталь и о г. А. М—ве» (1825). *И гордый дуб и сановитый кедр* — Карамзин и Дмитриев, которых связывала многолетняя дружба.

«Василий Львович, милый! Здравствуй!..». Изд. 1935. -- Печ. по автографу с авторской пометой: «Вот мое поздравление Пушкину на Новый год». Две копии: одна — рукою Блудова (?), другая — в арх. бр. Тургеневых (ПД), обе с вар. Адресат послания — поэт-арзамасец *Василий Львович* Пушкин (1767—1830). По словам А. И. Тургенева, «послание к Львовичу» вызвало восхищение Д. Н. Блудова и С. С. Уварова (письмо Вяземскому от 29 декабря 1820 г. — ОА-2. С. 131). *Толстой* — см. с. 462. *Гиппократ* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий врач. *Вральман* — персонаж комедии Фонвизина «Недоросль». *Пусть Вестник будто бы Европы.* ВЕ в эти годы редактировал М. Т. Каченовский. *Менандр* (ок. 343 — ок. 291 до н. э.) — древнегреческий комедиограф. *Еврипид* (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий трагик.

«Благословенный плод проклятого терпенья...». «Рецензент». 1821, № 26, 6 июля. Адресат не установлен.

Прелести деревни. НЛ. 1824, кн. 10, ноябрь, подпись: К. В—ий. -- Печ. с исправлением ошибки в ст. 13: «Поверь» на «Не верь». Датируется по местонахождению в рукописи: авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской — на одном листе с черновым автографом ст-ния «Ошибка врача», опубл. в 1821 г. *Эклога* — поэтический жанр, посвященный сценкам из сельской жизни.

Надписи к портретам. РА. 1866. № 11/12, в письме Вяземского И. И. Дмитриеву от 24 августа 1821 г.; первая эпиграмма с вар. ст. 1 («NN» вм. «Подлец»). Вероятно, замена была вызвана ценз. соображениями, поэтому восстанавливается первоначальный вар. по всем рукописным источникам: двум автографам — один в указанном письме И. И. Дмитриеву (ЦГАЛИ, арх. И. И. Дмитриева), другой в письме Вяземского А. А. Бестужеву от 2 сентября 1823 г. (ПД; опубл.: РС. 1888, № 11. С. 318—319) и авториз. копии, под загл. «Стихи к портретам». Оповещая Вяземского о получении эпиграмм, А. А. Бестужев в письме от 13 октября сообщал: «Эпиграммы ваши на наших ханжей весьма милы, — признаюсь, что мы расхохотались, в первый раз прочитав их» (ЛН. М., 1956. Т. 60, кн 1. С. 208). 1. *Модницкий* — Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), в юности сподвижник Сперанского, впоследствии реакционер; в качестве попечителя Казанского университета был инициатором увольнения из него лучших профессоров за «безбожное направление». Еще одну эпиграмму Вяземского на Магницкого см: ОА-2. С. 279 («Он в старину был франтом...»). 2. *Кутейкин* — либо тот же Магницкий, либо Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860), попечитель Петербургского университета, который в 1821 г. устроил суд над профессорами, уличив их в «противухристианской проповеди» на лекциях.

М о с к в а, 2 9 - г о д е к а б р я 1 8 2 1 г о д а. ПСС-3. — Печ. по авториз. копии в РСб-3 с правкой. Возможно, ст-ние обращено к дочери Н. М. Карамзина *Екатерине Николаевне* (1806—1867), которую поэт шутливо называл «музой» своих «глупостей» (ОА-3. С. 75). *Шаль* — см. с. 472. *Граф Лаваль* Иван Степанович (1761—1846) — французский эмигрант, церемониймейстер двора. *Краснопюсовый* — красно-коричневый (от фр. puce — цвет блохи). *Тремя помноженный Антон* — Прокопович-Антонский Антон Антонович (см. с. 473). *Василий Львович... Сидит с подагрой он вдвоем.* В. Л. Пушкин много лет мучился приступами подагры. *Ваш Тургенев.* А. И. Тургенев был постоянным посетителем салона Карамзиных. *Привесть в печатанную веру.* В 1821 г. в Петербурге готовилось издание ст-ний В. Л. Пушкина (вышло в свет в 1822 г.), и Вяземский в письмах настоятельно просил А. И. Тургенева похлопотать об издании (см.: ОА-2. С. 216, 217, 220, 232, 236, 239). *Горголи* Иван Саввич (1767—1862) — петербургский обер-полицмейстер. *Крон* (греч. миф.) — бог времени. *Ни граф Хвостов с стихами вслух.* Вяземский иронизирует над пристрастием Д. И. Хвостова (см. о нем с. 443) читать первому встречному свои новые стихи.

К в д о в е С. Ф. Б е з о б р а з о в о й в д е р е в н ю. ПСС-3. — Печ. по авториз. копии в РСб-3, с последующей правкой, вписанным Вяземским загл. и датой (рукою копииста): «Москва. 15 ноября 1822 года» (в РСб-3 далее следует текст письма Вяземского Безобразовой, сопровождавший ст-ние). Две авториз. копии: одна — под загл. «К Софье Федоровне Безобразовой», с правкой и датой: «1822», вторая — под загл. «К Б.»; обе — ранняя ред. *Безобразова* Софья Федоровна (урожд. Вадковская; во втором браке — с 1828 г. — Тимирязева; 1799—1875), вдова полковника Н. М. Безобразова (1788—1819), сестра декабриста Ф. Ф. Вадковского, приятельница Карамзиных, Тургеневых, Вяземских, Жуковского, Пушкина и Боратынского; зимой 1822 г. жила в имении отца Красная Пальна (с. Петропавловское) Московской губ. Безобразова откликнулась на послание восторженным письмом от 8 декабря 1822 г. (ЦГАЛИ). «Стихи твои... „Безобразовой" прелестны, — писал Вяземскому А. И. Тургенев 28 ноября 1822 г. — ...Читаю ⟨их⟩ встречному и поперечному...» (ОА-2. С. 282). *Асмодей* (библ.) — злой дух, глава демонов; возможно, здесь содержится намек на арзамасское прозвище Вяземского. *Париды* (греч. миф.) — так Вяземский именует сельских помещиков, производя кличку от Париса (Парида), троянского царевича-пастуха, призванного разрешить спор между богинями, претендовавшими на яблоко с надписью «прекраснейшей»; Парис отдал его Афродите *(Киприде).*

М у д р о с т ь. «Соревнователь просвещения и благотворения». 1823, № 7. Басня была прочитана А. Е. Измайловым на публичном собрании ВОЛРС 22 мая 1823 г.

М о и ж е л а н и я. НЛ. 1823, № 17, с пропуском ст. 14, который восстанавливается по списку опечаток в НЛ. 1823, № 22. Две авториз. копии: одна в РСб-2, с авторской пометой у загл.: «Тула» и с пометой Жуковского (?) против ст. 1—2: «Прекрасно!» и позднейшей правкой в ст. 9 и 10; вторая — в РСб-5; копия в Тетр-Т; все три — с вар. ст. 2, 4, 5, 9, 10. В статье «Письма к графине С. И. С. о русских поэтах» П. А. Плетнев указал на сочетание в

ст-нии «простонародного языка с языком лучшего общества» (СЦ-1825. С. 49), а А. Ф. Воейков в статье «Пересмешник» назвал «Мои желания» одним из лучших «пиитических произведений» 1820-х гг. (ЛПРИ. 1833, № 66, 19 августа). *Гость с холмов Токая* — белое вино, изготовляемое в р-не вулканического массива Токай (ныне в Венгрии) из местных сортов винограда.

Язык и зубы. НЛ. 1823, № 38.

Молоток и гвоздь. ПЗ-1824, с ценз. купюрой «морали» басни (см. об этом: Гиллельсон. С. 265); восполнить ее не удалось. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, с авторской пометой: «Подражание Тончи». Вероятно, речь идет о не дошедшем до нас ст-нии С. Тончи (1756—1844), который в свое время был известен в Москве не только как живописец, но и как поэт. О популярности басни свидетельствует фраза из письма А. А. Бестужева Вяземскому: «Ваш „Молоток и гвоздь" обратился уже пословицей» (ЛН. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 211).

Воли не давай рукам. ПЗ-1824. *Архонты* — верховные правители в древнегреческих полисах; здесь: вельможи. *Пусть слепа, да руки зрячи.* Богиня правосудия Фемида (греч. миф.) изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия) и с весами в руках. *Долгоруков* Яков Федорович, князь (1659—1720) — сподвижник Петра I; по преданию, осмелился разорвать в Сенате заготовленный Петром I указ; упоминание этого эпизода встречается в ст-ниях Державина, Карамзина, Пушкина и в статье Вяземского о Дмитриеве (ПСС-1. С. 118). *Крепко прибранный к рукам* — намек на стеснения цензуры.

Быль, которая сбудется. «Славянин». 1830, № 1, подпись: С франц. К. В—ий, под загл. «Цензор», с пропуском ст. 6, 9, заменой «Красовского» на «Лаборине» (в переводе с фр. бумагомаратель) и «Голицына» на «Г — а»; к последнему имени в журнале имелось следующее примеч.: «Генерал-полицмейстер парижский, славный невежеством, но еще более ханжеством». — Печ. по автографу в письме Вяземского А. А. Бестужеву от 2 сентября 1823 г. (ПД; опубл.: РС. 1888, № 11). Имеется идентичная копия с заменой фамилии Голицына на инициал. На авториз. копии в РСб-1855(I) (с текста «Славянина») к указанной сноске имеется помета Вяземского: «Это примечание и имя Лаборине — рукоделие Воейкова (издателя „Славянина"). У меня было: Красовский и К. Голицын. Впрочем, стихи были напечатаны совершенно без моего ведома и неисправно». Посылая ст-ние А. А. Бестужеву, Вяземский в указанном выше письме писал: «А вот вам, между тем, кое-что для „Звезды" 1844 г., когда... цензура, как ночная сова, спрячется от лучей... в дупло на веки веков! Дай бог, чтобы сбылось мое пророчество» (РС. 1888, № 11. С. 318). Ст-ние, не пропущенное цензурой, разошлось в списках. Об этом доносил цензор попечителю С.-Петербургского округа (см.: «Пушкин и его современники». Пг., 1918. Вып. 29—30. С. 105—106). Список эпиграммы, близкий к основному тексту, обнаружен в альбоме П. И. Шаликова (ПД); ср. также копию ст-ния в собрании А. Н. Веселовского (опубл.: «Литература и фольклор Урала». Пермь, 1979. С. 55). Несмотря на ценз. «смягчения» текста, появление его в печати вызвало большой скандал, а А. Ф. Воейков был посажен на гаупт-

вахту (подробнее об этом см.: Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 89; Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг. Спб., 1908. С. 50—51). *Красовский* Александр Иванович (1780—1857) — цензор Петербургского ценз. комитета; имел репутацию тупого ханжи; его «деятельность» вызвала в 1822 г. письменное заявление Вяземского в Главное правление училищ «о пересмотре решения цензора относительно его произведений» (см. вар. в ЦГИА и ЦГАЛИ; по черновой копии Н. И. Тургенева опубл.: РА. 1896, № 6. С. 293—295). *Парка* (римск. миф.) — одна из трех богинь судьбы, прядущих нить жизни. *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — министр просвещения (1817—1824), мистик и реакционер.

«Жужжащий враль, едва заметный слуху!..». НЛ. 1825, № 8, подпись: К. В—ий. Два автографа: один с вар. в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 10 сентября 1823 г. (ОА-2. С. 346), второй в РСб-2. Авториз. копия. 10 сентября 1823 г. Вяземский писал Тургеневу: «Какой-то шут, Цертелев или Сомов, лается на меня в „Благонамеренном" под именем Жителя Васильевского острова или Выборгской стороны. Вот моя откличка. Отдай ее в „Сын отечества" под названием „К островитянину" или под названием „К жителю***"» (ОА-2. С. 346). Речь идет о статье «Новая школа словесности» (Б. 1823, № 6. С. 430—438), в которой высмеивалась иносказательная образность «Послания к И. И. Дмитриеву» Вяземского; автором ее был Николай Андреевич Цертелев (1790—1869) — критик, поэт и фольклорист, выступавший под псевдонимом: Житель Васильевского острова.

Ответ древнего мудреца. НЛ. 1824, кн. 10, декабрь, подпись: К. В—ий.

* Того-сего. ПЗ-1825, с ценз. вар. ст. 26 («Зевес» вм. «Творец»). Авториз. копия в РСб-5 и две авториз. копии в Тетр-Т (одна из них рукою В. Ф. Вяземской с авторской правкой); все три — ранняя ред. с иной строфой 4. Авториз. копия в РСб-2, с последующей правкой строфы 4, приближающей текст к печ. Возможно, ранняя ред. ст-ния, не содержащая полемики с ВЕ, относится к середине 1810-х гг. *Старик Вольтер дар угождать имел* (во всех рукописных источниках: «Остряк Вольтер»). Вяземский имеет в виду те кратковременные периоды придворных успехов в жизни Вольтера, когда он стал камергером, затем историографом, сочинял парадные пьесы и любезные оды и в то же время клеймил церковь и деспотическую монархию. *Царям.* Вероятно, подразумевается не только Людовик XIV, но и Фридрих II, при дворе которого Вольтер жил, и Екатерина II, с которой он переписывался. *Куда как пуст Лужницкого журнал.* Речь идет о ВЕ, редактор которого М. Т. Каченовский подписывал некоторые статьи псевдонимом «Лужницкий».

Недовольный. СЦ-1825. Две авториз. копии в РСб-2 и РСб-5 (первая с позднейшей правкой в ст. 7, 9 и 20, не доведенной до конца) и копия в Тетр-Т; все три — ранняя ред.

Черта местности. СЦ-1825. В письме от 25 января 1825 г. из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: «В „Цветах" встретил я тебя и чуть не задохнулся со смеху, прочитав твою „Черту местности". Это маленькая прелесть». *Но здесь в стихе есть*

местная черта. Шутливо обыгрывается требование «местного колорита», выдвинутое поэтикой романтизма.

* К приятелю. МТ. 1825, № 1. Этот текст — поздняя, существенно отличающаяся от первоначальной, ред. послания «В альбом Неелову» (впервые: ПСС-3. С. 105). Два автографа ранней ред.: один в альбоме С. А. Неелова (ГБЛ), под загл. «К Неелову», с датой: «1814 года», другой — под тем же загл. и с датой: «1813». Копия (та же ред.) в Тетр-Т. Авториз. копия в РСб-2 под загл. «В альбом Н...» — ранняя ред., с последующей правкой, не доведенной до конца, и с датой (правки?): «1819»; правка носит характер ценз. «смягчения». Обращено к Сергею Александровичу Неелову (1781—1852; дата рожд. сообщена М. Я. Эльзоном), московскому приятелю Вяземского, автору стихотворных экспромтов, о котором поэт впоследствии вспоминал: «Неелов — основатель стихотворческой школы, последователями коей были Мятлев и Соболевский...» (ПСС-8. С. 158). Подробнее о Неелове, а также тексты его стихотворных посланий к Вяземскому см. в статье: Гершензон М. О. С. А. Неелов // Русские пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 1—19 и в примеч. М. И. Гиллельсона (РЭ. С. 700—702). *Мизинцев* — А. Н. Грузинцев (см. с. 447). *Пусть рыцарь классиков из азбучного класса.* Ст. включает послание в контекст полемики Вяземского с ВЕ о классицизме и романтизме. *Россинант* — конь Дон-Кихота в одноименном романе Сервантеса.

«Клеврет журнальный, аноним...». НЛ. 1825, № 2, подпись: К. В—ой. Автограф в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 10 апреля 1824 г. (ОА-3. С. 31), в котором поэт сообщал: «За Каченовского ополчился на меня Дмитриев-племянник. По крайней мере, таков общий голос... Вот раскаленная эпиграмма. Прошу не дать ей остывать и отправить сей же час Гречу» (там же). Поводом для ее создания послужила анонимная статья М. А. Дмитриева (племянника И. И. Дмитриева) «Второй разговор между классиком и издателем „Бахчисарайского фонтана“» (ВЕ. 1824, № 5. С. 47—62), направленная против предисловия Вяземского к этой пушкинской поэме. Подробнее о полемике Вяземского с М. А. Дмитриевым и А. И. Писаревым см. в следующем примеч. *Клеврет журнальный* — выражение из предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану», адресованное сотрудникам ВЕ и подхваченное оппонентами.

К журнальным близнецам. СЦ-1825, подпись: Кн. Вяз. Автограф в записке Вяземского А. С. Грибоедову (ЦГАОР; опубл. Н. Я. Эйдельманом: РЛ. 1972, № 2. С. 127), с вар. ст. 4 («И визг такой и крик подиять»). Ст. был исправлен по совету Пушкина, который в письме от 7 июня 1824 г. писал: «Письма твои обрадовали меня во многих отношениях: кажется, ты успокоился после своей эпиграммы... то ли дело цып-цып... Пришли мне эпиграмму Грибоедова. В твоей неточность: и визг такой; должно писк. Впрочем, она прелестна». *Журнальные близнецы* — литераторы Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866), племянник поэта И. И. Дмитриева, и Александр Иванович Писарев (1803—1828), поэт и водевилист, вступившие в 1824 г. в «литературную войну» с Вяземским, Грибоедовым и Н. А. Полевым. Она началась с выступления ВЕ против водевиля Вяземского — Грибоедова «Кто

брат, кто сестра?» (ВЕ. 1824, № 2. С. 150); апофеозом ее стала полемика о классицизме и романтизме, а финалом — эпиграмматические «партизанские действия», которые велись, по большей части, в устной форме. Со слов М. А. Дмитриева, М. Н. Лонгинов занес в записную книжку следующее (1858): «Эпиграммы переносил из лагеря в лагерь известный Шатилов (Репетилов), зять музыканта Алябьева. Он, например, приходил в ложу Кокошкина, где сидели Писарев и Дм⟨итриев⟩, получал эпиграмму и нес в кресла Вяз⟨емско⟩му и Грибоедову, потом шел опять в ложу и говорил: «Завтра будет ответ»... Писарев был зол и завистлив и высочайшего о себе мнения... Он ввязался в полемику Дмитриева против Вяземского, которого возненавидел, как злейшего врага, хотя сам был сбоку припека, а Дм⟨итрие⟩в злобы не имел на Вяз⟨емского⟩, хотя имел больше права на то...» (ПД, арх. М. Н. Лонгинова. Подробнее об этой полемике см.: Орлов В. Классики и романтики // Эпиграмма и сатира. М.; Л., 1931. С. 181—231).

«Педантствуй сплошь, когда охота есть...». НЛ. 1825, № 5, подпись: Кн. В—ой. Адресат — М. Т. Каченовский (см. с. 475). Возможно, конкретным поводом появления эпиграммы послужила его рецензия на ПЗ-1824 (ВЕ. 1824, № 1. С. 53—57; № 2. С. 114—121; № 3. С. 205—218; № 4. С. 287—298), в которой главной мишенью нападок были неточности в переводе Жуковским второй песни «Энеиды» Вергилия. О необходимости «отщелкать Каченовского за Жуковского» Вяземский писал А. И. Тургеневу 13 марта 1824 г. (ОА-3. С. 18).

Крохоборам. МТ. 1825, № 3, без подписи. *Сорвавшейся с пера ошибкою моею.* Речь идет о неправильном переводе Вяземским слова «relief» как «барельеф» вместо «крохи», «объедки» в статье «О жизни и сочинениях Озерова», напечатанной в виде предисловия к изданию сочинений драматурга (1817). Ошибка через несколько лет была мимоходом отмечена П. А. Катениным в статьях (СО. 1820, № 5. С. 227—228; СО. 1822, № 13. С. 256) и обыгрывалась позже в его эпиграмме на Вяземского («Наш барельефами прославленный писатель...»). С появлением в 1824 г. переиздания сочинений Озерова со статьей Вяземского Булгарин поспешил напомнить об этой ошибке («Литературные листки». 1824, № 8. С. 319). Выпад Булгарина и вызвал появление эпиграммы.

«Булгарин, убедясь, что брань его не жалит...». «Звезда». 1941, № 5, по копии Кюхельбекера из арх. В. Ф. Одоевского (ГПБ), с ошибочным указанием на авторство Кюхельбекера, под загл. «Пан Тадеуш» (Тадеуш — польск. эквивалент имени Фаддей), с рядом неточностей и ценз. заменами в ст. 1, 3, 4 («Тадеуш» вм. «Булгарин», «Талантина» вм. «Грибоедова»). -- Печ. по автографу в недатированном письме Вяземского Жуковскому (ЦГАЛИ, арх. В. А. Жуковского; впервые — РЭ. С. 282). В указанном письме Жуковскому Вяземский просил напечатать эпиграмму «у Дельвига» и «переменить имена» (последнее нашло отражение в копии Кюхельбекера). Местонахождение копии в фонде В. Ф. Одоевского свидетельствует о попытке опубликовать ее в «Мнемозине» (а не в СЦ Дельвига), но она в печати не появилась. *Он Грибоедова в своем журнале хвалит.* В фельетоне Булгарина «Литературные призраки» под именем Талантина («истинного литератора») был

выведен Грибоедов («Литературные листки». 1824, № 16. С. 93—108). *Врагов своих не мог он фонарем прижечь.* В разделе «Волшебный фонарь» своего журнала «Литературные листки» Булгарин печатал краткие рецензии, где сводил счеты с литературными противниками, в том числе и с Вяземским (см. примеч. к предыдущему ст-нию).

Нарвский водопад. СЦ-1826. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР, с датой (публикации): «1826». Автограф (ранняя ред.) в «Записной книжке» 1825—1831 гг., с вар. на полях, использованными в окончательном тексте, и с датой: «16-го июля ⟨1825⟩. Ревель. Екатериненталь» (ЗК. С. 116—117). Автограф (близкая к предыдущей ред.) в письме Вяземского Пушкину от 4 августа 1825 г. (ЦГАЛИ, арх. А. С. Пушкина; впервые: Пушкин. Переписка. Спб., 1906. Т. 1. С. 253—254). Оба автографа с вар. строфы 8. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ. текста, с правкой, не учтенной в НР. 4 августа Вяземский писал Пушкину: «Вот, пожалуй, что вылилось у меня здесь! Только надобно кое-что исправить. Заметь и доставь мне замечания... Я доволен тут одним нравственным применением, но стихи что-то холодны!» В ответном письме от 14—15 августа Пушкин подробно разбирает «Нарвский водопад», называя некоторые строфы «прелестными», другие подвергая критике. В письме от 28 августа — 6 сентября 1825 г. Вяземский отстаивает свои поэтические принципы: «Вбей себе в голову, что этот весь водопад не что иное, как человек, взбитый внезапною страстию. С этой точки зрения, кажется, все части соглашаются и все выражения получают une arrière pensée ⟨подоплеку⟩, которая отзывается везде». В ответном письме от 13 и 15 сентября Пушкин вновь подчеркивает «неточность некоторых выражений» ст-ния, вызванную подменой «воды» — «страстным человеком» (Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 200—201, 209—210, 222—223, 226). Некоторые пушкинские замечания были учтены Вяземским при публикации ст-ния, в частности с ними связана переделка строфы 8.

О. С. Пушкиной. СЦ-1826. Два автографа: один без загл., в письме Вяземского жене от 12 августа 1825 г. (ЦГАЛИ; опубл.: ОА-5. С. 85—86), другой в «Записной книжке» 1825—1831 гг., под загл. «Оль⟨ге⟩ Серге⟨евне⟩ Пушкиной в день отъезда ее из Ревеля», с датой: «7 августа ⟨1825⟩» (ЗК. С. 120); оба автографа с вар. в строфах 3 и 4. *Пушкина* Ольга Сергеевна (1797—1868) — сестра поэта, лето 1825 г. вместе с Вяземским проводила в Ревеле.

К мнимой счастливице. СЦ-1826. Два автографа: один — фрагмент (строфы 1—4) в «Записной книжке» 1825—1831 гг., с вар. и датой: «16-го августа ⟨1825⟩» (ЗК. С. 120), второй — в РСб-1, с небольшой синхронной правкой, приближающей к окончательному тексту. Прочитав ст-ние в альм., Пушкин в письме к Вяземскому (май 1826) отметил: «Стихи... слишком умны. А поэзия, прости господи, должна быть глуповата».

Станция. Альм. «Подснежник». Спб., 1829 (перепеч. отд. брошюрой: Спб., 1829). -- Печ. по «Подснежнику» с учетом правки в РСб-1855(I), отражающей последнюю авторскую волю. Вошло в ВДД (без подзаг., эпиграфа и авторских примеч.), но в НР текста нет. Две авториз. копии: одна в материалах к ПСС, без автор-

ских примеч., со сноской к ст. 23: «Стих из басни Дмитриева», с зачеркнутыми десятью последними ст., правкой в загл. («1828» вм. «1825») и в тексте (не доведена до конца); вторая в РСб-1855(1), с текста альм., с правкой в ст. 10 и с пометой Вяземского на полях: «Переписать для нового собрания». Вероятно, по первоначальному авторскому плану, текст РСб-1855 должен был служить основой для НР, но в дальнейшем Вяземский решил его кардинально переработать; об этом он сообщал в письме М. Н. Лонгинову от 23 ноября 1861 г. (ПД); в связи с обострившейся болезнью замысел этот не был реализован. В ПСС-4 ст-ние датировано 1828 г., исходя из датировки указанной выше авториз. копии (возможно, к 1828 г. относится его завершение, см.: ЗК. С. 144). Однако в «Примечаниях» к ст-нию Вяземский прямо говорит: «Эта глава путешествия точно писана за несколько лет». В. В. Измайлов в письме Вяземскому от 3 июня 1829 г. указывал, что Москва «всколыхнулась... от „Станции"» (ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 90). Ст. 16—35 «Станции» Пушкин включил в примеч. к «Евгению Онегину» (к гл. 7, строфе 34); отсюда же взят, в несколько измененном виде, эпиграф к «Станционному смотрителю» («Коллежский регистратор Почтовой станции диктатор»). Ст. 176—177 («Чего не стерпит лист бумаги И рифма под моим пером») пародийно обыгрываются в ст-нии Д. Д. Минаева в фельетоне «Из записной книжки отставного майора Михаила Бурбонова» («Искра». 1864, № 38). С. 497. *Стих: для проходящих* — из басни И. И. Дмитриева «Прохожий» (1803). *Мак-Адам* — см. с. 503. *Задунайский* — см. с. 465. *За тенью царственной жены* — Екатерины II. *Мы доберемся до луны.* Здесь: луна (полумесяц) — символ Оттоманской империи и ислама. *За греков молвим речь в Стамбуле* — намек на возможную помощь России в национально-освободительной борьбе греков против турецкого владычества. *Кагул* — река, на которой в 1770 г. войска П. А. Румянцева разгромили главные силы турецкой армии. *Выбылой* (убылой) — см. с. 490. *Истории тьму-таракани Учиться по твоей стене?* Тмутаракань — древнерусское княжество X в. Здесь — каламбур: вероятно, речь идет о лубках на сказочные и древнерусские сюжеты, развешанных на стене станционной избы, и о реальных тараканах. *Лары* (римск. миф.) — здесь: божества, покровители дорог. *Нотарий* (старослав.) — писарь. *Комиссарж* — полицейский. *Сарматской* — в словоупотреблении того времени — польской. *Герои Кракова и Вильны* — вероятно, намек на Тадеуша Костюшко (1746—1817), руководителя Польского восстания 1794 г., начавшегося в Кракове, и Адама Мицкевича (1798—1855), деятеля национально-освободительного движения, центр которого был в Виленском университете. *Посполита* (посполитая) — всенародная; здесь обыгрывается название польского государства (Rzeczpospolita). *Мой Пушкин, строф твоих достойных.* Имеются в виду строфы 30—34 гл. 1 «Евгения Онегина». *Тут романтическая связь: Единства места не держась.* Романтики отменили классицистический принцип соблюдения единства места в драматургии. Примечания: *Поэт... должен быть... Кесарем: писать комментарии на самого себя.* Вяземский имеет в виду произведения Юлия Цезаря: «Комментарий к Галльской войне» и «Комментарий к гражданской войне». *Словарь Линде* — один из лучших словарей славянских языков того времени «Słownik Języka Polskiego» (Варшава, 1804 — 1814) польского филолога Самуила Богумила Линде (1771—1847).

Две луны. ПСС-3. — Печ. по последнему слою правки автографа в РСб-1, которая в ст. 20 не доведена до конца (воспроизведен зачеркнутый вар.). Издатели ПСС располагали копией, датированной 1825 г.

* ⟨Деревня. Отрывки⟩. 1 — альм. «Северная лира». Спб., 1827, под загл. «Деревня (отрывок)», без ст. 32—58 и 70. 2 — МТ. 1827, № 2, с подзаг. «Отрывок». 3 — альм. «Литературный музеум». М., 1827, с подзаг. «Отрывок из стихотворения „Деревня"». 4 — альм. «Памятник отечественных муз». Спб., 1827, под загл. «Отрывок из стихотворения „Деревня"». В ПСС все четыре отрывка опубликованы как отдельные ст-ния. Впервые на тематическое единство 1, 3 и 4 «отрывков» обратила внимание В. С. Нечаева, которая высказала предположение, что они восходят к тексту одного произведения, предложила их композицию и датировала 1817 г. (Изд-1935. С. 485). Действительно, замысел большого ст-ния «Остафьево» (или «Деревня») относится к 1816—1817 гг.: Вяземский предполагал напечатать его в арзамасском журнале (Отчет-1884. С. 158, 2-я паг.); тогда же был написан отрывок о Карамзине («...Ты, коего искусство...»). Печатая его в 1827 г., автор предваряет текст замечанием: «Сей отрывок написан 1817 года, когда автор намеревался поселиться на несколько лет в деревне; но вскоре неожиданные обстоятельства, иначе распорядившиеся жизнью, принудили его, по крайней мере на время, оставить планы свои и стихотворение недовершенными» («Памятник отечественных муз». С. 258). Следующим был написан первый из публикуемых отрывков. Судя по дошедшему до нас черновому автографу, он, в большей своей части, относится к началу 1820-х гг.: об этом свидетельствует как почерк, так и содержание отрывка, отсылающее к жизни поэта в Остафьеве после удаления из Варшавы. Черновой автограф включает в себя расширенный вар. первого отрывка (96 ст. вм. опубл. 50-ти) и 32 ст., в дальнейшем отошедших к отрывку «Байрон»; по этому автографу с пропуском трех ст. и с нерасшифрованными восемью словами первый отрывок был опубл. В. С. Нечаевой (Изд-1935. С. 123—126) и перепечатан в Изд-1982 (с. 159—161). Кроме того, в РСб-1 сохранился беловой автограф ст-ния под загл. «Деревня», в сост. 279 ст., включающий первый фрагмент (перебеленный черновой автограф), второй («Байрон») и часть третьего (отрывок «Библиотека» обрывается перед фрагментом о русской литературе). Известно, что замысел ст-ния «Байрон» возник у Вяземского сразу после смерти поэта: в письмах А. И. Тургеневу от 26 мая 1824 г. (ОА-3. С. 48—49) и жене от 6 июня 1824 г. (ОА-5. С. 11) он призывал Жуковского и Пушкина достойно воспеть эту кончину. Первоначальные наброски ст-ния, вероятно, относятся к осени 1824 г. «Что, душа моя, твое поминание о Байроне?» — спрашивал Пушкин Вяземского в черновом письме от 28 ноября этого года (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 403). Первоначальный (не дошедший до нас) вар. ст-ния поэт закончил 12 августа 1825 г. в Ревеле, о чем сообщал жене: «Выдрожал или выпотел стихов 50 о Байроне» (ОА-5. С. 86). Указанный беловой автограф датируется осенью 1825 г., о чем свидетельствует авторская помета против ст. «Так вспыхнуть из тебя оно было готово»: «При этом слове узнал я о смерти государя. 30-е ноября. Остафьево» (речь идет о смерти Александра I в Таганроге). Таким образом, осенью 1825 г., перебелив черновик первого отрывка, Вяземский присоеди-

нил к нему переработанный текст ревельского ст-ция о Байроне и продолжил его строками, в дальнейшем отошедшими к отрывку «Библиотека». О последующей работе над целостным текстом «Деревни» сведений нет. Готовя второй отрывок («Байрон») к публикации, Вяземский вернулся к указанному беловому автографу, отметил на нем крестиками границы выделенного для МТ фрагмента, существенно переработал текст (густая правка в этой части автографа приближает его к печ. тексту «отрывка») и пометил на полях против ст. «Поэзия! твое святилище природа...»: «Байрон (отрывок)». Вероятно, правка и пометы эти относятся к концу 1826 г., когда Вяземский публикует текст «Деревни» в виде фрагментов в различных повременных изданиях (в декабре 1826 г. все альм. возвращаются из цензуры). Итак, предложенная Нечаевой композиция отрывков находит частичное подтверждение в истории текста. Однако при публикации ст-ния необходимы следующие коррективы: 1) ввести редакторское загл., подчеркивающее условность реконструкции ст-ния, поскольку нет прямых текстологических аргументов (а именно: автографа, включающего все четыре объединенных отрывка), подтверждающих единство и целостность текста; 2) включить, кроме трех отмеченных Нечаевой отрывков, фрагмент «Байрон», содержащийся в описанном беловом автографе ст-ния «Деревня»; 3) публиковать первый отрывок, как и все остальные, по печ. тексту (а не по автографу); по беловому автографу восстанавливаются лишь ст. 32—58 и 70, которые, судя по всему, были изъяты цензурой (фрагмент ст. 32—58 по тону близок «Негодованию»): в авториз. копии (с печ. текста) в РСб-1855 (I) в местах ценз. купюр Вяземский на полях отметил: «Недостает стихов» (после ст. 31) и «Опять недостает» (после ст. 69); 4) датировать ст-ние двойной датой, так как к 1817 г. относится замысел, не дошедшие до нас первые наброски и последний фрагмент ст-ния («...Ты, коего искусство...»), также не сохранившийся в рукописи; остальные части ст-ния были написаны по возвращении поэта из Варшавы, т. е. между 1821 и 1826 гг. 1. *И как смешон кумир.* Вероятно, речь идет об Александре I. *Безропотно снесу даров судьбы утраты.* Вяземский намекает на свое отстранение от службы в 1821 г. *На глупца свалившейся звезде* — т. е. орден высшей степени, к которому полагалась звезда. 2. *Иракловы столпы* (греч. миф.) — две скалы, воздвигнутые Гераклом в память о странствии через Европу в Ливию, которые считались пределом мира. 3. *Царедворец гибкой.* Вяземский имеет в виду быстрое возвышение Горация благодаря дружбе с Меценатом; будучи незнатного происхождения, в юности трибун Брутова войска, республиканец и сатирик, он в зрелые годы приобрел репутацию первого поэта при дворе Августа. *Марциал* Марк Валерий (ок. 40 — ок. 104) — римский поэт-сатирик. *Проперций* Секст (ок. 50 до н. э. — ок. 15 н. э.) — римский поэт-лирик. *Тибулл* — см. с. 453. *Парни* — см. с. 458. *Шенье* Андре Мари (1762—1794) — французский поэт; его последние слова упоминаются также в ст-нии Пушкина «Андрей Шенье» (1825). *Писатель-Бриарей.* Речь идет о Вольтере; Бриарей (греч. миф.) — титан с пятьюдесятью головами и сотнею рук. *Протей* — см. с. 463. *Плутарховых времен достойная Коринна* — Анна Луиза Жермена де Сталь (1766—1817) — французская писательница, автор романа «Коринна, или Италия» (1807). Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий историк, автор «Сравнительных жизнеописаний», в которых он воссоздал идеализированные образы государственных дея-

телей. *Изгнанница тревожила из ссылки.* Конфликт с Наполеоном возник из-за выступления мадам де Сталь за права женщин, в частности против принципа нерасторжимости брака. Наполеон, заключивший в это время союз с папой, рассматривал выступления писательницы как антиправительственные. *Певец Елисаветы* — Ломоносов. *Адрес-календарь* — см. с. 468. *Петров* Василий Петрович (1736—1799) — автор торжественных од. *Душеньки певец* — И. Ф. Богданович. 4. *Тебе вверял меня хладеющей рукой.* Перед смертью А. И. Вяземский поручил Карамзину быть наставником молодого князя. *Супруга нежная* — вторая жена Карамзина Екатерина Андреевна (урожд. Колыванова; 1780—1851), единокровная сестра Вяземского.

Альбом. СЦ-1826.

Семь пятниц на неделе. СЦ-1826. В письме Вяземскому от 24 (?) мая 1826 г. Пушкин писал: «„Семь пятниц" — лучший твой водевиль». Высокую оценку ст-ние получило и на страницах периодики (см.: «Дамский журнал». 1826, № 9. С. 124; СП. 1826, 10 апреля). *Брюсовский альманах* — календарь 1709 г., названный по имени Я. В. Брюса (1670—1735), «под надзором» которого печатался; содержит всевозможные предсказания. *Графов* — Д. И. Хвостов (см. с. 443). *Флюгарин иль Фиглярин* — Булгарин (см. с. 495). *Лель* — см. с. 459. *Семь мудрецов* — т. е. древнегреческие мудрецы VII—VI вв. до н. э.: Солон, Фалес, Питтак, Биас, Хилон, Клеобулл, Периандер (или Мизон). *Семь чудес.* В древности к этим чудесам причислялись: египетские пирамиды, «висячие сады» Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, статуя Зевса работы Фидия в Олимпии, надгробный памятник царя Мавзола в Галикарнасе, Колосс Родосский, маяк в Александрии. *Владыке снилось семь коров.* По библейскому сказанию, египетскому фараону приснился вещий сон: семь тощих коров пожрали семь тучных; сон предвещал семь голодных лет после семи урожайных. *Рим семь холмов подошвой давит.* Древний Рим располагался на семи холмах. *Семь городов входили в спор.* По преданию, семь городов Греции оспаривали друг у друга честь считаться местом рождения Гомера.

Запретная роза. МТ. 1826, № 5, подпись: В. В ст-нии в иносказательной форме излагается история несчастного брака московской светской красавицы Елизаветы Петровны Киндяковой (1805 — 1854), племянницы Е. А. Тимашевой (см. с. 494). Ее брак с И. А. Лобановым-Ростовским в 1828 г. был расторгнут Синодом. В послании Пушкина «К. А. Тимашевой» (1826) использован образ настоящего ст-ния: «Соперницы запретной розы Блажен бессмертный идеал» (ср. в его письме Вяземскому от 9 ноября 1826 г: «Что Запретная роза? Что Тимашева?»). О политическом резонансе, который получил образ «запретной розы», см.: Гиллельсон. С. 160—161. *Пчела любви* — намек на А. В. Пашкова (1792—1868), будущего мужа Е. П. Киндяковой.

«Кто будет красть стихи твои?..». Альм. «Памятник отечественных муз». Спб., 1827. Адресат не установлен.

Коляска. МТ. 1826, № 20, ранняя ред. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. В МТ имеются загл.: «Отрывок из путеше-

ствия в стихах. Глава 1. Коляска»; эпиграф: (из гл. 14, ч. 3 «Жизнеописания Витторио Альфьери»): «Ma non trovando mai un po'di pace se non se nel moto e ⟨nella⟩ divagazione del correr la posta... (Vita di Vittorio Alfieri)» («Но, не находя нигде покоя, кроме как в движении и рассеянии, даваемом путешествием...» Жизнеописание Витторио Альфиери) и следующее авторское примеч.: «Разумеется, что это путешествие вымышленное: ученый не найдет в нем статистических сведений, политик — государственных обозрений, философ — наблюдений нравственных относительно того и другого народа, сатирик — лукавых намек, эпиграмматических применений и проч. Не для них оно писано, а для благосклонных охотников до путешествий за тридевять земель, в тридесятое царство и покоряющихся правилу: не любо, не слушай, а врать не мешай. Сочинитель». Здесь же имеется и редакторское примеч.: «Можем обещать читателям „Телеграфа", что в книжках нашего журнала на 1827 год будут печатаемы следующие главы из сего „Путешествия"». Однако главы «Станция» и «Соловка» появились в альм. «Подснежник» только в 1829 г., а в МТ — в 1827 г. Вяземский напечатал свое старое ст-ние «Первый отдых Вздыхалова» под загл. «Эпизодический отрывок из путешествия в стихах...» (см. с. 59, 445). Авториз. копия в РСб-1855(III) с печ. текста, с вычеркнутым загл., примеч., эпиграфом, вписанным подзаг. и со значительной правкой, приближающей текст к НР. *Трапписты* — монашеский орден, устав которого предписывал полное молчание. *Роберт* (роббер) — три законченные партии, составляющие один круг в карточных играх. *И роберт жизни на крестах* — каламбур: кресты (трефы) — карточная масть и кресты — ордена. *Приписанный к приличьям в крепость* — т. е. крепостной светских приличий. *Знакомый песнью нам пострел Смешным отказом гнать умел Заимодавцев из прихожей.* К этим ст. в МТ имеется авторское примеч.: «„Le ménage de garçon" — песня, переведенная Д. В. Давыдовым». Речь идет о строках из «Моей песни» Давыдова (1811), явившейся подражанием популярным куплетам Жозефа Пэна:

Толпе заимодавцев знаю
И без швейцара дать ответ;
Я сам дверь важно отворяю
И говорю им: дома нет!

Прекрасным всадником гордясь. Шуточная переделка ст. из ломоносовской «Оды, в которой ее величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Сарском селе августа 27 дня 1750 года». Здесь о коне Елизаветы Петровны говорится: «И топчет бурными ногами, Прекрасной всадницей гордясь». *Йорик* — см. с. 445.

Море. СЦ-1828. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР, с зачеркнутой датой (публикации): «1828». Автограф — набросок ст. 1—2 в «Записной книжке» 1825—1831 гг. под датой «4 августа» ⟨1825⟩» (ЗК. С. 118); автограф — набросок заключительной строфы в «Записной книжке» 1818—1828 гг. (ЗК. С. 101). Автограф (ЦГАЛИ, арх. А. С. Пушкина) в письме Вяземского Пушкину от 31 июля 1826 г. (впервые: Пушкин. Переписка. Спб., 1906. Т. 1. С. 359—361), с вар.: нижняя часть письма срезана, и в автографе отсутствуют строфы 4—6, 10—12. Авториз. копия в РСб-1855(I) с печ.

текста, с авторской правкой, частично учтенной в НР. Возможно, первоначальный набросок ст-ния был сделан в конце лета 1825 г., о чем свидетельствуют не только наброски в записных книжках, но и фраза из письма И. И. Дмитриева Вяземскому от 11 сентября 1825 г., содержащая просьбу прислать стихи «на Ревельский рейд» (СН. 1898, кн. 2. С. 155). *Кровь ближних не дымится в ней* — намек на казнь декабристов. Именно так понял подтекст ст-ния Пушкин, который в письме Вяземскому от 14 августа 1826 г. откликнулся на него посланием «Ты море, древний душегубец...» со следующим комментарием: «Правда ли, что Николая Т⟨ургенева⟩ привезли на корабле в ПБ? Вот каково море наше хваленое!» *И если смертный возмутит* — возможно, намек на Наполеона. *Лик младой богини* — Афродиты, рожденной из морской пены.

Характеристика. СЦ-1826. Эпиграмма направлена против поэта и критика Павла Александровича Катенина (1792—1853). Поводом для ее написания послужил анонимный обзор русской литературы, опубликованный в кн: Balbi A. Introduction à l'Atlas Ethnographique de Globe. Paris, 1826. V. 1, автором которого был друг и издатель Катенина Н. И. Бахтин; Катенин здесь назван одним из первых русских стихотворцев, наряду с поэтами XVIII в., а также с Жуковским, Батюшковым и Пушкиным.

Теперь мне недосуг. МТ. 1827, № 5, с опечаткой в ст. 24 (исправлено по списку опечаток. — Там же. С. 166). Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с авторской правкой, не доведенной до конца. *Пилад* (греч. миф.) — друг Ореста; в переносном смысле — верный друг. *Рунд* — дозор, караул.

Выдержка. МТ. 1827, № 18. Авториз. копия в РСб-1855 (I) с печ. текста, с авторской правкой в последней строфе, не доведенной до конца. О возможной пародии на это ст-ние в «Московском вестнике» см. подробно в кн.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1889. Т. 2. С. 116. *Матадор* — козырная карта в игре в ломбер; переносное значение — важный, уважаемый человек. *Носки* — карточная игра, по условиям которой проигравшего бьют по носу. *Жлуди* — карточная масть (трефы). *Есть бубны — славным за горами* — обыгрывается выражение «Славны бубны за горами», смысл которого: все далекое кажется заманчивым. *Вины* (вини) — карточная масть (пики). *Не усидит, когда загну.* Загнуть угол карты в игре в банк означает увеличить ставку. *Лабет* — недобор взяток в карточной игре и штраф за этот недобор. *Вот партьи дамской игрочки.* Речь идет о сотрудниках «Дамского журнала» — П. И. Шаликове и М. Н. Макарове (см. о них с. 444, 445). *Два бедные Макара... Валятся шишки и щелчки.* Обыгрывается пословица «На бедного Макара шишки валятся». *С последней жертвой, на мель стал.* Против ст. в авториз. копии помета переписчика: «Кн. Шаликов». Речь идет о сб. ст-ний П. И. Шаликова «Последняя жертва музам» (М., 1822). *Белыми стихами Вписал свой проигрыш в журнал.* Речь идет о напечатанных в ВЕ (1827, № 7, 8, 13, 15, 16) стихотворных опытах М. Н. Макарова — безрифменных имитациях народных песен. Адресат ст. указан на той же авториз. копии. *Муха и горка* — карточные игры. *Умный выйграл ноги* — поговорка картежников при проигрыше: «Хоть выиграл ноги — есть на чем бежать». *Плевки* — игра, состоящая в состязании, кто дальше плюнет. *Коммерческая* игра — требующая

расчета (в отличие от азартной). *Вскрыл удачно на жену.* Обыгрывается карточное выражение: «Вскрыл карты на червя», т. е. открыл козыри в этой масти. *Не убьешь бобра* — т. е. не приобретешь что-либо ценное. Иное толкование дает этому выражению Вяземский в письме П. И. Бартеневу (1876): «Помню, что говорили: не убил бобра, т. е. глуп» (ЦГАЛИ, арх. П. И. Бартенева).

К Илличевскому. МТ. 1827, № 9. Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с авторской правкой, не доведенной до конца. *Илличевский* Алексей Демьянович (1798—1837) — лицейский товарищ Пушкина, автор сб-ка ст-ний «Опыты в антологическом роде» (Спб., 1827). Ст-ние является ответом на присылку этой книги и сопроводительного письма от 7 апреля 1827 г., в котором Илличевский писал: «Поэт, идущий по следам вашим и обязанный первыми своими опытами прекрасным образцам, созданным вами в стихотворениях, которые по необыкновенному остроумию, живости и силе занимают на Парнасе нашем в эпиграммическом роде бесспорно первое место — приемлет смелость... поднести вашему сиятельству экземпляр вновь отпечатанных своих стихотворений...» (ЦГАЛИ). *Шутиха* — фейерверочная ракета.

1828 год. «Русский зритель». 1828, № 1. Авториз. копия в РСб-1855 (I) — с неавторской публикации в «Славянине» (1830. № 1, под загл. «1830 год»); Вяземский исправляет искажение текста в этой копии и зачеркивает подстрочные примеч., уточняя: «Выноски эти должны принадлежать редактору Воейкову». *Вот вам из отдаленья.* Ст-ние написано в имении Мещерском Саратовской губ., принадлежавшем отчиму В. Ф. Вяземской, жены поэта; здесь он встречал Новый 1828 год. *Убылые* — выбывшие из военной службы. *Будь в этот год* и т. д. Ст. 57—60 — автоцитата из ст-ния «Василий Львович, милый! Здравствуй...» (с. 152). *Кребильон* Проспер (1674—1762) — французский трагик. *Десть* — 24 листа. *Капризная ять.* В правописании слов с буквой ять часто допускались орфографические ошибки.

«Двуличен он! Избави боже...». СЦ-1829. Возможный адресат — Ф. В. Булгарин (см. с. 495).

Послание к А. А. Б(ашилову) при посылке портрета. СЦ-1829. Авториз. копия в материалах к ПСС, с раскрытием адресата. *Башилов* Александр Александрович (1777—1847) — известный в Москве хлебосол, знакомый Вяземского; с 1831 г. председатель Строительной комиссии, позже сенатор; автор мемуаров о времени Екатерины II и Павла I; от его имени написаны строки в ст-нии Вяземского «Дружеская беседа». Портрет, о котором идет речь, вероятно, литография К. Беггрова (см. вклейку между с. 128 и 129). *«Весь век стал бригадир»* — неточная цитата из оды Державина «На счастье» (1789): «И целый свет стал бригадир». *И бригадирство не в помине.* Чин бригадира (выше генерал-майора и ниже генерал-лейтенанта) был упразднен Павлом I. *Литографирован весь мир.* К середине 1820 — началу 1830-х гг. относится расцвет русской портретной литографии. *Слёнин* Иван Васильевич (1789—1836) — владелец книжной лавки на Невском проспекте, издатель. *Своекоштный* — содержащий себя на собственные средства. *На камне, взятом напрокат.* Техника литографии сводится к рисунку на камне специальным карандашом. *Fac simile* — точное воспроизведение графического оригинала.

Зимние карикатуры. Альм. «Денница». М., 1831. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. -- Печ. по «Деннице» с учетом авторской правки в РСб-1855 (III), копия с альм., где под текстом имеется помета Вяземского: «Можно бы внести в отделение „Дорога", но многое нужно исправить». В связи с обострившейся болезнью, замысел переработки не был реализован. Написано зимой 1828 г., когда Вяземский жил в Саратовской губ., наезжая в Пензу. 2 января 1831 г. Пушкин писал ему по поводу «Зимних карикатур»: «Стихи твои прелесть... Обозы, поросята и бригадир удивительно забавны». Описание пиров в «Зимних карикатурах» он вспомнил в черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 240). Восторженно отозвался о ст-нии М. А. Максимович в письме поэту от 9 января 1831 г. (СН. 1901, кн. 4. С. 188). Однако на страницах периодики оно получило отрицательную оценку в рецензии Н. А. Полевого (МТ. 1831, № 4. С. 542), который назвал его «стихотворным коверканьем». *Мерзлый пар* — цитата из оды Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» (1743). *Не хуже чем Дюпень* и т. д. Речь идет о книге французского математика и экономиста Шарля Дюпена (1784—1873) «Производственные и торговые силы Франции» (1827); об особом интересе к этой книге в России см.: Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени // Алексеев М. П. Пушкин. М., 1984. С. 134—140. *Русский бог* — об этой формуле подробнее см. в примеч. к следующему ст-нию. *И сколько звезд* — орденских. *Покоем беспокойным.* Покой — старославянское название буквы П. *Простор локтям! — изрек французской кухни суд* — намек на ст-ние Ж. Ф. Панара «Законы стола», в подражание которому Вяземский написал ст-ние «Устав столовой» (с. 107). *По табели о рангах* — по чинам; Табель о рангах — уложение Петра I о гражданских, военных и придворных чинах, разделенных на четырнадцать классов. *Клико* — марка французского шампанского по имени владелицы виноградников. *Рокамболь* — карточная игра.

* Русский бог. [Листовка]. Лондон, 1854 (перепеч.: альм. «Полярная звезда». Лондон, 1856. Кн. 2 и РПЛ), сокращенная ред., по копии П. В. Долгорукова с рядом искажений. -- «Архив братьев Тургеневых». Пг., 1921. Т. 1, вып. 6: Переписка А. И. Тургенева с П. А. Вяземским, полный текст, с вар. -- Печ. по автографу (ЦГАЛИ; впервые: Изд-1935). Близкий к нему автограф в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 18 апреля 1828 г. (ПД, арх. бр. Тургеневых). Копия рукою А. И. Тургенева — сокращенная ред. с пометой переписчика: «Кн. Вяземский (когда-то!)» (там же). В арх. Вяземского сохранилась копия с печ. текста, с припиской известного пародийного четверостишия, высмеивающего самого поэта:

Бог карьеры слишком быстрой,
Бог, кем русский демагог
Стал товарищем министра,
Вот он, вот он — русский бог!

Четверостишие выписано из заметки «Правда ли?» («Колокол». 1857, 19 июня. Л. 1. С. 8) и, по всей видимости, принадлежит Н. П. Огареву (см. атрибуцию в примеч. С. А. Рейсера: Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. Л., 1956. С. 904). На экземпляре листовки с печ. текстом Вяземский против ст. 15 («Бар, служащих, как лакеи»)

пометил: «Не мой стих», а под текстом написал: «Нечестно, чтобы не сказать бесчестно, печатать за границею самовольно чужие стихи, написанные не для печати и которые могут быть во вред автора перетолкованы» (ЦГАЛИ, арх. Н. П. Барсукова). 18 апреля 1828 г., посылая ст-ние А. И. Тургеневу, Вяземский сообщал, что «сотворил» его «дорогою из Пензы, измученный и сердитый». И далее: «Эта песня может служить антиподом для страждущих тоскою по отчизне» («Архив братьев Тургеневых». Пг., 1921. Т. 1. Вып. 6. С. 65—66). Сокращенный вар. ст-ния широко расходился в списках; прозаический перевод его на немецкий язык, сделанный Н. И. Сазоновым для К. Маркса, хранится в Институте марксизма-ленинизма ЦК КПСС. *Русский бог* — идиоматическое выражение, приписываемое Мамаю после его поражения на Куликовом поле. Восходит к памятникам XI—XII вв. (см.: Успенский Б. М. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 119—122). В николаевскую эпоху формула «русский бог» входит в официальный лексикон. Примеры прямого и травестийного использования выражения в литературе нового времени (в частности, в творчестве Вяземского) см.: Рейсер С. А. «Русский бог» // ИОЛЯ. 1961, т. 20, вып. 1. С. 64—69. *Душ, представленных в залог* — т. е. имений с крепостными, заложенных в Опекунском совете. *Бригадирш обоих полов.* Имеется в виду комедия Фонвизина «Бригадир», высмеивающая провинциальное дворянство. *С анненской на шеях* — с орденом св. Анны 2-й степени, который носили на шейной орденской ленте. *Бог всего что есть некстати* — пародийное использование цитаты из ст-ния К. Рюльера «L'à propos»: «C'est le Dieu de l'à propos» (бог кстати, т. е. бог своевременности); рассуждение Вяземского о заключенном в этой французской идиоме «духе» французской нации в отличие от психологии русского человека см. в его статье «Поживки французских журналов в 1827 году» (ПСС-2. С. 69). *Бог в особенности немцев.* Строфа отражает враждебность Вяземского к высшей бюрократии, в рядах которой видную роль играли прибалтийские немцы.

«Казалось мне: теперь служить могу...». «Рукою Пушкина». М.; Л., 1935. -- Печ. по списку Пушкина (ПД), с заменой двух последних ст. окончательным вар., посланным Вяземским Н. А. Муханову 22 апреля (?) 1828 г. (РА. 1905, № 2. С. 328). Датируется концом апреля 1828 г., когда Пушкин и Вяземский получили отказ в месте при Главной квартире русских войск во время русско-турецкой войны. На списке помета Вяземского: «Мои стихи, Пушкиным переписанные». Характер рукописи позволяет трактовать слово «переписанные» в значении «переработанные» (а не «скопированные»). Редактуре подверглись ст. 1, 3, 9 и 10. Правка двух последних ст. не была доведена Пушкиным до конца. Их доработал сам Вяземский, сообщив Пушкину (в указанном письме, через Муханова) свой окончательный вар.: «Скажите Пушкину, непременно и, пожалуйста, немедленно: „Вот так, отнюдь, нам, братцы, людям темным, нельзя судить". „Отнюдь" тем слово хорошее, что оно историческое. Он вам все это объяснит» (РА, 1905, № 2. С. 328—329); ср. в первоначальной ред.: «Вот как нельзя нам, братцы, людям темным, Судить впопад о правилах двора». В окончательном вар. — ирония над канцелярским стилем отказа Николая I Вяземскому в назначении на службу. «Его императорское величество, — писал А. Х. Бенкендорф в официальном ответе 20 апреля 1828 г., — изволил уведомить вас, что он не может

определить вас в действующую против турок армию по той причине, что о т н ю д ь все места в оной заняты» (ЗК. С. 309).

«Я Петербурга не люблю...». Гиллельсон. -- Печ. по автографу в арх. Пушкина (ПД), на одном листе с предыдущим ст-нием. В июне 1828 г., получив отказ в зачислении на службу, Вяземский покидает Петербург, что служит основанием для датировки ст-ния. *Шкурин* Александр Сергеевич (1783—1853) — петербургский обер-полицмейстер. *Ликург* (IX—VIII вв. до н. э.) — легендарный спартанский законодатель.

Черные очи. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. Лонгинова. Адресат — Александра Осиповна Россет (в замуж. Смирнова; 1809—1882), приятельница Вяземского, Пушкина, Жуковского, Гоголя. Пушкин откликнулся на «Черные очи» ст-нием «Ее глаза» (1828), противопоставляя в нем южному облику Россет северную красоту А. А. Олениной. *Торквато* — Тассо.

Простоволосая головка. СЦ-1829. Два автографа: один — в письме Вяземского Пушкину от 26 июля 1828 г. (ЦГАЛИ, арх. А. С. Пушкина), второй — наборная рукопись для СЦ, с датой авторского списка: «Москва, 12-го февраля 1829 г.» (ГБЛ, арх. Н. П. Смирнова-Сокольского). Адресат — Пелагея Николаевна Всеволожская (урожд. Клушина), пензенская знакомая Вяземского. Датируется по указанному письму Пушкину, где сообщалось, что ст-ние написано «на днях» (Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 14. С. 24). В ответном письме от 1 сентября Пушкин писал: «Благодарю тебя умом и сердцем, т. е. вкусом и самолюбием за портрет Пелагеи Николаевны». В черновой ред. этого письма было: «Благодарю за стихи и за то, что ты сравнил красавицу с моим стихом» (Там же. С. 27, 266).

* К ним. ЛГ. 1830, 21 января. Два автографа: один — без загл., в письме (без начала) Вяземского А. И. Тургеневу (ПД. Р. 1, оп. 4, № 179); о посылке этого автографа см.: ЗК. С. 145; второй — с последующей правкой и пометами Пушкина; наверху слева рукою Вяземского помечено: «Мои стихи вчерне с замечаниями Пушкина», а справа — рукою Пушкина: «Ради Христа, очисти эти стихи — они стоят „Уныния“» (фототипически воспроизведен: Изд-1935), оба автографа — ранняя ред. Отправляя второй автограф Вяземскому, Боратынский в недатированном письме присоединяется к замечаниям Пушкина и также настаивает на переработке этой «пьесы... высокого лирического достоинства» (СН. 1902, кн. 5. С. 49); ср. в следующем письме Боратынского (Там же. С. 49—50) ряд стилистических соображений, касающихся текста ст-ния. Написано в период обострения конфликта между Вяземским и Николаем I, причиной которого были поступившие в адрес императора доносы на поэта. Один из них — анонимная записка, составленная управляющим III отделением фон Фоком, — содержал ложное сведение о намерении Пушкина, Вяземского, В. Ф. Одоевского, В. П. Титова, С. П. Шевырева и братьев Киреевских издавать политическую газету «Утренний листок» (Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922. С. 45—52). К этому вымыслу, автором которого был Ф. В. Булгарин (см. подробнее: Эйдельман Н. Я. Пушкин и его друзья под тайным надзором // ВЛ. 1985, № 2. С. 131—138), присоединилось обвинение Вяземского в «развратной жизни» (ЗК. С. 310—311). Не последнюю роль в ухудшении отношений

между императором и поэтом сыграли письма великого князя Константина Павловича А. Х. Бенкендорфу от 14 и 27 апреля 1828 г., в которых Пушкин и Вяземский фигурировали как люди неблагонадежные и «нравственно испорченные» (подлинник по фр. — РА. 1884, № 6. С. 322, 319). О возможной неблаговидной роли в этой истории К. В. Нессельроде Вяземский делает намек в одном из своих писем (ЛН. М., 1948. Т. 45/46. С. 340). Не понимая, в чем дело, поэт писал Жуковскому 16 ноября 1828 г.: «У меня есть недоброжелатели. Где они, кто они, из чего они хлопочут? Право, не знаю» (РА. 1900, № 2. С. 200). Под влиянием этих настроений было написано настоящее ст-ние. *Как мать преступная с любовью и боязнью Во чреве носит тайный плод.* Образ, возможно, навеян исповедью Мазепы в «Полтаве» Пушкина. *Тать* — вор.

Три века поэтов. Альм. «Радуга». М., 1830, с опечаткой в ст. 26 («году» вм. «чаду»); исправлена Вяземским на авториз. копии в РСб-1855 (II) с печ. текста. Вслед за Карамзиным (ст-ние «Поэзия», 1787) Вяземский использует миф, изложенный древнегреческим поэтом Гесиодом (VIII—VII вв. до н. э.), согласно которому человеческая история началась с золотого века, а кончается — железным. Дальнейшее развитие эта тема получила в ст-нии Боратынского «Последний поэт» (1835?) и нашла завершение в фельетоне Вяземского «Литературы идеальной...» (1866) (ПСС-12. С. 282—283). *Бриарей* — см. с. 486.

Слезы. Альм. «Денница». М., 1830. На слова ст-ния были написаны романсы, муз. Д. Ю. Струйского (1837) и А. Кор де Ляса (1876).

Слеза. СЦ-1830. Автограф с вар. ст. 6 и с датой авторского списка: «Москва. 8-го окт⟨ября⟩ 1860». На слова ст-ния написан романс, муз. В. А. Сабуровой (1834).

Дорожная дума. ЛГ. 1830, 11 января. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Внести в Дорогу».

Святочная шутка. СЦ-1831. Адресат — светская красавица и поэтесса Екатерина Александровна Тимашева (урожд. Загряжская; 1798—1881); ей посвящали стихи Пушкин, Боратынский, Языков и Е. П. Ростопчина. В СЦ сразу после «Святочной шутки» помещен «Ответ» Тимашевой («Нет, черта не видала я...»). В статье «Пересмешник» А. Ф. Воейков с похвалой упоминает ст-ние Вяземского (ЛПРИ. 1833, 19 августа). *Кто сват его: Европы ль Вестник, Или Онегин, наш шалун.* Эти и предыдущие ст. — ироническое переосмысление полемики о классицизме и романтизме, которую Вяземский вел на страницах МТ; главными его оппонентами были критики ВЕ. *Или старам стала глупам* — поговорка, идущая от казанского наместника при Екатерине II, князя Платона Степановича Мещерского: так его охарактеризовал казанский калмык (см.: ЗК. С. 170).

Леса. СЦ-1831.

Родительский дом. СЦ-1831, с опечатками в ст. 54 («род» вм. «ряд»), 87 («раздел» вм. «раздор»), 121 («стене» вм. «стезе»),

которые исправлены по авториз. копии в РСб-1855 (II) (снятой с текста СЦ), в соответствии с правкой Вяземского, и по черновому автографу (на об. ст-ния «К ним» с пушкинскими пометами) — с тремя дополнительными строфами (одна — после 18-й и две — после последней строфы; опубл. с неточностями: Изд-1935. С. 504—505), с авторской правкой, не доведенной до конца, с правкой рукою неустановленного лица в ст. 23 и 48. Эпиграф из ст-ния Жуковского «Торжество победителей» (1828, перевод баллады Шиллера). *Сатурн* (римск. миф.) — бог времени, пожирающий своих детей.

К журнальным благоприятелям. СЦ-1831. Написано в разгар ожесточенной полемики писателей пушкинского круга, объединившихся вокруг ЛГ, с триумвиратом журналистов: Ф. В. Булгариным, Н. А. Гречем и Н. А. Полевым. *Из глазуновского кладбища* — из книжной лавки петербургского книготорговца Ивана Петровича Глазунова (1762—1831), которая в поэзии арзамасцев не раз фигурировала в качестве кладбища забытых поэтов (ср. «Видение на брегах Леты» Батюшкова и «К другу стихотворцу» Пушкина). *Я вас повил перед народом... На копьях эпиграммы острой* — иронический парафраз слов князя Всеволода из «Слова о полку Игореве»: «А мои ти Куряни... подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копія въскръмлени...»

Осень 1830 года. СЦ-1831. Авториз. копия в РСб-1855 (I) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Во время холеры писано в Остафьеве». Речь идет о холерной эпидемии, свирепствовавшей осенью 1830 г., от которой Вяземский с семьей укрылись в своем подмосковном имении. Эпиграф — из повести В. Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (1828). *Протей* — см. с. 463.

Хандра. СЦ-1832.

Тоска. СЦ-1832. Две авториз. копии: одна — без загл., с вар. ст. 29; вторая — в РСб-1855 (I), с пометой у загл.: «Анненковой». Написано от лица Веры Ивановны Бухариной (в замуж. Анненковой; 1813—1902), которая к этому времени только начала выезжать в свет; она поддерживала отношения с выдающимися поэтами своего времени; ей посвящены ст-ния Вяземского 1832 г.: «К Бухариной» и «Вера и София».

«Фиглярин — вот поляк примерный...». Альм. «Полярная звезда». Лондон, 1859. Кн. 5, по неточному списку, с ошибочным указанием на авторство Пушкина (в таком виде перепеч. во всех изд-ях Вольной типографии и в двух изд-ях: «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений». Берлин, 1861; 1870). -- Печ. по автографу в письме к П. А. Плетневу от 31 января 1831 г. (ПД, арх. П. А. Плетнева; опубл.: ИОЛЯ, 1897, т. 2, вып. 1. С. 95). Авторство Вяземского устанавливается его позднейшим признанием в маргиналиях к берлинскому изд-ю Пушкина (СН. 1904, кн. 8. С. 38); в указанном письме к Плетневу он его скрыл. *Фиглярин* — Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель и журналист, одиозная репутация которого объяснялась его политическим ренегатством, службой в качестве негласного осведомителя III отделения и коммерческим характером литературной деятельности. Ст-ние перекликается с антибулгаринскими выступлениями Пушкина, который в письме от 1 июня 1831 г., также скрывая авторство Вязем-

ского, сообщал ему пущенный по Петербургу слух о ссылке Булгарина, поводом для которой якобы послужила настоящая эпиграмма. *Сарматы* — здесь: поляки. *Под орлом французским.* Подразумевается знамя наполеоновской армии, древко которого украшалось сверху бронзовой фигурой орла. Ст. использован Пушкиным в статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (июнь 1831). *Двойной присягою играя.* Будучи по происхождению поляком, Булгарин в 1800-е гг. начал службу в русской армии, затем бежал в Варшаву и вступил в польский легион в чине капитана французской армии; в 1815 г. он вернулся в Россию и при посредничестве А. Х. Бенкендорфа в 1826 г. вновь вступил в русскую службу по ведомству министерства просвещения.

Еще дорожная дума. Альм. «Альциона». Спб., 1833, под загл. «Дорожная дума». -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Авториз. копия в РСб-1855 (II) с текста альм. с авторской правкой загл. и пометой: «Внести в „Дорогу“».

Поручение в Ревель Николаю Николаевичу Карамзину. Альм. «Альциона». Спб., 1833. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. *Карамзин* Николай Николаевич (1817—1833) — сын Н. М. Карамзина. В письме И. И. Дмитриеву от 2 февраля 1833 г. Вяземский характеризовал ст-ние как пародию на «ультраромантическую» поэзию «французских поэтов новейшей школы» (РА. 1868, № 4/5. Стб. 627), но критики восприняли его серьезно. В рецензии К. А. Полевого на «Альциону» говорится, что это «стихи, от которых не добьешься ни мысли, ни даже гармонических чувств» (МТ. 1833, № 1. С. 155). Из позднейших откликов на «Поручение» см. пародию В. С. Курочкина в его фельетоне «В гостях и дома» («Искра». 1862, № 40; название фельетона пародирует загл. ВДД). На последнем этапе работы над ВДД Вяземский раздумал включать в него «Поручение в Ревель», о чем свидетельствует помета на авториз. списке «Оглавление»: «Не нужно — да оно как поручение и некстати, потому что писано на месте». Однако, вопреки авторской воле, ст-ние оказалось напечатанным в разделе «В дороге». *Олай* — церковь св. Олая (Олевисте) с высоким шпилем в Ревеле (Таллине). *Изувеченному В поединке с грозой.* В 1820 г. от удара молнии шпиль церкви Олевисте сгорел и был восстановлен лишь в 1840 г. *Лысгач* — лысеющий со лба человек. *Штрихберг, Вимс, Тишерт, Фаль* — живописные поместья в окрестностях Ревеля (Таллина). *Рюисдаль* (Рейсдал) Якоб (1628 или 1629 — 1682) — голландский пейзажист.

Разговор 7 апреля 1832 года. Н-1833. Копия в арх. бр. Тургеневых (ПД), подпись: К. В..., без посвящения, с вар. *Завадовская* Елена Михайловна (1807—1874), графиня — одна из петербургских красавиц, ей посвящены ст-ния «К Г***» Пушкина (1832) и «Твоя красою блещет младость...» И. И. Козлова (1832?). По мнению Вяземского, она явилась прототипом Нины Воронской в «Евгении Онегине» (см. подробнее: Боровкова-Майкова М. Нина Воронская // «Звенья». М.; Л., 1934. Вып. 3/4. С. 172—175). Ст-ние вызвало реплику Д. В. Давыдова в письме Вяземскому от 22 марта 1833 г.: «Да перестанешь ли ты писать к бабам конфетные билетцы!.. Пиши страстные стихи к Завадовской... но черт ли в этих комплиментах большого света» (РЛ. 1980, № 2. С. 158. Публ. Е. В. Свинсова). *Я Петербург люблю, с его красою стройной.* К этой строфе Пушкин

отсылает в примеч. к ст.: «Спешит, дав ночи полчаса» («Медный всадник»).

К старому гусару. Н-1833. Автограф — наборная рукопись для Н, с датой: «1832, Петербург» и с авторской припиской: «Пришлите мне корректурные листы» (ГБЛ, арх. Музейного собрания). Адресат — Д. В. Давыдов; послание написано по случаю выхода его «Стихотворений» (1832). 7 декабря 1832 г. Давыдов писал Вяземскому: «За стихи благодарю... Ты мне писал уже много посланий во время оно, но те все были выточены на каком-то классическом станке, тогда как эти истинно по мне, по душе и по вкусу... В них что-то солдатское, бивачное, разгульное и вместе с тем что-то тоскливое о нашем молодецком житье-бытье, увы, невозвратном» (СН. 1917, кн. 22. С. 52); ср. также похвалу этому ст-нию в письме Давыдова Вяземскому от 22 марта 1833 г. (РЛ. 1980, № 2. С. 158). «Прекрасной пьеской» назвал ст-ние Н. И. Надеждин в рецензии на Н («Телескоп». 1833, № 5. С. 98). Отрицательную оценку ст-ние получило в рецензии Н. А. Полевого, который писал: «Он (Вяземский) шутит тяжело и через сорок лет все тот же» (МТ. 1833, № 5. С. 106); «эпиграммический ответ» на эту критику см. в письме Вяземского А. Я. Булгакову от 16—17 апреля 1833 г. (РА. 1879, № 6. С. 240). *Будто дружеской артели Все ребята налицо.* Речь идет о собраниях начала 1810-х гг. в московском доме Вяземских, в которых принимали участие Д. В. Давыдов, В. Л. Пушкин, Ф. И. Толстой, Жуковский и др. *Черт ли в тайнах идеала* — намек на увлечение романтической поэзией. *Моэт* — знаменитая марка шампанского по имени винодельца. *Невинно* — каламбур: без вина. *На водах.* В конце 1820-х гг. в Москве были открыты лечебные заведения на естественных минеральных водах (см.: «Дамский журнал». 1828, № 11. С. 218—220).

Два разговора в книжной лавке. Альм. «Альциона». Спб., 1833, без подписи. *Гизо российский* — Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), отношения с которым литераторов пушкинского круга приняли к этому времени характер открытой вражды. Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель. *Когда-нибудь и он напишет да издаст* — намек на прекращение в 1832 г. «Истории русского народа» Полевого на 6-м томе, вместо обещанных 12-ти. По замыслу автора труд этот должен был полемически противостоять «Истории...» Карамзина; ироническую рецензию Вяземского на «Историю русского народа» Полевого см.: ПСС-2. С. 145—149.

«Надо помянуть, непременно помянуть надо...». «Берег». 1880, 17/29 июля. — Печ. по автографу в письме к Жуковскому от 26 марта 1833 г., хранящемуся в коллекционном альбоме П. П. Вяземского (факсимильно воспроизведен в изд.: «Семь автографов А. С. Пушкина. 1816—1837. Из собрания П. П. Вяземского 26 мая 1880 г.». Спб., 1880). Ст. 54—79 принадлежат Пушкину и написаны в автографе его рукою. Посылая «памятку» Жуковскому, Вяземский указывал на участие в тексте И. П. Мятлева (1796—1844), который был, по словам поэта, «notre chef d'école» (глава школы). Факт этот находит подтверждение в воспоминаниях А. О. Смирновой-Россет: «Гоголь давал своим героям имена все вздорные и бессмысленные... Он всегда читал в „Инвалиде“ статью о приезжающих и

отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в „Инвалиде“, когда они писали памятки. У них уже была, напр(имер), довольно длинная рацея:

Михаила Михайловича Сперанского
И пост-директора Ермоланского,
Апраксина Степана,
Большого болвана,
И князя Вяземского Петра,
Почти пьяного с утра.

Они давно искали рифм для Юсупова. Мятлев вбежал рано утром с восторгом: „Нашел, нашел“:

Князя Бориса Юсупова
И полковника Арапупова»

(Смирнова-Россет А. О. Автобиография (неизданные материалы). М., 1931. С. 310—311). Строки, приведенные мемуаристкой, в основной текст не вошли. Сведения о работе над ст-нием см. также в мемуарах П. П. Вяземского (опубл. в сб.: «К биографии Пушкина». М., 1885. Т. 2. С. 57). Комический эффект ст-ния, в определенной мере, строится на сочетании известных, малоизвестных и вовсе бессмысленных имен. *Короля дисвитского* — Людовика XVIII; прозвище образовано от исковерканного произношения цифры 18 (по-франц.: dix-huit). *Супруга Беррийской* — намек на скандальную новость сезона: объявление вдовой герцога Беррийского о своей беременности от некоего итальянца. *Ташеншпиллер* (нем.) — фокусник.

К Языкову. Н-1834, с опечатками в ст. 3 («же» вм. «не»), 28 («пищ» вм. «пить»), 43 («однообрачьи» вм. «однообразьи»); исправлены по авториз. копии. Вошло в ВДД, под загл. «К Языкову из Дерпта», но в НР текста нет. Авториз. копия в РСб-1855 (II) с текста альм., с пометой Вяземского: «Можно внести в Дорогу». *Языков* Николай Михайлович (1803—1846), будучи студентом Дерптского университета (1822—1829), славился своими застольными песнями и буршескими замашками; в 1844 г. он откликнулся на наст. послание ст-нием «Князю П. А. Вяземскому». *Вновь Дерпту задал Юрьев день.* Юрьев день (26 ноября) — день, в который крестьянам Московской Руси разрешалось переходить от одного владельца к другому; вошел в поговорку как долгожданный и радостный; здесь каламбур: Юрьев — первое название Дерпта (Тарту), данное городу при его основании (XI в.) русским князем Ярославом Мудрым. *С орлом германских... муз.* На гербе Германии изображался черный одноглавый орел. *Дерпт германо-росский.* Значительную часть населения в Дерпте составляли прибалтийские немцы. *Элементы* — здесь: стихии, разрушительные силы. *Под венцом* — то есть после смерти. *Здесь пить о имени твоем* — парафраз строки из «Песни» Языкова (1829): «И пьянствуйте о имени моем». *Как сквозь потешные огни.* В сноске к этому ст. приведен фрагмент из послания Языкова «К А. Н. Вульфу» («Помнишь ли, мой друг застольный...») (1828).

К графу В. А. Соллогубу. Н-1834. *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — писатель; в 1829—1834 гг. студент Дерптского университета, где учился одновременно с сыновьями Н. М. Карамзина. Очевидно, через Карамзиных и произошло сближение Вяземского с Соллогубом, и поэт, судя по посланию, был в курсе

его сердечных дел. Послание вызвало издевательский отклик Н. И. Надеждина в рецензии на Н («Молва». 1834, № 22. С. 338) и ответ оппонента, скрывающегося под псевдонимом «Житель Сивцева Вражка», в статье «Письмо к издателю» (Там же. 1834, № 24. С. 372). *Красавица Эмилья* — возможно, Э. К. Мусина-Пушкина (см. о ней с. 501).

Еще тройка. Н-1834. -- ВДД, под загл. «Тройка». -- Печ. по авториз. копии в НР; правка загл. здесь принадлежит М. Н. Лонгинову. Авториз. копия в РСб-1855 (II) с текста альм., с пометой Вяземского: «Есть ли в новом списке?» (т. е. в списке ст-ний, включенных в ВДД). Ст-ние представляет собой вариацию на тему пушкинских «Бесов» (1830). «Еще тройка» получила высокую оценку Н. И. Надеждина в рецензии на Н («Молва». 1834, № 22. С. 342) и автора статьи «Письмо в редакцию» (Там же. 1834, № 24. С. 372—373). Во второй половине XIX в. получил широкое распространение романс «Тройка», муз. П. П. Булахова (1865). Кроме того, на слова ст-ния А. И. Дюбюком написан дуэт (1857) и еще два менее известных романса, муз. П. А. Карасева (1883) и А. Катенина (1876).

Флоренция. ПСС-4. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с правкой Вяземского, датой: «1834» и пометой: «К дорожн‹ым› фотогр‹афиям›». Авториз. копия на обороте ст-ния «На прощание», с вар. ст. 21—24, 30—32. Написано в конце 1834 г., когда Вяземский посетил Флоренцию на пути в Рим к больной дочери. *Ты знаешь край* — цитата из песни Миньоны в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор; его резцу принадлежит скульптурная группа «Амур и *Психея*» (1793). *Паросский мрамор* — мрамор, добываемый на греческом острове Парос.

Роза и кипарис. С. 1836, № I. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «В Дорогу, Рим». Белинский счел неудачным это ст-ние в своей рецензии на С (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953, Т. 2. С. 179). *Потоцкая* Мария Александровна (урожд. Салтыкова; 1807—1845) — жена графа Б. С. Потоцкого. *Кипарис* — здесь упомянут как траурное дерево.

«Всё грустно, всё грустней, час от часу тяжелей...». ВДД, под загл. «Грусть». -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, с датой: «Рим. 1835», так как в НР неавториз. копия. В ст-нии речь идет о скончавшейся в Риме 11 марта 1835 г. дочери Вяземского Прасковье. *Тобой, одной тобой* — реминисценция из ст-ния Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829).

Kennst du das Land? С. 1836, № 3, подпись: К. В., с заменой в ст. 41 фамилии «Жуковский» — тремя звездочками (восстановлено по авториз. копии в РСб-1855 (III) с печ. текста, где «Жуковский» — вписано рукою кописта). В ст-нии речь идет о резиденции жены вел. кн. Михаила Павловича — Елены Павловны в Ораниенбауме. Загл. — ст. 1 песни Миньоны (см. выше). Эпиграф — переделка того же ст. (у Гёте: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen»). *Dahin! Dahin!* — цитата из той же песни. *Торквато* — Тассо. *Тициан* Вечеллио ди Кадоре (ок. 1485/1490 — 1576) — итальянский живописец.

Шутка. М. 1841, № 1, с примеч.: «Это стихотворение, давно написанное, до сих пор не было еще напечатано. Черновой автограф — ранняя ред. с датой (публикации): «1841». Автограф в фонде М. П. Погодина (ГПБ) — наборная рукопись для М. Авториз. копия с печ. текста, с подзаг. рукою Вяземского: «Графине Соллогуб — ныне Свистунова». Аналогичная помета имеется на копии С. Д. Полторацкого (ГБЛ) и в РСб-1855 (III). Адресат — Надежда Львовна Соллогуб (1815—1903), двоюродная сестра писателя В. А. Соллогуба, фрейлина вел. кн. Елены Павловны; известная светская красавица; ею был увлечен Пушкин, посвятивший Соллогуб ст-ние «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» (1832). «Шутка» написана не позднее 1836 г., так как в этом году Соллогуб вышла замуж за А. Н. Свистунова (брата декабриста П. Н. Свистунова), и Вяземский уже не мог называть ее графиней. *Кнастер* — сорт табака. *И благовонна ль резеда*. К этому ст. в авториз. копии имеется примеч. Вяземского: «Я называл ее резедою». На языке цветов резеда символизирует внутреннюю красоту при отсутствии внешнего блеска. Возможно, ст. содержит намек на шутку Вяземского, который через А. И. Тургенева летом 1833 г. отправил Н. Л. Соллогуб в Карлсбад ветку резеды (ОА-3. С. 242, 251). *Фофон* (фофан) — глупец.

Синонимы: гостиная — салон. «Московский наблюдатель». 1836, июнь, кн. 2, без подписи. Два автографа: один в письме Вяземского А. И. Тургеневу от 7 июня 1836 г., с просьбой «передать в „Наблюдатель“» (ОА-3. С. 322), второй — в письме Вяземского Жуковскому от 29 июня 1836 г. (ПД), с указанием «дать ход по Дерпту этому филологическому рассуждению» (РА. 1900. № 3. С. 380—381). В Дерпте проводил лето Ф. В. Булгарин. В том же письме Жуковскому Вяземский поясняет, что ст-ние явилось «ответом ученому дерптскому на критику на письмо Тургенева» (там же). Речь идет о рецензии Булгарина на первый том С, в которой он нападал на слог опубликованной здесь «Хроники русского в Париже» А. И. Тургенева, что и вызвало появление эпиграммы. «Неужели ныне так говорят по-русски? — писал Булгарин. — Русский хронист „нашел салоны и прихожие полные посетителей у гг. Тьера и Гизо“...» (СП. 1836, 9 июня). *Видок* Франсуа Эжен (1775—1857) — французский авантюрист, вор, одно время глава парижской полиции; прозвище Видок закрепил за Булгариным Пушкин.

Памяти живописца Орловского. А-1838, с вар. ст. 19. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Две авториз. копии: одна в арх. бр. Тургеневых (ПД), другая в РСб-1855 (II) с печ. текста, с правкой ст. 19 (учтена в НР) и с пометой Вяземского: «Внести в новое собрание». 29 марта 1838 г. С. П. Шевырев писал Вяземскому: «Ваш поэтический эскиз в стиле Орловского мы повторяем наизусть. Это — песня-картинка. Вы перевели на стихи гениальный карандаш его» (СН. 1901, кн. 4. С. 137). *Орловский* Александр Осипович (1777—1832) — польско-русский живописец, автор жанровых и батальных сцен и зарисовок народного быта; любил изображать ямщиков, мчащиеся тройки и т. п. В 1819 г. Вяземский писал о нем: «Орловский — фламандской школы, но кто русее его в содержаниях картин» (ОА-1. С. 377). *Ям* — село, жители которого несли почтовую повинность. *Личины* — здесь: маски.

Ты светлая звезда. А-1838. Вошло в ВДД, под загл. «К ней», но в НР текста нет. По устному сообщению Э. Г. Герштейн, возможный адресат ст-ния — Эмилия Карловна Мусина-Пушкина (урожд. Шерваль фон Вален; 1810—1846), известная светская красавица; ею были увлечены Пушкин, Вяземский, Лермонтов и В. А. Соллогуб.

Я пережил. А-1838. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Авториз. копия в РСб-1855 (II) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Кажется, чего-то недостает». Ст-ние, вероятно, навеяно смертью А. С. Пушкина и И. И. Дмитриева.

На память. С. 1837, т. 5. Черновой автограф с пятью дополн. ст. между ст. 13 и 14. Адресат не установлен. *Наш лавр... умолк.* Образ навеян первыми ст. батюшковского перевода сонета Петрарки «На смерть Лауры» (1810 ?).

«На радость полувековую...». «Русский инвалид». 1838, 4 февраля (перепеч.: «С.-Петербургские ведомости», 1838, 5 февраля; ЛПРИ, 1838, № 7, 12 февраля — вместе со ст-ниями В. Г. Бенедиктова и Е. П. Гребенки, под рубрикой «Стихотворения, сочиненные для пятидесятилетнего юбилея И. А. Крылова». Вошло в ВДД, под загл. «Песнь в день юбилея И. А. Крылова», но в НР текста нет. Автограф в арх. В. Ф. Одоевского (ГПБ) и авториз. копия; обе под загл. «Стихи, петые на обеде, данном И. А. Крылову 2 февраля 1838 г. Слова к(нязя) Вяземского. Музыка гр(афа) Виельгорского». Высокую оценку ст-ние получило в письме Гоголя А. С. Данилевскому от 13 мая 1838 г. (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 11. С. 149). Отношение Вяземского к творчеству Крылова в свое время было критическим; он предпочитал басни Дмитриева. Н. И. Греч, рассказывая о юбилейном обеде, не преминул напомнить об этом и язвительно заметил: «Пели очень хорошие куплеты кн. Вяземского. За несколько лет до того Вяземский в одном послании своем воспевал трех баснописцев „Иванов": Лафонтена, Хемницера и Дмитриева, а слона-то и не заметил; теперь же возгласил: „Здравствуй, дедушка Крылов"» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. Спб., 1886. С. 501). На это обвинение Вяземский отвечал в «Приписке» 1876 г. к статье «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» (ПСС-1. С. 161—166); см. также приписку (того же года) к статье «Жуковский. Пушкин. О новой пиитике басен» (там же. С. 183—185). О полемике Пушкина с Вяземским о баснях Дмитриева и Крылова см. в статье: Мордовченко Н. И. П. А. Вяземский // Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 302. *И дочкам он давал уроки* — намек на комедию Крылова «Урок дочкам» (1806). *Петр кивает на Ивана* — парафраз строк из басни Крылова «Зеркало и обезьяна» (1815).

Самовар. УЗ-1840, с ценз. купюрой ст. 120 (заменен отточием). Вошло в ВДД (с той же купюрой), но в НР текста нет. -- Печ. по УЗ с восстановлением ст. 120 по авториз. копии в арх. бр. Тургеневых (ПД) рукою В. Ф. Вяземской и А. И. Тургенева, без посвящения, с вар. Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Внести в Дорогу. Франкфурт». 8 июня 1839 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому из Франкфурта: «Вчера танцевали у Убри, а поутру Жуковский прочел у них твой „Самовар" и находит, что это лучшая пиеса твоя и что ты как-то созрел душою и, следовательно, поэзиею» (ОА-4. С. 72). Высокую оценку ст-ние получило в рецензиях

на УЗ в ОЗ (1839, № 12), возможно принадлежавшей молодому Белинскому (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1959. Т. 13. С. 48), и в «Маяке» (1840, ч. 2, гл. 4. С. 27). Стилистический разбор не дошедшей до нас ранней ред. ст-ния см. в письме Н. М. Языкова Вяземскому от 25 декабря 1838 г. (ЦГАЛИ); ряд замечаний Языкова поэт учел при переработке текста (см. об этом в письме Вяземского Языкову от 2 января 1839 г. — СН. 1911, кн. 14. С. 509). Пародию на «Самовар» («Приятно, если мы встречаем...») см. в фельетоне В. С. Курочкина «В гостях и дома» («Искра». 1862, № 39. С. 513). *Убри* Петр Яковлевич (1774—1847) — русский посланник во Франкфурте-на-Майне. Эпиграф — цитата из ст-ния Державина «Арфа» (1798); ср. ст. 122 наст. ст-ния. *Хоть вы причислены к Германскому Союзу.* Сейм образованного в 1815 г. Германского союза, состоящего из 39 немецких государств, находился во Франкфурте. *Лёве* Жюли Софи (1786—1852) — немецкая актриса. *Дюран* Август (1793—1863) — французский театральный критик. *Гернани* (Эрнани) — герой одноименной драмы В. Гюго, постановка которой во Франции в 1830 г. повлекла за собой полемику между классиками и романтиками. *Рококо* — стиль XVIII в.; в декоративном искусстве отличался изяществом, стремлением к комфорту и интимности.

* Брайтон. ОЗ. 1839, № 12. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Автограф под загл. «Бессонница», ранняя ред. в письме Вяземского Н. М. Языкову от 2 января 1839 г., в сост. 7-ми строф (опубл.: СН. 1911, кн. 14. С. 508—509). Авториз. копия с датой: «1838» и авторским примеч.: «Фарнгаген любил эти стихи и знал их наизусть»; ср. с аналогичной пометой Вяземского на авторском экземпляре ВДД (с. 361). Фарнхаген фон Энзе Август Карл (1785—1858) — немецкий писатель, дипломат, знаток русской литературы. Авториз. копия в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «В Дорогу вставить». *Брайтон* — приморский город в Англии, где поэт провел осень 1838 г.

Любить. Молиться. Петь. «Одесский альманах». Одесса, 1840. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. В рецензии на альманах Белинский назвал ст-ние «выдающимся» произведением сб-ка (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 123). Отрицательный отзыв оно получило в статье Д. И. Писарева «Русская литература» («Русское слово». 1862, № 2. С. 18).

Петербургская ночь. УЗ-1841. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Авториз. копия в коллекции Ю. Г. Оксмана (ЦГАЛИ) с ценз. пометой: «3 октября 1840 г.», с вар. ст. 36—38 и с авторской правкой, не доведенной до конца. Ст-ние было положено на музыку И. Ф. Диккер-Шенком (1891). *Елисейские поля* (греч. миф.) — обитель блаженных в загробном мире.

«Смерть жатву жизни косит, косит...». УЗ-1841. Вошло в ВДД, под загл. «Старое поколение», но в НР текста нет. Окончательный вар. строфы 3 Вяземский посылает в недатированном письме П. А. Плетневу (ПД, арх. П. А. Плетнева). Ст-ние вызвало сочувственный отзыв Белинского, который в статье «Русская литература в 1844 году» писал: «Мы не можем без живой симпатии читать этих стихов, в которых отжившее свой век поколение, в лице одного из замечательнейших своих представителей, с такою грустною искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнию

тоже своего, а не чужого времени...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 436). На авторском экземпляре ВДД Вяземский в 1878 г. отчеркнул ст. 15—16 и на полях пометил: «Дурно». *И сколько лир висит безгласных на кипарисах молодых.* Вяземский имеет в виду в первую очередь смерть близких друзей-поэтов: В. Л. и А. С. Пушкиных, Дмитриева, Карамзина, Давыдова; этот список можно дополнить и его хорошими знакомыми: А. А. Бестужевым, Рылеевым, Грибоедовым, Дельвигом, Гнедичем, Веневитиновым, А. Одоевским и др.

Еще дорожная дума. УЗ-1842, под загл. «Дорожная дума». -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР, где загл. исправлено М. Н. Лонгиновым, но правка согласована с Вяземским, так как под новым загл. ст-ние фигурирует в авториз. списке «Оглавление». Автограф, под загл. «Дорожная дума», с вар. и пометой Вяземского под текстом: «23-го сентября 1841. В карете. Переписал в сельце Михайловское — в доме Пушкина» (в сентябре 1841 г. Вяземский посетил в Михайловском Н. Н. Пушкину). Авториз. копия в РСб-1855 (II) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Тоже внести в „Дорогу"». В рецензии на УЗ Белинский назвал ст-ние среди трех произведений «особенно замечательных» в альм. (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 589).

Русские проселки. М. 1842, № 2, с. ценз. купюрой ст. 9—10 и с ценз. вар. ст. 73 (о вмешательстве цензуры см. в письме М. П. Погодина Вяземскому от 4 января 1842 г. // СН. 1901, кн. 4. С. 35). -- С. 1842, т. 26, с ценз. вар. ст. 73. Вошло в ВДД, с тем же вар., но в НР текста нет. Черновой автограф, ранняя ред., под загл. «Проселочная дорога», с пометой: «25 сентября в карете — между Островом и Михайловским». Беловой автограф в арх. М. П. Погодина (ГПБ), с авторским примеч.: «Сии стихи, хоть давным-давно написанные, ныне печатаются в первый раз», и приписной Вяземского Погодину: «Покорнейше прошу вставить непременно (примеч.) или сказать от себя то же в других словах» (примеч. вставлено не было). Авториз. копия в РСб-1855 (II) (текст М), с пометой Вяземского: «Можно внести в „Дорогу и дома"». В авторском экземпляре ВДД Вяземский восстанавливает доцензурный вар. ст. 73 (исправляет «наш авось велик» на «русский бог велик»), как в беловом и черновом автографах. В наст. изд. восстанавливается этот ст. и учитывается оговоренная в переписке поэта с М. Н. Лонгиновым правка устаревшей падежной формы в ст. 63: «лоб со лбом» вм. «лбом со лбом». *Дормёз* — большая карета, приспособленная для сна в пути. *Мак-Адам* (1756—1836) — английский инженер, специалист по строительству дорог. *Как Демон Пушкина.* Речь идет о ст-нии Пушкина «Демон» (1823). *Был Бородинский день.* В этом и следующих четырех ст. описываются реальные автобиографические события. *Я на море горел.* Вяземский вспоминает о пожаре на пароходе «Николай», которым он в 1838 г. ехал в Германию. *Двух паровозов, двух волканов на лету Я видел сшибку.* Речь идет о произошедшей на железной дороге в ночь с 11 на 12 августа 1840 г. катастрофе, описанной Вяземским в статье «Крушение царскосельского поезда» (ПСС-2. С. 276—281). *Но русский бог велик.* Об этой формуле см. в примеч. к ст-нию «Русский бог» (с. 492).

П р и п о д а р к е а л ь б о м а. ПСС-4, под загл. «Наталье Николаевне Пушкиной», ранняя ред. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с датой: «31 декабря 1841». Авториз. копия в «Записной книжке» 1864—1867 гг. с пометой Вяземского: «Мои стихи Наталии Николаевне Пушкиной и рукой ее переписанные», ранняя ред., без загл., с датой: «31 декабря 1841 г.». Вероятно, автограф ранней ред. был вписан в альбом, подаренный Вяземским Н. Н. Пушкиной.

К о м а р и к л о п. ПСС-4. -- Печ. по двум идентичным автографам. Имеется также автограф в арх. С. П. Шевырева (ГПБ), с вар. ст. 2 и 13. Направлено против Ф. В. Булгарина, издавшего в 1842 г. сб. очерков, под загл. «Комары. Всякая всячина» (о содержащихся там нападках на Вяземского см. в примеч. к эпиграмме «Важное открытие», с. 505). Из-за цензурного запрещения ст-ние не было опубликовано в М; см. об этом в письме С. П. Шевырева Вяземскому от 7 октября 1842 г. (СН. 1901, кн. 4. С. 140) и в ответном письме Вяземского от 16 октября («Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки». Спб., 1898. С. 100).

Л и с т у. Отд. изд. Спб., 1842. Авториз. копия в РСб-1855 (II) с печ. текста, с датой в подзаг.: «1842». 7 апреля 1842 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу о посещении им концерта Ф. Листа, гастролировавшего весною 1842 г. в России (ПД, арх. бр. Тургеневых). Ценз. разрешение на отд. изд., полученное 5 мая, и указанное письмо Тургеневу уточняют датировку: ст-ние было написано в апреле 1842 г.

Н о ч ь в Р е в е л е. М. 1844, № 4. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Две авториз. копии: одна в арх. С. П. Шевырева (ГПБ), вторая в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Внести в „Дорогу“». *Мещерская* Екатерина Николаевна (урожд. Карамзина; 1806—1867), дочь Н. М. Карамзина, с 1828 г. жена кн. П. И. Мещерского. Карамзины, Мещерские и Вяземские неоднократно проводили лето в *Ревеле* (Таллине). 2. *Дней Петровых современник* — Карл Евгений де Круа (1650—1701), герцог, родом из Бельгии; командовал русской армией; будучи взят в плен в 1700 г. в битве под Нарвой, он поселился в Ревеле, где и умер, оставив большие долги, за что по шведским законам был лишен погребения, вплоть до оплаты долгов наследниками. Его тело долго находилось в селитровых подвалах церкви Нигулисте и мумифицировалось (сохранились даже одежда и парик). В начале XIX в. оно было выставлено, как экзотическая достопримечательность, для обозрения публики в одной из пристроек Нигулисте. 3. *Бригита* — шведская святая; здесь: монастырь в окрестностях Ревеля, разрушенный в 1577 г., во время Ливонской войны; сохранился в виде романтических руин. *Олай* — см. с. 496. 4. *О тебе не раз державы Переведались в бою.* В XIII—XVI вв. Ревель переходил из рук в руки: им попеременно владела Дания, Швеция, орден меченосцев, Ганзейский союз; в 1710 г. был присоединен к России.

«Н а к н и г у с б е л ы м и л и с т а м и. . .». С. 1844, № 4, под загл. «С раздумием смотрю». Загл. принадлежало П. А. Плетневу: в автографе, послужившем наборной рукописью для С (ПД, арх. П. А. Плетнева), оно вписано его рукою.

«У ж н е з а м н о й л и д е л о с т а л о? . .». Альм. «Вчера и сегодня». Спб., 1845. Кн. 1. Вошло в ВДД, под загл. «Раздумье», но в НР

текста нет. Автограф — ГПБ. Ст-ние навеяно смертью близких людей: в 1840 г. умерла дочь Вяземского Надежда, в 1844-м — Боратынский и Крылов. *Орало* — плуг.

Хавронья. ОЗ. 1845. № 4, подпись: ***. Авториз. копия в материалах к ПСС, под загл. «Крыловская Хавронья» и с датой: «1845». Направлено против Ф. В. Булгарина, как театрального критика. Осведомленный об авторстве Вяземского Булгарин откликнулся на ст-ние заметкой (СП. 1845, 12 мая), где писал: «В русской литературе никогда не появлялось картины отвратительнее... „Хавронья"... означающая театрального критика, входит в театр во всей нечистоте: с грязною щетиною и ...запахом, названным так, как он называется на толкучем рынке, под рифму к „Хавронью" — вонью!!!» Вяземского взял под защиту Белинский (ОЗ. 1845, № 6) в статье «Несколько слов о фельетонисте „Северной пчелы" и „Хавронье"» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 138—143). Ст-ние перифразирует басню Крылова «Свинья» (1811).

«К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный...». М. 1845, № 2. Автограф в арх. бр. Тургеневых (ПД) и две авториз. копии, одна из которых в недатированном письме Вяземского П. А. Плетневу (ПД, арх. П. А. Плетнева), другая в арх. бр. Тургеневых (ПД). Копия рукою А. И. Тургенева в арх. И. Е. Бецкого (ГБЛ). Эпиграмма явилась откликом на статью Ф. В. Булгарина «Воспоминания об Иване Андреевиче Крылове и беглый взгляд на характеристику его сочинений» (СП. 1845, 11—12 января), по поводу которой Вяземский писал Жуковскому 30 января 1845 г.: «Я все вожусь с Булгариным. Ты знаешь, что он выдает себя другом всех знаменитых мертвецов (Вяземский намекает на опубл. в 1830 г. воспоминания Булгарина о Грибоедове). Так поступил он и с Крыловым, уверяя, между прочим... что он утешал Крылова, уязвленного моими нападками на него» (ПК. С. 51). П. А. Плетнев «не счел приличным» поместить эпиграмму в С (см. его письмо Я. К. Гроту от 20 января 1845 г.: «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым». Спб., 1896. Т. 2. С. 384—385), и поэт переслал ее С. П. Шевыреву для М (см. об этом в письме Вяземского Шевыреву от 17 января 1845 г.: РА. 1885, № 6. С. 310). Вероятно, ответом на настоящую эпиграмму явилось ст-ние Булгарина «От правды честной и угрюмой...» (СП. 1845, 7 мая). В статье «Русская литература в 1845 году» Белинский назвал эту эпиграмму и басню «Хавронья» (см. выше) среди лучших произведений года (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 392).

Важное открытие. ПСС-4. — Печ. по авториз. копии. Имеются еще две идентичные авториз. копии: одна в арх. С. П. Шевырева (ГПБ) с пометой Вяземского: «(Комары, стран⟨ица⟩ 13)»; вторая с авторской правкой, приводящей к окончательному тексту, и с датой: «1845». Поводом для написания эпиграммы послужили нападки Булгарина в сб. «Комары. Всякая всячина» (Спб., 1842) на статью Вяземского «Черты из жизни Фонвизина» (УЗ-1841. С. 145—203). Цитируя фрагмент, в котором Вяземский сопоставляет «рыцарские поединки» литераторов XVIII в. с сомнительными методами современной литературной полемики, Булгарин указывает, что здесь поэт метит в него, и далее, упрекая Вяземского в исторической близорукости, развивает мысль, что и в XVIII в. литераторы «беспрестанно доносили друг на друга и бранились, как кухарки», тем самым описывая соб-

ственные методы борьбы с литературными противниками. Это «саморазоблачение» обыгрывается в наст. ст-нии. О том, что книга Булгарина «крепко задела» поэта, он писал Жуковскому 25 ноября 1842 г. (ПК. С. 41). *Что он поляк и русский сплошь.* Вяземский отсылает к своей эпиграмме «Фиглярин — вот поляк примерный...» (см. с. 238). *Видок* — см. примеч. на с. 500. *Прямо в лоб ему попал* — цитата из ст-ния Пушкина «Воевода» (1833).

Карикатура. ПСС-4, в виде двух ст-ний, одно из которых в сост. строфы 1, без загл.; второе — без загл. и без строф 1, 9 (по несохранившемуся черновому автографу; тот же вар. опубл.: Изд-1958). -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Автограф (в переписке с Ф. И. Толстым), без загл., ранняя ред.. без строфы 9, с вписанной позже на полях строфой 1 и с датой на обороте листа: «1845, 30 августа. Каменный остров». Автограф, без загл., с синхронной правкой. *Рюйсдаль* — см. с. 496.

Рим. «Московский лит. и ученый сборник». М., 1846. Вошло в ВДД с вар. ст. 34, но в НР текста нет. Черновой автограф на обороте письма Ф. И. Толстого (ЦГАЛИ), с вар. ст. 8, 16, 26, 28 и с двумя дополнит. ст., завершающими текст. Автограф — перебеленный черновик, с последующей правкой, приводящей к окончательному тексту (ПД, арх. Рязанского музея). Две авториз. копии, одна из которых в РСб-1855 (III) с печ. текста, с пометой Вяземского: «Внести в „Дорогу“». *Форум.* Здесь речь идет о Главном форуме (площади), центре политической жизни Древнего Рима.

«Наш век нас освещает газом...». ПСС-4, под загл. «Наш век». -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с пометой в верхнем правом углу: «К заметк(ам)» и датой карандашом: «1841». Автограф и авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской; обе рукописи под загл. «Наш век», ранняя ред.; на автографе пометы: «1841. Встав(ить) в сборник рук(описный?)» (над текстом) и «В карете» (под текстом); здесь же слой правки, дающий промежуточную ред.; указанная авториз. копия (в материалах к ПСС) содержит вар. ст. 18 и 20 и иную строфу 3 по отношению к ранней ред. Ранняя ред. ст-ния относится ко времени поездки Вяземского в Михайловское, т. е. к сентябрю 1841 г. (автограф на одном листе со ст-нием «Еще дорожная дума», см. выше). Окончательная ред. относится к 1848 г., во всяком случае, тогда была написана строфа 6. *И кровь не льется ль на авось В Америке, да и в Гольштейне.* Речь идет о войне Соединенных Штатов с Мексикой (1848) и Шлезвиг-Голштинской войне с Данией (1848—1850). *Ковы* — интриги, заговоры.

Тропинка. ПСС-4. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Автограф с недоработанным ст. 16 и с датой: «Август 1848». Две авториз. копии, одна из которых с последующей авторской правкой в ст. 16, приводящей его к окончательному вар., вторая в альбоме С. Д. Шереметева (ЦГАЛИ, арх. Т. и Е. С. Деллеров). Все три авториз. копии (в том числе в РСб-4) имеют помету: «Лесная дача. Август 1848». Речь идет о даче Вяземских в Лесном под Петербургом.

Сумерки. ПСС-4. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Черновой автограф, с вар. и пометой: «Сентябрь 1848» (опубл.: ПСС-4. С. IX, примеч.). Автограф — фрагмент (ст. 1—8) с вар. Авториз. копия в альбоме С. Д. Шереметева (ЦГАЛИ, арх. Т. и Е. С. Деллеров),

с вар. и пометой: «Сентября 1848. Лесная дача» (такая же помета на указанной копии в РСб-4). Эпиграф — из ст-ния Державина «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

Зима. М. 1849. № 1. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. *Намет* — здесь: шатер.

Песнь на день рождения В. А. Жуковского. «Русский инвалид». 1849, 1 февраля. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Черновой автограф, под загл. «Бог сегодня дал нам друга», с датой: «29 января», без ст. 49—52, с вар. в последней строфе (ставшей в окончательном тексте рефреном) и в ст. 1. 29 января 1849 г. предполагалось торжественно отметить 50-летие литературной деятельности Жуковского. Однако официального празднества не состоялось, так как Жуковский не приехал из-за границы, и юбилейное чествование имело место в доме Вяземских (см. о нем подробнее в заметке Вяземского «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива» // РА. 1866, № 7. Стб. 1065). Негативный отзыв о юбилейном чествовании см. в письме И. С. Аксакова отцу от 31 января 1849 г. («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах». М., 1888. Ч. 1. Т. 2. С. 99—101). *Вьельгорский* (Виельгорский) — см. о нем с. 517, был автором музыки к наст. «Песни» и исполнителем ее на юбилейном вечере. *Баден-Баден* — курортный город в Германии, где последнее десятилетие своей жизни провел Жуковский.

Степью. ВДД, под загл. «Степь» и без подзаг. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия. Два автографа: один — первоначальные наброски, под загл. «Дорогою», второй — черновой, в цикле из четырех ст-ний, без 5-й и с иной 3-й строфами и с вар. Авториз. копия с последующей правкой, приближающей текст к окончательному, и с вписанным подзаг. Ст-ние написано Вяземским по пути в Одессу.

Ночь на Босфоре. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинову, где это и следующее ст-ние объединены в цикл под рубрикой «На Босфоре», а наст. ст-ние под загл. «Ночь». Децикпизация и изменение загл. были согласованы с Вяземским — в таком виде оно значится в авториз. списке «Оглавления». Черновой автограф, с незавершенными строфами 4, 5, 6 и с вар. Авториз. копия с авторской правкой, с вар. ст. 7, 8, 13, 18 и датой: «1849». Ст-ние написано во время пребывания Вяземского в Константинополе в 1849 г. В статье «О значении князя П. А. Вяземского в российской словесности» В. А. Соллогуб назвал его «одним из лучших перлов в венце поэта» («Беседы в Обществе любителей российской словесности». М., 1867. Вып. 1. С. 24). *Каик* (турецк.) — лодка, челн.

Босфор. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, где ст-ние соединено с предыдущим в цикл под рубрикой «На Босфоре» (см. предыдущее примеч.). Два автографа: один — наброски разрозненных строф (со ст. «Паруса распустив»), без загл., двустопным анапестом; второй — черновой, под загл. «Море», без строфы 16, с незаконченными строфами 7, 12, 14, 15 и с множеством вар. Ст-ние написано во время пребывания Вяземского в Константинополе в 1849 г.

Палестина. ИОАН, под рубрикой «Пять стихотворений князя П. А. Вяземского» (имеется отд. оттиск). Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Два автографа: первоначальная ред. в сост. строф 1—2, с датой: «Буюкдере, 4/16 авг⟨уста⟩ 1850» (ГПБ) и черновой автограф в Альб-1, в сост. 88 ст., с вар. строфы 6 (текст незавершен). Авториз. копия в арх. И. И. Срезневского (ЛО ААН), наборная рукопись для ИОАН, с правкой Вяземского. М. Н. Лонгинов в статье «Из современных записок» назвал «Палестину» «драгоценнейшим произведением нашей поэзии» (РВ. 1861, № 4. С. 139). В нем отразились впечатления поэта от паломничества в Иерусалим (его описание см.: Шереметев С. Д. Путешествие на Восток князя П. А. Вяземского. Спб., 1883), которое он с женой совершили в апреле—мае 1850 г., после смерти старшей дочери, М. П. Валуевой. *Бурнус* — плащ арабов, с капюшоном, из белой шерстяной материи. *Ревекка* (библ. миф.) — жена Исаака, которую, по преданию, раб, посланный искать жену для Исаака, впервые увидел с кувшином на плече, идущую к источнику. *Намет* — шатер. *На Израиль с заветом Здесь сошла божья сень.* По библейскому преданию, завет (договор) был заключен богом с сынами Израиля на горе Синай (юг Аравийского полуострова), а не в Палестине; тогда же бог совершил сошествие на вершину горы и освятил народ.

Проезд через Францию в 1851 г. ПСС-4. -- Печ. по двум идентичным авториз. копиям, одна из которых в РСб-4, обе с пометой у загл.: «⟨Дорож⟨ные⟩ фотогр⟨афии⟩⟩». В ст-нии воспроизведена обстановка во Франции накануне государственного переворота 2 декабря 1851 г., в результате которого к власти пришел Луи Бонапарт (будущий Наполеон III). Вяземский заехал в Париж, направляясь в Германию для лечения тяжелого нервного расстройства. *«Дела давно минувших лет»* — неточная цитата из «Руслана и Людмилы» Пушкина (1820). *Буцефал* — легендарный конь Александра Македонского. *Цугом* — в упряжке из шести лошадей, идущих друг за другом по одной или парами. *Добчинский* — персонаж «Ревизора» Гоголя. *Вандея* — департамент на западе Франции, бывший центром роялистских мятежей в период революции конца XVIII в. *Троянский конь* (греч. миф.) — деревянный конь, в котором спрятались осаждавшие Трою греческие воины; троянцы ввели коня в город, и ночью вышедшие из него греки отворили ворота осаждавшим; в переносном смысле — скрытый, коварный враг. *Вандомская колонна* — колонна, установленная в Париже на Вандомской площади в 1810 г. в честь побед Наполеона. *Бурбоном рад признать меня, Хоть нос мой, знаете вы сами* — насмешка над французским правительством, опасавшимся происков низложенной династии; фамильной чертой Бурбонов были большие горбатые носы; Вяземский был курнос. *Улисс* — Одиссей.

Масленица на чужой стороне. ОЗ. 1853, № 5/6, с вар. ст. 47, 78, 81. -- «Раут». М., 1854. Кн. 3. без загл., в тексте статьи Н. В. Сушкова «Обоз к потомству с книгами и рукописями». -- ЗГ. Вошло в М (1854, № 3/4), но опубл. не по авторскому списку (историю публикации см. в кн.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1898. Т. 12. С. 260—261) и в ВДД, но в НР текста нет. Автограф — первоначальные наброски, без загл. Черновой автограф, под загл. «Масленица на чужбине», с датой: «1853» и с последующей авторской правкой. Два беловых автографа в Альб-1, один из которых с вар. ст. 78. Авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской — 2-я часть

ст-ния (со строфы 16), с вар., без строфы 26, с датой: «Дрезден, 20 фев⟨раля⟩/4 марта 1853» и с авторской правкой. В «Записной книжке» 1853 г. под 19 февраля Вяземский пометил: «Кончил свою „Масленицу на чужбине"» (ПСС-10. С. 2). Окончательно текст был готов 20 февраля 1853 г., так как 21 февраля в письме к сыну поэт досылает строфы 25—27 и просит включить их в ранее посланный текст (ЦГАЛИ). Огромное количество списков, гектографических и литографированных изд-й свидетельствуют о необычайной популярности «Масленицы» в различных слоях общества. Ст-ние было восторженно встречено Булгариным, назвавшим его образцом «народности в поэзии» (СП. 1853, 30 мая), что вызвало настороженную реплику Вяземского в «Записной книжке»: «Это что-то не к добру: Булгарин в „Север⟨ной⟩ пчеле" 30 мая ужасно меня расхваливает...» (ПСС-10. С. 56). Пародию на «Масленицу» («Снежок в Берлине показался...») см. в фельетоне В. С. Курочкина «В гостях и дома» («Искра». 1862, № 39. С. 510). О соотношении русофильства «Масленицы» с антитезой «Запад—Восток» в мировоззрении поэта 1820—1830-х гг. см.: Тоддес Е. А. О мировоззрении Вяземского после 1825 года // «Пушкинский сборник». Рига, 1974. Вып. 2. С. 123—166. Ст-ние неоднократно было положено на музыку. *Пряник, мой однофамилец* — вяземский пряник. *Клико* — см. с. 491.

«Поздравить с пасхой вас спешу я...». ВДД, только ст. 21—42, под загл. «Молитва», с вар. и ст. 43—61, под загл. «Очарование», с вар. -- Полностью — ПСС-11, под загл. «Княгине В. А. Голицыной». -- Печ. по автографу с датой: «Дрезден, 18/30 апреля 1853». Авториз. копия с последующей правкой, не доведенной до конца, и тогда же вписанным загл. «Княгине Вере Аркадьевне Голицыной, рожденной Столыпиной». Адресат — В. А. Голицына (ок. 1820—1853) — сестра невестки Вяземского Марии Аркадьевны и А. А. Столыпина (друга Лермонтова); Вяземский встречался с нею в Константинополе в 1849—1850 гг., когда гостил у сына. 17 апреля 1853 г. он отметил в «Записной книжке»: «Написал стихи к Вере Голицыной при отправлении моего портрета» (ПСС-10. С. 3), а 15 июня 1853 г. там же записал: «Бедная княгиня Вера Голицына скончалась в Берлине... Кажется, она ни портрета, ни стихов моих не видала» (там же. С. 56). В ст-нии, вероятно, речь идет о литографированном портрете работы Ф. Витцлебена (см. вклейку между с. 288 и 289). *Чухонский* — финский. *Золотой Рог* — бухта у южного входа в пролив Босфор. *Эюб* — название мечети в старой части Константинополя по имени знаменосца Магомета, по преданию погибшего на этом месте в 668 г. во время осады Константинополя арабами. *Шехеразада* (Шахразада) — сказочная жена персидского царя Шахрияра, в уста которой вложены сказки «Тысячи и одной ночи».

*Александрийский стих. ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Автограф в РСб-1 — фрагмент (ст. 1—8), первоначальный набросок, относящийся к 1820-м гг. Черновой автограф, без загл. и эпиграфа, с многочисленными вар. и пометой: «Дрезден. 7/19 мая 1853». Автограф в арх. М. Н. Лонгинова, без эпиграфа, с вар. и последующей правкой рукою Вяземского и Лонгинова, приближающей текст к окончательному. Замысел ст-ния и его первоначальный набросок связаны с полемикой 1810-х гг. о размере, наиболее подходящем для перевода античных поэм (см. ниже), отголоски которой еще звучали в критике 1820-х гг. Конкретным поводом появления раннего на-

броска, возможно, послужили рассуждения антагониста Вяземского П. А. Катенина о преимуществе гекзаметра над александрийским стихом в переводе «древних эпиков», занимающие значительное место в его заметке «Письмо к издателю» (СО. 1822. № 14. С. 304). Эпиграф — неточная цитата из ранней ред. «Домика в Коломне» (1830) Пушкина. *Александрийский стих* — в русской поэзии шестистопный ямб, с цезурой после третьей стопы и чередованием мужских и женских рифм; создавался как русский аналог французскому двенадцатисложнику того же названия. Вяземский пользовался этим размером очень часто, начиная со ст-ния «Первый снег» и кончая последним ст-нием наст. изд. («Жизнь наша в старости — изношенный халат. . .»). *В калитку не пройдет: не дозволяет чин.* К этому ст. в НР имеется зачеркнутое авторское примеч.: «Анекдот к(нязя) Мещерского, казанского наместника». Речь идет об анекдоте, зафиксированном в записной книжке поэта: «Он (И. С. Мещерский)... сказал городничему, который хотел было провести его где-то в калитку, не велев растворять ворота: „Я-то пролезу, но чин-то мой не пролезет"» (ЗК. С. 170). *Василий Львович* — В. Л. Пушкин. *И Шекспир и Клопшток, Камоэнс, Ариосто.* Вяземский называет имена высоко ценившихся романтиками авторов: немецкого поэта Просвещения Фридриха Готлиба Клопштока (1724—1803), португальского поэта эпохи Возрождения Луиша ди Камоэнса (1524/25—1580) и итальянского поэта эпохи Возрождения Лудовико Ариосто (1474—1533). *Гог и Магог* — в Библии имена князя и народа, которые, по пророчеству Иезекииля, придут истребить народ Израиля; здесь: бранчливые, воинственные журналисты. *Российский грекофил Гекзаметр древнего покроя обновил* — В. К. Тредиаковский (1703—1768), который впервые применил русский гекзаметр (безрифменный шестистопный дактиль, допускающий пропуск безударного слога в первых четырех стопах) в своей поэме «Тилемахида» (1766) и сознательно противопоставлял его александрийскому стиху; неудача Тредиаковского надолго отвратила поэтов от русского гекзаметра. *Там Гнедич в ход пустил.* В 1810-х гг. Гнедич начал переводить гекзаметром «Илиаду». *Величиной с Федору.* Имеется в виду пословица: «Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал». *Уваров за него сражался... И с блеском одержал победу над Капнистом... Беседа, царство сна, проснулась в первый раз.* В связи с переводом Гнедича, в 1813—1817 гг. на страницах журнала «Чтения в Беседе любителей русского слова» разгорелась полемика между С. С. Уваровым, который отстаивал возможности русского гекзаметра, В. В. Капнистом, предлагавшим переводить Гомера народным стихом (шестистопным хореем), и Д. Самсоновым, отстаивавшим традиционный александрийский стих. Уваров Сергей Семенович (1786—1855), в юности арзамасец, с 1818 г. президент Академии наук, позже министр народного просвещения, автор формулы «православие, самодержавие, народность». Капнист Василий Васильевич (1758—1823) — драматург и поэт. Беседа — см. с. 7. *Тень милая* — В. А. Жуковский (1783—1852), который широко использовал гекзаметр в своих поэмах, а в конце жизни перевел им «Одиссею». *Слепец всезрячий* — Гомер *(Омир)*, который, по преданию, был слеп. *Белые стихи* — безрифменные. *Виноград мне кисел* — реминисценция из басни Крылова «Лисица и виноград» (1808).

Ночью на железной дороге между Прагою и Веною. «Русский». 1867, 13 марта, с опечатками в ст. 68 («С неожиданной» вм. «С неизбежною») и в ст. 79 («надменно» вм. «надмен-

ный»), исправленными по всем рукописным источникам. Черновой автограф в Альб-1, с правкой, приводящей к окончательному тексту. Две авториз. копии, одна из которых в РСб-4, с пометой у загл.: «(К дорожным фотографиям)». Вяземский собирался включить ст-ние в ВДД, о чем писал М. Н. Лонгинову 23 ноября 1861 г. (ПД), но из-за срочного отъезда за границу не успел прислать текст. Судя по отметке в записной книжке поэт прибыл из Праги в Вену 29 мая 1853 г. (ПСС-10. С. 4). В ночь на 29 мая и было, очевидно, написано наст. ст-ние. *С громом зыблются мосты* — цитата из баллады Жуковского «Людмила» (1808); далее в ст-нии обыгрываются ее мотивы: мертвецы, пение петуха, предупреждающее о наступлении утра, смерть без покаяния.

Петр I в Карлсбаде. М. 1853, № 21 с опечаткой в ст. 3 («горных» вм. «гордых»). -- ВДД, под загл. «Памятник Петру I в Карлсбаде». -- Печ. по авториз. копии в НР. Четыре авториз. копии: одна на обороте письма неустановленного лица, с датой: «23 апреля 1853», вторая — без загл., с авторской пометой «Карлсбад» (обе с вар. ст. 3), третья в Альб-1, четвертая в РСб-1855 (II), под загл. «Надпись на памятнике Петру I в Карлсбаде». Написано в мае 1853 г., когда Вяземский жил в Карлсбаде; тогда же текст ст-ния был увековечен на скале «Петровская высота» (окрестности Карлсбада) на мраморной глыбе (см. об этом: «Московские ведомости». 1854, 24 июня). В 1877 г. над надписью был установлен бюст Петра I (скульптор Т. Сейдан). *Твой каждый след.* С пребыванием Петра в Карлсбаде (1711—1712) связано много легенд и памятных мест.

Зонненштейн. «Русская беседа». 1858, № 3. -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. *Зонненштейн* — город в Саксонии. *Кипсек* — роскошно иллюстрированное издание. *Любезный образ* — Батюшков, который в 1824—1828 гг. жил в Зонненштейне, в лечебнице для душевнобольных; болезнь его оказалась неизлечимой; в 1853 г. он находился в Вологде. *Он, песнями и скорбью наш Торквато* — отголосок ст-ния «Умирающий Тасс» (1817) Батюшкова (ср. у Батюшкова: «Торквато наш»); в тексте и авторских примеч. к ст-нию современники улавливали скрытый параллелизм между судьбой и поэзией итальянского и русского поэтов.

Бастей. ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Автограф в Альб-1, с датой: «1853», последующей правкой и вар. ст. 16, 22 и 32. *Бастей* — скала на Эльбе.

Венеция. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова (без загл., с правкой и датой: «1853»), так как в НР неавториз. копия. Загл. восстановлено — оно было согласовано с Вяземским и фигурирует в авториз. списке «Оглавления». Автограф — ранняя ред., без загл., с дополнит. четверостишием между ст. 16—17 и без ст. 57—60, 117—128. Ст-ние в этой ранней ред. не имело политического подтекста. Оно написано во время пребывания Вяземского в Венеции в августе—ноябре 1853 г. *Здесь — прозрачные дороги.* Этот и следующие три ст. отчеркнуты Вяземским в авторском экземпляре ВДД и против них помета 1878 г.: «Хорошо, потому что верно». *Экипажи — точно гробы.* К этому ст. там же имеется авторское пояснение: «Гондолы с черною кибиткою своею». *Сансовино* (Татти) Якопо (1486—1570) — итальянский архитектор; воздвиг многие здания и скульптурные памятники в Венеции. *Тинторетто* (Робусти) Якопо (1518—1594), *Ти-*

циан (см. с. 499), *Жиордано* (Джордано) Лука (1632—1705), *Порденоне* Джиованни (1484—1539), *Гвидо Рени* (1575—1642). *Веронез* (Веронезе) Паоло (1528—1588) — итальянские живописцы. *При австрийцах не исчез.* В 1797—1805 и 1815—1866 гг. Венеция находилась под властью Австрии. *Факин* — бродяга. *Принчипесса* — княгиня, принцесса. *Сорбети* — мороженое. *Долиман* — красный суконный плащ. *Сан-Марко* — главный собор Венеции в честь святого, покровителя города. *Если ж при ночном светиле.* Строфа отчеркнута Вяземским в экземпляре ВДД, и на полях им помечено: «Хорошо». *Базилика* — собор св. Марка. *Кампаниле* — четырехгранная колокольня в средневековых итальянских соборах; здесь: кампанила св. Марка. *Дворец, почивший сном* — Дворец дожей по соседству с Сан-Марко. *Крылатый лев* — скульптурное изображение на колонне, расположенной на площади Сан-Марко. *Край лагунный.* Город расположен на островах Венецианской лагуны Адриатического моря. *Киприда* — Афродита, родившаяся из морской пены. *Тедеско* — по-итальянски немец; так называли австрийских поработителей. *Тут пятой Горшковский давит.* С 1849 по 1854 г., после подавления национально-освободительного движения, военным и гражданским генерал-губернатором Венеции был назначен австрийский ставленник генерал Карл Горшковский фон Горшков (1778—1858). *Гривой грозно ль не тряхнет?* В авторском экземпляре ВДД Вяземский в 1878 г., отчеркнув последнее слово, приписал: «Тряхнул, но на радость ли себе? Это еще вопрос не решенный. В политическом отношении, да, решен, но в отношении к народному благоденствию сомнительно. Венецианцы платят теперь больше налогов, чем прежде. Стихотворение довольно живая и верная фотография». В этой приписке речь идет о положении Венеции после ее освобождения от австрийской зависимости и включения в Итальянское королевство (1866).

(Из «Поминок»). ПСС-11. -- Печ. по автографу с датой: «1854» (его начало и конец находятся в разных единицах хранения); последние 4 ст. автографа, дошедшие до нас в черновом, недоработанном виде, в основной текст не включены. Авториз. копия в Альб-2 — фрагмент первых 20 строф, под загл. «Пушкин» и с пометой Вяземского: «Нет конца». Из цикла «Поминки» здесь помещено лишь последнее ст-ние, посвященное Пушкину. Остальные ст-ния посвящены Языкову, Гоголю, Жуковскому, Дельвигу, Алексею Перовскому. *Мемнонова статуя* — статуя вблизи Фив, названная именем троянского героя Мемнона, погибшего от руки Ахилла; по преданию, при восходе солнца издавала протяжный звук, и говорили, что Мемнон приветствует свою мать Эос (зарю). *Фелица* — под этим именем в одах Державина воспета Екатерина II. *Чесма и Кагул.* Чесменская бухта и река Кагул — места побед русской армии и флота над Турцией в 1770 г. *Старец-бард* — Державин, присутствовавший на чтении Пушкиным-лицеистом своих стихов. *Африки твоей* — реминисценция из первой главы «Евгения Онегина» Пушкина: «Под небом Африки моей».

*Эперне. ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Автограф — ранний набросок начала, в сост. 31 ст., без строфы 3, с незаконченными строфами 6, 8, 10 (строфы 7—10 иные, чем в основном тексте). Черновой автограф первой части (без «Приписки»), под загл. «Из Эперне (1839 года)», без строфы 4, с вар. и с последующей правкой. Черновой автограф «Приписки 1854 года», с вар. и незаконченной

строфой 13. Автограф всего ст-ния в арх. М. Н. Лонгинова, с небольшими вар. *Эперне* — город в 142 км от Парижа, один из центров французского виноделия; о его посещении Вяземский упоминал в письме родным из Франции от 22 августа 1838 г. (ЛН. 1937. Т. 31/32. С. 120) и в «Записной книжке» 1838—1860 гг. (ЗК. С. 261). В ВДД (с. 369) дано следующее примеч., составленное со слов Вяземского: «В конце 1838 года автор, посещая Эперне, вспомнил рассказ Давыдова о том, как в 1814 году он был с партизанским отрядом в Эперне, где встретил многих друзей, как они прослезились от радости при такой встрече и потом весело пировали. Автор написал там первую часть этого не изданного до сих пор послания к Давыдову, которое и было последним, к нему адресованным. Давыдов вскоре умер, и чувства, возбужденные вестью о его смерти, выражены автором во второй части послания, написанной уже в 1854 году». На слова ст-ния написан романс С. В. Рахманинова. *Моэт* — см. с. 497. *Илион* — Троя. *Лихой казак* — возможно, Матвей Иванович Платов (1751—1818), атаман донских казаков, герой Отечественной войны 1812 г.; но скорее это обобщенный образ (в черновом автографе: «лихой земляк»). *Бородинский бородач* — Д. В. Давыдов, который, командуя в 1812 г. партизанским отрядом, отпустил бороду, что было необычным: с петровских времен до середины XIX в. русские дворяне бороду не носили. *Кипарис* — символ смерти. *Искал я друга в день возврата.* Давыдов умер в апреле 1839 г., а Вяземский вернулся из-за границы в июне 1839 г. *Про льды Финляндии суровой, Про огнедышащий Кавказ.* Давыдов принимал участие в шведской войне 1808 г. и с авангардом Кульнева стоял лагерем в Финляндии (см. его «Воспоминания о Кульневе и Финляндии», 1838); в 1826—1827 гг., во время русско-персидской войны, воевал на Кавказе (см. об этой экспедиции в его «Очерке жизни Дениса Васильевича Давыдова», 1832). *Багратион* Петр Иванович (1765—1812), *Сеславин* Александр Никитич (1780—1858), *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812) — герои Отечественной войны 1812 г.

Матросская песня. ПСС-11. В 1855 г. было издано на гектографе (с автографа). -- Печ. по авториз. факсимиле (с копии рукою В. Ф. Вяземской), идентичного гектографу, с дарственной надписью-автографом графине С. А. Бобринской (ГПБ). Автограф — при письме Вяземского А. Ф. Тютчевой (ЦГАЛИ), с вар. ст. 51. Датируется весной 1854 г.: 8 апреля 1854 г. Вяземский послал ст-ние Д. П. Северину (РС. 1896, № 1. С. 99), а 17 апреля 1854 г. датировано ценз. разрешение к печати (ЦГИА). В ст-нии речь идет о неудавшейся попытке англо-французской армады блокировать Кронштадт (весна 1854). *Сжечь грозит синица* — намек на басню Крылова «Синица» (1811), в которой синица хвастается, что сожжет море. *Морской Никола* — св. Николай Чудотворец, который считался покровителем мореплавателей. *Арак* — см. с. 451. *Непир* Чарлз (1786—1860) — английский адмирал, начальник эскадры, блокировавшей в 1854 г. порты Балтийского моря. *Пальмерстон* Генри Джон (1784—1865) — английский государственный деятель, проводивший антирусскую внешнюю политику. *За цветной подвязкой.* Речь идет об английском ордене Подвязки, к которому полагалась темно-синяя лента с золотой каймой.

* Сознание. ЗГ. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Автограф — наброски без ст. 15—24, 29—40, с фрагментами, не вошедшими в основной текст, которые датированы 1854 г. и имеют авторскую по-

мету: «В разное время зачатки стихотворений». Черновой автограф на одном листе со ст-нием «12 июля 1854 года», с вар. и недописанными ст. 15—16. *Титов* Владимир Павлович (1807—1891) — дипломат и литератор из кружка «любомудров»; Вяземский постоянно встречался с ним летом 1854 г. в Баден-Бадене. Список ст-ния был послан Титову в апреле 1859 г. для ЗГ; в письме от 10 апреля Вяземский сообщает последнее исправление в ранее посланный текст (ЦГАЛИ). *Я пережил детей.* Из пяти сыновей поэта четверо (кроме Павла) скончались в малолетстве; между 1835—1849 гг. поэт потерял трех взрослых дочерей.

* Рябина. ВДД, с ошибочным пропуском строфы 18 (пропущена и в последующих изд.). -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. и дефектная копия рукою Лонгинова. Черновой автограф с двумя дополнительными строфами и датой: «Веве. 2/14 ноября 1854 г.». За пять дней перед написанием ст-ния (28 октября/9 ноября) Вяземский занес в записную книжку прозаический набросок будущего ст-ния (ПСС-10. С. 140). *Знакомый пруд, знакомый дом.* Речь идет об имении Вяземских Остафьево; более точное описание см. в не вошедшей в основной текст строфе автографа. *«Ты рябинушка, ты кудрявая»* — традиционный зачин русских народных песен о рябине (см.: Соболевский А. И. Великорусские народные песни. Спб., 1899. Т. 5. С. 561—562). *Потомка* — здесь: женский род от слова «потомок». *«Новая Элоиза»* — роман Ж.-Ж. Руссо (1761). *Шале* (фр.) — деревенский домик. *И слава сахарной Коломны.* Город Коломна Московской губ. издавна славился производством пастилы.

Литературная исповедь. ПСС-11. -- Печ. по автографу с последующей правкой; ст-ние не закончено. Черновой автограф — наброски. Основанием для предположительной датировки служит ст.: «В Аксакове прочти поэтику ружья». С книгою С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (М., 1852) Вяземский, судя по заметке в записной книжке, познакомился 30 августа 1854 г. (ПСС-10. С. 137). *Плаксин* Василий Тимофеевич (1795—1869) — автор учебных пособий по истории русской литературы. *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы, составитель многократно переиздававшихся хрестоматий и учебников. *Капитул* — совет или коллегия руководящих лиц в католических церквах или орденах; здесь: избранные лица. *Адрес-календарь* — см. с. 468. *Лагарпы наших дней* — здесь: современная критика; Лагарп Франсуа (1739—1803) — французский писатель и авторитетный теоретик позднего французского классицизма. *Челядинцев* — холопов. *Певец финляндки Эды* — Боратынский, автор поэмы «Эда» (1824). *Кулачные бои, как их любили деды.* Вяземский отсылает к направленной против него эпиграмме Боратынского (1825):

Войной журнальною бесчестит без причины
Он дарования свои.
Не так ли славный вождь и друг Екатерины —
Орлов — еще любил кулачные бои?

Давно минувших лет дела — парафраз ст. 1 из «Руслана и Людмилы» Пушкина (1820). *«Журналов перешед волнуемое поле...»* и т. д. Парафраз строк из монолога Агамемнона в трагедии Озерова «Полик-

сена» (1809): «И жизни преходя волнуемое поле. Стал мене пылок я и жалостлив стал боле». *Бобчинский с крестным братом.* Сравнение современной критики с персонажами комедии Гоголя «Ревизор» Бобчинским и Добчинским см. также в статье Вяземского 1847 г. «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (ПСС-2. С. 369—370). *Хвостов* — см. с. 443. *Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет.* Герой одноименной поэмы Пушкина перед сном читал Вальтера Скотта. *Фрол Силич.* Вероятно, имеется в виду повесть Н. М. Карамзина «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791). О широком ее распространении и об ироническом восприятии критикой 1840-х гг. см.: Степанов В. П. Повесть Карамзина «Фрол Силин» // «XVIII век». Л., 1969. Сб. 8. С. 242—244. *Календарь Острожского изданья.* Речь идет о «Месяцеслове» (1612), изданном в первой русской типографии в г. Остроге. *И всё, что любим мы.* Зачеркнутый вар.: «И Пушкин не по нем». *Причет* — церковнослужители одного прихода. *Родоначальники литературной черни.* Об отношении Вяземского к демократической литературе 1840—1860-х гг. см. во вступ. статье, с. 44—46. *«Из колыбели я уж вышел рифмоплетом»* — цитата из «Послания 37-го» Вольтера (1732). *Отец мой* — Вяземский Андрей Иванович (1754—1807); о нем см.: Гиллельсон. С. 7—13. *В финансовый хомут.* С 1831 по 1845 г. Вяземский служил по министерству финансов под началом *Канкрина* Егора Францевича (1774—1845) — министра финансов. *«Под сильным подозреньем»* — выражение из лексикона криминалистики. *Пристандержательство* — содержание тайного пристанища для бродяг, воров и разбойников.

* «Моя вечерняя звезда...». ВДД, под загл. «Вечерняя звезда». — ПСС-11, под загл. «14 января в Веве». — Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия рукою Лонгинова. Автограф — ранняя ред. в письме неустановленному лицу с датой: «Веве. 14/26 января 1855 г.» (опубл.: Изд-1958. С. 330). На листке написано: «Во вчерашнем письме забыл я сказать Вам две вещи, одну Вы сами...» (далее следует текст наст. и следующего ст-ний). Адресат не установлен.

«Ночью выпал снег. Здорово ль...». ВДД. под загл. «Снег». — Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия рукою Лонгинова. Автограф — ранняя ред. (см. примеч. к предыдущему ст-нию). *Веве* — город в кантоне Во (Швейцария), на берегу Женевского озера, недалеко от Лозанны. *Литейная* — часть Петербурга, расположенная на левом берегу Невы.

«Чуден блеск живой картины...». ВДД, под загл. «Картина». — Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия рукою Лонгинова. Черновой автограф с датой: «1855» и с вар. Авториз. копия с небольшой авторской правкой, приближающей текст к окончательному. В ст-нии, очевидно, изображено Женевское озеро, на берегу которого, в Веве, Вяземский жил в начале 1855 г.

Англичанке. ВДД. — Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия рукою Лонгинова. Черновой автограф строф 1—3, без загл., с вар. Две авториз. копии: одна с авторской правкой, приближающей текст к окончательному, вторая — в «Записной книжке» 1854—1857 гг., без загл., с вар. и датой: «Веве.

10/22 марта 1855». Адресат — г-жа Штейгер (в замуж. Клаус). По словам И. С. Аксакова, она познакомилась с Вяземским «за несколько лет до встречи с ним в Веве (в 1855 г.) ...Князь руководил ее занятиями русским языком и внушал ей любовь к „русским музам". Когда потом началась... ⟨Крымская война⟩, то, несмотря на разгоревшуюся национальную вражду между русскими и англичанами, г-жа... де Штейгер приняла живое участие в нашем поэте... Признательный за участие, князь Вяземский и написал г-же Штейгер... стихи» («Русь». 1881. 14 февраля; здесь же ст-ние перепечатано, под загл. «В альбом г-же Штейгер», с вар.). *Джон Буль* — шуточное прозвище англичанина. *Пальмерстон* — см. с. 513.

На прощанье. «Складчина». Спб., 1874. Черновой автограф («О, будь на вас благословенье свыше...») — фрагмент, без загл., с вар. Два беловых автографа: один — фрагмент ст. 1—13, без загл., с вар. (ГПБ), второй — без ст. 41, с датой: «Осенью 1855 г.» и с вар. Две авториз. копии с последующей авторской правкой, приводящей текст к окончательному: первая в материалах к ПСС, вторая — в РСб-4, с пометой у загл.: «К разн⟨ым⟩ стихотворениям», с вар. и датой: «Лесная дача. Осенью 1855». Речь идет о даче в Лесном под Петербургом, где Вяземские проводили осень 1855 г. *Промысл* — божественная воля.

Береза. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, с исправлением описки в ст. 12 по другому (зачеркнутому) автографу в том же архиве. В НР — неавториз. копия рукою Лонгинова. Указ. зачеркнутый автограф — с вар. и пометой: «Веве». Авториз. копия без загл., без строфы 3 и с вар. В ПСС-11 датировано 1855 г. *Фактор* — здесь: посредник, исполнитель поручений.

Баден-Баден. ВДД. -- Печ по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия. Черновой автограф с вар. ст. 16, 21, 23, 25, с незаконченными строфами 10, 13, без двух последних строф и с посвящением: «Ник⟨олаю⟩ и Владим⟨иру⟩ Алекс⟨еевичам⟩ Мухановым». Речь идет о старинных приятелях Вяземского Н. А. Муханове (1802—1871) и В. А. Муханове (1805—1876). Вяземский жил в *Баден-Бадене* (на юге Германии) весной 1854 и 1855 гг. Ст-ние, вероятно, относится к 1855 г. 18 апреля 1855 г. Вяземский отметил в «Записной книжке»: «По здешнему 1-го мая, и открытие баденской дьявольщины — салонов, игры, ресторана» (ПСС-10. С 165). *Капернаум* — древний торговый центр в Палестине, которому, по евангельскому преданию, Христос предсказал гибель и разрушение (Матф., XI, 23). *Дюшессы* (фр.) — графини. *Апокрифы* — отвергнутые, неканонизированные произведения раннехристианской литературы; здесь: в значении «недостоверный» (кавалер). *Гофкикиморы* — придворные оборотни. *Сетки* — т. е. средства для обольщения.

«Поскупясь, судьба талана...». ВДД, под загл. «Отъезд», с искажением ст. 10 и 30. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова. Авториз. копия, с вар. ст. 17—19 (опубл.: Изд-1958). В авторском экземпляре ВДД против ст. 10 Вяземский пометил: «Что-то должно быть не так». Этот ст. искажен переписчиком (см. копию Лонгинова в НР): вм. «И занес в Женеву ногу» — «И занес в телегу ногу». Здесь же под текстом поэт в 1878 г. пометил: «Довольно слабо и вяло». Датируется предположительно по «Записной книжке»;

11 марта 1855 г. Вяземский здесь отметил: «Ездил в устье Роны в проливной дождь»; и на следующий день: «Выехали из Веве на пароходе. Приехали в Женеву» (ПСС-10. С. 164). *Талан* — счастье, удача. *Я занес в Женеву ногу.* Ст. пародийно перефразирует строку из ст-ния Державина «На выздоровление мецената» (1781?): «И ногу в вечность ты занес». *Биза* — северный ветер. *Рона* — река в Швейцарии, протекающая через Женевское озеро и впадающая в Лионский залив. *Не всходил на верх Салева По следам Карамзина.* Эта прогулка описана Карамзиным в «Письмах русского путешественника» (1797). *Белая гора* — Монблан.

«Дивлюсь всегда тому счастливцу...». ПСС-11. — Печ. по списку в материалах к ПСС, с пометой составителей: «Набросок» и ими же проставленной датой: «1856»; список является копией с не дошедшего до нас автографа или авториз. копии. Черновой автограф. без строфы 12. *Иракловы столбы* — см. с. 486. *За срок.* Имеется в виду срок солдатской службы. *Зауряд* — исполняющий должность без соответствующего чина; в переносном смысле: ненастоящий, подставной.

«Приветствую тебя, в минувшем молодея...». ИОАН, под рубрикой «Пять стихотворений князя П. А. Вяземского» (имеется отд. оттиск). Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Черновой автограф, с вар. и датой: «Остафьево. 26 октября 1857» (ГПБ; ср. в записной книжке под этой датой: «Остафьево... Гулял, писал стихи». — ПСС-10. С. 171). Авториз. копия в арх. И. И. Срезневского (ЛО ААН) — наборная рукопись для ИОАН, с авторской правкой. *Остафьево* — подмосковное имение Вяземских. *Помпея* — город в Италии, засыпаный при извержении Везувия (в 79 г.) и раскопанный в XVIII в.

«Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано...». ПСС-11. — Печ. по автографу, написанному на одном листе со ст-нием, датированным «24 июня 1857 г.», что служит основанием для предположительной датировки. Текст, вероятно, не завершен. В ст-нии речь идет о графе Михаиле Юрьевиче Виельгорском (1788—1856), композиторе-дилетанте и музыканте-меценате, близком приятеле Вяземского. *Филидор* (Данникан) Франсуа Андре (1726—1796) — французский композитор и выдающийся шахматист; здесь: синоним шахматиста. *А Батюшков поздней игрой волшебных струн.* Имеется в виду батюшковское «Послание г(рафу) В(елеурско)му» (1811), начинающееся строками: «О ты, владеющий гитарой трубадура, Эраты голосом и прелестью Амура...»

(Из «Очерков Москвы»). ВДД. — Печ. по авториз. копии в НР, с авторской правкой. Ст-ние является третьим (и последним) в цикле. Черновой автограф цикла, под загл. «Картины Москвы» и с датой на смежном листе: «Июль 1857» (ГПБ). Авториз. копия в сост. 17 строф, без строф 7—8 и с дополнительным, не вошедшим в основной текст четверостишием; на копии рукою автора дата: «17 мая 1858 г.» и помечено: «Копия послана к Плетневу через Титова». *Патриарший пруд* — пруд в Арбатской части Москвы, выкопанный в 1682 г. в усадьбе патриарха (отсюда название). *Кузнецкий мост* — московская улица, на которой располагались модные французские магазины. *Русь в кичке.* К этому ст. в НР имеется сноска Вяземско-

го: «Так ли?» Кичка (кика) — женский крестьянский головной убор. *Маросейка* (Малороссейка) — московская улица (ныне Богдана Хмельницкого), названная по Малороссийскому подворью, располагавшемуся в этой части Москвы (XVII в.). *Сухарева башня* — башня на Садовом кольце (не сохранилась); была построена в 1695 г. и названа в честь полка Л. Н. Сухарева, оставшегося верным Петру I во время стрелецкой смуты.

Александру Андреевичу Иванову. «С.-Петербургские ведомости». 1858, 5 июля, с примеч. редактора: «Стихотворение это написано за два дня до смерти А. А. Иванова, который скончался, не узнав о его существовании». Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Черновой автограф, без строфы 9, с вар. и иной композицией строк (ГПБ). Две авториз. копии: одна с датой: «Июнь 1858 года», вторая в арх. Олениных (ГПБ), с датой: «30 июня 1858». В ст-нии отражены впечатления Вяземского от картины А. А. Иванова «Явление Христа народу», которую живописец привез из Италии в 1858 г. Она была выставлена в Академии художеств и вызывала горячие споры. Пока обсуждался вопрос о ее покупке царем, Иванов неожиданно скончался от холеры (3 июля 1858 г.). Вяземский тогда же написал ст-ние «На смерть А. А. Иванова» (ВДД. С. 259—263). В записной книжке под 13 июля 1858 г. поэт указывает, что настоящее ст-ние «возбудило довольно живое сочувствие» (ПСС-10. С. 210). О возможном личном знакомстве Иванова с Вяземским свидетельствуют относящиеся к этому времени пометы дневникового характера в бумагах художника, фиксирующие намечавшиеся визиты к поэту (ГПБ, арх. А. А. Иванова). *Я видел древний Иордан.* В 1850 г. Вяземский совершил паломничество в Палестину. *Схимник* — монах, ведущий строго аскетический образ жизни. *Свой дух постом уединенья.* На протяжении двадцати лет работы над полотном Иванов вел затворническую и подвижническую жизнь. *Священной книги* — Нового завета. *Глас вопиющего в пустыне* — слова пророка Исайи, относящиеся к Иоанну Крестителю (Матф., III, 3). *Предтеча* — Иоанн Креститель; он изображен на переднем плане картины призывающим совершить обряд крещения в реке Иордан. *«Грядет он, господа избранник...»* и т. д. Строфы 8 и 9 представляют собой переложение проповеди Иоанна Крестителя (Матф., III, 10—12). *Покрытый кожею верблюда.* «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса...» (Матф., III, 4).

Другу Северину. ПСС-11. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с авторской пометой у загл.: «К разным стихотворениям» и с датой: «Карловары. 20 сент(ября)/ 2 окт(ября) 1858». Автограф на шмуцтитуле оттиска «Пять стихотворений князя П. А. Вяземского», с тою же датой. *Северин* Дмитрий Петрович — см. о нем с. 446.

Желание. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавторская копия (рукою Лонгинова). Два автографа: один в «Записной книжке» 1858—1859 гг., с датой «Ницца, 28 нояб(ря 1858)», второй — в письме Вяземского М. П. Погодину от 6/18 декабря 1858 г., с датой «Ницца. Ноябрь 1858»; оба с вар. ст. 16, 21, 26, 28 и 33. Ст-ние было прочитано Н. Ф. Павловым на заседании Общества любителей российской словесности 21 января 1859 г. Эпиграф — из ст-ния Боратынского «Разуверение» (1821). *Тать* — вор. *Протей* — см. с. 463.

Дорогою. ПСС-11. Здесь датировано 1858 г. *Оставить сень родную.* Вероятно, речь идет о заграничной поездке 1858 г., которую Вяземский совершил, уйдя с поста товарища министра народного просвещения. *Счастливый уголок моей уютной дачи* — дачи под Петербургом, в Лесном. *Мальпост* — почтовая карета с одним или двумя местами для сидения. *Яфа* (Йафа) — город в Палестине. *Ариэль* — дух воздуха, персонаж пьесы Шекспира «Буря» (1612).

Вечер в Ницце. ЗГ. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Два автографа: один в «Записной книжке» 1858—1859 гг., без загл., с авторской правкой и вар. ст. 5, 10, 21 и 26; второй — в письме В. П. Титову от 10/22 февраля1859 г., без загл., с сопроводительной пометой: «Вот мои последние стихи» (ЦГАЛИ). *Антибы* (Антиб) — город на южном побережье Франции.

Ферней. ПСС-11. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с пометой у загл.: «К дорожн(ым) фотографиям» и с датой: «1859». Автограф в «Записной книжке» 1858—1859 гг., с датой: «1859» и с вар. ст. 11. 20, 47 и 56. Авториз. копия с той же датой и с вар. ст. 45; судя по качеству и формату бумаги, копия эта предназначалась для НР, поскольку Вяземский намеревался прислать ст-ние Лонгинову для включения его в ВДД, но не успел. *Ферней* — имение в департаменте Эн, принадлежавшее с 1758 г. Вольтеру, который прожил здесь последние двадцать лет своей жизни. Вяземский посетил Ферней 2 июня 1859 г. (см. помету в «Записной книжке» // ПСС-10. С. 227) и посвятил поездке статью «Ферней» (ПСС-7. С. 52—61). *Волхв* — колдун, предсказатель. *И, Ньютона хладным умом толкователь.* Имеются в виду трактаты Вольтера о Ньютоне, в частности «Истолкование основ ньютоновской философии» (1738). *Творца он в творенье не мог возлюбить.* Вольтер придерживался деистических взглядов на мир, согласно которым допускается существование бога лишь как первопричины мира, но отвергается его вмешательство в развитие природы и общества.

«Послушать век наш — век свободы...». «Наше время». 1860, 19 июня, под загл. «Заметка» и с опечаткой (отмечена в следующем номере). -- ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР с датой: «16 мая 1860». Идентичная авториз. копия с пометой Александра II: «По-моему, много есть правды и весьма полезных намек». Автограф, под загл. «Заметка», с той же датой. В ст-нии отразились настроения Вяземского 1850—1860-х гг. (см. вступит. статью).

Дом Ивана Ивановича Дмитриева. ВДД, с примеч. составителя: «Это... стихотворение написано автором в 1860 году, после посещения дома, принадлежавшего Дмитриеву в Москве, на Спиридоновке». *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт, почетный арзамасец; один из наиболее близких старших друзей молодого Вяземского. *Он в свете был министр.* Дмитриев был министром юстиции с 1810 по 1814 г. *Мидас* — см. с. 456. *Аттическая соль* — тонкая острота, насмешка. *Петров* — см. с. 487. *Лафонтен* Жан де (1621—1695) — французский баснописец. *Ермак и Модная жена* — намек на одноименные ст-ния Дмитриева (1794, 1791). *Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец. *Светоний* Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — римский историк. *Фелица* — см. с. 512. *Родной дубравы тень, Над светлой Волгою.* Дмитриев родил-

ся в родовом имении, селе Белогородском (близ Сызрани), расположенном на берегу Волги. *Задунайский гром румянцовских побед.* Речь идет о победах П. А. Румянцева в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. *Гогарт* (Хогарт) Уильям (1697—1764) — английский гравер и рисовальщик, прославившийся сатирическими изображениями английского общества.

* Друзьям. ВДД. -- Печ. по копии в НР. Автограф в арх. М. Н. Лонгинова — ранняя ред., с последующей авторской правкой, не доведенной до конца. Дальнейшая доработка текста, судя по сохранившейся переписке Вяземского с Лонгиновым, была согласована с автором. В своем экземпляре ВДД Вяземский в 1878 г. под текстом пометил: «Кажется, хорошо».

«Год Новый встретя с беспристрастьем...». ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР, с правкой Вяземского.

«Кто — в человеке видит дрянь...». ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия рукою Лонгинова.

«С тех пор как упраздняют будку...». ВДД. -- Печ. по авториз. копии в НР. Ст-ние направлено против обличительной литературы.

Старость. ВДД. -- Печ. по авториз. копии в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР текста нет. Идентичная авториз. копия с датой (снятия копии): «24-го октября 1863-го года». Эпиграф — из «Стансов» Вольтера (1741).

Бессонница. ВДД. -- Печ. по автографу в арх. М. Н. Лонгинова, так как в НР неавториз. копия. *Глагол времен, металла звон* — цитата из «Оды на смерть князя Мещерского» Державина (1779). *Уж с Храповицким речь затягивать умею.* Строка восходит к рассуждению Гоголя в «Мертвых душах» (ч. 1, гл. 9) о многообразии перифрастических обозначений сна, например «заехать... к Храповицкому» означает «всякие мертвецкие сны... с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями».

Битва жизни. РВ. 1861, июль, с подзаг.: «Из собрания стихотворений „На дороге и дома“». -- ВДД. В НР текста нет, но имеется авториз. копия в арх. М. Н. Лонгинова, послужившая основой для первой и второй публикаций. На авторском экземпляре ВДД под ст-нием помета Вяземского 1878 г.: «Кажется, вся пиеса довольно хорошо выдержана». *У каждого был жезл* — выражение, восходящее к приписываемой Наполеону реплике: «Каждый французский солдат носит в своем ранце маршальский жезл».

Вечер. «День». 1861, 21 октября. Вошло в ВДД, но в НР текста нет. Две авториз. копии: одна рукою В. Ф. Вяземской, с посвящением: «Екатерине Федоровне Тютчевой, фрейлине 1-й ее величества имп. Марии Александровны»; вторая в арх. Ф. И. Тютчева (ЦГАЛИ), с датой: «9-е июля 1861-го. Петергоф». Адресат — Е. Ф. Тютчева (1835—1882), дочь поэта, с которой Вяземский был в дружеских отношениях.

Царскосельский сад зимою. ПСС-11. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с авторской правкой и датой: «Ц⟨арское⟩ Село. 22 ноября 1861». Копия рукою В. Ф. Вяземской, в материалах к ПСС, под загл. «Сад зимою», с датой: «1861» и с вар. строфы 3 первого ст-ния цикла. 2. *Бенвенуто* Челлини (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер.

Ник⟨олаю⟩ Аркад⟨ьевичу⟩ Кочубею. ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с датой: «27 октября/8 ноября 1863»; здесь ст-ние включено в обширный цикл «Фотографии Венеции». Авториз. копия в «Записной книжке» 1863—1864 гг., с той же датой и пометой: «Венеция». С адресатом ст-ния *Н. А. Кочубеем* Вяземский сблизился в Константинополе в 1849—1850 гг., когда тот был мужем вскоре скончавшейся свойственницы Вяземского Е. А. Столыпиной (ум. 1852); впоследствии стал зятем декабриста С. Г. Волконского и служил под начальством Д. П. Северина (см.: РС, 1896, № 1. С. 94 —99); в 1863 г. Кочубей жил в Италии, где через год скончался от туберкулеза. *Робинсон* — Робинзон Крузо, герой одноименного романа Д. Дефо (1719). *Лагунная темница.* Лагуна — мелководный бассейн вокруг Венеции, отделенный от Адриатического моря песчаной косой с проливами. *Пятница* — персонаж романа Дефо, дикарь, разделявший одиночество Робинзона Крузо. *Седмица* — архаическое название недели. *Завадовский* Василий Петрович (1799—1855), граф, с ним Вяземский встречался в Венеции в 1853 г.

«Совсем я выбился из мочи!..». ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. В ПСС отнесено к 1863 г. *Яго* — персонаж трагедии Шекспира «Отелло» (1604).

«Всё в скорбь мне и во вред. Всё в общем заговоре...». ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. В ПСС отнесено к 1863 г. Эпиграф — из первого действия трагедии Расина «Федра» (1677). *Синглетон* — при игре в вист единственная карта той или иной масти в руках игрока. *Кикс* — промах при игре на бильярде. *К лучшему идет всё в лучшем нашем мире* — парафраз философского афоризма из «Теодицеи» (1710) Лейбница «Всё к лучшему в этом лучшем из миров»; его развенчивает Вольтер в повести «Кандид, или Оптимизм» (1759).

«„Зачем вы, дни?“ — сказал поэт...». ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Автограф в «Записной книжке» 1863—1864 гг., без авторского примеч. и с вар. *«Зачем вы, дни?»* — неточная цитата из ст-ния Боратынского «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» (1840?). *Прохладных маков* — т. е. легких, радостных сновидений, так как мак обладает снотворными свойствами. *Как будто отзыв погребальный* — реминисценция из «Бессонницы» Тютчева (1830).

Santa Elena. ПСС-12. Авториз. копия в РСб-4, без ст. 49—50 и с вар. ст. 59; здесь ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Относится к пребыванию поэта в Венеции в 1863 или 1864 г. *Святая Елена* — один из островов Венеции; топоним совпадает с названием острова, на который был сослан Наполеон. *Сей сад завоевал.* Общественный сад в Венеции был устроен во время владычества над городом Наполеона. *Эней* (римск. миф.) — герой «Энеиды»

Вергилия. *Опальный прах его на дальнем рубеже В отчизну перенес под песни Беранже.* Прах Наполеона был торжественно перевезен с острова Св. Елены в Париж в 1840 г.; Беранже Пьер Жан (1780—1859) — французский поэт-демократ, который в своих песнях прославлял антифеодальную сторону деятельности Наполеона Бонапарта. *Депрео* — Буало. *«Француз, шутник в душе, дал миру водевиль»* — вольный перевод ст. Буало из «Искусства поэзии»: «Le Français, né malin forma le vaudeville» («Француз, насмешливый по природе, создал водевиль»). *Всё в песню преложил, и даже гильотину.* Гильотина, вошедшая в употребление в начале 1790-х гг., вызвала появление песенок и даже водевильных куплетов. *Родил и расплодил всё тот же балагур.* Гильотина была изобретена врачом Ж. Гийотеном и введена как орудие казни во время французской революции 1790-х гг.

«Пожар на небесах — и на воде пожар...». «Утро». М., 1866, в цикле «Венеция». Авториз, копия в РСб-4, где ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863 или 1864 г. *Палацца* — палаццо (ит.) — дворец; здесь: Дворец дожей в Венеции. *Кампанила* — см. с. 512. *Крылатый лев* — см. с. 512. *Саламандра* — здесь: несгораемая ящерица, сказочный дух огня. *Сан-Марко* — см. с. 512. *Салуте* — церковь Santa Maria della Salute (архитектор Б. Лонгена). *Благовест* — звон в один (средний) колокол, извещающий о церковной службе.

«„Per obbedir la“, что ни спросишь...». ПСС-12. — Печ. по авториз. копии в РСб-4. Автограф в «Записной книжке» 1863—1864 гг., с вар. в строфе 7 и последующей правкой, приводящей ее к окончательному тексту. *Канал* — Большой канал в Венеции.

«Ни движенья нет, ни шуму...». «Утро». М., 1866, в цикле «Венеция». В ПСС-12 и последующих изд. под загл. «Венеция». Авториз. копия в РСб-4, где ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863 или 1864 г. *Дуются орел и лев.* Орел — эмблема Австрийской империи, лев — Венеции; имеются в виду враждебные отношения между этими государствами. *Не дошло еще до драки.* Война между Австрией и Италией, которую предвидел Вяземский, произошла в 1866 г.; результатом ее было освобождение Венеции из-под австрийского владычества.

«К лагунам, как frutti di mare...». ПСС-12. — Печ. по авториз. копии в РСб-4, где ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863 или 1864 г. *Лагуна* — см. с. 521.

«Прелестен вид, когда, при замиранье дня...». ПСС-12, под загл. «Из фотографии Венеции», с вар. ст. 8. — Печ. по авториз. копии в РСб-4, где ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Черновой автограф — фрагмент (ст. 1—11). Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863 или 1864 г. *Лагуны* — см. с. 521. *Евгейские горы* (Евганеи) — цепь возвышенностей, тянущаяся от провинции Падуя до Венецианской равнины. *Канал-гранде* — Большой канал в Венеции.

«По мосту, мосту». «Утро». М., 1866, в цикле «Венеция». Авториз. копия в РСб-4, загл. здесь служит эпиграфом; ст-ние включено в цикл «Фотографии Венеции». Написано во время пребывания Вяземского в Венеции в 1863 или 1864 г. Мост *dei sospiri* — Мост вздохов, висячий крытый мост в Венеции, соединяющий Дворец дожей и здание государственной тюрьмы.

Вевейская рябина. «Вевейская рябина. Стихотворение князя П. А. Вяземского». Спб., 1892, с вар. ст. 17. -- Печ. по автографу в альбоме Е. П. Шереметевой (ЦГАЛИ), с пометой: «Дедушка подарил эту тетрадь Кате Вяземской в Женеве в Hôtel de Berques в 1864 году». Автограф и авториз. копия в материалах к ПСС и копия с датой: «Веве. Октябрь 1864»; все три источника — с различными вар. ст. 17. *Вяземская* Екатерина Павловна (в замуж. Шереметева, 1849 — после 1914) — внучка поэта, дочь его сына Павла Петровича. В заметке, предваряющей публикацию, Н. П. Барсуков со слов правнука Вяземского П. С. Шереметева рассказывает, что ст-ние было написано в 1864 г. после того как на прогулке с внуками поэт отыскал рябину, «которой... написал стихи в 1854 году». *Веве* — см. с. 515. 2. *То, что своим теперь зовем* — реминисценция из ст-ния Тютчева «Успокоение» (1858): «Когда, что звали мы своим, Навек от нас ушло». *Леман* — живописное озеро в Швейцарии (Женевское озеро). *Красивой осени картину*. Слово «красивой» выделено курсивом, поскольку Вяземский подшучивал над привычкой своей внучки злоупотреблять этим словом.

Кладбище. ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в материалах к ПСС, с карандашной правкой Вяземского и датой: «Веве. Ноябрь 1864». Черновой автограф (там же) на одном листе с автографом «Вевейской рябины», без загл. и без строф 6—8. *Тля* — здесь: тление.

Федору Ивановичу Тютчеву. Плетнев П. А. Соч. и переписка. Спб., 1885. Т. 3, без загл., в письме Вяземского П. А. Плетневу от 1/13 февраля 1865 г. -- Печ. по авториз. копии в «Записной книжке» 1864—1867 гг., с датой: «Веве. Декабрь 1864». Автограф в указанном письме Плетневу (ПД, арх. П. А. Плетнева), без загл. и авториз. копия в арх. Д. Н. Блудова (ПД), под загл. «Ф. И. Тютчеву». Послание является ответом на ст-ние Тютчева «О этот Юг, о эта Ницца...» (ноябрь 1864). *Поэт, на язвы злополучья Ты льешь свой внутренний елей* — реминисценция из ст-ния Тютчева «Поэзия» (1850).

«Давно плыву житейским морем...». ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Авториз. копия в материалах к ПСС, с правкой рукою Вяземского двух последних ст. (приводятся к окончательному вар.) и с датой составителей: «1864».

Дорогою. ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4, с пометой у загл.: «⟨К разн⟨ым⟩ стихотворениям⟩». Авториз. копия в материалах к ПСС, с правкой Вяземского, приводящей к окончательному тексту, и с датой составителей: «1864?». Написанное тем же четырехстопным хореем, что и «Дорожная дума», «Еще дорожная дума», «Русский бог», «Еще тройка», и включающее основные мотивы перечисленных произведений, ст-ние подводит итог «дорожной теме» в творчестве Вяземского.

«Мне нужны воздух вольный и широкий...». ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии в РСб-4. Автограф с вар. ст. 1 и авториз. копия с него с правкой ст. 1. В ПСС отнесено к 1864 г.

Поминки. «Русский». 1867, 3 апреля. Автограф в «Записной книжке» 1863—1864 гг., с правкой, не доведенной до конца. Две авториз. копии: одна с вар. ст. 17, вторая в РСб-4. Датируется предположительно по положению автографа в «Записной книжке». *С бородою бородинской* — Д. В. Давыдов (см. с. 513). *Жомини* Анри (1779—1869) — военный теоретик, генерал, состоявший на службе в русской, французской и швейцарской армиях. Называя Давыдова Жомини, Вяземский имеет в виду его работы по теории партизанской войны.

«Как свеж, как изумрудно мрачен...». ПСС-12, под загл. «Петергоф». -- Печ. по правленому автографу. Написано во время пребывания Вяземского в Петергофе летом—осенью 1865 г. *Альгамбра* — позднемавританский дворцовый комплекс (сер. XIII — кон. XIV в.) в Гренаде (Испания).

Слезная комплянта... «Памяти графини М. И. Ламздорф. Стихотворения, посвященные ей князем П. А. Вяземским». Спб., 1890. Мария Ивановна Ламздорф (урожд. Бек, 1839—1866) — падчерица сына Вяземского, Павла Петровича; ей было девять лет, когда мать ее Мария Аркадьевна Бек (урожд. Столыпина) вышла замуж за П. П. Вяземского. В шуточном, макароническом по форме ст-нии заключено глубокое и мучительное чувство: М. И. Ламздорф — предмет поздней любви поэта; ее смерть на двадцать седьмом году жизни была для него тяжким ударом.

«Горжусь и радуюсь я вами...». «Памяти графини М. И. Ламздорф. Стихотворения, посвященные ей князем П. А. Вяземским». Спб., 1890. -- Печ. по автографу в материалах к ПСС и идентичной авториз. копии в альбоме Е. П. Шереметевой (ЦГАЛИ). Адресат — М. И. Ламздорф (см. о ней предыдущее примеч.).

«Опять я слышу этот шум...». «Складчина». Спб., 1874, в цикле «Крымские фотографии 1867 года». Автограф и авториз. копия (последняя в Альб-2). Ст-ние написано под воздействием лирики Тютчева. *Аюдаг* — гора на южном побережье Крымского полуострова (в переводе: Медведь-гора).

Горы ночью. «Складчина». Спб., 1874, в цикле «Крымские фотографии 1867 года». Черновой автограф в «Записной книжке» 1864—1867 гг., под загл. «Горы» и с незаконченной строфой 3. Две авториз. копии: одна в материалах к ПСС, под загл. «Крымские горы», с подзаг. «(Ночью)» и с вар. ст. 2, 3, 5, 11, 12, 32; вторая в Альб-2 — та же ред. с последующей правкой, приближающей текст к печатному. *To be or not to be* — фраза, которой начинается монолог Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (1601).

«Пора стихами заговеться...». ПСС-12, под 1867 г. -- Печ. по авториз. копии в материалах к ПСС. *Глупам стала, старам* — см. с. 494. *Кювье литературных прахов.* Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог, который установил принцип реконструкции строения вымерших животных по отдельным частям скелета; здесь имеется

в виду *А. Д. Галахов* (см. с. 514), как составитель литературных хрестоматий.

«Сфинкс, не разгаданный до гроба...». «Складчина». Спб., 1874. Авториз. копия в Альб-2. В ст-нии речь идет, вероятно, о Вольтере.

Зимняя прогулка. «Складчина». Спб., 1874. Авториз. копия в Альб-2, с авторской датой: «Царское Село. Ноябрь 1868». *Перовская* Мария Борисовна, дочь государственного деятеля Б. А. Перовского, воспитателя Александра III. *Армида* — героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), прекрасная волшебница, владеющая чудесным садом.

«Тихие равнины...». ПСС-12. -- Печ. по копии в материалах к ПСС, в цикле «Два стихотворения князя Вяземского», с датой составителей: «1869. Июль».

*«Мне не к лицу шутить, не по душе смеяться...». ПСС-12. -- Печ. по автографу в письме Вяземского к жене сына М. А. Вяземской от 4 января 1871/23 декабря 1870 г., с сопроводительной фразой: «Post-scriptum к вчерашнему письму моему» (ЦГАЛИ). Две авториз. копии: одна (идентичная автографу) в альбоме С. Д. Шереметева (ЦГАЛИ, арх. Т. и Е. С. Деллеров), под загл. «Post-scriptum к письму моему», вторая — с датой: «23 декабря 1870/4 января 1871» и с последующей правкой, не доведенной до конца. На слова ст-ния Б. Шереметевым написан дуэт (1873).

Эпитафия себе заживо. ПСС-12. -- Печ. по авториз. копии с датой: «6 января 1871. Висбаден». Автограф в письме Вяземского к жене сына М. А. Вяземской от 9 января 1871 г.; здесь стихам предшествует фраза: «Вот продолжение моего post-scriptum'а», а после текста дается его оценка: «Стихи не хороши, но правдивы» (подлинник по-фр.). И далее: «После моей настоящей и окончательной смерти можете показать их двум любопытным: Титову и Бартеневу» (ЦГАЛИ).

«Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду...». Изд-1958. -- Печ. по автографу в «Записной книжке» 1869—1871 гг., с датой: «28 сент⟨ября⟩ 1871. Ц⟨арское⟩ Село». *Ничтожество* — здесь: небытие.

Из Царского Села в Ливадию. ПСС-12. -- Печ. по автографу в Альб-2, с пометой: «Переписано в Гомбурге и послано Милютиной 3/15 июня 1874 г.». Черновой автограф в «Записной книжке» 1869—1871 гг., без строф 4, 5 и с вар. ст. 3, 8—10. *Милютина* Елизавета Дмитриевна (в замуж. Шаховская), дочь военного министра Д. А. Милютина, фрейлина императрицы Марии Александровны; вероятно, знакомство ее с Вяземским произошло в Крыму. В арх. поэта сохранились письма к нему Е. Д. Милютиной за 1869—1877 гг.; письмо Вяземского к ней от 20 февраля 1876 г. (опубл.: ПСС-10. С. 289—290). *Смотрю я вашим Аюдагом.* Аюдаг — см. с. 524. Ср. в письме Вяземского С. И. Пономареву от 19 ноября 1869 г.: «Кончаю век мой Аюдагом или медведем, но, на беду, больным медведем» («Письма библиографу С. И. Пономареву». М., 1915. С. 165). *Того,*

которого вы знали. Этот и следующий ст. — автоцитата из «Эпитафии себе заживо» (см. с. 402). *Мою тоскующую тень* — реминисценция из первой главы «Евгения Онегина» («Его тоскующая лень»).

«Все сверстники мои давно уж на покое...». ПСС-12, без строфы 2. -- Изд-1935 (полностью). -- Печ. по автографу в материалах к ПСС, с датой: «Ц⟨арское⟩ Село, 12 июня 1872». Здесь же имеется копия с автографа, с зачеркнутой строфой 2. Авториз. копия без строфы 2 и с вар. ст. 2—3. 12 июня Вяземскому исполнилось восемьдесят лет.

«Свой катехизис сплошь прилежно изуча...». ПСС-12, только строфа 3. -- Изд-1935 (полностью). -- Печ. по автографу в материалах к ПСС, на одном листе с предыдущем ст-нием, что позволяет его предположительно датировать 1872 г.

Графу М. А. К⟨орфу⟩. «Гражданин». 1875, 2 марта. Три авториз. копии, под загл. «Графу Модесту Андреевичу Корфу», с датой: «Август 1874, Гомбург»; одна из них в арх. М. А. Корфа (ГПБ), вторая — в арх. М. Н. Лонгинова (ПД) и третья — в арх. Вяземских (ЦГАЛИ). *Корф* Модест Андреевич (1800—1876) — лицейский товарищ Пушкина, впоследствии директор Публичной библиотеки, член Государственного совета. Ст-ние вызвало поэтический отклик А. Н. Майкова, который был сообщен Вяземскому Н. П. Барсуковым в письме от 25 марта 1875 г. (ЦГАЛИ):

Есть средство спать и без хлорала,
К нему прибегнуть я готов:
Жить без любви, без идеала
И вовсе не писать стихов.

«Царевичу младому Хлору» и т. д. Последняя строфа представляет собой шуточную перефразировку ст. из оды Державина «Фелица» (1782); отсылает к остроте, которую П. И. Бартенев сообщил в письме К. Я. Гроту 3 октября 1874 г.: «Встретив Корфа, приехавшего в Висбаден, кн. Вяземский сказал ему: „И вы к царевичу Хлору“» (ЛО ААН). *Хлорал* — хлорал-гидрат, снотворное средство.

Осень 1874 года. «Гражданин». 1875, 7 января, с опечатками в ст. 7, 9, которые исправлены по авториз. копии в арх. Н. П. Барсукова (ЦГАЛИ), легшей в основу печ. текста, так как именно Барсуков переслал ст-ние редактору «Гражданина» (см. его письмо Вяземскому от 3 января 1875 г. — ЦГАЛИ); на ней помета Барсукова: «Получил 27 декабря 1874 г. Спб.». Авториз. копия рукою В. Ф. Вяземской, под загл. «Осень», с датой под текстом: «Гомбург. Октябрь 1874».

Заметки. «Гражданин». 1875, 2 февраля. Из четырех опубл. в газете «заметок» вторая здесь опускается. Автографы в «Записной книжке» 1873—1875 гг., где «заметки» не объединены в цикл; вторая из них под загл. «Слово Шамфора» и без эпиграфа (опубл.: ПСС-12. С. 484), а третья с вар. (черновой автограф). Датируется предположительно по местонахождению в «Записной книжке» — среди текстов 1874 г. 2. Эпиграф — из собрания заметок «Характеры и анекдоты» французского писателя и острослова Никола Себастьяна Ро-

ка *Шамфора* (1741—1794), которое вместе с собранием его заметок «Максимы и мысли» было издано посмертно, в 1795 г. Афоризм Шамфора, бывший в России ходовым изречением, Вяземский цитирует в письме А. И. Тургеневу от 15 августа 1819 г. (ОА-1. С. 291) и в «Письмах русского ветерана...» (ПСС-6. С. 341); Пушкин использует его в черновой редакции одной из своих статей (Пушкин. Полн. собр. соч. Л.; М., 1949. Т. 11. С. 504).

Обыкновенная история. ПСС-12, без загл., в цикле под названием: «Заметки». -- Печ. по автографу в «Записной книжке» 1873—1875 гг. *Виноград ему всегда был кисел* — реминисценция из басни Крылова «Лисица и виноград» (1808); в применении к самому себе Вяземский использует это выражение в ст-нии «Александрийский стих» (см. с. 309).

«Лукавый рок его обчел...». ПСС-12 без двух последних строф. -- Изд-1935 (полностью). -- Печ. по автографу в «Записной книжке» 1873—1875 гг. Текст, вероятно, не завершен: между строфами 2 и 3 имеется еще два ст. недописанной строфы. Ст-ние имеет автобиографический подтекст. *«Воздвиг я памятник себе».* Цитата отсылает к ст-ниям Горация, Державина и Пушкина, развивающим эту тему. *Талант не в землю он зарыл* — реминисценция из евангельской притчи о рабе, зарывшем талант (деньги) в землю, вместо того чтобы пустить его в ход и тем приумножить состояние хозяина.

«Игрок задорный, рок насмешливый и злобный...». ПСС-12, под 1875 г. -- Печ. по автографу в «Записной книжке» 1874—1877 гг., где к строфе 1 имеется примеч.: «Чему служит примером аз грешный. 4/16 сентября. Во время прогулки пешком». *Сюркуп* — карточный термин, означающий, что карта перекрыта. *Персть* — прах.

«На взяточников гром всё с каждым днем сильней...». ПСС-12, под 1875 г. -- Печ. по автографу. Ст-ние направлено против обличительной литературы. *Кот Васька слушает да преспокойно ест* — парафраз последнего ст. басни Крылова «Кот и повар» (1812). *Слыхал он и Капниста.* Имеется в виду сатирическая комедия В. В. Капниста (см. о нем с. 510) «Ябеда» (1798), разоблачающая взяточничество и крючкотворство.

«Нет, нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит...». Изд-1935. -- Печ. по автографу в «Записной книжке» 1874—1877 гг., находящемуся среди майских записей 1876 г.

* Из собрания стихотворений «Хандра с проблесками». Цикл состоит из 10 ст-ний; в наст. изд. включены: 1—5, 7 и 8 ст-ния с новой порядковой нумерацией. 1—4, 7 — ПСС-12. 5 — PC. 1892, № 12 (в письме Вяземского А. В. Никитенке от 10 июля 1876 г.). 6 — PA. 1879, № 1, под рубрикой «Три последние стихотворения князя П. А. Вяземского», с семью дополн. ст. и без последней строфы. -- Печ. по автографу всего цикла в материалах к ПСС, с восстановлением отсутствующего (последнего) ст. в «Загадке» по идентичному автографу из другой архивной единицы. Кроме того, сохранились автографы: 1) в «Записной книжке» 1874—1877 гг.: пер-

вого, второго (целиком и фрагмент ст. 1—2, с вар.), третьего (в цикле с предыдущим) и шестого ст-ний; 2) автограф пятого ст-ния в указанном письме Никитенке (ПД) с вар. ст. 11; 3) автограф первоначальной ред. седьмого ст-ния. Первое ст-ние в «Записной книжке» имеет вар. ст. 1 («Я ночью пью хлорал запоем»), а ст-ние «Цветок» — датировку: «Май 1876. В вагоне из Гомбурга до Эмса». В другом месте этой же «Записной книжки» Вяземский записывает ст. 3—8 из «Цветка» со следующим примеч.: «Начало стихотворения, которое я написал, то есть надумал минувшим летом в вагоне, когда ехал из Гомбурга в Эмс. Есть и конец, но пока не нахожу его ни в памяти, ни в бумагах. Читал я его Гроту в Гомбурге, и, кажется, он был им очень доволен. Много подобных стихов у меня пропало, которые я мысленно сочинял на прогулках и езде и не успел записывать...» (ПСС-10. С. 294). В последний год жизни у Вяземского возникла идея издать за границей отдельный сб. ст-ний под загл. «Хандра с проблесками», о чем он сообщал в письме К. Я. Гроту 4/16 июня 1877 г. (СН. 1909, кн. 13. С. 35). В ПСС цикл отнесен к 1876 г. Летом этого года были написаны «Цветок» и «Я — прозябаемого царства...» (в письме Никитенке Вяземский называет его своим «последним исчадием»). Датировка остальных текстов и всего цикла — предположительна. 1. *Привыкший к яду Митридат.* Митридат VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понта, который, по свидетельству Аппиана и Юстина, опасаясь отравления, приучал себя к различным ядам. После поражения в войне с Римом Митридат тщетно пытался отравиться, но яд не оказал на него воздействия, и он покончил с собой, бросившись на меч. Этот эпизод пересказывает И. М. Муравьев-Апостол в «Путешествии по Тавриде» (1823) и вспоминает в одном из своих ранних писем А. И. Тургеневу Вяземский (ОА-1. С. 269). *Ничтожество* — здесь: небытие. 4. *Меня за книгу засадили.* Метафора «жизнь — книга» восходит к античным и фольклорным источникам. 6. *Успенье* — смерть, кончина; судя по контексту слово включает и значение церковного праздника (Успение Богородицы), символизирующего легкую радостную смерть. 7. *Что выехал в Ростов* — неточная цитата из шуточной эпитафии И. И. Дмитриева (1803):

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри — и только что в газетах
Осталось: выехал в Ростов.

«Куда девались вы с своим закатом ясным...». ПСС-12. — Печ. по автографу в «Записной книжке» 1874—1877 гг. с авторским примеч.: «Эти стихи написаны или надуманы мною года два тому. Сюда записаны 16/28 сентября».

«Жизнь наша в старости — изношенный халат...». ПСС-12. — Печ. по автографу в «Записной книжке» 1874—1877 гг., с припиской Вяземского: «Плод поездки моей в Баден-Баден».

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Портрет работы неизвестного художника. 1834. Литография («Остафьевский архив князей Вяземских». Спб., 1913. Т. 5).

2—3. *Между с. 96 и 97.* Портрет работы К. Я. Рейхеля. 1817. Масло. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

На обороте. Портрет работы И. Зонтага. 1821. Рисунок. Гос. Исторический музей.

4—5. *Между с. 128 и 129.* Портрет работы К. Беггрова. 1820-е гг. Литография. Музей Института русской литературы АН СССР.

На обороте. Портрет работы Т. Райта. 1844 г. Акварель. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.

6—7. *Между с. 288 и 289.* Портрет работы Ф. Витцлебена. 1852. Литография (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1886. Т. 10).

На обороте. Фотография. 1870-е гг. Музей Института русской литературы АН СССР.

8—9. *Между с. 320 и 321.* Общий вид дома Вяземских в Остафьеве. Фотография конца XIX в. Музей Института русской литературы АН СССР.

На обороте. Комната Н. М. Карамзина в Остафьеве. Фотография конца XIX в. Музей Института русской литературы АН СССР.

10. *С. 347.* Автограф стихотворения «Приветствую тебя, в минувшем молодея. . .». Отдел рукописей и редких книг Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

11. *С. 353.* Фрагмент чернового автографа стихотворения «Александру Андреевичу Иванову». Отдел рукописей и редких книг Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ [1]

[1] В алфавитном указателе стихотворения, имеющие названия, фиксируются первый раз только по названию, второй раз — только по первой строке.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Цифры в левой колонке указывают страницы текста, в правой (курсивом) — страницы примечаний.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
156	8 св.	на	ни
429	13 св.	Алесандрийский	Александрийский

Вязeмский П. А.

В 99 Стихотворения / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург; Сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. — Л.: Сов. писатель, 1986. — 544 с., ил. — (Б-ка поэта. Большая серия).

В сборник включены наиболее показательные и яркие образцы творчества П. А. Вяземского, позволяющие достаточно ясно представить его художественную индивидуальность на разных этапах длительного литературного пути поэта. В книге имеется раздел «Другие редакции и варианты».

В $\frac{4702010100-243}{083(02)-86}$ 425—86 ББК 84.Р1

Петр Андреевич Вяземский

СТИХОТВОРЕНИЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1986, 544 стр.
План выпуска 1986 г. № 425

Художник *В. В. Еремин*
Худож. редактор *А. С. Орлов*
Техн. редактор *С. Л. Шереметьева*
Корректор *Е. Я. Лапинь*

ИБ № 5138

Сдано в набор 09.01.86. Подписано к печати 01.07.86. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 29,09. Уч.-изд. л. 31,94. Тираж 100 000 экз. Заказ № 38. Цена 2 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000. Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

